

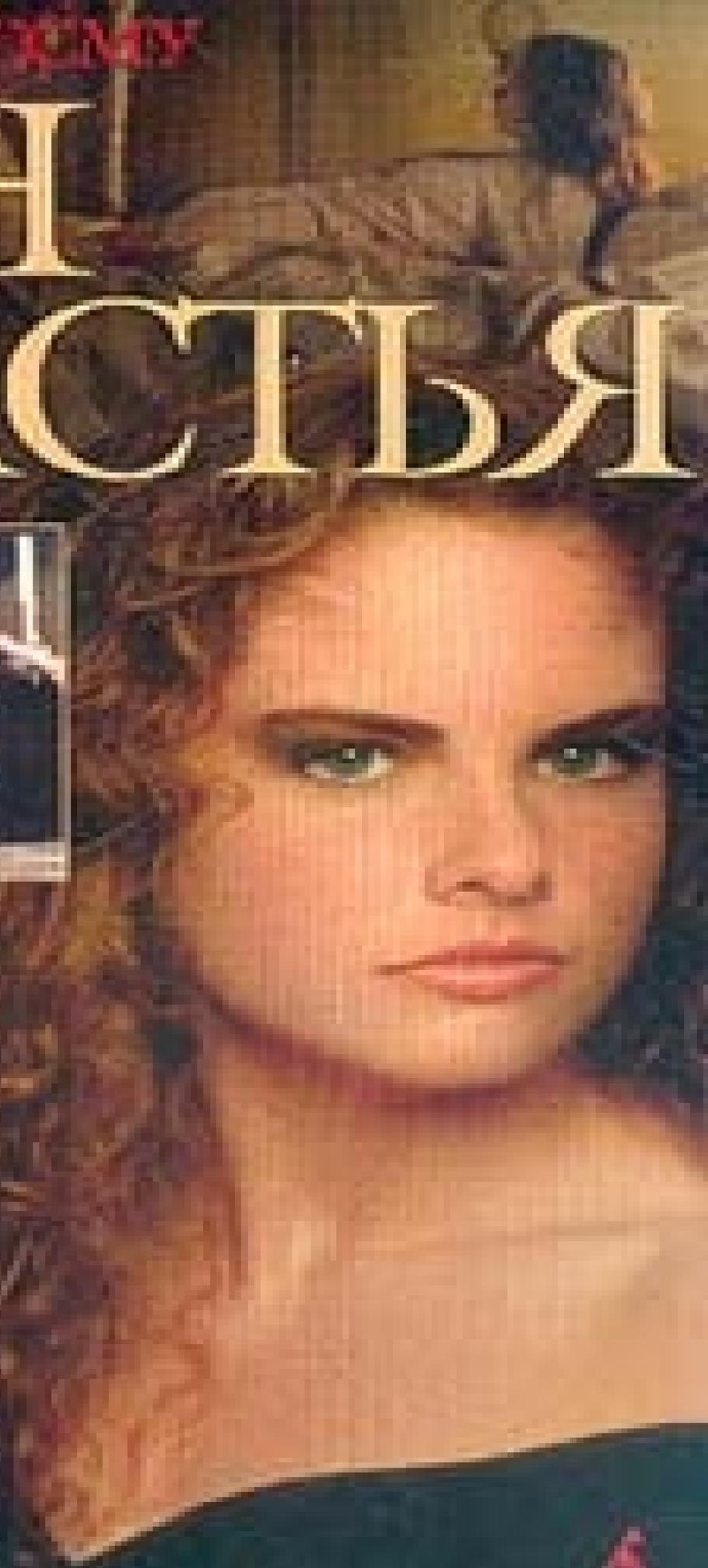
ХЕРБЕРТ В АКТУАЛУ

# СЫН СЧАСТЬЯ



*Унесенные  
северным  
ветром...*

Бурные, полные  
страстей и опасных  
приключений  
истории о жизни  
непреодолимой,  
яркой и спонтанной  
красавицы Динны —  
безусловно, достойны  
названия  
«Бирнейские  
Унесенные Ветром».



**Хербьёрг ВАССМУ**

**СЫН СЧАСТЬЯ**

*ПОСВЯЩАЕТСЯ ИБУ*

*Если бы человек и в самом деле стремился к счастью, то идиот, несомненно, представлял бы собой образцовый экземпляр человеческого рода.*

*Фридрих Ницше*

# ПРОЛОГ

*И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову.*

*Евангелие от Матфея, 8:20*

Я муравей в вереске. Или птица, заблудившаяся в мироздании. Далеко от земли. И все-таки Дина так близко, что я чувствую на лбу ее дыхание.

Она стоит как столп, широко расставив ноги и вытянув вперед руки. Из рук что-то падает. Серdito поет металл, ударившись о камень. Я никогда не забуду этой песни. Потом, когда мне покажется, что наступила тишина, зашевелится вереск. Я услышу его сухой шелест. Башмаки Дины, прикрытые юбкой, медленно отступят назад. И исчезнут из круга того, что случилось.

В круге останусь я. И человек. Он лежит в вереске, и голова его покрыта красной пеной. Пена шевелится, ползет. Дальше, шире. Вокруг нас все становится красным. Вокруг него и меня. А она уходит от нас. И нам ее не достичь. Она покинула пределы, очерченные ее юбкой.

Я не муравей и не птица. Я никто. И все-таки я заставляю себя подняться. Заставляю себя возникнуть из воздуха так, чтобы она меня увидела.

Тогда я чувствую на себе ее руки. Они касаются моей головы. Плеч. Шеи. Лица. Она медленно надавливает пальцами мне на глаза. И все становится черным. Мне не больно. Но страшно.

Она обнимает меня, как хрупкий и легкий предмет. Держит в руках, крепко прижав к себе.

Я чувствую запах ее кожи. Это запах выжженной солнцем травы и пота. Пряный и соленый. Но самой Дины я не вижу, потому что она пальцами закрыла мне глаза, раз и навсегда.

Я почувствую, как напрягутся ее мышцы еще до того, как она оттолкнет меня. Оттолкнет грудью, животом и руками.

Я слышу, как бьется ее пульс. Словно быстрое течение подо льдом. Близко и страшно.

К коже приникает холод. И я, слепой, бреду один во Вселенной. Боясь

упасть, я поджимаю ноги. Я готов к тому, что меня ожидает. Закрываю руками лицо. Хочу защититься от падения.

Потом я понимаю, что парю в воздухе. Лечу. И голос Дины, словно ночной ветер, влетает в мое окно: «Благословляю тебя, Вениамин, ты — Сын Счастья!»

Говорят, что скрытая правда легко оборачивается ложью. В таком случае лжи в мире больше, чем мы думаем.

Я никому не сказал, кто бросил ружье в вереск. Может, уже тогда я пустился на поиски своей правды?

Может, правда, о которой мы молчим, на самом деле — ложь?

Бог молчит. Так неужели Бог поэтому лжец?

В Писании сказано, что мы созданы по образу и подобию Божьему.

В таком случае, не своим ли искусством умалчивать правду мы больше всего походим на Него?

*Только тот, кто испытывает страх, находит покой, только тот, кто спускается в подземное царство, спасает любимого, только тот, кто обнажает нож, спасает Исаака.*

*Иоаннес де Силенцио*

□. Страх и трепет

И это тоже я. Человек, который в чужом городе пытался обрести себя. Но ничто не соответствовало действительности. Моя жизнь мчалась мимо меня. То вверх, то вниз. То вперед, то назад. Люди, которых я встречал на улице, носили маски. Все без исключения. Они были Диной, то и дело менявшей костюмы, чтобы я не узнал ее.

Небо казалось блестящей монетой, на которую плевались выстроившиеся рядами кирпичные трубы.

Кто-то написал мне и попросил забрать Динину виолончель. Так принято, что друзья или родственники после смерти владельца забирают его вещи. Я не позволил себе поверить в смерть Дины, потому что хотел найти ее живые следы.

Впереди меня, покачивая бедрами, шла женщина в широкополой шляпе. Я вспомнил то, что однажды сказал мне Андере: «Берегись женщин, которые прячут лицо под шляпой, тогда как бедра их словно обнажены. Эти женщины не так застенчивы, но и не так уж обнажены, как тебе может показаться».

Можно представить себе, что виолончель похожа на женщину с обнаженными бедрами. Виолончель Дины стояла где-то здесь, в чужом

городе, прислоненная к стене, и чрево ее было полно рыданий.

Можно убедить себя, что, найдя виолончель, ты найдешь рыдания. Или смерть. А может, и то и другое.

Можно также бесконечно спорить с собой, как назвать свои действия — поступком безумца или естественной реакцией ребенка. Но как ни назови их, все это одинаково смешно.

Я никогда не играл на виолончели, и у меня даже в мыслях не было научиться играть на ней. Наверное, она не представляла собой большой ценности, и я спокойно пережил бы ее утрату. Но решение было принято: я найду инструмент и отвезу его в Рейнснес.

Люди, торопливо сновавшие мимо меня, чужие голоса, непонятный язык, моя собственная растерянность — все это стало адом, отравой которого проникала в каждую пору. Я был маленьким мальчиком; Дина посадила меня на лошадь и сказала, что поведет ее под уздцы, пока мы не минуем двор усадьбы, а потом отдаст поводья мне.

Уже на грязном, чадящем вокзале меня охватило чувство, будто я попал в подземное царство. Я Орфей. Я спускаюсь в царство мертвых в поисках женщины.

По дороге с вокзала я несколько раз ощупывал внутренний карман пальто — на месте ли письмо с адресом; хотя уже дважды назвал этот адрес извозчику и он кивком головы подтвердил, что понял меня.

Большой дом стоял немного отступя от улицы и был обнесен высокой оградой. Вход преграждали решетчатые ворота, заостренные вверху и внизу зубья напоминали наконечники копий. Дикий виноград и сорняки уже давно завоевали клумбы у подъезда. Дом выглядел необитаемым.

Я попросил извозчика подождать, а сам подошел к воротам и дернул позеленевшую ручку звонка. Где-то в доме ворчливо залился колокольчик. На этом все и кончилось. Я попробовал открыть ворота. Они грозно заскрежетали, однако не открылись.

Я подергал их. Покричал. Меня охватил детский гнев. Одиночество, разочарование, усталость. Виной всему был этот жесткий язык, которым я не владел. Вениамин рвался к Дине. К своей матери!

Я презирал себя. Но удержаться не мог. В ту минуту не мог!

Наконец извозчику надоел весь этот шум. Он хотел, чтобы с ним расплатились, — ему пора ехать.

В соседнем доме открылось окно, из него высунулась женщина и что-то крикнула мне. Я не понял ее. Но слово «wahnsinnig» <sup>[2]</sup> объяснило мне, что меня бранят. Открылось еще несколько окон. Новые крики. Послышалось слово «полиция».

Тогда я сдался. И с чувством, что этот дом существовал только в моем сознании, сел на извозчика.

Мне удалось найти поблизости дешевый пансион, и каждый день по несколько раз я подходил к тому дому. Меня мучили теплые солнечные дни. И моя черная одежда. Конечно, я мог бы купить себе что-нибудь полегче. Денег на это у меня хватило бы. Но что делать с этой одеждой потом? К тому же хозяйка пансиона сказала, что холода могут начаться со дня на день.

В пансионе все, вплоть до жесткой подушки, пропахло свиной и колбасой. Стены были покрыты живым узором из клопов. Из-за них я часто сидел на площадях и в парках, глядя на летящие листья. Люди спешили по своим делам и не обращали на меня внимания. Однако меня преследовало чувство, будто кто-то наблюдает за мной.

Человеку вовсе не нужно сердце, чтобы гнать кровь по жилам, думал я. Сила, которая заставляла циркулировать мою кровь, называлась «одиночество». Им была проникнута каждая клетка моего существа.

Умерла! — шептало мое одиночество.

Я был Орфеем. Я должен был совершить свой подвиг. Ради кого?

Чужой язык утомлял меня. Сперва мне казалось, что все вокруг говорят голосом матушки Карен. Я вернулся в детство, и она, чтобы научить меня немецкому, читала мне вслух по-немецки разные приключения. Я полагал, что немного владею этим языком и могу вести на нем простой разговор. Но, начав говорить, я быстро терял нить. И тогда мне начинало казаться, будто люди издают эти странные звуки нарочно, чтобы сбить меня с толку.

Вечером, когда я лежал под окном, которое выходило на крышу и глядело на отсутствующего Господа Бога, у меня в голове продолжали звучать чужие голоса и незнакомые слова. Понимали ли люди, к которым я обращался, о чем я их спрашивал? Понимал ли я сам, что они мне отвечали?

Я надеялся, что Дина жива. И в то же время боялся этого.

Но Орфей должен был вернуться домой, разрешив эту загадку.

Я представлял себе, что она когда-то сидела как раз на этой скамейке или переходила ту же улицу. Один раз мне показалось, что я вижу ее. И несколько кварталов я шел за какой-то женщиной. В конце концов она обернулась, и на меня обрушился поток гневных слов.

— Не бойтесь! Я всего лишь Орфей! — сказал я дружелюбно.

"Тогда она бросилась бежать. Сумочка била ее по бедру.

Из-за высоких каблуков она бежала крохотными шажками. И почти не продвигалась вперед. Вид у нее был преглупый. Догнать ее ничего не

стоило. Догнать и схватить за руку или за платье. Она даже как будто просила об этом.

Прошло три дня, я по-прежнему бродил по улицам. Грязь и листья прилипали к моим башмакам, словно были частицей меня самого, от которой мне не удавалось избавиться.

Я встал рано, твердо решив расспросить о Дине людей в соседних домах. Тщательно побрился и надел чистую рубашку.

Я ходил от подъезда к подъезду и звонил. Стоял и прислушивался к далеким бездушным шагам больших ног, обутых в башмаки на кожаной подошве. Маленьких — в мягкой суконной обуви. Металлический стук высоких каблуков внушал мне страх. Так повторялось без конца. Я совершал один и тот же ритуал с небольшими вариациями. Люди как будто издевались надо мной, пытались запутать и заставить забыть о цели моего приезда.

Дину Грэнэльв не знал никто. Некоторые отвечали вежливо, но равнодушно, словно смотрели сквозь меня. Другие были раздражены и испуганы, точно я собирался напасть на них. Третьи отвечали холодно и кратко. Четвертые принимали меня за сумасшедшего. Человек, который ходит от одной двери к другой, спрашивает о какой-то женщине и даже не может объяснить, как она выглядит!

К вечеру я снова пришел по указанному мне адресу. Позвонил. Я приходил туда каждый день.

И вдруг ритуал оказался нарушенным. За дверью послышались шаги! Шаркающие, но быстрые. В дверях показался мужчина с длинными серебристыми усами и острым взглядом. Мгновение мы внимательно разглядывали друг друга. Потом он нетерпеливо спросил:

— Что вам угодно?

Я представился и ждал, что он признает меня. Но он смотрел на меня как на постороннего.

— Мне написали, что я могу забрать у вас виолончель фру Грэнэльв, — объяснил я.

И тут на меня обрушился поток дружеских гримас:

— Так это ты! Меня зовут Карл Майер. Да-да, виолончель хранится у меня.

Мне трудно было поверить, что все это происходит со мной наяву. Я разволновался. Вопросы хлынули разом. Я начал заикаться.

Хозяин, кивая, внимательно смотрел на меня. Я так и не знаю, понял ли он, что я говорил ему. Однако он пригласил меня пройти в большую мрачную прихожую. Тяжелая массивная мебель поглощала весь воздух и

свет. Среди стенных шкафов и стульев с высокими спинками хозяин как будто съежился и стал меньше ростом.

Он оказался учителем музыки. Да, он взял на хранение виолончель Дины Меер. Дина Меер. Значит, Дина жила здесь под вымышленной фамилией.

Мне следовало показать, что я это знаю. И в то же время нужно было выведать у него о ней все, чего я не знал.

Дрожа от нетерпения, я протянул ему руку и сказал, что счастлив, наконец-то застав его дома. Мы обменялись парой пустых фраз, пока я вешал пальто на вешалку, которая была похожа на виселицу. Он выразил сожаление, сказав, что уезжал на несколько дней. Потом провел меня через какие-то заставленные комнаты.

Наконец мы очутились в зале, посередине которого на темном паркетном полу стоял огромный рояль. На стенах висели всевозможные музыкальные инструменты. Несколько скрипок, альт, духовые.

Я глубоко вздохнул. В углу стояла Динина виолончель. У меня брызнули слезы.

Карл Майер сказал, что хочет выпить со мной. К сожалению, все будет по-холостяцки — у его экономки сегодня выходной.

Я подошел к виолончели. Потрогал ее. Гладкое дерево. Холодное и в то же время теплое. Сбоку царапина. Я узнал эту царапину. Как друга. От виолончели исходила тайная сила. Мне так не доставало этой виолончели!

Меня захлестнули воспоминания. Все эти тайны. Ужас. Горе. И радость. Я не знал, что стою и плачу, пока не вернулся Майер.

Стоя к нему спиной, я пытался взять себя в руки. Слышал, как он ставит на столик у высокого окна графин и рюмки. В противоположность загроможденным комнатам, через которые мы проходили, у этой было лишь одно назначение — музыка. Ни тяжелых гардин. Ни лишней мебели. Ни ковров.

У меня появилось чувство, будто я уже был здесь когда-то. Потому что здесь бывала она.

— Она была одаренная. — Майер жестом пригласил меня к столу. — Необычайно одаренная. Но уже старовата для концертных залов. К тому же она — женщина, — заключил он.

Я отметил, что он говорит «была». Как ни странно, это возмутило меня. Хотя я был готов к этому. Я сел.

— Чего-то ей не доставало. Гибкости пальцев... Слишком она была необузданная. Слишком жесткая. И слишком поздно попала к настоящему учителю.

Он помолчал. Как будто думал о ней.

Я спросил, не знает ли он, где сейчас Дина. Он склонился над рюмкой, потом поднял голову и встретился со мной глазами.

— Она уехала. Не так давно.

— Куда?

— Трудно сказать. Разговор шел о Париже.

Я пытался понять по его голосу, не скрывает ли он чего-нибудь. Но не смог. Нужно хорошо знать человека, чтобы понять, лжет он или говорит правду.

— Нынче трудные времена, — мрачно буркнул он. — В Париже ужасно... Такое унижение для людей, и считать это неизбежным...

— Что считать неизбежным?

— Войну.

Он помолчал. Потом заговорил снова, обращаясь скорее к себе, чем ко мне:

— Она была такая очаровательная, такая великодушная. Всегда привлекала к себе внимание. Многие искали ее общества. Люди из самых разных кругов.

Почему он все время говорит о ней в прошедшем времени?

— Она умерла? — спросил я.

— Нет, откуда вы это взяли? — Он удивился. — Времена, конечно, трудные... Но нет никаких оснований полагать, что она умерла. В последний раз, когда мы с ней виделись, она была бодра и здорова, но от виолончели тем не менее отказалась.

— Почему она отказалась от виолончели?

— Слишком трудоемкий инструмент. Она говорила, что должна принести жертву. У нее были твердые убеждения.

Я попытался объяснить Майеру, что не верю, будто Дина могла добровольно отказаться от виолончели или оставить ее в чужом городе.

— Она относилась к тем людям, которые оставляют все, что не может быть бессмертным, — медленно произнес он.

Я показал ему письмо с подписью, которую не мог разобрать.

— Она очень спешила. Сами понимаете, отъезд... Он вопросительно глянул на меня, потом посмотрел на виолончель:

— Особой ценности виолончель не представляет, но это хороший инструмент. Заберите ее!

— Где она жила в Берлине? — спросил я. Он пожал плечами.

— Она бросила виолончель по вашему совету?

— О нет! — Он даже испугался. — Но я откровенно сказал ей, что

великой виолончелистки из нее не получится и что концерттировать она не сможет.

— Как бессердечно! — дерзко сказал я.

— Это было необходимо!

— Вы лишили ее всего!

— Напротив, я вернул ей мужество! — тихо проговорил он.

— Мужество? Для чего?

— Чтобы стать самой собой.

— Дина всегда была самой собой!

Мы смотрели друг на друга. Его усы были похожи на смешных лохматых зверьков.

— Скажите, вы хорошо знали эту женщину? — спросил он. — Должно быть, вы близкий ей человек, если она подарила вам виолончель.

Я отметил эти слова, но не удивился. Значит, Дина не говорила обо мне. Скрыла все о своей прежней жизни. Не воспользовалась именами Андерса или Иакова. Она просто растворилась в центре Берлина и назвала себя фрау Меер.

Он подумал, что я не понял его, и повторил:

— Скажите, вы хорошо знали Дину Меер?

— Нет, не думаю, — ответил я и тут же понял, что это правда.

— Так кто же вы ей? Родственник? — спросил он.

— Да. Скорее друг...

— Для друга вы слишком молоды. Я почувствовал себя глупо.

Мы молча пили вино.

— По-моему, вам надо решить, кого вы ищете — виолончель или женщину, — медленно проговорил он.

— Виолончель, — спокойно ответил я.

— Ну вот вы ее и нашли.

— Вы знаете еще что-нибудь о Дине?

Он покачал головой и улыбнулся. Я почувствовал раздражение. Мне показалось, что он надо мной смеется.

— Она ведь и вас тоже бросила? Правда? — с удивлением услышал я собственный голос.

Он вдруг как-то изменился. Какая-то тень мелькнула в его глазах, чуть заметно шевельнулась рука. И я понял, что моя догадка верна. Она уехала от него.

— Почему вы решили, что у нас были близкие отношения? Ведь я старый человек, — сказал он с улыбкой.

— Не знаю.

Он снова улыбнулся:

— Подобные заключения делают только по молодости. Понимаете... Они приходили ко мне и уходили. Мечтали о славе. Так же как и я в молодые годы. Одни попадали ко мне своевременно, но у них не хватало таланта или воли, необходимой для самоотречения. Другие обладали и талантом, и волей, но попадали ко мне слишком поздно. Третьих уводила в сторону жизнь.

— Что вы имеете в виду?

— Все, что угодно, — семью, отсутствие денег, любовь или какое-нибудь другое безумие...

— Что же остановило Дину?

— Прежде всего то, что она начала слишком поздно. Чтобы стать виртуозом, руки должны быть мягкими, как воск, и в то же время надо обладать железной волей. Но самое главное — нельзя тосковать по дому и таить в сердце скорбь.

— Это вы про нее говорите?

Он промолчал, не сводя с меня глаз.

— Почему же тогда она не вернулась домой?

— Этого я не знаю, — быстро ответил он. Не слишком ли быстро?

— Вам что-нибудь известно?

— Она была не из тех, кто доверяется первому встречному.

— Но ведь вы не были для нее первым встречным? Вы были ее другом, учителем.

— Это не то же самое, что быть доверенным. Что вы надеялись узнать от меня?

— Где ее можно найти?

— Очень жаль, но вы обратились не по адресу, — со вздохом сказал он.

Через несколько минут Майер вынул из кармана часы и сказал, что скоро к нему придет ученик. Потом встал и снова кивнул на виолончель.

Когда мы опять вернулись в прихожую, он дал мне свою визитную карточку.

— Между прочим, могу вам дать адрес театра, в котором она постоянно бывала. Думаю, там многие ее знали. — Повесив трость на руку и опершись о массивный дубовый стол, он написал адрес на обратной стороне карточки.

Я поблагодарил его.

И вот я уже на улице с Дининой виолончелью. Ручка футляра была оторвана. Мне пришлось нести виолончель под мышкой. Когда я свернул за угол, лицо мне обжег ледяной ветер. Два больших кленовых листа

подлетели и прикинули к моему пальто.

Я мог сколько угодно мечтать, как бы мы встретились, найди я ее. Но что толку. У Орфея было некое предназначение. И можно даже сказать, что он его выполнил. Ведь известно, что он должен вернуться из подземного царства ни с чем. На этот же раз он возвращался, неся под мышкой футляра с виолончелью.

Я шел домой и думал о наших студентах, мечтавших уехать в Европу. Они мечтали об этом на студенческих пирушках в коллегиях Регенсен и Валькендорф [3]. А то и просто в трактирах, когда на столе появлялось пиво. Мы мечтали о том, чтобы вырваться в большой мир, сделать великие медицинские открытия, прославиться.

Мне оставалось только посмеяться над собой. Вот я и в Европе. И что с того? Пыль и грязь здесь, во всяком случае, те же, что и в любом другом месте.

Дина тоже всегда мечтала уехать. Я мысленно видел, как она поднимается на борт «Принца Густава» и ветер рвет поля ее шляпы. Как я ненавидел ее носовой платок, которым она обычно махала мне на прощание! Я пытался разглядеть ее лицо. Но расстояние между нами было слишком велико.

Осуществились ли ее мечты? Обрела ли она покой, избавившись от меня? От страха, что я ненароком могу ее выдать?

Как, интересно, с ней обошлось время? Какие у нее были любовники? На что она жила? Как выглядит? Почему не уехала сразу, как только поняла, что не может иначе? Я пытался припомнить, чем именно мог быть вызван ее отъезд. Что я такого сказал или сделал, что напугало ее? Может, я в чем-то проявил слабость и она усомнилась, что я выдержу? Не выдам ее? Буду молчать?

Виолончель оказалась нелегкой. Я шел и подбадривал себя, вспоминая, как Дина садится на лошадь или закрывает двери. Она всегда находилась в движении. Всегда стремилась прочь от меня.

Это воспоминание помогло мне быстрее принять решение: завтра же я возвращаюсь в Копенгаген.

\* \* \*

Но на другой день я не уехал на вокзал, а пошел в театр, адрес которого мне дал накануне учитель Дины. Не удержался. Сперва я заикаясь попробовал объясниться с серым мужским лицом, глядевшим на меня из окошечка в стене. Я ищу Дину Меер, не может ли он помочь мне? Он покачал головой и продолжал что-то есть из бумажного пакета. Каждый

раз, когда он нырял в пакет, лицо его исчезало из окошка. Я старался вежливо объяснить ему, что мне очень важно поговорить с кем-нибудь, кто ее знал.

Он смотрел на меня пустыми глазами. Пока я не сообразил показать ему купюру. Тогда он задумался, высасывая из зубов пищу, и быстро схватил деньги. Потом аккуратно сложил бумажный пакет, открыл дверь своей клетушки и поманил меня за собой. Мы пошли на нестройные звуки, доносившиеся из зала, где репетировал оркестр.

— Шредер! Первая скрипка! — произнес он и исчез.

Я дождался паузы. Потом пробрался к музыканту, который, по моим понятиям, играл первую скрипку. Он выглядел не так враждебно, как я боялся. Я сразу заговорил о деле. Представился Дининым родственником — я приехал в Берлин и очень хотел бы встретиться с ней. Он не задумываясь дал мне адрес учителя Майера.

— Она там живет? — спросил я, не говоря, что уже побывал там.

— Да, — ответил он и тут же, повернувшись к дирижеру, сказал ему что-то, чего я не понял.

Судя по ветхому занавесу и потертым креслам, это был один из третьесортных театров. И оркестр, естественно, тоже был третьесортный.

Как только дирижер отошел, я спросил у Шредера, не найдется ли у него времени побеседовать со мной. Он растерялся — вообще он собирался завтракать. Я пригласил его быть моим гостем. Нет ли поблизости подходящего заведения? Но у него было мало времени. Нетерпеливым движением он указал мне на кресла и сел сам.

Шредер был человеком неопределенного возраста. Узкое лицо. Черные с сединой волосы на макушке торчали ежиком. Странно. Он знал Дину!

— Она больше не живет по тому адресу, который вы назвали, — сказал я.

— Вот как? — Он пожал плечами.

— Она играла у вас?

— Нет. — Он улыбнулся, как будто сама мысль об этом была нелепой.

— Откуда же тогда вы ее знаете?

— Она приходила сюда с господином Эренстом.

— Кто это?

— Владелец театра.

— А что она здесь делала?

Он снова пожал плечами и быстро глянул на дверь.

— Присутствовала на спектаклях. Слушала концерты...

— На чем играл господин Эренст?

— Он не музыкант. Он проектирует и строит дома, — сдержанно ответил Шредер.

— Я хотел бы поговорить с ним.

— Он уехал. — Куда?

— В Париж.

— Дина могла уехать вместе с ним в Париж?

Шредер отрицательно покачал головой. Потом повернулся ко мне спиной и заговорил с оркестрантом, который только что вошел. Схватив смычок, он начал играть. Слово меня не существовало.

Человек тратит много сил, прежде чем поймет, что мир невежлив и безрассуден. Я ходил от одного оркестранта к другому и пытался втолковать им, что меня интересует все касающееся жизни Дины Меер, а также адрес господина Эренста в Париже. Я терпеливо сносил пытку, которой меня подвергли эти недалекие, равнодушные и неприветливые люди. Грубо скроенные и пущенные в мир с единственной целью: помешать всем добрым связям.

Вот, значит, где обитала Дина! Она приходила сюда на репетиции. И наверное, они играли так же грубо, как говорили, думал я, уже идя по улице.

Из сточных канав несло зловонием, и колеса телег громыхали по брусчатке. Я вспомнил, как плакал в детстве от злости или от страха, и пожалел, что не могу заплакать теперь. Вместо этого я положил пальто на выщербленные каменные ступени и сел.

Потом я долго бродил по улицам. А когда взошла луна и зажглись уличные фонари, снова оказался у здания театра. И купил билет, даже не потрудившись узнать, что сегодня играют.

Мне хотелось иметь при себе несколько тухлых яиц.

Я нашел свое место. Поднялся занавес, и мне стало ясно, что сегодня будет концерт. Оркестр сидел не в яме, а на сцене. Я узнал кое-кого из оркестрантов, дирижера и скрипача.

Зал был почти полон. Какофония настраиваемых инструментов действовала мне на нервы. Я не понимал, зачем пришел сюда. Лучше бы встретиться с этим Шредером после концерта.

Женщина у меня за спиной беспрерывно болтала со своей соседкой о каком-то мужчине, который был так невоспитан и которого так возбуждало ее присутствие, что она с трудом его выдерживала. Я оглянулся, потому что она раздражала меня. На ней было красное платье с вырезом на груди. Она оживленно жестикулировала, пальцы ее были унизаны кольцами. На меня она не обращала никакого внимания.

Наконец свет погас и женщина сзади умолкла. Скрипач и все музыканты взялись за смычки. Плечи Шредера не вязались ни со скрипкой, ни со сценой вообще. Это были плечи каменотеса. Он выглядел до того не на месте, что мне стало смешно.

Но тут грянула музыка!

Оркестр оказался не таким третьесортным, как занавес. Я почувствовал это с первых так-тов, стараясь понять, что же они играют.

И оказался в плену. Я больше не связывал эти лица, склоненные над инструментами, с тем, что произошло утром. Больше не ненавидел эти поднимающиеся и опускающиеся руки. Шеи. Пальцы. Тени на заднем занавесе.

Ибо все стало музыкой. И музыка была Диной.

Я наконец понял, почему она терпела этих людей. Почему приходила в театр, чтобы послушать, как они репетируют. Пожилой виолончелист в потертом фраке куда-то исчез. Один за другим исчезли все оркестранты. Осталась только музыка.

Там, на сцене, сидела Дина, зажав виолончель между коленями. Из утробы виолончели неслось рыдание. Неожиданно рядом со мной на свободное кресло сел русский в надетой набекрень шапке из волчьего меха. Прислонившись ко мне, он улыбался и кивал на сцену. Но вот замерли последние аккорды, он стал неистово аплодировать и свистеть. Публика обернулась и с удивлением уставилась на него. Я заволновался. Одет он был хуже, чем я.

Понял ли кто-нибудь что-нибудь, кроме нас? Мы с ним единственные знали Дину. Или вереск в ту осень окрасился кровью только потому, что он ничего не понял?

В антракте я опять увидел женщину в красном платье. Темные волосы обрамляли лицо. Они казались тяжелыми, точно были смазаны смолой. Она слушала молодого человека в белых брюках и темном пиджаке. Потом покачала головой, пригубила бокал и закатила глаза.

Мы не всегда в состоянии объяснить свои поступки. Неожиданно я вступил в освещенное кольцо, образовавшееся вокруг нее. Оказался между ней и молодым человеком и произнес на этом жестком языке, от которого так устал:

— Извините, не знали ли вы случайно фрау Дину Меер?

Она не спускала с меня глаз. Но когда ее кавалер, действуя плечами, попробовал вклиниться между нами, она как будто очнулась.

— Нет, — ответила она почти дружелюбно.

— Кто вы? — спросил молодой человек. Я решил не замечать его:

— Вы уверены? — Да.

Она улыбалась. У нее были неровные зубы, большое родимое пятно на щеке и дерзкие брови. Она была слишком высокая, слишком накрашенная. И все-таки очень красивая.

— Эта женщина должна быть сегодня в театре? — спросила она и успокоила своего кавалера, положив руку ему на плечо.

Я заметил, что между нами возникло некое силовое поле.

— Да, — сказал я, не спуская с нее глаз.

— Тогда я желаю вам удачи.

— Она играет на виолончели, — проговорил я в панике, видя, что она собирается уйти.

— Как интересно! Женщине трудно играть на таком инструменте.

Я сделал последний шаг — больше мне ничего не оставалось, — решительно взял ее под руку и увел от друзей, с которыми она стояла.

Звонок позвал на второе отделение. Мы остановились возле красного бархатного занавеса и смотрели друг на друга. На фоне занавеса она казалась красной тенью. Я весь налился тяжестью. Наполнился ею, словно кожаный мешок вином или маслом.

Я стоял широко расставив ноги. Так мне было легче. Мои пальцы шевелились под ее локтем. Кожа у нее была влажная и прохладная. Я словно опьянел. Все свое чувство я вложил в пальцы. И видел, что она принимает мои сигналы.

— Однако вы не из робких. И вы не берлинец! — тихо сказала она.

— Вы не ошиблись. Мне бы очень хотелось, чтобы вы знали женщину, которую я ищу.

— Эта женщина, которую вы ищете... ваша любовница? — Последнее слово слилось с ее дыханием.

Мне стало понятно, почему у нее такие дерзкие брови.

— Нет. Друг.

— Вы не условились о месте встречи?

— Нет. Я потерял ее из виду. Давно потерял.

— Друзей не теряют, — сказала она.

Я что-то затронул в ней, это несомненно. Не только любопытство. Я слышал это по ее дыханию.

— А я потерял! — Глядя ей в глаза, я взял обе ее руки в свои. Руки у нее были мягкие. Мне всегда не хватало этой мягкости.

— Кто вы? Вы не очень-то вежливы, — прошептала она, не отнимая рук.

— Просто я не уверен в себе.

— Вы похожи на безумца. Дерзкий, но странный... Вы напоминаете мне одного человека...

Раздался второй звонок. Мы медленно пошли в зал.

Когда мы уже сидели на местах, ее рука в темноте один раз нечаянно коснулась моего затылка. Она сказала что-то своей соседке. Меня это больше не раздражало. Я медленно повернул голову, чтобы поймать ее взгляд. Но темнота погасила свет в ее глазах. Мои ноздри уловили слабый аромат ее духов. Я приоткрыл рот, чтобы не пропустить ни капли. Пил их. Глотал.

Запели скрипки, виолончели и трубы.

Я не думал о русском. Не заметил, сидит ли он рядом со мной. Но Дина сидела на сцене в своем зеленом дорожном костюме с широкой юбкой. Колени у нее были раздвинуты, лицо замкнуто.

В то время как ее танцующие пальцы наполняли меня музыкой, одежда постепенно слетала с нее и уносилась к потолку. Там хрустальная люстра своими бесчисленными руками подхватывала вещь за вещь. Наконец Дина осталась в одной рубашке, расстегнутой на груди.

Тень от Дининой одежды падала на людей, сидевших в зале, но они не замечали этого. Кто-то кашлял. Музыка то взмывала, то падала. Я больше не чувствовал одиночества. Пусть даже город был неприветлив и грязен, а люди — смешны, грубы и ненадежны.

У меня за спиной сидела женщина в красном платье.

Музыка лилась не только из инструментов. Моя кожа, чресла — все стало музыкой. Я принохивался к запаху висевшей на люстре одежды. К запаху женщины, сидевшей у меня за спиной. Ноздри мои трепетали. Я откинул голову и закрыл глаза.

Раздались аплодисменты, и я почувствовал на плече ее пальцы. Протянув руку, я взял ее визитную карточку. И тут же на меня с темной люстры упали Динины одежды. Однако я успел пожать кончики пальцев женщины в красном. Потом освободился от ароматных Дининых одежд и продолжал аплодировать.

— В четверг в пять вечера, — прошептала она, вставая и следуя за потоком публики.

Мой взгляд упал на программу, которую она держала в руках. Моцарт.

Дина собрала свои потрепанные ноты, оставила виолончель и, покинув сцену, повела меня сквозь толпу. Мелькнула ее рубашка, и она исчезла. Духи у нее были те же, что и у женщины в красном.

На визитной карточке было написано: «Фрау Бирте Шульц». Адрес мне ничего не сказал. Я был в чужом городе.

Скрипача не было видно. Я прошел за кулисы и спросил, где Шредер. Мне сказали, что он уже ушел. Да и зачем он мне теперь?

Я чувствовал себя судном, у которого при сильном боковом ветре подняты все паруса. Нужно было взять курс по ветру, смирившись с тем, что на это уйдет лишнее время, либо задраить люки и отдаться во власть стихии. Приходилось признать, что я плохой моряк. Но, помня советы Андерса и в отношении женщин, и в отношении судов, я понимал, что следует изменить курс.

Поэтому я дождался четверга, всем телом предчувствуя победу.

Безусловно, меня должно было шокировать, что она вопреки всем правилам приличия дала свою визитную карточку совершенно чужому человеку. Но в теле у меня скопилось слишком много грубой силы и одиночества. И это решило все.

Я был приговорен к поискам в этом проклятом городе.

Мне пришлось взять извозчика. Фрау Бирте Шульц жила в роскошном доме на краю города. Дом окружали высокие деревья и колючий кустарник. Решетку венчали острые шипы. Шипы были, по-видимому, и у фрау Бирте Шульц.

Привратник спросил, к кому я иду и ждут ли меня. Я кивнул и показал ему визитную карточку фрау Бирте Шульц.

— Третий этаж, — с почтительным поклоном сообщил он и вместе со мной поднялся на пять внушительных ступеней с медными кольцами для дорожки, которые вели к черной двустворчатой двери подъезда.

Я вдруг понял, что чувствовали ребятишки бедных арендаторов, когда стояли на белом песке из ракушечника перед дверями большого дома в Рейнснесе. И обходили дом кругом, чтобы зайти через кухню. Поднимаясь по лестнице, где мои шаги отзывались эхом, я как будто поднимался от причалов, и дом в темноте казался мне освещенным дворцом. Но шел я обычно к Стине в бывший Дом Дины.

Неужели можно испытать своеобразную ностальгию перед подъездом незнакомой женщины и снова чувствовать себя оскорбленным ребенком?

«Дина! Пусть твоя виолончель сгниет к чертовой матери!» — сказал я себе, когда фрау Бирте открыла мне дверь. Сегодня она была не в красном. Она была в желтом.

Что сказал Андерс в тот раз в Бергене, когда я хотел пойти с моряками к шлюхам, ютившимся в переулках? Он не был против того, чтобы я прошел испытание на мужественность, но предупредил:

— Возьми с собой нож и денег не больше, чем требуется!

Девушка в тот раз оказалась моложе меня. Худая и грязная. Она

привела меня в маленький темный домишко и усадила на кровать, застланную обтрепанным покрывалом. Она обращалась со мной как с несмышленищем. Мне пришлось столкнуться с ней. Я щедро заплатил ей и ушел. Если бы я не боялся, что кто-нибудь увидит меня, я бы заплакал. Не потому, что и девушка и кровать были грязные и отвратительные. И не потому, что мои мечты не совпали с действительностью. Но мне чудилось, будто я наступил на руки девочке, которая упала в черную яму и теперь хватается за ветки, чтобы не утонуть.

На вороте блузки у нее не хватало пуговицы, и руки были худые.

Уж лучше было думать об Акселе и Мадам из переулка Педера Мадсена в Копенгагене.

У фрау Бирте руки были округлые, и желтую блузку она выбрала не случайно. На ней было множество мелких пуговиц. Двадцать, если уж быть точным.

Через полутемную переднюю она провела меня в гостиную. Я чуть не задохнулся от бешено пульсирующей крови. Больше всего мне хотелось схватить и крепко сжать фрау Бирте. А потом получить то, что положено.

Вместо этого я обнаружил, что сижу на мягком диване.

Горничная принесла на подносе чайные чашки и печенье. Я жадно ловил какой-нибудь знак, который дал бы мне повод приступить к действиям. Это было похоже на заклинание духов или сеанс спиритизма.

Тем временем я занял место кандидата медицины Вениамина Грэнэльва в анатомическом театре. И рассматривал женское тело, держа наготове скальпель. Вскрытие трупов под руководством профессора Шмидта производилось по строго определенным правилам. Сперва следовало отделить от костей мягкие ткани. Но мне нужно было собрать в пригоршню всю кровь фрау Бирте так, чтобы профессор Шмидт не заметил на моих манжетах ни капли.

Тело фрау Бирте было не против такого вмешательства. Несмотря на целомудренные пуговицы.

— Вы так и не нашли свою подругу? — спросила она.

— Нет, к сожалению. — Я не отрывал от нее глаз. Мне было ясно, что этот разговор предназначался для горничной. Пока та разливала чай, я узнал, что фрау Бирте ждет к себе несколько приятных гостей, с которыми хотела бы меня познакомить. Через некоторое время горничная снова вошла и спросила, должна ли она перед уходом еще что-нибудь сделать. Фрау Бирте весело махнула ей рукой, поблагодарила и сказала, что больше ничего не требуется.

Дверь закрылась, и я спросил, когда придут друзья фрау Бирте. Тут она

снова легла на стол в анатомическом театре, и я мог вернуться к своей работе.

— Мой муж сейчас в отъезде. Было бы не совсем прилично... если б мы остались только вдвоем... — Она отодвинула в сторону чашку и предложила мне херес.

Я не сразу нашел подходящие слова. Но слова ей были как будто не нужны. Все исчезло в жарких движениях и дыхании.

Пена. Не знаю, когда я впервые увидел пену. Но с тех пор она возникала в моем сознании как меняющаяся, но вечная картина. Пена под руками женщин, доивших коров. Пенящиеся валы, набегающие на береговые скалы и на подводные камни у больших шхер. Белые Крылья бурлящей пены, разрезаемой носом судна, набравшего скорость. Пена! На руках Стине, стиравшей морские рукавицы. На волосах Дины, когда она летом мыла голову в озерке за холмом. Пена, летящая из ноздрей жеребца, который сделал прыжок. Прыжок к фрау Бирте в Берлине. Эта пена всегда сопровождала меня, словно тяжелая, могучая мелодия. Я таскал ее за собой. Был окружен ею. И не хотел бы от нее избавиться. Женщины. Запах соленых морских водорослей. Щелочь. Волосы. Духи. Белье на веревке. Карна! Аромат ее тела смешивался с запахом крови и плоти в полевом лазарете в Дюббеле.

Пена присутствовала всегда. И в радости, и в страхе, Отвратительная и в то же время прекрасная.

Нынче ночью в анатомическом театре должно было состояться тайное вскрытие. Запретное и обжигающее. Но, подобно волнам, схлынувшим после непогоды и оставившим после себя пену, я должен был схлынуть так, чтобы никто не мог предъявить мне никаких претензий.

Разве я не получил визитную карточку? И приглашение? Разве мне не подали за столом знак? Или это не я расстегнул все двадцать пуговиц, собирая в пригоршню кровь фрау Бирте?

Лишь один раз я все-таки смешался с чужой пеной. С пеной русского. Красной. Брызнувшей из его головы. С миллионом крохотных розовых лепестков, которым не суждено было распуститься. Потому что все изображение сковал лед.

Дина и русский в вереске. Сперва белая пена, потом — красная.

И вдруг Бог исчез. Фрау Бирте была вскрыта. Пена покрыла и ее, и русского.

Кто же стоял там, в вереске, во весь рост?

С губ Дины срывались мощные звуки виолончели. Они взмывали ввысь и падали обратно. словно она пыталась петь и не могла.

Она положила к себе на колени две разбитые головы — русского и мою.

Когда я собрался уходить, фрау Бирте спросила, приду ли я еще.

— Возможно.

— Мой муж будет отсутствовать до следующего четверга, — скромно проговорила она.

Я был схлынувшей волной. Схлынувшей далеко в море. Я смотрел на оставшуюся после меня пену. Из высокого окна падал серый свет. Лицо фрау Бирте было белое как бумага. Я сам себе казался чужим.

Уже наступил новый день.

# КНИГА ПЕРВАЯ

## ГЛАВА 1

*Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.*

*Книга Екклесиаста, или Проповедника,  
1:18*

Мальчик стоял во дворе, глаза у него были безумные. Он что-то кричал. Был в бешенстве. Сперва люди удивленно подняли головы. В хлеве и на кухне. В доме, где жили работники, и в дворовых постройках. Кажется, знакомый голос?..

Первой прибежала Стине. Она же первая и растолковала слова Вениамина. Вскоре там собрались все, кто мог ходить или ползать. Даже матушка Карен и Иаков, вырвавшись из пут старых саванов и давно забытых событий, стояли вместе со всеми. Но они молчали, ибо не имели права голоса.

— Ружье выстрелило русскому в голову! В голову!..

На холмах и горных вершинах эхо повторило эти слова, словно хотело о чем-то предупредить мальчика, успокоить. Заставить замолчать. Но он все повторял и повторял эти слова, безудержно и отчаянно. Пока Стине не обхватила его руками и не прижала к себе.

Теперь об этом знали уже все. Вениамин бежал перед мужчинами, показывая дорогу. Кричал, объяснял и плакал. Русский вдруг скрылся от них за деревьями. Сам он поднялся на скалу, чтобы посмотреть, где тот спрятался. Тут он услышал выстрел. И увидел русского в вереске. Там же валялось и ружье. Дина попросила — его сбегать в усадьбу за помощью. Но помочь русскому было уже невозможно. В голове у него зияла большая дыра.

\* \* \*

Рахиль из Ветхого Завета назвала сына, стоившего ей жизни, Бенони, что означает Сын Боли. Однако старый патриарх Иаков поступил по-

своему и дал ему имя Вениамин — Сын Счастья.

Никто никогда так и не узнал, что имела в виду Дина Грэнэльв, назвав сына Вениамином. И никто никогда не узнал, что думал об этом Иаков Грэнэльв, который в церковных книгах значился отцом ребенка. Но все видели, что у этого сильного невысокого подростка глаза старика и что в глубоких морщинах на его лбу можно посадить два ведра картошки.

У него была хорошая голова, и трудно бывало тому, кому приходилось отвечать на его непростые вопросы обо всем, что происходит на земле, под водой и в потусторонней жизни.

Его вскормила и воспитала лопарская девушка Стине, которую за ее образ жизни и колдовские чары следовало бы покарать смертью. Однако вины мальчика в этом не было. Как и в том, что его властолюбивую мать больше боялись, нежели любили. Ее способность служить мамоне и извлекать из всего выгоду была беспредельна. Люди недолюбливали его мать за то, что ее прозрачный, как вода, взгляд заставлял их пресмыкаться перед ней. Если погода была ясная и мать находилась в море, глаза ее приобретали мягкий зеленоватый оттенок. Когда же небеса хмурились, зрачки матери промерзали до самого дна.

Однажды поздней осенью, когда Вениамину уже стукнуло одиннадцать, он понял, что потусторонние силы противодействуют ему и что ни на одного человека на земле нельзя положиться. До того дня, как вереск в Эйдете окрасился красной человеческой кровью, Вениамин верил, что людей, по крайней мере его, кто-то охраняет. Теперь же он знал: все может случиться. Все без исключения! И было ясно, что истина открыта только ему.

Он словно смотрел через увеличительное стекло матушки Карен. Будь то буквы в Библии или раздавленный Ханной жучок. Все было так же близко и так же явственно. И так же не похоже на себя. От этого прозрения он становился беспокойным, как воробей.

Вереск и без крови был уже красный. Ведь стояла осень. А человек, что неподвижно лежал на земле, успел украсть у него Дину. Поэтому Вениамин не горевал о нем. И каким бы ненастоящим все ни казалось, жить с этим в общем-то было бы можно...

Нельзя было вынести только того, что там была Дина.

Чтобы исправить это, Вениамин, не говоря прямо, дал им понять, что русский сам выстрелил себе в голову.

Дине пришлось бодрствовать над покойником. Сперва в горах, где мог объявиться медведь, привлеченный запахом крови. В лицо ей дул слабый осенний ветер, в затылок светило неяркое низкое солнце. Но оно не

согревало ее.

Бодрствование продолжалось и дома, в Рейнснесе, при открытых окнах, завешенных простынями. При колеблющемся огне оплывших восковых свечей. Мужчины с трудом подняли большого тяжелого русского и внесли его в залу. Так распорядилась она.

Дина нарушила все законы приличия — она сама обмыла и обрядила покойника. Словно когда-то вступила с ним в брак и знала все тайны его тела. Сперва она выпроводила служанок, которые еле держались на ногах от этого страшного зрелища. Потом коротким кивком приказала уйти Фоме и работнику.

Оставшись одна, она накрыла верхнюю часть головы Лео чистыми тряпками и туго забинтовала ее. Нижняя часть лица не пострадала. Рот был приоткрыт, словно от удивления. Изящно очерченные губы были синие и спокойные. Наконец-то они успокоились.

Лео Жуковского положили в подобающий его положению гроб и похоронили возле каменной церкви. И это несмотря на то, что он не был протестантом, а был шпионом, католиком и чужаком, если не хуже.

Похороны были пышные. Люди считали, что Дине Грэнэльв следовало бы устроить все поскромнее. Неприличным сочли и то, что человека, который, как всем было известно, умер от собственной руки, хоронил сам пробст.

Но пробст выполнил все обязанности потому, что Дина Грэнэльв подчинялась только своим законам и сама решала, что прилично, а что — нет. У нее было достаточно средств, чтобы следовать этим законам.

А первые ночные заморозки кололи своими иглами всех одинаково.

## ГЛАВА 2

— Как я понимаю, теперь она целый год просидит у себя в зале, — заметила Олине на другой день после похорон.

Полдень уже миновал, а Дина еще не показывалась.

Ни Стине, ни две горничные не посмели высказаться по этому поводу. Занимать ту либо другую сторону было одинаково опасно.

— Бог свидетель, теперь на нее трудно полагаться!.. Теа! Эта кастрюля плохо отмыта! Ты забыла залить ее холодной водой!

Теа искоса глянула на Олине, но промолчала. Взяла кастрюлю и унесла в сени, где стояла бочка с холодной водой.

— Как я понимаю, теперь она месяцами будет ходить по ночам. — Олине со свистом выпустила воздух через уголки губ. Казалось, будто штормовой ветер пытается проникнуть под черепицы и оторвать их.

По-прежнему никто не отозвался. Стине продолжала складывать салфетки, которыми накрывались блюда с бутербродами.

Стине черпала силы из тайного источника. Не из того, который обычно питает женщин, обреченных годами хлопотать по дому. Ее силы походили на широкие реки. Поток их был одинаково ровен. Он всегда несся мимо, не иссякал и не замедлял своего течения. Все, кто видел Стине за работой, лучше понимали неумолимое движение планет. Ее работа всегда была больше ее самой.

— Она ночью спускалась в погреб! Я слышала. А потом просто бросила ключи на стол. Их мог взять кто угодно! У нее наверху вдоль стен стоят пустые бутылки. Но берегитесь, если вы об этом скажете хотя бы слово за пределами дома! Вам это ясно? — угрожающе спросила Олине.

Неожиданно ее полное тело перегнулось пополам. Она стала похожа на замерзший спальный мешок, который повесили, чтобы проветрить. Олине упала на ящик с торфом и закрыла лицо не совсем чистым передником.

— Несчастные! Несчастные люди! — причитала она из-под передника. — Что их ждет? Что их ждет?

Женщины не поняли, над кем она причитает — над русским или над Диной. Но спросить не осмелились.

Дина спустилась из залы к вечеру. Несколько раз прошла по комнатам. Иногда она останавливалась и брала в руки то одну вещь, то другую.

Потом пришла на кухню и сама взяла себе поесть. Ела, стоя у кухонного стола. Выпила из ковша воды, которую зачерпнула в бочке,

стоявшей в сенях. Вид у нее был озабоченный, словно какие-то цифры, которые она считала в уме, никак не сходились. Между бровями и в углах рта лежали глубокие морщины. Но волосы в виде исключения были причесаны и свернуты узлом на затылке. Глаза покраснели, как у человека, попавшего в песчаную бурю. Она удивлялась и даже как-то смущалась, встречаясь с кем-нибудь глазами. Точно не узнавала никого или вдруг обнаруживала, что находится совсем не там, где предполагала.

Однако все вздохнули с облегчением уже потому, что Дина появилась внизу и отвечала всем, кто с ней заговаривал.

\* \* \*

Андерс был в Страндстедете, когда это случилось. Он вернулся вечером и застал покойника уже в зале.

Конечно, он испытал скорбь. Но ему было трудно поверить в случившееся. После того как покойника вынесли из дома и опустили в могилу, он сделался Андерсу почти другом.

Потому что был мертв?

\* \* \*

У Андерса всегда было полно дел. Теперь же их стало еще больше. На причалах. На шхуне «Матушка Карен». Но только не в усадьбе.

За обеденным столом они с Диной сидели друг против друга. Он держался как дальний родственник и вежливо передавал очередное блюдо или солонку. Андерс знал свое место.

Он не позволял себе обращать на это внимания. Но понемногу это копилось. Словно тончайший слой пыли на лице. И не смывалось по субботам, когда все мылись в бане. Многолетние наслоения все той же пыли — знать свое место!

Андерсу казалось, что он сидит за одним столом с призраками. Но он не уходил. Накладывал себе на тарелку. Ел. Позволял ухаживать за собой. Произносил обычные фразы. А иногда получал и дружеский ответ, что его удивляло. Случалось, его охватывало волнение, когда они с Диной оставались в столовой одни в ожидании супа или десерта и им нечем было занять свои руки. Тогда Андерс начинал вдруг рассказывать последние новости, услышанные в лавке или в Страндстедете. Дина обычно смотрела на него с выражением равнодушной симпатии. И тем не менее с каждым днем в нем росло чувство, что она его не видит.

Вначале Вениамин сидел между ними тихо, как мышка. По распоряжению Дины он ел теперь вместе с ними. Но через некоторое время

он вернулся к выскобленному добела столу Стине. По будням там не пользовались скатертью. Зато там можно было и есть, и дышать.

Вениамин спал в доме у Стине и Фомы. На тринадцатый день после похорон, в три часа пополуночи, низкий властный голос русского позвал его туда, где стояла кровать с пологом. В ночной рубашке и с увеличительным стеклом матушки Карен, висевшим у него на шее, Вениамин выбрался из теплой постели и покинул дом Стине.

Замерзшая трава и обледеневшая галька кололи босые ноги, как осколки стекла. Вениамину было жарко, хотя ночь была такая холодная, что изо рта шел пар. В большом доме светились только два окна в зале. Желтоватый свет поведал Вениамину, что у Дины горят восковые свечи. Когда-то он так же стоял на дворе и смотрел на Динины окна. И даже пытался проникнуть к ней. Но это было уже давно. Теперь он большой. А большие мальчики не бегают в постель к маме...

Было темно. Но Вениамин различал дом. Колодец посреди двора. Деревья, клонившиеся к земле. Тяжелые от замерзшей росы листья тихонько перебирал ветер. В ушах у Вениамина опять зазвучал знакомый хрупкий звон. Несколько деревьев стояли полуобнаженные, похожие на пугала, с которых содрали одежду.

Вениамин не знал, откуда вдруг появился свет, что упал на изломанные стебли у его ног. Свет передвигался. Стоило Вениамину шагнуть вперед, и свет тоже двигался вперед. Если Вениамин делал шаг в сторону, свет тоже сдвигался в сторону. Наверное, это потусторонние силы показывали ему дорогу.

Голос русского слышался и близко, и далеко. Он чего-то требовал от Вениамина, но Вениамин не хотел его слушать. Поэтому он пытался на ходу думать о чем-нибудь приятном.

Резьба на входной двери представилась ему в виде головы дракона с оскаленной пастью. Обычные мысли превратились в камни, которые ворочал голос русского. Вениамин открыл дверь. Дом был раковиной, миражем.

Когда-то было решено, что Вениамин должен спать у Стине. Ему не хотелось вспоминать, почему они так решили.

Однако к сегодняшней ночи это решение не имело ни малейшего отношения. Вениамин держался за кованую ручку двери, которую мороз превратил в острое лезвие косы.

Наконец он вошел внутрь. Теперь голос русского звучал гораздо спокойнее. Как будто тот понял, что все делается по его желанию. Запахи здесь были совсем другие. В этом доме пряный запах Стине ощущался не

так явственно. Все запахи здесь теснили друг друга и дрались за место. Некоторые из них казались Вениамину старыми, забытыми мыслями. Другие он легко узнавал. Запах золы, сигар, книг и розовой воды. Все они сталкивались друг с другом в коридорах. Прятались в овчинных тулупах и шляпах, висевших под лестницей. Стены пахли людьми, жившими здесь сто лет назад. Вениамин знал их по историям, которые о них рассказывали.

Скрипело все, чего бы он ни коснулся. Звуки окружали его как частокол. Из каждой черной овальной рамы, висевшей на стенах лестницы, на Вениамина смотрела самое малое пара глаз. Из всех сразу. Ему было безразлично, кто они, хотя имена их были ему известны. Глаза, как фосфорические огоньки, злобно светились в темноте. Он не смел отвернуться от них. Тогда бы они подожгли его и он еще на нижней ступеньке лестницы превратился бы в горящую бабочку.

Почти не разжимая губ, он читал молитву матушки Карен и — ступенька за ступенькой — поднимался по лестнице.

— Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя... И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим...

Дверь в залу чуть-чуть скрипнула. Пламя свечей в высоком подсвечнике у кровати заколебалось от сквозняка. С кровати доносился голос русского. Здесь, в зале! Здесь гремели громы и сверкали молнии, как при появлении Зверя из Откровения Иоанна. Вениамин видел по Дине, что и она тоже их слышит. Она приподнялась на подушках. Черная волна на белом поле.

Несколько раз она открыла и закрыла рот. Он подошел поближе и положил ее под увеличительное стекло матушки Карен. Ноздри у нее были синеватые, белки глаз налились кровью. Она напоминала плохо раскрашенную восковую куклу. Вениамин выждал мгновение. Потом его начало трясти.

— Я пришел... Русский так страшно кричал на меня... — прошептал он, неуверенно шагнув от стула к кровати.

Светлые глаза Дины строго смотрели на него, но он понял, что она его не прогонит.

Пододеяльник зашуршал, как увядшие осенние листья, когда она откинула перину, давая ему место рядом с собой. Как только он ощутил тепло ее тела, русский умолк. Простыни мягко прильнули к коже. И наступил мир.

— Он недобрый, — проговорил Вениамин через некоторое время.

— Тс-с, — прошептала она в его волосы. — Тс-с, тс-с...

— Почему он зовет меня по ночам? — Вениамин не сдавался.

— Не знаю.

— Но он будит и пугает меня.

— Так бывает.

— Но почему, Дина? Почему?

— Этого не знает никто.

— Что нам с ним делать?

— Ничего, Вениамин. Ничего.

— А если он ночью позовет кого-нибудь еще? И все им расскажет?

— Он ничего никому не расскажет. — Дина подоткнула вокруг него перину. — Он обрел покой.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, и все.

Вениамин перестал сопротивляться. Он чувствовал, как его окутало тепло и аромат ее тела. Цыпленок под крылом у наседки. У Олине было свое название тому, что он сейчас испытывал, — «блаженство». Ему не хотелось думать о том, почему он так несчастлив. Не хотелось задаваться вопросом, когда последний раз он лежал рядом с Диной. Да и лежал ли когда-нибудь. Все мысли как будто испарились.

Вениамин заснул, уткнувшись лицом Дине под мышку и засунув колени между ее ног. Руки его заблудились в ее рубашке и блуждали, пока не нашли впадинку между грудями. Ее тепло было словно мед и ласка после пронизывающего холода. Если б эта ночь могла длиться вечно!

Однако ночи не бывают вечными. Уже под утро день начал показывать свои когти, как будто грозил стать последним.

Стине повсюду искала Вениамина. Ханну тоже отправили на поиски, а следом за ней и всех остальных обитателей усадьбы. Никому не пришло в голову, что он может спать в зале у Дины. В этом месте пропавших вещей не искали.

Но громкие крики людей долетели до залы. И пробуждение обернулось позором. Вениамин сполз с кровати и хотел бежать вниз. Однако Дина удержала его и вернула на место:

— Подожди, Вениамин!

Сперва он сердито смотрел на нее. Потом опустил глаза. Рубашка на груди у нее раскрылась. Такой он Дину еще не видел. Это была чужая женщина со вздувшимися синими жилами и складками в углах рта.

Вениамин заплакал.

Она толкнула его в постель. Мягко. Неуклюже. Как самка, которая вдруг обнаружила, что ее детеныш вот-вот вывалится из логова. Потом

встала, надела халат и вышла в коридор. Он слышал, как она кого-то зовет. Снизу донесся громкий и встревоженный голос Олине.

— Вениамин у меня! — крикнула Дина вниз. Теплое эхо пронеслось над его головой и сладко согрело: «Вениамин у меня... Вениамин у меня...» Он плакал, потому что не знал, сможет ли продлить этот миг. И еще потому, что ему было стыдно.

Дина вернулась в залу и подошла к кровати. Протянула ему носовой платок, потрепала по волосам. Он не смел смотреть ей в глаза. Ее пальцы сжали его руку. Он ответил на пожатие.

— Я пришел потому, что он кричал слишком громко, — объяснил Вениамин.

— Я понимаю.

— Вообще я не бегаю по ночам от страха. Но он так ужасно кричал, — упрямо повторил он.

Взгляд Дины. Почему она так смотрит на него?

— Теперь я уже не боюсь спать один! — в отчаянии сказал он.

Она не ответила. Стояла как прежде.

— Почему ты не разговариваешь со мной, Дина? — рассердился он и впился ногтями ей в ладонь.

— Ты слишком шумишь, Вениамин, — наконец проговорила она.

— Но не так же, как русский!

— Кто тебе сказал, что стыдно бояться своих снов?

— Никто. — Вениамин растерялся.

Он сидел среди подушек, опустив голову.

— Только дураки ничего не боятся, у них просто не хватает на это ума! — твердо сказала Дина и освободилась от его руки. Потом она поставила перед умывальником ширму и занялась своим туалетом.

По комнате поплыл запах душистого мыла, и Вениамин, вздрогнув, подумал, что она моется холодной водой. Он лежал совершенно неподвижно, поворачивались только его зрачки, следя, как Динина рука берет с табуретки, стоявшей рядом с ширмой, одну вещь за другой. Наконец она вышла из-за ширмы, пристегивая к блузке брошку Ертруд. Глаза ее были прикованы к брошке, пальцы двигались уверенно.

Он знал, что запомнит эту Дину, стоящую перед ширмой с изображением Леды и лебедя и прикалывающую брошку между грудями.

— Почему ты сказала, что только дураки ничего не боятся? Разве ты боишься?

Дина повернулась перед овальным зеркалом, проверяя, как сидит юбка, потом ответила:

— Конечно.

— Когда?

— Постоянно.

— Чего?

— Того, чего нет. Того, что я не сделала или не сделаю.

— Как это?

— Мне следовало куда-нибудь уехать... Туда, где хороший учитель научил бы меня играть на виолончели.

Она остановилась посреди комнаты. Как будто собственные слова удивили ее.

Вениамин вздрогнул и насторожился, словно она подняла руку для удара.

— Ты меня обманываешь! Ты умеешь играть! — быстро сказал он.

— Нет. — Она подошла к кровати и встряхнула его. — Вставай, соня!

Слезы обожгли ему глаза. Это было унижительно.

— Ну? — весело сказала Дина. — Кажется, ты явился ко мне без штанов и рубашки?

Он кивнул, его охватил мучительный стыд оттого, что в доме, где он спал, не оказалось его штанов. Он даже заплакал.

Дина вышла из комнаты.

Когда она вернулась с его одеждой, он уже принял решение.

— Можно я и сегодня буду спать с тобой? — быстро спросил он, слова спотыкались друг о друга.

Она протянула ему одежду и отвернулась.

— Нет, но ты можешь спать в южной комнате. — А я хочу здесь!

— Нет. У тебя должна быть своя комната.

— Почему?

— Тебе уже одиннадцать лет.

— Плевать я на это хотел!

— А я — нет!

— Я могу спать в чулане. — Он кивнул на большой чулан, где хранилась одежда и еще стояла кушетка Иакова.

— Нет.

— Потому что все говорят, будто Иаков спал там, когда ты на него сердилась?

— Кто это говорит?

Он увидел ее глаза и быстро одумался:

— Не помню!

— Не повторяй чужих слов, тем более если не помнишь, от кого ты их

слышал.

— Хорошо. Но Иаков умер, ему больше не нужно то место.

Стало тихо. Почему вдруг стало так тихо?

— Ты однажды сказала, что в доме Стине нет привидений. Хотя там и повесился Нильс, — задыхаясь, скороговоркой проговорил он.

— Да.

— Значит, и в чулане нет Иакова!

— Конечно нет. Но и покойникам тоже требуется место.

— А русский? Он в чулане? — шепотом спросил Вениамин и спустил с кровати худые ноги.

Дина, не отвечая, стала поправлять перину и простыни.

— Я не займу много места, — с мольбой сказал он. Дина хлопнула его по плечу.

— Ты занимаешь гораздо больше места, чем думаешь, — сказала она. — Можешь спать в южной комнате. Если случится, что ты не сможешь заснуть, я разрешаю тебе прийти и разбудить меня. Мы сыграем партию в шахматы.

— Я не умею играть в шахматы, — буркнул он.

— Ты хорошо соображаешь, я тебя научу. — Она сказала это так мягко, что он понял: разговор окончен.

— Только не уезжай! — быстро проговорил он; слова так спешили, что наступали друг другу на пятки.

— Разве я сказала, что собираюсь уехать?

— Ты сказала, что боишься... Что тебе следовало...

— Ах вон оно что!

— Ты не уедешь! И ты ничего не боишься! Правда, Дина? Или боишься?

Она замерла над кроватью с подушкой в руках. Потом медленно повернулась к нему:

— Не думай об этом, Вениамин. Обещаю, что предупрежу тебя, если чего-нибудь испугаюсь.

Он не знал, что обычно дети не ведут таких разговоров с матерями. Но догадывался об этом. И потому ничего не сказал Стине с Фомой, когда вернулся к ним.

Стине ни словом не обмолвилась о его ночном исчезновении, но Фома не сдержался:

— Как я понимаю, ты ночью сбежал к мамочке! Вениамин склонился над тарелкой с кашей и не поднимал глаз.

Ханна, предчувствуя бурю, переводила взгляд с одного на другого.

— Я снова перееду в большой дом, — сказал Вениамин, набравшись храбрости.

— Не долго счастьем длиться, она не захочет... — Фома замолчал, но и этого было достаточно.

— Тебя это не касается! — прошептал Вениамин и бросил ложку так, что каша полетела во все стороны. Лицо у него исказилось. Он пулей вылетел в другую комнату, и они услышали, как он там буйствует.

Фома растерялся, поэтому он пошел туда и схватил Вениамина за ухо — мальчика следовало научить повиновению.

— Отпусти меня!

— Я тебя научу, как вести себя за столом! — процедил Фома сквозь зубы и встряхнул Вениамина.

— Сам научись вести себя за столом! Говоришь о том, чего не знаешь!

— А что прикажешь делать с тобой, если ты дерзишь и шумишь на всю усадьбу? Кто будет тебя воспитывать?

— Ты мне не отец!

Фома отпустил Вениамина. Его рука так и повисла в воздухе.

Вениамин долго, мигая, смотрел на закрывшуюся за Фомой дверь. Он остался один. Почему-то ему было трудно думать. На некрашенных деревянных панелях было много сучков. Он сосчитал их от одного угла до другого. Для этого ему пришлось повернуться. И пошевелить ногами. Вот это и было самое главное — пошевелить ногами.

Мир за оконным стеклом выглядел неприветливо черным.

## ГЛАВА 3

Ленсман <sup>[4]</sup> должен был сообщить властям о трагической гибели русского. После рассказа Вениамина о том, как все случилось, отпала необходимость вести расследование. Но ленсман хотел посоветоваться с Диной, куда отправить вещи русского. Он был достаточно умен и сообразил, что у этой истории есть своя темная сторона. Однако решил: если кто-нибудь узнает об этом, дело запутается еще больше.

Нечаянный выстрел вполне мог сойти и за самоубийство. И поскольку у русского здесь не было близких, которые потребовали бы расследования, ленсман решил: пусть предположения так и останутся предположениями. Если смерть русского как-то связана со шпионажем и большой политикой, копание в этом деле вызовет нежелательные отклики. Отношения же русского с его дочерью Диной никого не касаются. Возможно, ноша господина Лео после разоблачения и тюрьмы оказалась для него непосильной, но она не станет легче, если сделается достоянием общественности.

Эта смерть не оставила ленсмана равнодушным. Ему нравился русский. У ленсмана даже теплилась слабая надежда, что русский мог бы обуздать Дину, хотя, судя по всему, ему было нечего добавить к ее состоянию. Ленсман был готов даже забыть о том, что русский сидел в тюрьме. Однако теперь думать об этом было уже поздно.

\* \* \*

Подчеркнуто спокойный, ленсман немного выждал и постучал в дверь залы, чтобы поговорить с Диной.

Она приняла его не как отца, приехавшего к ней в гости, а как представителя власти. Во время беседы она не проявила ни сердечности, ни неприязни.

Ленсман запутался в собственном вступлении и не знал, как его закончить. Дине пришлось помочь ему перейти к делу.

— Не больно-то много вещей было у него с собой, — сказала она. — Только одежда да книги. Да еще серебряный нож. Насколько я знаю, близких у него нет. Так что бессмысленно посылать все это в Россию. — Все должно быть по закону. Дина пожала плечами.

Ленсману всегда было не по себе, когда он попадал в залу. Какой бы красивой эта комната ни была, ему не нравилось, что Дина пользуется

своей спальней для деловых встреч и разговоров. К чему смешивать кровать под пологом и музыкальные инструменты с серьезными решениями и важными сделками? Он почувствовал это еще в тот раз, когда поднялся в залу, чтобы заставить Дину поехать на похороны Иакова. Он уже давно раскаялся в том поступке. Ему даже захотелось сказать ей об этом. Однако не получилось. Он кашлянул и сказал:

— Что же все-таки там произошло? Почему ружье выстрелило?

Дина подняла голову. Словно прислушивалась к какому-то дальнему звуку.

— Ты хочешь, чтобы я сказала, будто сама застрелила его? — немного удивленно спросила она. Он вздрогнул:

— Такими вещами не шутят. Я только хочу, чтобы в протоколе было написано, как это случилось. Ты думаешь, он намеренно выстрелил в себя?

— Нет. Просто он плохо знал это ружье...

— Ты видела, как он нес ружье на плече? Он что, упал на него?

— Нет.

Ленсман задумчиво кивнул:

— Кажется, Вениамин тоже был там в ту минуту?

— По его словам, нет. Но ты сам знаешь... Дети видят то, что им хочется.

— Значит, ты не знаешь? Вы с ним не говорили об этом?

Дина посмотрела на него и не ответила.

— Ну хорошо. С мальчиком придется поговорить. Можно сейчас позвать его сюда?

— Нет! Я считаю, что его нельзя мучить таким разговором!

— Но это необходимо.

— Ты думаешь, что стрелял Вениамин?

— Нет, сохрани Боже! — воскликнул ленсман, крик его вырвался из самой глубины легких. Он не мог выдержать окутавшую его тишину и должен был нарушить ее.

Вениамин Грэнэльв торжественно предстал перед своим дедом ленсманом, чтобы дать показания, каким образом господин Лео получил пулю в голову. Он сразу понял, что ему придется давать показания, как только увидел подошедший к причалу синий карбас ленсмана.

Дина извинилась и ушла. Она не хочет, чтобы ее ребенка мучили у нее на глазах. С Вениамином она разминулась в дверях.

Создалось трудное положение, и ленсман не мог найти из него выход. Наконец позвали Андерса, чтобы он присутствовал при этом разговоре.

Вскоре они услышали, как Дина проехала верхом через двор. Едва она

свернула с дорожки на мягкую почву, как стук копыт изменился. По этому изменившемуся звуку Вениамин мог точно определить, где она сейчас едет. Эхо, вернувшееся с гор, тоже помогало ему. Горы звали ее к себе.

Так он подумал. И эта мысль поразила его.

\* \* \*

Увидев, как Вениамин напуган, Андерс захотел посадить его к себе на колени. Однако решил, что Вениамин и без того чувствует себя униженным. Поэтому он просто положил руку ему на плечо и отчетливо повторял то, что шепотом произносил мальчик.

— Выстрел был очень громкий, — сказал Вениамин; он весь покрылся испариной, но не мог даже вытереть лицо, потому что его руки и ноги бессильно висели под столом.

— Понимаю. — Ленсман был явно смущен. — А где ты был в это время?

— Не знаю. Я выбежал... И вот...

— Что «и вот»?

— И вот он лежал там. И вокруг все было красное.

Вениамин положил обе руки на стол и опустил на них голову. От дерева пахло воском. Он так и подумал: от дерева пахнет воском. Это была самая обычная мысль.

— Ты с матерью не ссорился?

— Нет, — тихо шепнул он, не поднимая головы.

— Где она была, когда это случилось?

— Точно не знаю... Она стояла в кустах...

— А ты?

— Я прибежал...

— Почему ты прибежал?

— Выстрел! Как ты не понимаешь...

— Подними голову со стола, а то я не слышу, что ты говоришь. Кто с кем был в это время?

— Никто... Ни с кем...

Вениамин медленно поднял голову. Снял со стола руки. И все взмыло в воздух. Он видел себя парящим перед большими серьезными глазами ленсмана. Но это ничего не изменило. Потому что наконец-то он нашел объяснение всему:

— Никто ни с кем не был вместе. Мы все были по отдельности. Я собирал ягоды. — Вениамин с торжеством швырнул в комнату эти слова.

Все молчали. Он тщательно продумал свои слова и повторил их еще

раз. Они звучали убедительно.

Ленсман вздохнул. Он выполнил свой долг. И с большим старанием заполнил документы. В них говорилось, что Лео Жуковский, подданный Российской империи, проезжая через Нурланд, погиб по собственной неосторожности от нечаянного выстрела в уезде ленсмана Ларса Холма. Жуковский был на охоте, и никого во время этого нечаянного выстрела рядом с ним не было. Дина Грэнэльв и ее малолетний сын Вениамин услышали выстрел и немедленно бросились к пострадавшему. Но спасти ему жизнь было уже невозможно.

Ленсман прочитал протокол вслух. Голос его дрогнул, когда он читал: «...но спасти ему жизнь было уже невозможно».

Андерс незаметно кивнул. Все было кончено.

Только тогда Вениамин понял, что обмочился.

Он последним вышел из залы и улизнул в свою комнату, чтобы переодеться.

После полудня, когда карбас ленсмана уже отошел от берега, у Андерса возникло чувство, будто он участвовал в каком-то постыдном деле. Он не знал, как ему загладить свою вину перед Вениамином. Единственное, что ему пришло в голову, — он взял мальчика с собой на рыбалку и выложил перед ним целую гору бурого сахара и жевательного табака.

Вениамин ел сахар и жевал табак, пока его не вырвало. Когда его нутро очистилось, ему, по-видимому, стало легче.

Однако несколько дней Андерс все-таки не спускал с него глаз. Порой у него мелькала мысль, что Дина тоже могла бы заняться Вениамином, как-никак она мать. Раз или два он порывался сказать ей об этом. Только не знал, с чего начать.

Так все и шло.

Дининогo русского больше не существовало. И как ни странно, Андерс чувствовал себя соучастником преступления. Да, русский был ему не по душе. Он вызывал в Андерсе восхищение и зависть. Этот человек не терял времени даром. Ковал железо, пока горячо. Но он завоевал Дину. Вот единственное, что Андерсу не нравилось. И все-таки он считал, что лучше бы его вообще не существовало.

Теперь он исчез из их жизни.

\* \* \*

Перетащив в большой дом свою перину, ракушки, увеличительное стекло матушки Карен и письменные принадлежности, Вениамин первым делом обследовал и обнюхал все комнаты. Он должен был заново

познакомиться со всеми запахами и снова почувствовать себя здесь дома. На это ушло несколько дней. Он часами сидел в комнате матушки Карен. Смотрел на портрет Иакова, на его зазорные усы и красивое лицо. Казалось, Иаков всегда скрывает улыбку.

В овальном зеркале, висевшем над комодом, он подолгу разглядывал свое отражение, пытаясь найти сходство с Иаковом. Но вскоре отказался от этих попыток и решил поискать сходства, когда у него вырастет борода.

\* \* \*

Олине была очень довольна.

— Ребенок вернулся домой, — говорила она всем, кто выражал желание слушать ее. — Все-таки он не сын арендатора, а единственный наследник Рейнснеса!

Стине молчала. Но ежедневно приносила разные мелочи, которые Вениамин забыл у нее. Или же давала ему всякие поручения. И это безгранично раздражало Олине.

— Вениамин не работник! — прошипела она однажды, когда Стине попросила Вениамина помочь сделать уборку в погребе.

— Конечно, — ответила Стине. — Но он сильный и проворный мальчик. А Ханна нерадивая и слабая.

Олине, желая защитить статус Витамина, разразилась потоком жестких слов. Дина проходила мимо неплотно прикрытых дверей кухни, когда Олине сказала:

— Можешь отправляться к себе и делать там что угодно, но без помощи Вениамина! С ним слишком долго обращались как с мальчишкой из конюшни.

Дина вошла на кухню. Олине замолчала и отвернулась к столу. Большая деревянная ложка жадно зачавкала в рыбном фарше. Новая чугунная плита раскалилась докрасна, и первые котлеты шипели на сковороде. Аромат рыбных котлет со слабой примесью муската уже забрался во все углы.

— Вениамину невредно время от времени исполнять какие-нибудь поручения, — сказала Дина.

Олине грозно молчала.

— Вениамин плохо спит по ночам. Ему снятся кошмары. Ничего не случится, если он и разбудит меня: я тоже плохо сплю. Поэтому он и переселился в южную комнату. Но иногда поработать ему только полезно.

— Я не хотела ссориться, — сказала Стине.

— Ты никогда не ссоришься, — заметила Дина. — А у Олине и так

слишком много дел, чтобы заботиться еще и о Вениамине!

— Но ведь это не правильно! — воскликнула Олине. — Не правильно, чтобы господский сын в своей родной усадьбе жил, можно сказать, в людской и исполнял работу, от которой все другие отказываются!

Собственная смелость взволновала Олине, и она, чтобы подчеркнуть свое достоинство, вытянула губы, словно дула в почтовый рожок.

— Господ в мире достаточно и без Вениамина, — бросила Дина. — Вениамин и так знает, кто он. Не хватало, чтобы он боялся испачкать руки черной работой!

Олине проглотила ее слова и поклялась больше никогда не открывать рта.

В тот вечер она не нарушила своей клятвы.

\* \* \*

Сначала Вениамин думал, что теперь он будет обеспечен и лакомым кусочком от Олине, и вниманием Стине, и близостью Дины. Но все оказалось не так просто. Поддерживать добрые отношения сразу с тремя главными женщинами усадьбы было так же трудно, как балансировать на проволоке, натянутой для сушки сена от стены хлева до сеновала. Он часто падал, набивая синяки и получая царапины.

Иногда ему все надоедало. Или русский начинал кричать даже днем. Тогда Вениамин шел на причал к Андерсу. Андерс ни о чем не спрашивал и ничего ни за кого не решал. Его можно было спросить о чем угодно и получить дельный ответ. Он ни с кем не был в родстве, у него не было ни жены, ни детей, и он не дружил с пробстом. У него было свое постоянное место за обеденным столом Дины, он командовал ее судами и вел ее бергенскую торговлю. Бот и все. Никто не мог бы запретить Андерсу уехать, если б он того захотел, или, наоборот, остаться. Никому не пришло бы в голову заставлять Андерса наводить порядок в погребе. Поэтому он так легко улыбался.

Однажды Вениамин спросил у Андерса, как тот попал в Рейнснес. И Андерс ответил ему, не вынимая изо рта трубки, при этом его выступающая вперед нижняя губа странно изогнулась в улыбке:

— Из-за кораблекрушения! Кораблекрушения занимают важное место в жизни людей. От них зависит и жизнь, и смерть. После кораблекрушений люди часто попадают в новое место... И это истинная правда. Я, например, попал в Рейнснес.

— Ты потерпел кораблекрушение?

— Кораблекрушение потерпели мои покойные родители. Я тогда был

еще ребенком.

И он рассказал о первой жене Иакова, Ингеборг, которая взяла на себя заботу об Андерсе и его брате Нильсе. Эта история произвела на Вениамина такое сильное впечатление, что он стал здороваться с портретом Ингеборг, когда проходил мимо по коридору.

Блине часто рассказывала ему о родственных связях между всеми бывшими и нынешними обитателями Рейнснеса. Но она пользовалась иными красками, чем Андерс. Вениамину было интересно слушать ее запутанные истории и бесконечные подробности. Эти истории никогда не кончались. Андерс, напротив, рассказывал так, что Вениамину сразу становилась ясна суть дела. Однако, когда Вениамин сопоставлял истории Андерса и Олине, они непостижимым образом совпадали.

Вениамин перестал считать Иакова неудачником, умершим слишком рано, как внушала ему Олине. Иаков был веселый моряк, он сошел на берег и женился сперва на одной женщине, потом — на другой. А когда ему все надоело, он упал с обрыва. И ему неизменно сопутствовали уважение Андерса и любовь Олине.

Вениамину было приятно думать: «Иаков — мой отец».

— А если бы мой отец был жив, он взял бы меня с собой на Лофотены? — спросил он однажды у Андерса, когда они сидели на причале и чинили сети при свете большого фонаря.

— Дело не в этом... Ты и так пойдешь на Лофотены, только подрасти чуток. Отец тут ни при чем. Главное, чтобы ты сам что-то умел. — Андерс искоса глянул на Вениамина.

— А что именно? Что надо уметь?

— А черт его знает. Тут многое требуется, — не сразу ответил Андерс.

Потом он набил трубку и заговорил о своем отце:

— Он умел переворачивать тарелку с горячей кашей так быстро, что масло не успевало соскользнуть с каши. Как сейчас помню!

— Так не бывает!

— А вот у некоторых это получается. Отец не боялся обжечь руки. Да-да... Он утонул...

— А отец Ханны повесился?

— Да. — Андерс спокойно отнесся к этому вопросу.

— Почему так всегда бывает?

— Не всегда. Так кажется, только если смотришь на это из Рейнснеса.

— А ты чей отец?

— По-моему, ничей.

— Ты не знаешь?

— Нет, мужчине трудно за всем уследить. Андерс сплюнул, чтобы скрыть улыбку.

— Почему не ты мой отец? — спросил Вениамин, внимательно глядя на Андерса.

— Об этом ты лучше спроси у Дины.

Андерс перерезал шнур маленьким ножичком, который был прикреплен к кольцу, надетому на палец. Ножичек клюнул шнур, словно острый клюв.

— Женщины сами решают, кто будет отцом их ребенка?

— Не всегда. Но Дина, конечно, решала сама.

— Иаков был очень хороший отец?

— Как сказать... Не знаю, выбрала ли она его только затем, чтобы он был отцом ее ребенка. Дина была слишком молоденькая, когда приехала сюда.

— Зачем же тогда она его выбрала?

Лидере вспотел. И шнур, которым он чинил сеть, кончился.

— Иаков был очень достойный человек. И ему принадлежал Рейнснес. Думаю, что и ленсман хотел, чтобы Иаков стал его зятем. Но точно не знаю. Спроси лучше у Дины...

Вениамин пропустил последние слова мимо ушей как пустую болтовню и спросил:

— А Дина сама хотела выйти за Иакова? — Думаю, да...

— Зачем ей муж, который умер?

— Никто не знал, сколько проживет Иаков. И вообще, может, это ленсман решал, за кого выйдет Дина.

Они помолчали.

— Вот этому я никогда не поверю! — твердо сказал Вениамин.

Андерс невольно улыбнулся:

— Это было так давно.

Вениамин замолчал. Он сидел, перебирая сеть и не замечая, что нашел в ней большую дыру.

— Жаль, что не ты мой отец, — сказал он после долгого раздумья.

— Почему?

— Так мне хотелось бы... Мы бы вместе ходили на Лофотены.

Вениамин в упор смотрел на Андерса. У Андерса почему-то никак не получалось раскурить трубку.

— Как думаешь, я был бы тогда другим? — спросил Вениамин.

Андерс вынул изо рта трубку, долго откашливался и смотрел на Вениамина. Потом медленно покачал головой:

— Нет. Думаю, ты был бы точно такой, как сейчас. Несмотря ни на что.

— Значит, ты все-таки можешь быть моим отцом? Андерс помолчал, потом протянул Вениамину руку:

— Конечно! Если ты считаешь, что тебе нужен именно такой отец, как я. Но пусть лучше это останется между нами, ведь в церковных книгах это не записано.

Они обменялись рукопожатием и серьезно кивнули друг другу.

## ГЛАВА 4

На Рейнснес опустился невидимый гнет. Старые бревна приняли его на себя. Спрятали в своих трещинах. Между вечным дыханием покойников. Между клочками мха и старым тряпьем, что лежало там раньше.

Дом наполнялся людьми и голосами, которые утоляли скорбь. Дина не ходила ночами по зале и не пила в беседке вино, как пророчила Олине. По утрам в доме не находили брошенных ею недокуренных сигар и пустых бутылок. Все было белое и чистое, как выпавший на поля снег.

Иногда Вениамин просыпался от плача русского. А иногда и от своего собственного. Тогда он шел в залу к Дине. Они играли в шахматы, чтобы прогнать страх темноты и то, чего никто не мог исправить.

В этой части дома спали только Андерс, Дина и Вениамин, и потому Андерс слышал все, что происходило ночью. Он часто просыпался от крика Вениамина. Потом слышались шарканье ног и скрип двери. В печку подбрасывались дрова. Из-за этого в комнате Андерса становилось как будто еще холоднее, постель казалась влажной. И ему хотелось уплыть куда-нибудь подальше. Потому что происходившее напоминало ему о том, чего у него никогда не было. Андерс лежал с открытыми глазами и смотрел на черную стену, зная, что те, двое, через коридор, сейчас не спят.

Однажды утром Вениамин не вышел к завтраку. Но кандидат Ангелл, учитель Вениамина и Ханны, сидел за столом.

— По-моему, он просто перепутал день с ночью. Бодрствование по ночам не может быть полезно для занятий, — заметил кандидат.

Дина метнула на него недобрый взгляд:

— У Вениамина бывают кошмары. Мы боремся с ними, играя в шахматы. — Она обеими руками протянула Андерсу хлебницу, хотя он не просил ее об этом. Ее рука скользнула по его запястью.

Андерс не совсем понимал, как ему лучше держаться с Диной. Он уже давно замечал, что глаза у нее красные и в уголках рта залегли глубокие

складки. Он отвел взгляд, оставив в покое ее измученное лицо.

— Ночью было так холодно, что бочка под стрехой промерзла до дна, — небрежно сказал он и передал хлебницу кандидату.

— Дело идет к зиме, — тут же отозвался кандидат, обрадовавшись, что его замечание не вызвало более серьезных последствий.

\* \* \*

Перед Рождеством Ханна едва не утратила навеки расположения Вениамина. Несомненно, из-за русского и Дины. Вениамин уже давно незаметно наблюдал за Ханной. Это давало ему пищу для размышлений. Например, как выглядела бы Ханна, если б она умерла. Или оказалась без головы. Он потихоньку разглядывал Ханну в увеличительное стекло матушки Карен, точно какое-нибудь насекомое. Представить себе Ханну в виде дохлой мухи на подоконнике он не мог. Но в то же время кто знает. Русский тоже был не такой... Его тоже невозможно было представить себе мертвым.

Или тогда ему это просто не приходило в голову? Ведь он был маленький. И мысли у него были обычные.

Однажды они сидели за обеденным столом в столовой. Вениамин наблюдал, как Ханна вырезает из бумаги рождественские ясли. На верхней губе у нее был легкий пушок. Она напоминала кошку. Этот пушок можно было разглядывать в увеличительное стекло, не отвлекая Ханну от работы.

В столовую вошла Дина. Зрачки у Ханны сузились, будто закрылись, и лицо стало мрачным.

Вениамину это не понравилось. Он сразу вспомнил, что ноги у Ханны слишком маленькие и круглые колени немного повернуты внутрь. Так он мысленно наказывал ее, не прикасаясь к ней.

А вот с глазами Ханны дело обстояло труднее. Они были карие, как кофейные зерна, которые свободно плавали в чашке, наполненной молоком. Когда Ханна моргала, они скрывались в лесу черных ресниц. Никто не умел моргать так долго и выразительно, как Ханна.

— Ты не любишь Дину? — через стол спросил Вениамин, когда Дина ушла.

— С чего ты взял? — Ханна заморгала.

— Я вижу, — твердо сказал он и снова начал рассматривать ее сквозь увеличительное стекло.

Из-под ресниц показались кофейные зерна. Они мерцали, глядя на Вениамина. Потом Ханна снова моргнула.

— Если тебе нравится говорить обо всем, что ты видишь, пожалуйста,

говори. — Она не переставала моргать.

Ярость, вызванная ее словами, была способна перевернуть камни. Но на этот раз Вениамин не спешил.

— Ты не любишь Дину, потому что я снова переехал в ее дом, — решительно изрек он.

Ханна надула губки, вырезала крылья для ангела, и только потом выяснилось, что она все-таки слышала его слова. Она вздохнула:

— Переехал? Но все равно ты постоянно торчишь у нас.

— Ты считаешь, что я провожу у вас слишком много времени?

— Нет, но я не понимаю, какое отношение к этому имеет Дина.

— Она моя мать! У кого еще мать умеет скакать верхом и ездила в Берген?

Ханна скорчила гримаску, передразнив его, завязала потуже передник и продолжала заниматься своим делом.

— Вот вырасту и уеду из Рейнснеса! Так и знай! — заявил он.

Вырезая нимб для младенца Христа, Ханна проговорила со вздохом:

— Ты стал таким противным в последнее время! От удивления он раскрыл рот:

— Почему?

— От тебя только и слышишь что Дина да Дина! Дина сказала, Дина считает, Дина сделала... Твоя Дина вовсе не женщина! Она сатана!

— Кто это сказал? — шепотом спросил он.

— Мужики в лавке.

— Ты лжешь! — Он всхлипнул, бросил на стол увеличительное стекло и выбежал из столовой.

В ожидании Вениамина Ханна вырезала руки и ноги младенца. Вениамин не возвращался, и она пошла искать его, даже не накинув платка. Она нашла его на сеновале. Он раскидывал сено, словно собирался один накормить всех коров.

— Оставь сено в покое, — примирительно сказала Ханна.

Тогда он налетел на нее. Толкнул на пыльный пол и вцепился ей в волосы так, что она заплакала.

— Поделом тебе! Сама сатана! — крикнул он и опустился на колени рядом с ней.

Она ударила его по щеке. Обороняясь, он крепко схватил ее за руки и уперся головой ей в живот. По ее дыханию он слышал, что она уже сдалась. Он бы с удовольствием вывалял ее в сене, чтобы она перестала плакать, но ее слезы мешали ему.

Кончилось тем, что он нежно обнял ее. И снова Вениамин разглядывал

и гладил Ханну, нюхал и играл с ней в тайные игры, о которых знали только они. Когда эти игры открылись, им не разрешили больше спать вместе в одной кровати и даже в одной комнате.

В самый разгар игры Вениамин заметил, что все изменилось. Ведь он видел в вереске Дину и русского.

После этого старая игра стала недоброй и постыдной. И вместе с тем ему не хватало решимости сделать с Ханной то, что хотелось. А тот, у кого не хватает решимости, трус.

Вскоре они услышали, что их зовет Стине. Ханна молча оправила платье и убежала. Но он понял, что они опять друзья. Иначе и быть не могло. Вениамин чувствовал, что избежал большой опасности, и стал спокойно чистить лошадь.

То был день необычных встреч. Дина пришла в конюшню за своей лошадью, и, когда Фома через некоторое время тоже зашел туда, он услышал звонкий голос Вениамина, заглушаемый шуршанием скребницы и дыханием лошади.

— Хоть русский и умер, тебе не надо искать себе нового мужа.

Динино голос Фома почти не слышал. Лошадь била копытом. Звуки долетали будто с другого конца света. Он подошел поближе и остановился, словно его пригвоздили к полу конюшни. Плечи у Фомы вдруг налились свинцом.

— Не надо! Мы с тобой и сами справимся, — говорил Вениамин. — Скоро я стану взрослым. По крайней мере конфирмация не за горами. А кроме того, я спросил у Андерса, не может ли он до тех пор быть моим отцом.

— Что?

Дина закашлялась от сенной трухи.

— И он сказал, что может.

— Значит, вы все решили вдвоем, без меня?

— Да. Я не хотел приставать к тебе с этим.

— И что же он будет делать как твой отец?

— Я тоже спросил его об этом. Его отец, например, умел так ловко переворачивать тарелку с кашей, что с нее не успевало стечь масло. Андерс этого не умеет. Но это не важно. Он будет учить меня водить судно, торговать с Бергеном и всякое такое. Это у меня получится. Я могу брать с собой учебники, чтобы не терять времени.

— Конечно можешь.

Они молча седлали лошадь.

— Ты часто думаешь о том, что тебе нужен отец? — услышал снова

Фома голос Дины.

— Да нет, иногда... Не часто...

— А что еще сказал тебе Андерс?

— Андерс! С ним можно разговаривать о чем угодно, как с отцом. Он слушает и тихонько посмеивается. Знаешь, как он любит посмеиваться? Если бы ты в тот раз выбрала мне в отцы Андерса, а не Иакова, твой муж и сейчас был бы жив. Впрочем, тогда ты этого знать не могла, — великодушно заключил он.

— Дело в том, Вениамин, что жениться на мне захотел Иаков, а не Андерс.

— Значит, Андерс в тот раз сваял дурака! Он говорит, что ленсман выбрал тебе в мужья Иакова, потому что Иаков был видный мужчина и владел Рейнснесом.

— Ты только Андерсу ничего не говори о нашем разговоре, — попросила Дина.

— Как же не говорить, если он согласился быть моим отцом!

Фома вдруг опомнился. Он тихонько вышел из конюшни и спустился к лодочным сараям.

## ГЛАВА 5

Наступило Рождество с его суматохой и весельем. Угощения, игры, пунш. Кое-кто еще помнил мелодии, которые пел и под которые плясал русский.

Ленсман со своей семьей гостил у Дины. Мальчики носились по лестнице и хлопали дверями. Олине бранила их, Теа прибирала разбросанные ими вещи и приносила им все, что они просили. Комната Вениамина была завалена мокрыми шерстяными носками и запретными окурками сигар. Чадила игрушечная паровая машина. Пахло потом и сладким какао со сливками. Этот обычный рождественский запах начинался уже на лестнице. Шерстяные хлопья беззаботно летали из одного угла комнаты в другой, подхваченные сквозняком.

В коридоре на втором этаже пришлось поставить сразу три туалетных ведра. На второй день Рождества Теа удивлялась, откуда в людях берется столько мочи. В нынешнем году, по мнению Теа, ее было гораздо больше, чем в прошлом.

Мальчики то ссорились, то мирились, взрослые не вмешивались в их отношения. Теперь они стали старше еще на год. Все стало старше на год.

Никто не придавал значения тому, что уже в первый день Рождества Вениамин тихонько перебрался вниз, в комнату матушки Карен.

Дина мимоходом объяснила, что у него разладился сон. Услыхав это, сыновья ленсмана с удивлением уставились на Вениамина. Сон может разладиться только у стариков. Но на этот раз они его не дразнили. Разладился сон — это звучало даже торжественно. Хуже было то, что Вениамин уклонялся от игр. Он часто сидел в комнате матушки Карен и читал, хотя никто не принуждал его к этому.

\* \* \*

В первый же прилив после Нового года шхуну «Матушка Карен» спустили на воду. Помогать пришли все соседи — и ближние, и дальние. Задержавшиеся после Рождества гости тоже принимали участие в этой шумной работе. Женщины вымыли каюты зеленым мылом и шутили, что в койке Андерса вши оказали им особенно упорное сопротивление. Андерс не остался в долгу:

— Должно быть, их привлекло туда тепло — в этой койке всегда было жарко!

Девушки возмутились дерзким ответом Андерса и воспользовались случаем, чтобы потолкаться с ним.

Дина стояла у открытого окна каюты. Ее появление удивило всех. День был нехолодный, но серый, солнце еще не вернулось, хотя в полдень на юге уже угадывалось его приближение, заставлявшее острова искриться.

Девушки подняли головы, когда Дина позвала Андерса к себе.

Вениамин лежал в шлюпке на животе и ловил плотву среди камней. Он тоже услышал голос Дины. И день показался ему не таким уж серым.

Закончив работу, девушки собрали свои тряпки и ведра и приготовились плыть на берег. Они украдкой поглядывали на каюту, в которой скрылся Андерс.

— Ну как, развлекся? — спросила у него Дина.

— Сам не развлечешься, никто тебя не развлечет, — хохотнул Андерс.

— Я припасла немного рома, чтобы выпить за твою поездку на Лофотены.

— А-а!.. — Андерс сел на одну из коек. Сбоку он наблюдал, как Дина разливает ром в рюмки.

— Кажется, ты не очень рад?

— Просто ты застала меня врасплох. Я не ожидал... Уже очень давно...

— тихо забормотал он.

— Да, много чего случилось за это время.

— Даже слишком много.

— Но теперь стало светлее, уже можно жить! — Дина села рядом с ним и протянула ему рюмку.

На этой самой койке она боролась со смертью, когда в Фолловом море у нее случился выкидыш.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Андерс, вспомнив кровавый сгусток, который он выбросил за борт.

— Что наступают более светлые дни.

— Ясно... — Он ждал продолжения.

— Почему ты на меня так смотришь? — спросила она.

— Потому что не понимаю, чего ты от меня хочешь.

Дина откинула голову. Сейчас она похожа на свою лошадь, когда та ржет, стреноженная в загоне, подумал Андерс.

— Уж и не помню, когда мы с тобой последний раз беседовали наедине...

— Это верно, — согласился он.

Она сидела, взвешивая в руке рюмку.

— Тебя, Андерс, иногда трудно понять.

— Ну это уж слишком... А что, собственно, ты имеешь в виду?

— Ты никогда не говоришь о том, что у тебя перед глазами, — ответила она, поставив рюмку на ладонь и поддерживая ее другой рукой.

— Что же у меня перед глазами?

— Я, например.

— Этот курс не для меня, — буркнул он и смущенно поглядел на нее.

Лодка с девушками шла к берегу, они громко смеялись. Поднятая ею волна плескалась о борт шхуны. Воздух был пряный и соленый. Дина и Андерс остались одни.

В каюте возникла напряженность. Андерс не поднимал глаз.

— Мне хотелось бы, чтобы ты взял на себя заботу о Рейнснесе. Я собираюсь уехать на юг. Когда ты вернешься с Лофотенов, меня здесь, наверное, уже не будет.

Андерс медленно глотнул ром и отставил рюмку на маленький столик, прочно привинченный к настилу каюты. Ему пришлось протянуть руку, чтобы поставить ее.

— И куда же ты доедешь?

— В Копенгаген. А может, и дальше. Я поеду на пароходе...

— Значит, на юг? В Копенгаген? А можно спросить, по какому делу?

— Я не обязана отчитываться, — сухо ответила Дина.

Свет сделался фиолетовым. Динины пальцы беспокойно двигались на коленях. Овальные ногти блестели на фоне темной шерстяной ткани.

— Тебе тяжело? — спросил он.

Она взяла его руку и придвинулась к нему. Кожу Андерса кололи тысячи острых иголок. Он растерялся.

— Мне здесь тесно! Здесь нечем дышать! Понимаешь?

— Понимаю или не понимаю, какая разница... И долго ты намерена отсутствовать?

— Не знаю.

— Что с тобой творится? — спросил он и хотел встать.

Дина наклонилась и схватила его за обе руки. Она была сильная. Ему стало приятно и в то же время тревожно. Дина молчала, он сказал:

— Боюсь, мне все-таки придется задать тебе один вопрос. Что тебя тревожит в Рейнснесе? Тень русского?

— Что ты хочешь этим сказать? — прошептала она.

— Неужели ты так оплакиваешь Лео Жуковского, что вынуждена даже бежать из дому?

— Оплакиваю?

— Все понимали, что в нем ты могла найти нового хозяина Рейнснеса.

В том числе и я.

— Оплакиваю? — повторила Дина, глядя на что-то за окном каюты. — Здесь нечем дышать... Всегда одна и та же морока. Зима, весна, лето. Полевые работы. Люди. Счета.

— И только смерть Лео открыла тебе на это глаза? — тихо спросил он.

— Я понимала это и раньше... И ты бы тоже понял, если б, как я, был навеки осужден на это...

— Я понимаю. Они помолчали.

— Но я не тот человек, который может заменить тебя в Рейнснесе. Я редко бываю дома.

— Мне некого просить, кроме тебя.

— Значит, это серьезно?

— Да!

— Ну а если тебе выйти замуж? Тогда бы ты была уже не одна, — наугад сказал он.

По их лицам скользнула тень — это за окном каюты пролетела чайка.

— Это мне уже предлагали.

— И что же ты ответила?

— Это было очень давно... Я спросила, кого мне прочат.

— И тебе предложили кого-нибудь?

— Да.

— Кого же?

— Тебя, Андерс!

Он вспыхнул. Но заставил себя поднять на нее глаза. Он ждал ее презрительного взгляда. И не дождался.

— О чем только люди не болтают! Я помню эти разговоры, когда ты отписала мне шхуну.

— Может, они были правы, — медленно проговорила Дина.

— Правы? В чем?

— Что мне следовало выйти за тебя замуж.

— Мало ли кто что считает, — сказал он и продолжал, не позволив ей прервать себя:

— А теперь, значит, ты надумала уехать в Копенгаген, потому что здесь нечем дышать?

— А ты принял бы мое предложение? Если б я его тебе сделала?

— Если б ты сделала мне предложение?

Он в растерянности провел руками по волосам.

— Да, если б я предложила тебе жениться на мне.

— Я бы согласился, — просто сказал он. Дина вздохнула.

— И что же тебя больше привлекает: я или Рейнснес? — спросила она.

Он долго смотрел на нее, потом ответил:

— Должен признаться, что из-за Рейнснеса я не взвалил бы на себя такую ношу!

— И как думаешь, чем бы все это у нас кончилось? — спросила она.

— Да уж добром не кончилось бы.

— Почему?

— Ты бы встретила русского. А я сбежал бы в Берген, — честно признался он.

— А если б я не встретила русского?

— Тогда кто знает...

— Но теперь русского уже нет.

— Это для меня его нет, а для тебя...

— Почему ты так думаешь?

— У тебя появились седые волосы, я вижу их даже здесь, в сумраке. Ты не спишь по ночам, и бодрости в тебе не больше, чем в вяленой треске. От тебя остались одни глаза. А теперь к тому же ты хочешь сбежать из дому. Пуститься в дальнее плавание.

Она не могла удержаться от смеха. Они весело, но серьезно смотрели друг на друга.

— А если б я тебя спросила, хочешь ли ты теперь взять меня в жены? — вдруг сказала она.

Он долго размышлял, как можно увязать все это вместе, а потом сказал:

— Если б ты спросила меня об этом, а потом уехала в Копенгаген?

— Если б я спросила тебя об этом, а потом уехала с тобой в Берген.

— Мне пришлось бы ответить тебе «нет», — прошептал он.

— Почему?

— Я не могу жить с женщиной, все мысли которой заняты покойником.

Она ударила его с такой силой, что оба упали на койку. Потом она подняла обе руки и ударила снова. Сперва одной рукой, потом другой. Его рюмка скатилась на пол. По звуку Андерс понял, что она не разбилась. Не успев опомниться, он навалился на Дину всем телом. Покрывшись испариной, он заломил ей руки за спину, и она затихла.

— Вот так-то лучше, — просипел он.

Дина лежала под ним! Он не знал, кого из них бьет дрожь. Может, обоих?

Она не двигалась. Сперва он притворился, что не замечает этого. Ему хотелось продлить мгновение. Потом его руки разжались, он отпустил ее и встал. Пристыженный, не глядя на Дину, он оправил на ней платье.

— Извини меня, — пробормотал он, ощупью добрался до двери и вышел.

Уже на палубе его стало трясти. Дрожь началась с коленей и поднималась все выше. Он хотел заправить рубаху, которая во время борьбы вылезла из штанов, но не смог. Ему пришлось ухватиться за поручни. Прошла целая вечность, прежде чем он смог вздохнуть. Тут он услышал тихий голос Дины:

— Андерс!

Он вскинул голову, не спуская глаз с горных вершин. И снова услышал очень отчетливо:

— Андерс!

Одно мгновение он чуть не бросился обратно в каюту. Но что-то удержало его.

— Все в порядке! — хрипло крикнул он. — Я позабочусь о Рейнснесе!

Потом он спрыгнул за борт и пошел вброд к берегу.

Шлюпка с Вениамином чуть не опрокинулась от течения. Вениамин окликнул Андерса.

Андерс скользил на обледеневших камнях, с трудом передвигал ноги и рвал водоросли, которые пытались затянуть его вниз. Когда он поднимался по аллее к дому, с него бежали потоки воды. Мокрый до нитки, он шел через двор у всех на виду. Целеустремленно, точно морж в брачный период, пыхтя и отплевываясь.

Таким Андерса не видели еще никогда. И дело было не только в том, что ниже пояса он был насквозь мокрый и на сапогах у него болтались зеленые водоросли. Андерс был вне себя. Или его состояние можно было назвать иначе?

Впервые в жизни Андерс ушел на Лофотены, не испытывая при этом никакой радости. Не думая о предстоящем возвращении домой. Он проклинал себя, что не сумел поступить иначе. И вместе с тем ему было ясно, что все эти годы он жил мечтой.

Но одно дело — мечта. Другое дело — жизнь. Он всегда знал, что Дина не для него. Он мог провести шхуну и в шторм, и в снежную бурю и благополучно доставить ее в порт, но не мог сознательно пуститься в дальнее плавание на судне, у которого не было руля.

А ведь все обстояло именно так! Ладно, пусть она едет в Копенгаген, а он — на Лофотены.

## ГЛАВА 6

Вениамину повсюду мерещились покойники. Их мертвые лица. Сами по себе они были не такие уж и страшные. Во время забоя скота убитые, непоправимо изуродованные животные выглядели куда страшнее. Лицо покойной матушки Карен походило на белую матовую вазу, что стояла на буфете в столовой. Прозрачная глазурь была покрыта беспорядочным узором, нанесенным желтоватыми штрихами. При желании он так отчетливо представлял себе лицо матушки Карен, что уже не думал о том, что тело ее умерло и больше не существует.

С русским все было иначе. Русский кричал, хотя лица у него не было. Поэтому отделаться от него было невозможно. Он был непоправимо изуродован, как забитая скотина.

Если на обед подавали мясо, Вениамин представлял себе, что Олине потихоньку от всех готовит из русского разные блюда. Он не знал, почему ему в голову лезут такие мысли, но Олине казалась ему чудовищем. Чувство это бывало таким сильным, что в животе у Вениамина начинало бурлить и он, извинившись, бежал в отхожее место.

Когда Олине таким образом извела уже всего русского и от него остались лишь голова да сапоги, Вениамин решил, что наконец-то избавился от него. Но русский возродился целехоньким в голове Вениамина. Его сапоги скрипели по ночам, заставляя Вениамина ворочаться в кровати, а крик был похож на вопли привидения.

После таких ночей Вениамин часто сидел в комнате матушки Карен и пустыми глазами смотрел на свои ногти. Пока кандидат Ангелл или кто-то другой не требовал, чтобы он наконец занялся делом. По утрам, до того как начинали топить печи — и потому в комнате стоял ледяной холод, — Вениамин представлял себе, что он монах, искупающий в келье свой грех. Грех за русского.

Каждый день имел свои приметы. Вениамин вычитывал их в старинном календаре матушки Карен. Собственно, это был не календарь, а кусок пергамента с надписями и беспомощными рисунками, вставленный в рамку. Этот календарь всегда висел у матушки Карен над секретером.

В первый день нового года, еще задолго до возвращения солнца, Вениамин встал пораньше, чтобы посмотреть, нет ли на небе красноватого зарева. «Красное небо утром в первый день нового года сулит страшное несчастье, а то и войну», — было написано в календаре.

Вениамин вздохнул с облегчением, обнаружив за окном снегопад; даже сосульки чувствовали себя неуютно.

Он не знал, что такое война, о которой говорили все. Но ему было ясно: на войне люди гибнут как мухи. И не только в бою, когда им дырявят головы. Андерс говорил, что во время войны не меньше людей умирает и от голода.

Вениамин сам не видел оборванных, изможденных людей, которые бродили по стране и ели все, что попадалось под руку. Однако война тут как будто была ни при чем. Какая же это война без кавалерии и военных мундиров?

Несколько раз ему удавалось представить себе солдат. Они лежали на поле боя с кровавыми дырами в головах.

Но что-то тут было не так. В ту зиму война стала вроде бы неопасной. Почти такой же мирной, как церковная служба. Особенно если учесть, каково на войне в действительности. Вениамин расставлял оловянных солдатиков, подаренных ему Андерсом. Но это было совсем не то. Тогда он смахивал солдатиков в угол и брал книгу, в которой рассказывалось о приключениях в лесных дебрях Америки.

Весь февраль он внимательно следил за светом, ползущим по подоконнику в комнате матушки Карен. Он сидел на полу и терпеливо ждал, когда луч коснется его босых ног. Вениамин вдруг понял, что раньше никогда по-настоящему не видел солнца.

С одной стороны, в солнце было что-то торжественное, с другой — оно внушало такой ужас, что хотелось плакать. Подобное чувство он испытывал на кладбище, когда смотрел на могильные плиты, а люди вокруг болтали о чем попало. В такие минуты ему казалось, что только он один по-настоящему знаком со смертью.

Вениамину страстно хотелось поговорить с кем-нибудь о солнечном свете, но слова застревали у него в горле. Нечего было и пытаться.

Однажды он признался Ханне, что всегда считает до ста, когда идет в темноте в уборную, и до тысячи, если осенним или зимним вечером ему нужно пойти в летний хлев. Это был закон. Объяснить его Вениамин не мог. Но знал, что, если он, досчитав до ста, не успеет закрыть задвижку на двери уборной, на него ополчится вся нежить земная. И тогда кто знает, чем дело кончится. Растолковать это Ханне он был не в силах. Однако она внимательно слушала его и моргала длинными ресницами.

— Без уборной, конечно, не обойдешься. Но зачем тебе ходить в летний хлев, если ты боишься темноты? — спросила она.

— Нужно же время от времени навещать место, где ты родился, —

ответил Вениамин и дунул в щель между сомкнутыми ладонями, где была зажата прошлогодняя травинка. Раздался писк, будто взвизгнул поросенок, которого хлестнули прутом.

— Ты не должен говорить, что родился в летнем хлеву. Это кощунство. Так считает Олине.

— А я и не говорил. Ты сама спросила. Чего стрекочешь как сорока!

Ему следовало предвидеть, что она ничего не поймет. Она всегда видела в его словах что-то дурное или извращала их смысл до неузнаваемости. Ханна ничего не понимала в нежити и ее повадках. Он тут же раскаялся в своем признании. Вдруг в один прекрасный день она подстережет его и собьет со счета, лишь бы увидеть, что произойдет, если он не досчитает до ста? С нее станется.

Но Ханна не знала, что он познакомился с солнцем и собирается сосчитать шаги до сапог русского, которые все еще валялись в вереске.

\* \* \*

24 февраля Вениамин прочел в календаре: «Маттис ломает лед. Если льда нет, он сделает лед».

Вениамин ждал, что Андерс подаст о себе весть. Все отцы подают о себе весть. Но писем не было. Вениамин понял, что Андерс молчит, потому что рассердился на Дину в тот день, когда они готовили шхуну к отплытию на Лофотены.

Он ломал себе голову, пытаясь понять, что имел в виду Андерс, когда крикнул Дине, что позаботится о Рейнснесе, и почему он не дал себе труда написать Вениамину письмо.

Никто прежде не видел, чтобы Андерс прыгал в море. Тут было чего испугаться: высокий, сильный человек бредет к берегу в ледяной воде, которая доходит ему чуть ли не до подмышек. И ведь в том не было никакой надобности — Вениамин был рядом со своей шлюпкой и ждал, чтобы перевезти их на берег.

А потом Андерс ушел на Лофотены. Конечно, он попрощался с Вениамином и даже ущипнул его за щеку, но Вениамин не усмотрел в этом доброго знака.

Там, где была замешана Дина, все всегда шло шиворот-навыворот, и не только у него одного. И тем не менее ему очень хотелось, чтобы Андерс прислал с Лофотенов письмо.

Но от Андерса не было ни слуху ни духу. Правда, Андерс был не из тех, кто долго сердится, и Вениамин решил, что на Лофотенах уже начался конец света. Он пытался расспросить Дину, но она сказала, что Андерс

никогда не писал писем. Ее тон лишь подтвердил его догадку о конце света.

«Если льда нет, он сделает лед»! Вениамин толковал эти слова так, будто матушка Карен ждала от него великих подвигов. И это вызывало в нем чувство усталости. Но не той усталости, от которой просто клонит ко сну. Из-за этой усталости он был не способен даже испытывать страх.

Но дело было не только в русском, который кричал и днем и ночью. Вениамина раздражало, что Дина все время возится со своим дорожным сундуком, выдвигает и задвигает ящики комода. Однажды, услышав, что она в зале, он ворвался к ней не постучавшись. Она склонилась над сундуком и складывала туда вещи. Он налетел на нее с кулаками, выкрикивая, что она хочет бросить его с русским один на один, хотя наступает конец света. Дина молчала. Он этого не ждал, но ледяной холод, который она излучала, придавил его своей тяжестью. Он немного успокоился, лишь когда увидел, что она снова убрала сундук в чулан Иакова.

Забыв о том, что он с Фомой в ссоре, Вениамин спросил у него, неужели на Лофотенах у людей не бывает свободной минутки, чтобы написать домой хотя бы два слова. Фома как будто не понял его. Во всяком случае, он буркнул в ответ что-то невразумительное — мол, на Лофотенах люди часто забывают послать весточку домой по той или иной причине.

— Андерс не такой! — сказал Вениамин.

— Твой Андерс ничем не лучше других, — усмехнулся Фома.

— А может, они потерпели кораблекрушение?

— Ну, об этом-то нас бы уже известили, — решительно заявил Фома.

После этого разговора Вениамин не мог заставить себя приходиться к Стине и Ханне, если знал, что Фома дома.

Календарь показывал уже равноденствие: «На Грегора день и ночь сравниваются друг с другом». А от Андерса по-прежнему не было ни слуху ни духу.

\* \* \*

Андерс пытался представить себе Рейнснес без Дины. Как он будет проводить дни и ночи. Пытался убедить себя, что мысль об одиночестве за обеденным столом не внушает ему страха. Раньше такие мысли мало занимали его. Теперь он засыпал и просыпался с думой об этом.

"Главное, чтобы в стене был крючок для куртки! — говорил он себе и добавлял:

— Дело не в том, как человек живет, а в том, как он к этому относится.

Вот в чем суть". Вооружившись этой мудростью и утешаясь ею, он еще на Лофотенах планировал пораньше отправиться в Берген. Пытался вызвать в себе тоску по долгому пути на юг. И увещевал себя, что одна беда — это еще не беда.

Тем не менее когда они вошли в пролив и почувствовали себя дома, берег показался Андерсу темным. Он повернул штурвал, снял зюйдвестку и засвистел, как обычно, когда они подходили к Рейнснесу.

Сперва он решил, что Дина ему пригрезилась. Но вот Антон сказал:

— Никак это сама Дина встречает нас на причале? — И Андерс точно проснулся. Да, это была Дина. Андерс не верил своим глазам. Ведь он всегда считал, что Динино слово незыблемо.

Он привык подлаживаться к временам года и к ветру. Это было не просто, но отгоняло посторонние мысли. Появление же на причале Дины словно без предупреждения поменяло местами зиму и лето.

Андерс постарался держаться как ни в чем не бывало, он всегда так держался на людях. Он улыбнулся Дине и поздоровался с ней за руку. Но тут же повернулся к Вениамину, спросившему, почему он не писал.

— Какой из меня писака! — отшутился Андерс.

Он предоставил заботы о шхуне другим, обнял Вениамина за плечи и ушел с ним с причала, толкуя о каком-то пакете, который привез с собой. Уйти с причала иначе он не мог.

На кончиках темных ветвей висели замерзшие капли. В навозе, разбросанном на полях, копались вороны. Приближались более светлые дни.

Вениамин засыпал Андерса вопросами. Андерс, смеясь, отвечал ему. Он слышал, что Дина идет за ними. Должно быть, у нее были новые башмаки. Они поскрипывали при каждом шаге. Но он не оглядывался.

\* \* \*

Ящики со свежей треской вызвали всеобщий восторг, треску разделили между арендаторами и старыми покупателями. Бочки с соленой треской должны были опустить в погреб. Несколько ящиков трески предназначалось для вяления или слабого посола. Рыбаки рассказывали, сколько у них рыбы вялится на Лофотенах, и гордо похлопывали себя по карманам.

Постепенно у причала собралось множество лодок. Все, кто видел, как мимо прошли «Матушка Карен» и карбас, тут же поспешили в Рейнснес. Чтобы, как говорится, посмотреть, не завелись ли вши у рыбаков, вернувшихся с Лофотенов, и какой длины выросли у них бороды.

\* \* \*

Торжественно отпраздновали возвращение. Мужчины рано разошлись на покой. В большом доме ночевал только штурман Антон. Остальные разъехались по домам или ушли ужинать к работникам.

У кандидата Ангелла было несколько свободных дней, и он уехал в Страндстедет. Служанки еще гремели на кухне посудой, а Вениамин ушел к себе в штурманской фуражке, которую ему привез Андерс. В этой фуражке он сидел даже за столом, но никто не сделал ему замечания по этому поводу.

Антон несколько раз зевнул и пожелал всем доброй ночи. Половицы на втором этаже заскрипели под его ногами.

Дина по обыкновению расположилась на кушетке, раскинув на спинке руки. Недокуренная сигара лежала в пепельнице. Глаза у Дины были прикрыты. Андерс кашлянул, потом спокойно сказал, что не прочь допить тот ром, который ему не удалось выпить перед Лофотенами.

Дина удивилась, но не подала виду и позвала из буфетной Теа.

Усталая Теа заглянула в дверь.

— Андерс хочет выпить рома, — сказала Дина.

Теа с удивлением посмотрела на бутылку, стоявшую рядом с Диной, но принесла рюмки и разлила ром.

— Можно мне пойти спать? — спросила она, сделав реверанс.

— Об этом ты спроси у Олине, — ответила Дина.

— Она уже спит.

— Тогда и ты можешь идти спать. Спасибо тебе. Сегодня был трудный день, — мягко сказала Дина.

Теа быстро подняла на нее глаза:

— Большое спасибо. — Теа наградила их беглой улыбкой, снова присела в реверансе и ушла.

— Смотри, какие уже светлые вечера, — весело сказал Андерс.

Дина промолчала.

Андерс невольно закашлялся. Потом заговорил о том, сколько они заработали на Лофотенах. Хотел тут же показать Дине счета, чтобы она их проверила.

— Цифрами мы займемся завтра, — сказала Дина. Потом она встала и подошла к столику, на котором стояла коробка с сигарами. Андерс хотел напомнить ей, что у нее уже лежит недокуренная сигара. Проходя мимо него, она ударила его по плечу. Совсем как в былые времена. Тогда ее не смущали даже посторонние. Так было до смерти русского.

Андерс слишком долго спал в холодной каюте и работал на морозе без рукавиц. Глаза его скользнули по Дининым щиколоткам — садясь, она не потрудилась поправить юбку. На ней были легкие туфли. Из-под юбки выглядывала стопа с высоким подъемом. Все это взволновало Андерса.

Он смотрел на Динины ноги и небольшими глотками пил ром. Потом понял, что надо что-то сказать, откинулся на спинку кресла и поглядел на Дину.

— Много гостей приезжало в Рейнснес, пока нас не было?

— Как обычно зимой, не больше. — Она ответила на его взгляд.

— А в остальном? Все в порядке?

— Как обычно.

Дина глубоко, с удовольствием затянулась новой сигарой.

— Ты так и не уехала?

— Нет.

— А почему?

— Поняла, что лучше подождать. По крайней мере до лета. Но я поеду с тобой в Берген.

Со стены за ними наблюдали часы. Маятник мешал Андерсу думать.

— Это из-за Вениамина... — сказала Дина.

— Я рад, что ты передумала!

Собственные слова удивили его. Неужели это произнес он?

— Мне не следовало говорить того, что я сказал тебе на шхуне, — проговорил он.

Она пожала плечами и выпустила дым, следя за ним широко открытыми глазами.

— А мне не следовало бить тебя! — Она не смотрела на него.

— Я, признаться, не ожидал... У тебя тяжелая рука! Он хотел улыбнуться, но улыбка не получилась.

— Вениамин сказал мне, что ты обещал быть ему отцом?

Андерс медленно залился краской, но кивнул:

— Ему так хотелось.

— Ясно.

Маятник продолжал терзать Андерса.

Нервы у него были как старые пересохшие просмоленные нитки. Только бы они выдержали. Ему казалось, он висит на волоске. Он набрал полные легкие воздуха:

— Ты кое о чем спросила меня перед моим отъездом. Впрочем, может, теперь уже не стоит говорить об этом?

Дина подняла голову.

— Я там думал над этим... И решил, что приму твое предложение.

— Андерс?

Их разделяла курительная комната. Пушистый ковер, который матушка Карен привезла из Копенгагена, с узором из стеблей оливкового и бордового цвета. Андерс сидел возле столика с сигарами. Дина — на кушетке спиной к окну. Луны не было. Только чистое, синее небо.

— Да?

— Ты понимаешь, что говоришь? — прошептала она через минуту.

Он кивнул, прокашлялся. Но не шелохнулся.

— Ты понимаешь, что ты получишь?

— А уж это ты должна мне объяснить.

— Не знаю, смогу ли я дать тебе что-нибудь.

Она по-прежнему говорила шепотом, словно у обитых шелком стен были уши.

— Поживем — увидим, — сказал он, обращаясь скорее к себе, чем к ней.

— Не похоже, чтобы ты очень обрадовался.

— Я еще не разобрался. Столько лет я даже думать не смел об этом...

— Ты считаешь, у нас получится?

— Все зависит от тебя...

Дина отложила сигару и подошла к Андерсу. Он обнял ее, положил ее голову себе на плечо и робко погладил по волосам.

— Я хорошо вымылся или от меня еще пахнет рыбой?

— От тебя пахнет Андерсом. — Она прижалась к нему.

— Откуда ты знаешь, как пахнет Андерс?

— Теперь знаю.

— Много же тебе понадобилось времени, чтобы это узнать.

— Сколько понадобилось, столько понадобилось. Ты все еще мой брат?

— Нет.

— Почему?

— Потому что это слишком много для одного человека.

Андерс сидел в курительной комнате в Рейнснесе. Он с детства мечтал, что когда-нибудь станет здесь хозяином. Курительный столик с подставкой для трубок и коробкой с сигарами. Горка со старинными голландскими рюмками. И вдруг он понял, что все это не имеет никакого значения. Выходит, счастье не в вещах?

Он чувствовал идущее от Дины тепло. Прижимался щекой к ее голове. Перед глазами у него проносились картины. Дина и Иаков. Дина и русский. Дина, отгородившаяся стеной музыки.

— Я должен задать тебе один вопрос, — сказал он.

— Задай.

— Ты покупаешь меня, Дина?

— Ты так считаешь?

— Нет, но люди будут считать именно так.

— Какие люди?

— Те, которые думают, что между нами уже давно что-то есть.

— И чем же я плачу в таком случае?

— Рейнснесом.

— А я сама? Что я приобретаю взамен? — Она высвободилась из его объятий и встала.

— Ты получаешь мужа, который возьмет на себя заботу о Рейнснесе и о твоём сыне.

— Андерс! Почему ты заговорил об этом именно сейчас?

Она стояла перед ним, стиснув руки. Он опустил голову и не смотрел на нее.

— Чтобы ты сказала мне все как есть.

Эти слова прокатились эхом по всем укромным уголкам.

В дыхании Дины слышались всхлипы, которые выдавали ее волнение.

— Ты думаешь, я у тебя в руках? — Дина проплыла обратно к кушетке.

— Нет. Но я уже не так молод, чтобы, не зная фарватера, в туман выходить в море на открытом карбасе. Поэтому мне нужно знать, как ты смотришь на наш брак. Мне ни к чему этот дом с его серебром, бархатом и плюшевой мебелью. Если у меня на карбасе есть парус и весла, мне больше ничего не требуется.

— Прекрасно! — сказала Дина, глядя на хрустальную люстру.

— Дина, я вовсе не принуждаю тебя сказать, что ты меня любишь. Я только хочу знать... Ведь это уже на всю жизнь...

Она пошарила в поисках погасшей сигары, нашла ее.. Пальцы у нее немного дрожали, она была очень бледна. Андерс встал и дал ей прикурить.

Маятник часов продолжал взывать к нему. Андерс понимал, что ему до боли хочется услышать от нее, что она его любит. Чтобы избавиться от этой мысли, он спросил:

— Какой был Лео? Что он тебе обещал? Андерс вернулся на прежнее место. Дина все еще молчала. Чего он ждал? Вспышки гнева? Презрения из-за слишком рано проявившейся ревности? Чего угодно. Но только не того, что случилось.

Дина поджала под себя ноги и обхватила плечи руками. Несчастный

живой клубок.

Андерс снова подошел к ней и спас ее волосы от дымящейся сигары.

— Дина, — тихо позвал он и опустился перед ней на колени.

Сперва он положил руку на кушетку. Но этого было мало. Тогда он просто обнял ее:

— Дина, не молчи... Только, пожалуйста, не молчи! Слышишь!

Она была как старая шарманка, которая слишком долго стояла на холоде. Теперь ее внесли в дом и стали быстро крутить ручку.

— Если тебе хочется плакать, плачь, но только скажи хоть слово! — молил он.

— Его больше нет здесь, — жалобно проговорила она. — Он исчез! Другие остались, а он исчез! Можешь объяснить мне, почему так случилось? Я думала, он принадлежит мне... Но я ошиблась...

— Ты хотела бы, чтобы он был сейчас здесь? — Да.

— Кто эти другие, о ком ты говорила?

Она помотала головой, раскачиваясь из стороны в сторону.

— Почему ты выбрала меня, Дина?

— Потому что мне давно следовало выбрать тебя.

— Как давно? — хрипло спросил он.

— Вениамин прав. Мне следовало выйти замуж за тебя, а не за Иакова!

— Неужели тебе так легко полюбить, Дина?

— Полюбить? — удивленно переспросила она.

— Да, а как еще можно назвать это чувство? Ведь я для тебя лишь человек, который иногда жил в доме Иакова.

— А ты сам? Когда ты понял... что это любовь? Я знаю одно: ты всегда старался держаться подальше — так, чтобы не обжечься.

— Я и не думал, что такое возможно... Разве ты подала мне когда-нибудь хоть один знак, а я его не понял? Может, очень давно?

— Ты всегда налетал точно ветер. Не успеешь привыкнуть, что ты сидишь с нами за одним столом, как ты уже в море за много миль отсюда.

— Когда ты первый раз обратила на меня внимание? Я имею в виду...

— Когда мы ходили в Берген. Я не знала, какое это будет иметь для меня значение. Кроме того...

— Кроме того, у тебя был Лео?

— Да, — жестко сказала она.

Он встал, стараясь сохранить чувство собственного достоинства. Вряд ли оно пострадало бы, если б он сам посмеялся над собой. Но он этого не сделал.

— Кого ты сейчас видишь перед собой?

— Когда ты встал на колени, я подумала, что ты хочешь посвятаться ко мне.

— Кого ты сейчас видишь перед собой? — повторил он. — Меня или русского?

— Может, уже довольно, Андерс? Или ты хочешь заставить меня вылизать языком все половицы, по которым ходил Лео?

— Если бы речь шла только о половицах...

— Если речь идет обо мне, я считаю, что вылизывать половицы следует тебе, — процедила она сквозь зубы.

И исчезла, прежде чем он успел опомниться.

\* \* \*

Ночью Андерсу снилось, что русский в тяжелых сапогах ходит по коридору и собирает все, что имеет отношение к Дине. Поднятые вверх уголки губ, которые так красиво изгибаются при улыбке. Завитки волос. Грудь.

Русский запихивал частицы Дины в свой саквояж и тащил их за собой. Даже во сне Андерс жалел, что русский уже мертв, что нельзя вышвырнуть его за дверь.

Он проснулся оттого, что юго-западный ветер стучал в окна. Полежал, чувствуя усталость во всем теле, — так всегда бывало после возвращения с Лофотенов. Потом вспомнил: он дома! Вспомнил вчерашний вечер.

Что бы с ним ни случилось, Андерс каждый день встречал с надеждой. И дневной свет играл тут не последнюю роль.

Андерс съездил на шхуну за счетами и накладными. Потом подкараулил, когда Дина пошла в контору. Документы он нес в клеенчатом портфеле под мышкой, чтобы приказчик в лавке и горстка покупателей, подпиравших там стены, видели, что он идет по делу.

Дина подняла голову, когда он открыл дверь.

— Андерс! — воскликнула она.

На всякий случай он закрыл дверь. Готовый к буре и к чему угодно.

— Хочешь прямо сегодня заняться делами? — спросила она.

— Да. Пусть это будет уже позади. Может, мы хоть из-за этого не поссоримся.

— А разве мы поссорились?

— По-моему, да.

— Из-за чего же?

— Не могли решить, кому из нас, тебе или мне, наводить чистоту после Лео.

Он видел, как ее глаза сузились и руки схватили лежавшие на столе бумаги. Поэтому быстро продолжал:

— Я понял, что сделать это следует мне! И если ты не против, я сразу же приступлю к делу. Дина Грэнэльв, согласна ли ты выйти за меня замуж?

Она вскочила, точно солдат, услышавший команду.

— Да! — выдохнула она почти сердито.

Андерс не знал, куда вдруг пропали его руки. А найдя их, сделал то, чего еще накануне ни за что не позволил бы себе. Он подошел к шкафу, где у Дины хранились рюмки и ром, которым обмывались сделки, и протянул ей пустую рюмку:

— Держи!

У обоих слегка дрожали руки. Андерс налил всклень, ром побежал у нее по пальцам. Он наклонился и слизнул его.

Дина не шелохнулась. Время остановилось. Раньше он не позволил бы себе ничего подобного.

— Я сразу же и начну, — проговорил он, не отнимая губ от ее руки. — Должен же я наконец выпить тот ром, который ты обещала мне еще перед поездкой на Лофотены!

— Если мы будем так пить ром, то скоро разоримся, — заметила Дина.

— Значит, разоримся! — согласился он.

Андерс распрямился и встретился с ней глазами, увидел ее губы. Но не коснулся ее. Они долго смотрели друг на друга. Потом Дина начала смеяться, и по лицу у нее потекли слезы.

В лавке слышали, как они смеются над счетами. Сперва послышался низкий смех Дины, потом раскатистый хохот Андерса. Видно, прибыль пришла по душе им обоим.

## ГЛАВА 7

Весть о том, что Дина выходит замуж за Андерса, успокоила людей. Всех, только не Олине.

— Что знаю, то знаю. И никого это не касается, — твердила она, делая вид, что давно все знала. Но если говорить правду, она даже не подозревала о намечавшемся событии. Его не предвещали ни ночные хождения, ни переглядывания, ни мимолетные ласки. Известие о Динином замужестве Олине восприняла как измену. И еще не созрела для прощения.

Возможность вернуть себе утраченный авторитет предоставилась ей, когда Теа сообщила, что молодые будут спать не в зале, а во второй по величине комнате, в которой спал Юхан, когда последний раз жил дома.

Сперва Олине сокрушалась из-за несообразительности моряков: неужели не ясно, что кровать с пологом в ту комнату просто не поместится?

Но Андерс объяснил ей, что со следующим пароходом из Трондхейма придет новая кровать. Не такая большая. Олине хотела возразить, но промолчала. Этот человек просто издевается над ней! Заказана новая кровать! А ей даже не сказали, что надо шить новые простыни и пододеяльники! Порядочные люди так не поступают!

Андерс выразил сожаление — он не знал, что все это так важно. Он в таких делах не разбирается.

— Но она-то должна разбираться! Мужчине простительно и не сообразить, что к чему. Теперь-то ты понимаешь?

— Не сердись, Олине! Всегда можно найти какой-нибудь выход, — добродушно сказал Андерс.

— Я сама поговорю с ней об этом. Нужно безотлагательно пригласить белошвейку!

— Но ведь в доме полно белья! Неужели нельзя...

— Боже милостивый! Мы как-никак готовим постель для новобрачных, а не койки для твоих матросов! Ясно? И пробст должен сперва сделать оглашение. Неужели ты совсем ничего не понимаешь?

\* \* \*

Прелюдия семейной жизни Андерса и Дины не имела свидетелей.

Однажды вечером, когда все уже улеглись и в доме воцарилась тишина, Дина пригласила Андерса к себе в залу. Андерс сидел и с просветленным

лицом слушал Мендельсона.

Комната слушала виолончель с задернутыми портьерами. Андерс сидел в простенке между окнами на кончике стула.

Сквозь густые светлые ресницы он смотрел, как руки Дины летают по струнам. Водят смычком. Пальцы левой руки, точно маленькие зверьки, сновали по грифу, а потом, дрожа, замирали на месте. Чтобы вскоре снова совершить прыжок на свободу. Выражение ее лица тронуло Андерса. Он был очарован и не мог противиться этому чувству, хотя ничего не понимал в музыке.

При виде Дины, которая, откинув голову, ловила ритм и потом передавала его инструменту, в нем всколыхнулась прежняя тоска. Лицо ее сияло, губы шевелились, словно с них срывался короткий, сдавленный стон.

Но вот Дина опустила руку со смычком к полу, и портьеры с пологом поглотили последние звуки. Наклонившись вперед, она как будто чего-то ждала.

Наконец, не глядя на Андерса, она отставила виолончель.

— Слушать музыку — это как утешение, — тихо произнес он. И тут же пожалел о своих словах. Они прозвучали так, словно он обращался к чужому человеку, который развлекал его из вежливости.

— Ты узнал, что я играла?

Он покачал головой и ждал, что она сама скажет ему это. Но она молчала. Он растерялся. Ее молчание не предвещало ничего доброго. Ведь он не знал, что она играла. Наверное, она сейчас думает: даже этого он не знает...

— Уже поздно. Мы мешаем спать Олине и девушкам. — Андерс встал, собираясь уйти.

Дина с усмешкой повернулась к нему:

— Ты все откладываешь до свадьбы, Андерс? Безжалостный весенний свет проник сквозь тяжелые портьеры, на щеки и шею Дины легли черные тени.

Она стояла слишком близко к нему. Он был не в состоянии поднять руки и прикоснуться к ней. Половицы ухватили его за ноги, цветочные стебли соскользнули с обоев и обвилились вокруг шеи. Ему нечего было ответить ей.

Поэтому он взял ее за руку и решительно повел за собой. В темный коридор, где отблеск горящей на лестнице лампы осторожно крался по стенам.

У себя в комнате Андерс отпустил Дину и задернул занавески. Он

видел все поры у нее на лице, усаживая ее на свою кровать.

— У тебя слишком узкая кровать, Андерс, — прошептала она.

Он заметил ее взгляд, брошенный на стену, и вспомнил, что за этой стеной спит Вениамин. Но она промолчала.

— Главное не кровать, а мужчина, — тоже шепотом проговорил он, садясь рядом с ней.

— Ишь какой ученый!

— Не ученый, я еще только собираюсь учиться. — Он обхватил рукой ее волосы, словно хотел их взвесить.

— У меня в зале удобней, — сказала она.

— Тебе, но не мне.

— Что ты имеешь в виду?

Обеими руками он осторожно сжал ее голову. Попробовал что-то сказать. Сдался. Снова набрал в легкие воздуха. И наконец произнес небрежно, точно говорил о самой обычной вещи:

— Сколько человек, Дина, находили блаженство в твоей кровати или лежали там в ожидании последнего пути?

Он тяжело дышал. Но все еще держал ее голову обеими руками.

— Андерс! Опять? Ведь ты знаешь, что я была замужем!

— Знаю.

— Ну так в чем же дело?

— А твоя морская болезнь в Фолловом море? Это что, был подарок от Иакова, полученный спустя столько лет после его смерти?

Она вырвалась из его рук и фыркнула:

— Выкладывай все свои претензии и покончим с этим! Но сперва я хочу спросить у тебя. Скажи, я когда-нибудь донимала тебя расспросами, чем ты занимаешься по пути в Берген? Я припирала тебя к стенке за то, что у тебя была своя жизнь до того, как мы с тобой договорились жить вместе?

Он покачал головой:

— Нет, никогда. Но я не тот человек, который может делить кровать с русским. Даже если я согласился разделить с ним тебя.

Он ждал, что она ударит его. Вспомнив прошлый раз, он быстро прикрылся рукой. Но лицо у нее было такое, словно она сидела в море на скале и сквозь туман смотрела на него.

Он обнял ее:

— Я не хотел сейчас ссориться из-за этого. Но я чувствую, что гибну.

Она промолчала. Однако что-то, должно быть, поняла, потому что крепко прижалась к нему. Он сидел и покачивался вместе с ней.

Потом начал расшнуровывать ее ботинки. Руки его скользнули по ее

щиколоткам, икрам, бедрам. Головы их столкнулись.

Он медленно поднял ее юбки и уложил их красивыми складками вокруг ее бедер. Словно сдавал экзамен на мастера.

С улыбкой он разглядывал кружева на ее нижней юбке, а потом уткнулся лицом ей в колени. Как странно, он всегда знал ее запах. Но теперь этот запах предназначался только ему. И запах, и теплая кожа под тонкой тканью, к которой прижималось его лицо. Он слышал, как кровь стучит у нее в жилах и переливается в него.

Потом он почувствовал на себе ее руки. Она снимала с него одежду. Точно давно уже знала все пряжки и пуговицы на его платье. Заставив его встать с кровати, она ждала, что последнюю одежду он снимет сам. На мгновение она отстранилась и оглядела его. Как будто что-то искала на его теле. Родимое пятно или какой-то шрам. Кончики ее пальцев легко пробежали по его чреслам, и она сказала глухим голосом:

— Я всегда знала, что у тебя красивое тело, Андерс.

Он беззвучно смеялся. Кожа его покрылась пупырышками. Каждое ее прикосновение дарило блаженство. Он спрятал лицо у нее на шее и закрыл глаза, скользя пальцами по ее коже. Потом он уже потерял власть над проснувшейся в нем силой. Комната закружилась.

Простыни были гладкие и прохладные. Андерс натянул перину на Дину и на себя. Хотел согреть ее. Защитить. Но прежде всего хотел овладеть ею.

Узкая холостяцкая кровать плыла в мироздании самостоятельным небесным телом. Дина была с ним! И его тревога, вызванная опасением, что он не сможет парить вместе с ней, постепенно утихла.

Накатила большая волна Могучая и неодолимая. Она пенилась, играла, и наконец Дина, рыкнув, тяжело обмякла у него в руках. Он не знал, что и с женщинами бывает такое. Думал, что это удел только мужчин. Все его понятия перепутались.

Когда волна отхлынула, на берегу остались обломки, благоухающие водоросли и мокрые круглые камни. И тяжелое дыхание. Мучительно тяжелое дыхание, выпадавшее росой на все ровные поверхности.

\* \* \*

Слушая ночные звуки, долетавшие из комнаты Андерса, Вениамин наконец понял, для чего существуют отцы. Он засыпал с Андерсом, а просыпался с русским.

Среди этих звуков он находил и Дину. На зеленых, мокрых от дождя полях. С блестящими черными неподвижными слизняками.

Вот, значит, для чего существуют отцы! Таким образом, русский тоже

был ему как бы отцом. Потому что до того, как все кончилось, Дина и он завязались там, в вереске, в один большой узел. Неужели то же самое было у нее и с Андерсом? Эта мысль тревожила Вениамина. Ведь так ведут себя только враги?

Из-за этих вопросов и черных слизняков он почему-то чувствовал себя виноватым. Должно быть, потому, что знал больше, чем Дина и Андерс. Гораздо больше. И не мог предупредить Андерса. Хотя сам еще раньше выбрал его себе в отцы.

Он не спускал с Андерса глаз. Тот был в опасности. И не знал об этом.

Когда Дина положила руку ему на затылок и сказала, что они с Андерсом решили пожениться, Вениамин понял, что она хочет пощадить Андерса ради него.

Он судорожно глотнул воздух и кивнул. Она спросила, рад ли он этому известию.

— Так будет лучше, — сказал он.

— Лучше?

— Да, значит, он... не умрет.

У нее вдруг изменилось лицо, и он пожалел о своих словах. Но ведь она сама спросила! Люди не должны задавать столько вопросов.

— Не умрет? — прошептала она, склонившись к его лицу.

Он снова судорожно глотнул воздух и кивнул.

— Ты не должен думать о таких вещах!

— Должен, ты сама знаешь. Он хотел пройти мимо нее.

— Но разве ты не рад, что он будет твоим отцом?

— Он уже давно мой отец. Но теперь он принадлежит и тебе, — буркнул Вениамин, не понимая, стоит ли это говорить.

— Ты не хочешь, чтобы мы поженились?

— Хочу, так будет лучше, — ответил он, как взрослый.

\* \* \*

Готовилась пышная свадьба. В Грётёй, Хьеррингёй, Тьелдёй, Трондарнес, Бьяркёй и Страндстедет были разосланы приглашения. Пригласили и Юхана, и он обещал приехать.

Май заколдовал скалы и творил чудеса на полях. Он играл в заливах и падал на землю солнечным светом и дождем.

Супружескую кровать поставили там, где приказал Андерс. И невеста не бегала по комнатам в панталонах и не пряталась от жениха на дереве. И матушка Карен не плакала на лестнице из-за такого позора.

Борьба с устоявшимся в доме запахом сигар и мужчин казалась почти

безнадежной. Олине наняла дополнительно пять девушек. Но покойный Иаков был безутешен и бродил из комнаты в комнату. Он путался под ногами у служанок, выпускал в комнаты дым из печей и разбрасывал по подоконникам дохлых мух. Хотя окна только что были вымыты с зеленым мылом.

В день свадьбы шел снег. Пролив был перегорожен белой стеной.

Утром Вениамин открыл у себя окно и засмеялся. Он ловил снежинки теплыми руками и смотрел, как они тают. Потом приложил к щекам мокрые ладони. В эту ночь русский забыл о нем.

За обедом он сидел между Дагни и женой пробста. Это было место для взрослых. Дина и Андерс сидели рядом в торце стола. Вениамин заметил, что Дина почти не ест. Но глаза ее улыбались.

Все последние дни Вениамин то радовался предстоящей свадьбе, то страшился ее.

С одной стороны, он был рад, что теперь-то Дина никуда не уедет. И не застрелит Андерса. Ведь она сама вышла за него замуж. С другой стороны, радость омрачалась одним неприятным обстоятельством: Вениамин оставался с русским один на один. Теперь Дине будет не до него.

От всех этих мыслей у Вениамина иногда темнело в глазах и становилось трудно дышать. Он жадно ловил все добрые знаки. Утренний снег показался ему хорошим предзнаменованием. В это время года снег обычно уже не идет. А все необычное чаще всего бывает к добру. Однако не всегда.

Страх не отпускал Вениамина, пока они не сели в карбас, чтобы плыть в церковь. Там на него снизошло «торжественное». Взглянув на Андерса, он понял, что имела в виду матушка Карен, когда говорила о «торжественном». Это было такое внутреннее состояние, которое вдруг проявлялось тем или иным образом. «Торжественное» Андерса проявилось в карбасе, когда он, сидя среди только что распустившихся листьев, обнял одной рукой Дину, а другой — Вениамина. Оно проявилось светом, игравшим на его скулах.

Вениамин не был уверен, что Дина это заметила.

\* \* \*

А теперь все со счастливыми лицами сидели за свадебным столом. Дина, во всяком случае, выглядела необычно. В каком-то смысле лучше. С нею ни в чем нельзя быть уверенным.

Юхан был строг. Но он нарочно напустил на себя эту строгость. Вениамин видел, что ест он с удовольствием.

Фома был молчалив и ел, стараясь соблюдать все правила приличия. Наливал себе мало и следил за тем, чтобы есть и пить так, как его учила Стине. Утром он брился с таким ожесточением, что все лицо у него было в кровавых порезах. Костюм, присланный из Тромсё по мерке, снятой Стине, жал ему в груди. Фома считал, что с них безбожно содрали за эту тряпку.

Он то и дело поднимал на Стине глаза — один голубой, другой карий. И если она незаметно кивала, он знал, что все делает правильно. Он медленно и тщательно прожевывал пищу. И вообще ел даже красивее, чем жена пробста. Можно было только удивляться, как эта благородная дама быстро и жадно глотает кусок за куском.

## ГЛАВА 8

Весна отступила и наказала всех, кто работал в поле. Листья перестали распускаться, и цветы закрыли свои бутоны.

Однажды все собрались в гостиной за круглым столом, над которым висела лампа. Андерс, Дина, Юхан, кандидат Ангелл и Вениамин. Вениамин решал примеры по математике, которые должен был закончить до ужина. Правая рука скользила по зеленой плюшевой скатерти, карандаш он держал в левой.

От него не укрылось, что кандидат Ангелл пытается поддакивать и Дине, и Юхану. Смешно, неужели он не понимает, что это невозможно? Кандидат Ангелл восхищался Юханом, потому что тот был пастором, и во всем поддакивал ему. Однако ему нравилась Дина, поэтому он соглашался и с нею.

Андерс прочел в «Тромсё Стифтстиденде», что бергенские цены на рыбу уже определились. Нурландская сайда дошла до девяноста шести скиллингов за вог. Тресковая икра стоила шесть талеров тридцать скиллингов за бочку.

Юхан и кандидат Ангелл заговорили о русском царе. Это невероятно! Царь хочет отменить крепостное право, заявив, что лучше провести реформу сверху, чем она будет проведена снизу с бунтами и кровопролитием!

Кровопролитие! В этом слове было что-то страшное. Непредсказуемое. Оно застревало в горле и мешало дышать. Вениамин не мог понять, как русский царь может быть сразу и добрым, и опасным.

Андерс считал, что царь, бесспорно, действует умно. Но кандидат Ангелл не был в этом уверен. Он считал русских дикарями, с которыми можно справиться только силой.

Юхан сказал, что Крымская война и Парижский мир показали, что происходит в России. Русский народ был унижен и этой войной, и этим миром. Но империя сохранилась! Поэтому государству нужен царь, который превосходил бы обычные человеческие мерки. Теперь уже Вениамину было точно не до примеров.

— Не понимаю, как это возможно, — вмешалась в разговор Дина.

— Что именно? — спросил Андерс.

— Быть царем и в то же время обладать обычными человеческими качествами.

— Цари тоже едят, пьют и любят, как и все Божьи создания, — объяснил Андерс.

— Дина имела в виду любовь к ближним, — поправил его Юхан.

Андерс наморщил лоб.

— Хорошо, что у нас есть Юхан, он нам все объяснит, — улыбнулась Дина.

— А то как же, — добродушно согласился Андерс и погладил Дину по руке. — Хотя я всегда считал, что без любви к ближнему нельзя быть человеком, — прибавил он.

— Грех и жестокость исключают любовь к ближнему, — заметил Юхан. — А вся история русских царей зиждется на жестокости.

— Грехов у всех хватает, — сказал Андерс.

— А как обстоит дело с грехами у духовных лиц, милый Юхан? — спросила Дина.

Вениамин видел, что Юхану не по себе. Он вертел в руках щеточку, которой прочищают трубки. Стучал ею по кончикам пальцев, лицо его залила краска.

За столом стало тихо. Вениамин предпочитал не смотреть на собравшихся. Мало, что ли, с него примеров?

Дина вдруг заговорила таким тоном, как будто вспомнила, что ей надо выяснить с Юханом один вопрос:

— Вот бы поехать туда и увидеть все своими глазами! Это такая большая страна... Она непостижимо богата. Не только землей и сырьем. Там замечательное искусство. И музыка! У нас же все измельчало — и люди, и грехи. Нас просто душат эти мелкие грехи!

Зачем она так сказала? Вениамин решил, что она хочет уехать. Правда, не думает ли она уехать? В страну русского? Боже Всемогущий! Господи, ведь Ты знаешь, что «торжественное» Андерса может снизойти на них всех! Скажи ей, что она не должна уезжать! А то здесь случится неурожай, голод и весна никогда не начнется.

Понимает ли Господь такие неоспоримые истины?

Вениамин должен был найти что-нибудь, что заставило бы Дину забыть об отъезде. Взгляд его упал на страницу газеты, где было написано об англичанке Флоренс Найтингейл. Он начал читать вслух о том, как она в Турции ходила с фонарем среди раненых солдат и не ограничивалась только молитвой о спасении их душ. Все свои силы она отдавала полевым лазаретам, пропитанным вонью и кровью; она ставила на место даже генералов, если у них не хватало милосердия к раненому врагу. Наконец-то кончилась эта война, которую никто не выиграл, но все проиграли. Теперь

ангел с фонарем вернулся домой, в Англию. Флоренс Найтингейл осталась жива, но была морально сломлена и потеряла веру в то, что человеку свойственна доброта.

Все молчали, пока Вениамин читал. Поэтому он смог тут же задать свой вопрос:

— В какую доброту она потеряла веру?

— Она же была на войне, а там мало встретишь человеческой доброты, — объяснил Андерс.

— Почему? Разве, когда нет войны, доброты становится больше? — спросил Вениамин.

Андерс сложил газету на коленях.

— У нас здесь хотя бы не стреляют, — сказал Юхан. Вениамин почему-то слышал только те звуки, которые доносились из кухни и буфетной. Обеими руками он схватился за край стола. Стиснул зубы. Он с трудом сидел прямо. Если бы можно было положить голову на стол, все прошло бы. Его дурноты никто не заметил. Но он чувствовал странную вялость. Руки и ноги перестали его слушаться.

— Вениамин! — позвала его Дина ясным, твердым голосом.

Тогда он вырвался из оцепенения. Если не смотреть на них, все обойдется. Он нащупал ногами пол. Теперь оставалось только подняться. Однако он не вскочил. Он сделал два осторожных шага, и пол ринулся ему навстречу.

Дина была уже рядом. Она подхватила Вениамина и вывела его из комнаты.

А мужчины остались с русским царем, ценами на рыбу и английской леди с фонарем.

\* \* \*

Из глубины пещеры доносились крики. Вениамин уже знал, кто его зовет. Он не отрывал глаз от рыбацкой сети. Глаза были старые. Слезящиеся. И не выносили света. Он не мог вырваться отсюда. Следы ночи сохранялись в сверкающем узоре, оживавшем при дневном свете. Сети были похожи на белые занавески, висевшие на открытых окнах.

Русский держал Вениамина мертвой хваткой. Его крики слышались со всех сторон. Давили на уши, на виски. Снова и снова. Понять этот чужой язык было невозможно. Русский был то близко, так что Вениамин чувствовал его дыхание, то далеко, и Вениамин терял его из виду.

Когда он был близко, Вениамин падал в красную яму, которая становилась тем больше, чем отчаянней звучал крик русского.

Когда же он был далеко, Вениамин задерживал дыхание и таким образом спасался.

Он проглотил скопившуюся слюну и соскочил с кровати. Чтобы принести обратно свои глаза.

Тогда он понял, что стоит на каменной россыпи и смотрит на Дину и русского, которые, словно змеи, сплелись в вереске. Они сдирали друг с друга одежду, хватали друг друга за руки. Как будто не могли решить, слиться ли им в объятиях или разбежаться в стороны, друзья они или враги. Они боролись, чтобы оторваться друг от друга. И не отпускали друг друга.

Наконец голова русского окрасилась красным, и он затих, широко раскинув ноги. Точно пугало, упавшее на землю. Ружье валялось в вереске, и эхо, рыдая, еще летело от вершины к вершине. Все звуки были словно окутаны шерстью, и птица, вспорхнувшая с куста, так медленно двигала крыльями, что, казалось, вот-вот упадет.

Вениамину пришлось открыть рот, чтобы выпустить из себя невыносимую тишину.

И вдруг рядом оказалась Дина. В его комнате, босиком, в одной рубашке. Он попытался удержать ее ноги, чтобы она не подходила к нему. Потому что вокруг нее все еще витал крик русского. И вместе с тем ему хотелось, чтобы она обняла его. Она была одновременно и сеном, и водорослями. И высоким деревом с черной листвой. Очень высоким. Но он должен был залезть на это дерево. Ветки были гладкие. В стволе что-то стучало. Словно там была заперта птица. Тук-тук.

Вениамин забрался как можно выше. Дерево раскачивалось из стороны в сторону.

В коре там оказался и Андерс. В халате. Его глаза оплели Вениамина. Он был не похож сам на себя. Руки Андерса превратились в летящих ворон, хватавших ветки и листья. Ветки трещали и ломались. Андерс падал и снова лез на дерево. Падал и лез. Вениамин понял, что это дерево не для Андерса.

Наконец он оторвал взгляд от занавесок и заплакал.

— Что тебя так напугало? — спросил Андерс.

— Русский! Он стал царем! Он лежит там, кричит и спрашивает.

— О чем спрашивает?

Опасность была близка. Андерс провалился сквозь пол. Наверное, он расшибся насмерть. Неужели Дина не понимает, что ей следует поднять его? Ведь он не знал, что об этом нельзя спрашивать!

— Дина все знает! Она знает даже русский!

Боже, как изменилось ее лицо! Испуганное и как будто плоское. Оно просто исчезло. Она сейчас уйдет! Уедет! Возьмет с собой картонку для шляп и поедет на лодке к пароходу. Самое страшное уже случилось!

Но Дина не ушла. И позволила Андерсу остаться с ними.

\* \* \*

Однажды Дина пришла в конюшню к Фоме и распорядилась, чтобы он унес оттуда и где-нибудь запер ружье и порох. Фома пожал плечами и обещал сделать, как она велит. Но поинтересовался, зачем ей это понадобилось. Узнав, что все дело в Вениамине, он не удержался от замечания:

— Парень растет, ему надо привыкать к таким вещам, даже если русский и застрелился.

— Сделай так, как я велела!

— Мы не сможем всю жизнь оберегать его от ружей. Все-таки он мужчина.

— Я тебе сказала, что делать.

Фома долго смотрел на нее. В руках он держал охапку сена для лошадей, его окружал аромат первобытного жаркого лета.

— А что говорит об этом Андерс?

— Андерсу ружье ни к чему.

— Да, этот человек на охоту не ходит. — В голосе Фомы звучало презрение.

— Тебя не касается, что делает Андерс! Сейчас меня тревожит Вениамин.

— Я всегда заботился о Вениамине. Или ты забыла?

— Спасибо за твою заботу, Фома!

— Иначе и быть не могло! Я думал, мы оба с самого начала делали для него все, что могли.

— Фома!

— Ты боишься, что я скажу об этом Андерсу?

Дина собралась было уйти, но теперь замерла на месте. Потом подняла руку и обернулась к Фоме так резко, что он подумал: сейчас она ударит.

— И что же ты скажешь ему, Фома? — Она подошла к нему так близко, что он ощутил на лице ее дыхание.

Он не ответил ей, но и не шелохнулся.

— Ты стоишь на сене, — заметил он наконец.

— И что же ты скажешь Андерсу? — повторила Дина.

— Что Вениамин мой сын!

Дина прикрыла глаза. Когда она снова открыла их, она была спокойна.

— И ты думаешь, тебе удастся дожить до старости в усадьбе Андерса после того, как ты сообщишь ему эту новость?

— Нет, — коротко бросил он.

— В таком случае подумай о своих детях и о том, будут ли они счастливы с отцом, который мотается с места на место и сплетничает. Вениамину ты не нужен.

— А раньше был нужен! Мы со Стине...

— За то, что было раньше, спасибо! Но это еще не причина, чтобы ты теперь начал мстить. Разве тебе плохо живется? По-моему, ты живешь как граф — с кафельной печью и хрустальной люстрой. Еды у твоей семьи довольно. Все тебя уважают. Чего еще тебе надо? А?

Он весь сжался от ее слов. Они смотрели в разные стороны.

— Если бы нам было суждено...

— Нам никогда ничего не было суждено, — прервала она его.

— А слово? Почему ты не дала мне слова?

— Слово давать опасно. У тебя память как у лошади. И ты слишком сильно тянешь.

— Ты забыла?

— Я ничего не забыла! Ничего!

Двери конюшни открылись. Словно по знаку, Дина отступила от сена, а Фома нагнулся, чтобы поднять охапку.

— Значит, договорились! — громко сказала она. В конюшню вошел работник.

Когда Фома пришел домой перекусить, Стине сияла. К ней заходила Дина и обещала привезти ей из Бергена новый ткацкий станок. На старом было трудно натягивать основу.

— Из-за десяти средних нитей приходится снимать пол-основы, — сказала она.

Фома кивнул. Он стянул с головы шапку и вымыл руки.

## ГЛАВА 9

Однажды в конце осени Андерс и Вениамин разговорились за какой-то работой.

— Я думаю, следующим летом тебе стоит пойти со мной в Берген матросом, — как бы случайно обронил Андерс.

От этих слов у Вениамина подозрительно повлажнели глаза.

За работу он будет получать деньги, спать будет в кубрике вместе с матросами. Если во время вахты будет травить за борт, у него удержат из жалованья. Они ударили по рукам, ничего не сказав об этом Дине.

Храня их общую тайну, Вениамин чувствовал себя более взрослым. Однажды он увидел у себя на верхней губе пушок, который вырос за одну ночь и стал темнее. Вениамин торжественно взял опасную бритву Андерса и забрался на стул, чтобы лучше видеть себя в зеркале, висевшем над комодом. Но его рука, на которую он смотрел в зеркало, дрожала. Он даже порезал себе нос. С кровоточащим носом ему пришлось обратиться за помощью к Дине. Она не бранила его, лишь взглянула на бритву и промыла порез, чтобы остановить кровь.

— Я просто играл, — сказал он, стараясь обратить все в шутку.

— Я понимаю. На этот раз порез зарастет. Но в другой — ты отхватишь себе полноса.

Он кивнул и скользнул мимо нее в дверь.

— Ждать недолго, скоро эта забота будет преследовать тебя каждый день! — крикнула она ему вслед.

Он остановился и, не удержавшись, крикнул ей в ответ:

— А ты не знаешь, о чем мы с Андерсом договорились! Это наш с ним секрет!

Дина вышла на площадку лестницы:

— О чем же вы договорились?

— А вот увидишь! — крикнул он и бросился вниз.

\* \* \*

Всю зиму и весну Вениамин интересовался только тем, что имело отношение к Бергену. Он вытащил картины и книги, когда-то привезенные оттуда. Кандидат Ангелл не мог ничем помочь Вениамину. Сам он никогда не бывал южнее Трондхейма.

После ухода Андерса на Лофотены в усадьбе не осталось ни одного

человека, который хоть что-то знал бы о Бергене. Вениамин вздохнул с облегчением, лишь когда Дина призналась ему, что знает о Бергене все. И действительно, ответила на все его вопросы, хоть и коротко.

Вениамин быстро сообразил, что нельзя спрашивать о Бергене ночью, когда они с Диной бодрствовали из-за криков русского. От этих вопросов глаза у нее становились злыми.

Наконец птицы с гомоном принялись вить гнезда, скот выпустили на пастбища, и Вениамин изумился, что в состоянии испытывать столь глубокую радость после всего, что он пережил.

Однажды он понял, что Ханна вовсе не радуется вместе с ним его предстоящей поездке, и очень удивился. Это уже слишком! Она не имеет никакого права дуться на него!

— Пойми же: я мужчина, а ты женщина! — Он глубоко вздохнул, стараясь не показать, что ему тяжело нести по коробке в каждой руке.

— Я помню, как ты кричал и плакал, когда Дина уезжала без тебя, — сказала Ханна, вытирая лицо.

— Это было давно, — высокомерно, по-мужски ответил он.

— Может, меня уже здесь не будет, когда ты вернешься!

— А где же ты будешь?

— Это еще не решено.

— Значит, я не смогу навестить тебя, если не буду знать, где ты. — Он усмехнулся.

— Дурак!

— А ты умная, если хочешь сбежать из дому, потому что я уезжаю в Берген!

— Без тебя у меня здесь никого не будет! — жалобно сказала она.

Он огорчился и поставил ношу на землю.

— Когда я вырасту и сам все буду решать, ты всегда будешь ездить со мной!

— Когда это еще будет, ты растешь так медленно!

— Даже если я останусь небольшого роста, я все равно буду взрослым и буду сам все решать! — отрезал он и толкнул ее. — Я и сейчас больше, чем ты! Замарашка! — Он схватил свои коробки и побежал вниз по склону.

— Я совсем не то думала! — крикнула Ханна ему вслед.

Они помирились еще до его отъезда. Ссора была тяжела для обоих. Вениамин обещал привезти ей в подарок куклу с фарфоровым личиком и настоящими волосами.

— Мне просто интересно посмотреть на такую куклу, — сказала Ханна, считавшая, что ей уже неприлично играть в куклы.

Вениамин знал, что побороть морскую болезнь будет непросто; однако, если он ее не поборет, ему на такой подарок не заработать.

В то утро, когда шхуна взяла курс на юг, ветер дул как на заказ, но солнца не было. Андерс стоял за штурвалом и был такой, как всегда. Он говорил, что в море ему лучше думается.

Вениамин стоял у поручней, глядя на острова, берега и заливы, которых никогда раньше не видел. Мир открывался перед ним, становился бескрайним, и он крикнул тем, кто мог его слышать:

— Во летим, аж чертям тошно! Видела бы нас сейчас Ханна!

Андерс взглянул на иллюминатор каюты, где была Дина. Она не сказала ни слова о его бездумном обещании взять Вениамина в Берген. Кажется, была даже довольна.

— Боюсь, как бы у тебя не было слишком много хлопот с семьей, — сказала она ему. — Мы же не знаем, как Вениамин переносит море.

— Вот и узнаем, — сказал Андерс, радуясь, что их с Вениамином заговор не рассердил Дину.

Всех удивило, что штурман Антон не воспротивился присутствию на борту женщины и мальчика. Его как будто даже забавляли бесконечные вопросы Вениамина, он чувствовал себя еще более незаменимым.

Ветер в основном был попутный. Однако не настолько сильный, чтобы у Вениамина началась морская болезнь. Каждый день он делал зарубку на одном из ящиков с рыбой. А потом, поплевав на руки и посвистывая, принимался выполнять то, что ему поручили.

Когда все задания Андерса были выполнены, он усаживался на ящик с биноклем в руках и рассказывал обо всем, что видит. Или сидел с книгой в каюте, слушая скрип мачты и крики чаек. Играл в карты с матросами. Иногда они позволяли ему выиграть и забавлялись этим.

— Твоя матушка лучше играла в карты, чем ты, когда первый раз отправилась с нами в Берген, — сказал Антон.

— Она была старше и уже замужем. — Андерс покосился на каюту.

— Ей, кажется, было тогда шестнадцать? — спросил кто-то.

— Во всяком случае, я помню, что Иакову не нравилось, когда она сидела с нами под парусом и играла в карты, — сказал Антон.

— Ладно, хватит об этом, — оборвал разговор Андерс.

Слова Андерса не вызвали у Вениамина удивления, а вот его тон... Все вдруг заговорили о другом и, насвистывая, стали заниматься своими делами.

\* \* \*

Однажды они увидели на берегу кучку домов и причалы. Дина с Андерсом сказали, что у них там есть знакомые, и Вениамин попросил, чтобы они пристали к берегу.

— Впрочем, нам надо спешить в Берген, а то опоздаем и упустим покупателя на наш товар, — поправился он, прежде чем ему отказали.

— На обратном пути мы непременно здесь остановимся. Будешь спать на настоящей кровати и сидеть на стуле! — пообещал Андерс и стал говорить, что в нынешнем году очень доволен своим товаром. Он даже отказал кое-кому из арендаторов, хотевших сбыть ему рыбу, качество которой не отвечало требованиям. — Я понимаю, такой отказ не способствует дружбе. Кому понравится, что его рыбу признали негодной. Других-то заработков здесь у людей нет. Но Рейнснес в Бергене пользуется хорошей репутацией, и мы должны о ней заботиться. Ясно? Наш товар должен быть только первого сорта. Согласен?

Браковщики в Бергене не подчинялись никому, у кого бы они ни служили. Их слово было законом. Если они считали партию голландской вяленой трески первосортным товаром, это был закон, изменить который не мог никто.

Андерс произнес длинную речь:

— Запомни, Вениамин, в Бергене главный товар — это голландская вяленая треска. Она должна быть определенного синеватого цвета, чистая и не превышать в длину локтя. Вес же ее не должен быть больше полутора фунтов. А еще лучше — фунт! Понимаешь, парень? Бременская вяленая треска тоже отличный товар, но она крупнее голландской. Ее везут в Бремен, Голландию и на Средиземное море. Вот где интересно побывать, верно? Да, еще есть линёк. Линёк должен быть блестящим, белокожим, свежим, его разрезают до самого хвоста. Первый товар для Голландии! Это тебе не шутки!

Андерс всегда очень придирчиво следил за тем, как вялилась рыба. Свежую рыбу следовало сразу же выпотрошить, засыпать солью и выдержать в чанах двадцать четыре часа. Потом вымыть и уложить штабелями не выше локтя в высоту. Мякоть к мякоти. И уже потом пластать на чистых скалах. Вялить рыбу на траве или на земле — последнее дело. Снова в штабеля ее складывают лишь после того, как она окончательно провялится.

— Я никогда не повезу в Берген рыбу, которую солили на полу в пакгаузах. Бергенцы могут на меня положиться!

Вениамин удивлялся, что в море Андерс стал таким разговорчивым. Он столько рассказывал о рыбе! До этого Вениамину казалось, что вся вяленая

рыба выглядит одинаково, как бы она ни называлась.

\* \* \*

Пока «Матушка Карен» шла на юг, русский не издал ни звука. Должно быть, он не мог последовать за ними.

Мир был бескраен.

Люди на берегу даже не подозревали, какими неприступными и отвесными бывают горы и скалы. Чтобы понять это, нужно было проплыть мимо них светлой летней ночью.

А запах моря! Он ощущался всегда. Даже во сне. И заглушал все остальные запахи. От него люди менялись до неузнаваемости.

Ночи, впрочем, тоже изменились. Чем дальше на юг, тем они становились синее. И повсюду, где они бросали якорь и сходили на берег, чтобы запастись свежей водой и провиантом, люди говорили по-разному.

Вениамин читал, как Господь смешал языки в Вавилоне, но не подозревал, что подобное смешение может встретиться и в его родной стране.

— Так ведь Норвегия длинная, как кишка. И в каждой долине говорят по-своему, — объяснил Антон и отрезал кусок от соленого окорока, висевшего на сыромятном ремне на мачте.

— Нет, — возразил Вениамин, — вовсе не поэтому. Просто когда в Вавилоне смешались языки и люди перестали понимать друг друга, им пришлось разъехаться по свету и поселиться по отдельности!

Антон перестал жевать.

— Вот черт, как легко все объясняется, а я и не знал, — серьезно сказал он. — Но подожди, ты еще не слышал, как кудахчут женщины в Бергене! Вот кто, наверное, первый покинул Вавилон!

\* \* \*

Удивительным в Бергене оказался не только язык. Вениамин слушал и смотрел. Ему приходилось следить за собой, а то он забывал даже дышать. Время от времени он громко и жадно втягивал в себя воздух и затихал до следующего вдоха. Неожиданно для себя он обратил внимание на новую Динину шляпу.

— Красивая, как сад эдемский! — одобрительно сказал он.

Но когда Дина попыталась вести его за руку, он отскочил в сторону:

— Еще не хватало! Не пойду за руку с женщиной! Неужели ты этого не понимаешь?

И пошел рядом с Андерсом. Одной рукой он держался за отворот

тужурки, другую заложил за спину.

Больше всего его поразил Воген. Суда. Паруса. Крики. На расстоянии это было терпимо, но, когда они сошли на берег, вся эта новизна обрушилась на него. Бесконечные ряды крыш, островерхие фронтоны домов, причалы. Телеги и кареты, с лошадьми и без. А как здесь одевались! Такую странную одежду Вениамин видел только на картинках. Дамы несли на головах целые ширмы. А он-то думал, что такие шляпы носит только ленсманша Дагни!

\* \* \*

На рыбном рынке все было гораздо проще. Даже запах тут был знакомый. Но сюда приходило и отсюда уходило столько людей, что Вениамин невольно подумал о муравьях, снующих из муравейника и обратно. Неясно было только, о чем все они хлопочут. Деревянные башмаки стучали по брусчатке, и каждый был занят своим делом совсем как в Рейнснесе. Во всяком случае те, что ходили пешком. Те же, что сидели в экипажах с откидным верхом, выглядели так, словно направлялись к пробсту на Рождество, которое почему-то перенеслось на середину лета.

Вениамин понял, почему в Бергене нужно быть прилично одетым, когда сходишь на берег. Андерс привез с собой часы на цепочке и теперь ходил в расстегнутом сюртуке.

Горы в Бергене выглядели смешно. Невысокие, они как будто не могли распрямиться под тяжестью этой массы людей. Близость гор была даже неприятна. Но бергенцы, по-видимому, привыкли к тому, что эти каменные кочки нависают над крышами их домов. Вениамин сказал об этом Андерсу.

— Только не советую говорить про это коренным бергенцам, — посмеиваясь, заметил Андерс.

Один раз они взяли извозчика и поехали кататься по городу. Андерс напомнил Дине, что они бывали здесь раньше. Она улыбнулась, глаза у нее были совсем прозрачные. Вениамина обдала волна жаркой радости, оттого что Дина и Андерс так смотрят друг на друга. Иных оснований для радости у него не было. С ним они не разговаривали.

Чем больше был дом, мимо которого они проезжали, тем больше был и сад, и деревья вокруг него. Лишь в центре города дома так тесно жались друг к другу, что можно было подумать, будто у очередного бергенца не хватило денег на одну стену и ему пришлось пристроить свой дом к дому соседа.

Когда они подошли к своей гостинице, Вениамин был слишком

переполнен увиденным. Ему нужно было, чтобы Дина и Андерс поняли его. Он остановился и, прищурившись, посмотрел на крыши домов:

— Что за удовольствие строить такие большие города? И как людям удастся покупать и продавать все, что им необходимо?

## ГЛАВА 10

По дороге обратно на север Вениамин спросил у Андерса, откуда у него фамилия Бернхофт.

— Этот род в свое время построил селение на Хьеррингёйе, — ответил Андерс. Правда, от этого Андерсу было ни жарко ни холодно. А вот его родственники с материнской стороны происходили из усадьбы Шёнингене на Гретёйе. Сёрен и София, что живут там, всегда рады приезду Андерса.

Сёрен и София приезжали в Рейнснес на свадьбу Дины и Андерса, и теперь Дина и Андерс намеревались посетить их.

— Мы с Сёреном всегда дружили, — сказал Андерс. — Ему не повезло во время Крымской войны. Его галеас, груженный мукой, застрял во льдах и вернулся домой, когда цены на муку уже упали. Сёрен тогда ничего не заработал. Да, да, бывает и так. — Андерс поднял глаза к небу.

Они миновали Фоллово море и вошли в узкий пролив, что вел к Грётёйю. Вечернее солнце одним-единственным лучом подожгло море, и оно вспыхнуло ярким огнем. За островами чернела стена Лофотенов. Бесконечные островки и скалы удерживали прибой на расстоянии. Но его вечная песнь доносилась из открытого моря как предупреждение.

— Не очень-то бывает приятно, когда по эту сторону островов тихо, а по ту — море грохочет, как церковный орган. Тогда жди, что ветер того и гляди переменится и ударит со всей силой! — сказал Антон. — Вот когда надо в оба следить за парусами, а то вмиг окажешься на мели с обломками штурвала в руках. Фарватер здесь опасен подводными скалами и коварными мелями, их тут столько, что они могут опрокинуть вверх килем целую армаду, — прибавил он.

— Сейчас это нам не грозит, — заметил Андерс.

Торговая усадьба лежала на крайнем острове, но смотрела не в открытое море, а на материк. В главном доме было по десять окон в каждом этаже, а веранда на колоннах тянулась по всему фасаду. Мощная каменная стена удерживала море, не подпуская его к саду с беседкой. Вокруг главного дома располагались прачечная, поварня и другие строения. И всюду бурлила жизнь. Суда, инструменты, люди. Однако земли было мало, и по сравнению с полями Рейнснеса она выглядела неплодородной.

\* \* \*

Вениамин бродил среди домов и знакомился с новым местом. Он забыл, что уже почти взрослый, и приставал ко всем с вопросами. Однако не бегал, а ходил степенно. Таких деревьев, как тут, он прежде не видел. Ему объяснили, что их привезли издалека. Потом его угостили печеньем и отпустили на скалы к лодочным сараям.

Усадьба была небольшая. Но здесь имелось все. И люди были совсем не такие, как в Рейнсесе. Или они только казались другими, потому что принимали гостей? Здесь все лежало на своих местах. Особенно это было заметно на причалах. Все было сложено штабелями. Канаты и веревки свернуты в аккуратные бухты. Никакого беспорядка. Не то что в Рейнсесе. Там каждый мог взять любой инструмент и оставить его после работы до другого дня, лишь бы он не валялся под ногами.

Только одно место в Рейнсесе содержалось строже, чем здесь. Это была кухня. Здесь на кухне работали две молоденькие смешливые служанки в белых передниках. У одной были косы, и она была еще моложе Вениамина. Старшая уже могла похвастаться пышной грудью, стянутой коротким лифом. Она понравилась Вениамину больше, чем младшая, хотя и была на полголовы выше его. У нее были светлые короткие, как у мальчика, волосы. Вениамина прошибал пот от ее близости. Поэтому он оставил их чистить картошку и ушел.

Прогуляв несколько часов, Вениамин уселся в гостиной со взрослыми. Сёрен внимательно следил за работой Лофотенской комиссии, которая должна была узаконить три положения: первое — море принадлежит всем. Второе — уроженец Норвегии имеет право беспрепятственно ловить рыбу в любом месте. И третье — общественность должна следить за тем, чтобы эти условия неукоснительно соблюдались.

Сёрен похвалился знакомством с Кетилем Моцфельдтом, который считался автором этого закона. Андерс больше помалкивал, предоставляя говорить Сёрену. Он всегда помалкивал.

— Ну а хозяева торговых местечек? Что о них говорится в этом законе? — спросил наконец Андерс.

— Мы в нем приравнены к остальным, — ответил Сёрен.

— Значит, на место лова первым будет приходиться тот, кто раньше других пронюхал, где есть рыба и у кого суда быстроходней? Так? А нам, как и раньше, придется грести из последних сил, так чтобы рукавицы прикипали к ладоням, — усмехнулся Андерс.

— Да, зато у тебя не будет никаких неприятностей, если ты невзначай окажешься на чужой территории, не заплатив за разрешение вести там лов.

— Люди все равно пойдут на свои старые места, — сказал Андерс.

— Посмотрим! Во всяком случае, теперь никто не будет безраздельно владеть морем, даже если ему принадлежат берег и дом.

— Ты-то почему так ратуешь за этот закон, ведь у тебя большая береговая полоса и дом? — удивилась Дина.

— Вот и я говорю то же самое, — вздохнула София. — Сёрен ездил на встречу и толковал с богатыми людьми с Лофотенов, да все впустую.

— Новые времена не только для богачей, — задумчиво сказал Сёрен.

Дина краем глаза наблюдала за ним. Это встревожило Вениамина.

— Я вижу, ты заботишься о простых людях, Сёрен, — сказала она. — Где ты этому научился? Здесь, на Грётёйе?

— Научился? Справедливости не нужно учиться, достаточно просто пораскинуть мозгами. Воздух, огонь и море должны принадлежать всем!

Андерс заметил, что владеть морем так же справедливо, как владеть птичьими базарами или морошковыми болотами. Но спорить не стал.

Дина, к счастью, больше ничего не сказала. Однако время от времени поглядывала на Сёрена. Вениамину это было не по душе.

Со двора слышались музыка и смех, люди собирались на танцы. Вечер был теплый. Окна и двери были открыты настежь. На дворе толпились и молодые, и старые.

Слуги и моряки, родственники хозяев и работники. Никто и не думал ложиться спать. Лица у всех сияли.

— Надеюсь, Вениамин, ты не упустишь случая погулять? У нас тут есть две хорошенькие девушки, — поддразнил его Сёрен.

Кивнуть Вениамин мог в любом случае, это ни к чему не обязывало.

— Пригласишь их потанцевать? — мягко спросила София.

К счастью, Сёрен тут же обратился к Андерсу:

— Что, батюшка, пришел конец твоим холостяцким поездкам в поисках девушек?

Андерс только улыбнулся.

— Я помню, ты говорил, что женитьба не для тебя и что ты вряд ли когда-нибудь женишься. А вот поди ж ты! Давайте выпьем за любовь в Рейнснесе!

Взрослые подняли бокалы. Они как будто исподтишка наблюдали друг за другом. Вениамин потянул нитку, торчавшую из свитера. Этого делать не следовало. На рукаве спустилась петля.

София заметила это и принесла иголку. Пришлось снять свитер и отдать ей, чтобы она зашила дырку.

Рейнснес и Грётёй сильно отличались друг от друга. В Рейнснесе никому не пришло бы в голову зашивать дырку, когда все пили за любовь.

Или когда Дина играла.

Вениамин украдкой поглядел на Дину: не испортила ли все эта проклятая нитка? Но Дина выглядела как ни в чем не бывало. Почти. Он все-таки пожалел, что надел свитер в такую жару.

— Я слышала, Андерс, что тебе у нас, на Грётёйе, нос натянули? Девушка вышла замуж в Бергене? — София бросила быстрый взгляд на Дину и снова склонилась над свитером.

— Когда это было! — засмеялся Сёрен, ему как будто хотелось замять разговор, хотя к нему это отношения не имело.

— Я всегда являлся к шапочному разбору! — Андерс встал и налил себе еще вина, совсем как дома.

— Это всем известно. Уж больно ты терпеливый, кого хочешь переплюнешь! — засмеялся Сёрен.

Дина поправила рукав платья. Сёрену не следовало так говорить! Нет, не следовало! Вениамину захотелось вскочить и убежать. Но свитер еще не был готов. И он должен был поблагодарить Софию за работу.

— Молодость, молодость, — засмеялся Андерс.

— Не такой уж ты был тогда и молоденький, — заметила София.

— Может быть, не помню, — буркнул Андерс.

— Не думаю, чтобы Дине была интересна наша болтовня, — вмешался Сёрен и поднял бокал за Дину.

Нет-нет, не следовало ему так говорить! Наконец свитер был готов. Почему София так медлит?

— Мы, в Рейнснесе, не боимся говорить в глаза все, что думаем. Хуже, если начинаются разговоры у нас за спиной. Тогда человек не имеет возможности постоять за себя, — сказала Дина.

— Да, конечно... — София смущенно разглядывала кончики пальцев.

Разговор замер. Молчание было неприятно, как дохлые мухи на чистом подоконнике. Сёрен сцепил пальцы, потом сказал:

— Мы знаем Андерса куда лучше, чем Дину. Надеюсь, Дина, ты не истолкуешь превратно наши шутки?

София вздохнула и заметила, что к ночи, наверное, соберется дождь. Слишком хорош вечер. Потом она протянула Вениамину его свитер. Смущенно улыбнулась ему.

Вениамин поблагодарил Софию. Пока он натягивал свитер, Андерс подошел к креслу, где сидела Дина. Голова Вениамина вынырнула из ворота, когда Андерс невозмутимо, как дома, взял из коробки сигару. Провел по ней языком. Губы Андерса были словно созданы для сигары. Вениамин и раньше замечал это. Он едва было одобрительно не кивнул

Андерсу, глядя, как тот мягко обхватил губами сигару. Андерс поднес к сигаре огонь, несколько раз глубоко затянулся и протянул сигару Дине.

— Дине ничего не стоит заставить любого мужчину забыть о своих прежних глупостях. Они сразу становятся не в счет. К тому же та девушка и без меня удачно вышла замуж, — сказал он.

Постояв перед Диной, он втиснулся в кресло рядом с ней. Вениамину это показалось ребячеством. И вместе с тем обрадовало. Дина улыбнулась Андерсу и подвинулась, освобождая ему место.

Из двери, выходящей в сад, подул ветер. Перст Божий коснулся лица Дины, и она повернулась к Андерсу.

\* \* \*

Позже, когда Вениамин уже успел подергать за косы одну девушку и поболтать с другой, на двор вышла София и спросила, не хочет ли он подняться на чердак в свою комнату — уже поздно. Девушки слышали ее слова, и ему стало стыдно. В дверях появился Андерс.

— Вениамин взрослый человек, — сказал он. — Он у нас на шхуне не пассажир, а матрос. Таким парням спать некогда.

— Я только подумала... — начала София, но Андерс схватил ее за руку и увлек танцевать.

— Это твой отец? — восхищенно спросила одна из девушек.

— Да, — ответил Вениамин, — Андерс мой отец! Девушки не спускали с Андерса глаз.

— Ты на него не похож, — сказала та, у которой были косы.

Почему она так сказала? Неужели весь мир потерял рассудок? Однако он сдержался и не ответил.

— Ты похож на свою мать, Дину Грэнэльв, она очень красивая! — сказала девушка с мальчишеской стрижкой и склонила голову набок.

Вениамина осенило: он должен потанцевать с ней! А другая пусть подпирает стену, глядя на них. И он закружил девушку, наступая ей на ноги. Впрочем, она танцевала не лучше его.

— Я плохо танцую, — запыхавшись, проговорила она.

— Совсем не плохо! Да и какая разница! — ответил он, и неудержимая радость острыми иголочками пробежала от шеи куда-то вниз живота.

Они поднялись в комнаты на чердаке, где им были приготовлены постели, пожелали друг другу покойной ночи, и Андерс закрыл дверь, разделявшую их комнаты. Однако Вениамин не мог забыть, что они рядом.

Он уткнулся лицом Дине между грудями и полетел с нею в море. Русский тоже был с ними, он лежал в луже тягучей смолы с тяжелым

запахом. Вениамин хотел отделаться от него — пусть бы его поглотило море. Почему он не оставит их с Диной в покое? Но тяжелый запах смолы преследовал его. Он крикнул об этом Андерсу, хотя расстояние до кормы «Матушки Карен», где Андерс стоял на вахте, было слишком велико.

Большое безобразное существо — не змей, не ворон, не чайка, но какая-то диковинная помесь всех этих существ — беспрестанно кружило над ними. Оно то взмывало ввысь, то падало к самой воде.

— Дина не твоя! Разве ты не видишь? — сказала эта странная птица ему на ухо. — Она должна уехать. Потому что она черная!

Лететь с Диной было неприятно. Мучительно. Вениамин попробовал разжать руки, но не мог. Она летела рядом и была ужасно тяжелая. Ему снова захотелось позвать Андерса. Но у него не было сил. Что делать? Дина летела с ним, несмотря на то что была не его и хотела уехать.

Птица сбросила с себя оперение, и оно упало на Вениамина. Это был русский и в то же время как будто не он.

— Скажи что-нибудь! — крикнул Вениамин этому существу. Но птица не ответила, она шла по водорослям, высоко поднимая ноги. Кругом стоял отвратительный запах.

Появилась девушка с косами. Она развела среди камней большой костер. Жар ударил Вениамину в лицо, опалил его. У него загорелся живот. Горело то, чему он не знал имени. Все деревья на берегу были охвачены пламенем.

— Это за то, что нам всегда приходится выходить замуж не за того, за кого хочется, — презрительно сказала девушка. Она расплела косы. И ее волосы летели к Вениамину сквозь дождь искр. Тонкие золотые нити на фоне черного моря.

Дина несколько раз произнесла его имя. Словно только что нашла его и еще не верит этому.

Он сделался вдруг большим, внутри у него была пустота. Глаза смотрели сквозь воду. И в этом не было ничего удивительного. Он видел дно точно сквозь стекло.

Можно было смотреть и вверх. Сквозь воду и воздух. Со дна. И в этом тоже не было ничего удивительного. Небо расколосось, в образовавшуюся трещину медленно-медленно падал Андерс. Словно бумажная птичка, пущенная из чердачного окна. Вздыхая и стелая, Андерс приземлился на выстиранную и высушенную на солнце шерсть. Он слишком долго пробыл в ледяной каше Лофотенского моря.

Вениамин чувствовал, как у Андерса от мороза покалывает кончики пальцев. Это было одновременно и мучительно, и приятно. Так покалывает

пальцы у людей, попавших с мороза в тепло.

## ГЛАВА 11

Когда они вернулись домой, уже стояла добрая осень с ее привычными запахами. Вениамин бродил по усадьбе, заглядывал в лавку и рассказывал о Бергене и далеком мире.

Тогда он еще не знал, что будущей осенью поедет учиться в Тромсё. Узнал он об этом случайно, сидя в комнате матушки Карен. Дверь в гостиную была прикрыта неплотно. Он часто забывал закрыть ее.

Андерс читал Дине вслух газеты. Компания «Евер и сын» предлагает хороший старый портвейн, мускат, малиновый уксус и лампадное масло по сходной цене. Он помолчал, потом снова продолжал чтение. Главная почтовая дирекция сообщает о невостребованном письме на имя Дины Грэнэльв от пастора Юхана Грэнэльва, сумма выкупа — двенадцать скиллингов.

— Почему ты не выкупила письмо Юхана, Дина? — спросил Андерс.

В его голосе послышались странные нотки. Слово он хотел выучить эти слова наизусть и не мог их запомнить.

— А я и так знаю, что в нем написано, — невозмутимо ответила Дина, будто они говорили о направлении ветра.

— Знаешь, что в нем написано?

— Да.

— Господи Боже мой!.. Ты сошла с ума?

— В нем написано то же самое, что и в предыдущем.

— Ах вон что! И что же было написано в предыдущем?

— Что Юхану нужно немного денег, чтобы снова поехать в Копенгаген и заняться богословием.

Андерс как будто растворился за газетой.

— Я ничего не знал об этом.

— А зачем тебе знать? Я не хотела тревожить тебя.

Слышалось тихое тиканье часов. Оно, словно клювом, долбило их дыхание и заполняло уши Вениамина нестерпимым шумом.

— Ты сможешь Юхану?

— Нет!

— Ты шутишь?

— Нисколько!

— Не может быть, Дина!

— За все эти годы Юхан получил больше, чем ему причиталось. При этом он никогда не работал, а только ходил по городу с книгами под мышкой. Теперь учиться должен другой. А это стоит недешево.

— Кто же этот другой?

— Вениамин.

Газете явно стало не по себе. Она зашелестела. И под столом задвигались большие ноги.

— А можно спросить, куда ты собираешься отправить Вениамина?

— В гимназию в Тромсё. Он будет изучать иностранные языки и готовиться к экзамену артиум [5]. Только за одно учение придется платить тридцать шесть талеров. А еще комната, питание...

— Тромсё! Комната, питание! Но, Дина, он же еще ребенок!

— Вениамин не может жить здесь вечно...

— А он знает об этом?

— Пока нет. Хотя мы с ним раньше говорили об этом.

— Он слишком мал. — Таким голосом Андерс отдавал приказ бросить якорь. Голос был не сердитый. Но остановить якорь не мог уже никто.

Дина остановила якорь:

— Чем раньше он начнет учиться, тем лучше.

— Но кандидат Ангелл хороший учитель.

— Я не хочу, чтобы Вениамин торчал в Рейнснесе. Через некоторое время он уже ничего, кроме Рейнснеса, и знать не захочет.

Кажется, Андерс смеется? Кто это там смеется?

— Дина, к чему такая спешка? У Вениамина впереди много времени.

— Зачем ему годами сидеть на необитаемом острове?

— Ты чувствуешь себя здесь как на необитаемом острове?

Кто-то прошел по гостиной. Куда они собираются? Почему не сидят на месте?

— Дина, ему будет трудно.

— Я знаю. — Голос Дины.

От этих слов голова Вениамина сжалась и превратилась в ничто. Внутри этого ничто колотился орех. Он причинял боль и хотел вырваться наружу. Вениамин попытался встать и выйти к голосам. Но не смог. Об этом нечего было и думать.

— Как я понимаю, ты сама сообщишь Вениамину, что ему предстоит уехать из дому?

Голос Андерса звучал близко-близко. — Да.

Нет, нечего было и думать о том, чтобы куда-то пойти.

— А мне доложишь, когда все будет уже решено?

— Ты не правильно к этому относишься, Андерс.

— А как я должен к этому относиться?

— Просто мне кажется, что я лучше понимаю, что Вениамину надо.

— Еще бы, ты же мать!

Послышалось смачное посапывание. Значит, Андерс набил трубку. Набил трубку! Странно иногда ведут себя люди.

Некоторое время пахло трубкой. Потом Дина сказала:

— Почему ты рассердился?

— Я не рассердился. Просто я чувствую себя дураком, с которым никто не считается. Ты нас всех подавила, Дина. Ничего хорошего из этого не получится, вот увидишь. Я знаю, ты привыкла решать все одна. Но если уж ты выбрала меня в мужа, тебе придется смириться с тем, что я захочу принимать участие в твоих решениях.

— Ты и принимаешь в них участие, — мягко сказала Дина. Слишком мягко.

— Нет. Ты даже словом не обмолвилась, что собираешься отправить мальчика учиться. И не спросила, как я к этому отнесусь.

— Я бы непременно спросила. Просто я еще не привыкла к тому, что у меня есть муж.

Вениамин так и видел, как она то прячется, то появляется в мыслях Андерса. Верткая, точно ласка. Она, как ласка, могла скрыться в любой, даже самой узкой щели, прежде чем успевали заметить кончик ее хвоста.

— Дина, а его ночные кошмары?

— Это болезнь, она пройдет, когда он уедет из Рейнснеса.

Она сказала «болезнь». Но ведь он-то знает, что это не правда. Болен был не он, а русский. И его болезнь была смертельна. У него была пробита голова. Зачем Дина лжет? Чтобы спастись? Неужели и она лжет, как все остальные?

Стоя посреди комнаты матушки Карен, Вениамин вытянул вперед руки. Ему хотелось погасить зеленый.

Стеклянный купол керосиновой лампы, сделанной в виде херувима. Это хоть немного утешило бы его. Он растопырил пальцы. Но он был никому не нужен, даже лампе матушки Карен. Лампа отомстила ему. Зеленые осколки впилась ему в голень. Под запах керосина русский вытекал из него маленькими красивыми каплями.

Вениамин продолжал стоять не двигаясь, даже когда все сбежались к нему и заговорили разом, перебивая друг друга.

## ГЛАВА 12

Олине не должна так кричать, думал Вениамин. В Рейнснесе вообще никто не кричал, кроме него самого и Олине. Но крик Олине был невыносим. В нем было что-то зловещее, потому что она как будто имела на это право. Не зря же она была Олине!

— Боже Всемогущий, покарай всех, кто злоупотребляет Твоими дарами! — кричала она с пылающим лицом.

Открытые двери кухни внушали страх. Вот опять. Наверное, лучше перебраться обратно в дом к Стине. Но ведь и там было ненадежно. Там был Фома.

— Хозяйка не должна так обращаться с мукой!

Злой визгливый поток тек с губ Олине, из глаз струились слезы. Она не предполагала, что у нее будут свидетели, кроме Теа. Но ведь у людей есть уши! Дина с мукой уже давно была в конюшне.

— Да она и взяла-то самую малость, — бормотала Теа. — Там было на доньшке.

— Я тебе покажу на доньшке! — бушевала Олине. Вскоре Вениамин услышал смачный, чавкающий звук.

Словно на стол швырнули мокрую тряпку. Ему следовало вести себя по-мужски, посмеяться и сказать, что все это бабьи глупости. Но это было не так просто.

— Я сама видела, сколько она взяла! Это отвратительно. И к тому же большой грех! В Рейнснесе больше не придерживаются старых обычаев: скотину нельзя кормить дарами Божьими. Бог покарает за это. Вот увидишь. Мы все еще примем возмездие за то, что Дина кормит скотину крупой да мукой!

Вениамин решил показать, что он взрослый, и пошел на кухню. Теперь-то она замолчит. Но Олине даже не заметила его. Она подошла к отпрянувшей от нее Теа и прошептала грозно и громко, точно заклинание:

— Как думаешь, почему в Рейнснесе так не везет и людям, и лошадям? А? Я только спрашиваю, я ничего не утверждаю. Сперва лошадь понесла и вырвалась из оглобель, так что бедный Иаков погиб в омуте. Потом Дина собственноручно зарезала эту лошадь. А сколько уже лет у нас лошади болеют и дохнут? Истинная правда! Я это и перед пробстом могу повторить! Дина злоупотребляет дарами Божьими, и это возмездие!

Вениамин спросил, нет ли в кладовой просмоленной бечевки. Ему

нужно обмотать ручку ножа, а то она слишком скользкая.

Но Олине по-прежнему не замечала его. Он попал в центр тайфуна.

— Дина лучше тебя знает, что нужно ее лошади! — заорал он тогда, чувствуя, как его бьет дрожь.

— Знает! — фыркнула Олине, словно разговаривала с Теа. — А почему у нас тогда такая напасть с лошадьми? Последняя лошадь хромает так, что на нее больно смотреть. Фома ходит мрачнее тучи. Ты думаешь, это почему? А наш жеребец? Да у него с каждой страдой все больше сводит сухожилия. Суставы воспалены, брюшные колики...

— Как будто на других усадьбах такого не бывает, — нерешительно возразила Теа.

— Не смей так говорить о Дине! Она лучше всех умеет лечить колики у лошадей! Она разводит в пол-литре воды столовую ложку молочной кислоты или берет пол-литра разведенного уксуса... Сперва сама попробует, а потом уже дает лошади! — Вениамин грозно двинулся на Олине.

Но она сегодня словно помешалась. Остановить ее было невозможно.

— Дина перестает давать лошади корм и растирает ей брюхо теплыми тряпками! — Теа поспешила на помощь Вениамину.

Олине хотела было плюнуть в их сторону, но вместо этого сощурила глаза, и из этих щелок вырвались огонь и горящая сера.

— Она осквернила дар Божий! И за это ее ждет возмездие! Я спрятала мешок с мукой в чулане и прикрыла его коробками. Я знала, что спрашивать она не станет. И верно, не спросила. Но мучной след показывает, что она нашла мой тайник и украла муку! Что скажете? Чтобы хозяйка вела себя как варвар и крада дар Божий из собственного чулана! Для поганой лошади!

Олине так шумно втянула в себя воздух, что показалось, будто головы палтуса посыпались в бочку с солью.

— Что, скажите, в этой лошади такого особенного? Может мне кто-нибудь объяснить, что особенного в этой лошади? Чем она лучше коров, которые дают молоко, мясо и масло? От верховой лошади нет никакой пользы! Последний жеребенок вырос кривоногим, с цыплячьим крупом! Это возмездие! Нельзя злоупотреблять даром Божьим. Теперь Андерсу опасно выходить в море, потому что его жена нарушает простейший из всех обычаев!

— Не смей так говорить о Дине! Замолчи! А то я... я застрелю тебя из ружья! — крикнул Вениамин.

Олине наконец опомнилась. Она захлопнула рот так, что щеки у нее

задрожали, и уставилась на Вениамина.

— Боже, сохрани и помилуй нас всех! И прежде всего это несчастное дитя! Теперь она к тому же хочет отослать его из дому! — Олине всхлипнула и обняла Вениамина.

Он погрузился в кисло-сладко-мучной мир. Но хотя бы мог снова думать о чем-то другом. Все было позади.

\* \* \*

Вениамин пошел к Андерсу, чтобы предупредить его о возмездии, о котором говорила Олине. Ему хотелось хоть что-то противопоставить этому возмездию, если даже от этого не будет большой пользы.

Андерс на причалах следил, как загружали суда, уходящие на Лофотены.

Выслушав Вениамина, он нахмурился:

— Дина это слышала?

— Нет, она была в конюшне.

— Дина на такую болтовню внимания не обращает. А у Олине слишком много предрассудков.

— Ты бы только послушал, что она говорила!

— Забудь об этом. Олине надо иногда побраниться. Она как паровая машина — выпустит лишний пар и живет дальше. Остайся со мной, сможешь мне считать.

Андерс усмехался, но было видно, что пророчество Олине немного смутило его.

— Не в пример лошади каждый рыбак, идущий на Лофотены, согласно двухсотлетнему правилу, имеет законное право на трехмесячное питание, — сказал он и, развернув ветхий лист бумаги, прочитал вслух:

— "Каждому рыбаку положено: один бисмерпунд <sup>[6]</sup> масла, столько же выдержанного сыра и два — обычного. Два вога лепешек. Двадцать четыре бисмерпунда ячменной муки для селедочного супа. А также сырокопченый бараний окорок и солонина. Двадцать лефсе <sup>[7]</sup> и четверть бочки сельди. Кислое питье, два литра водки и на одну марку табаку. Кроме того, каждый может брать по потребности патоки и муки для каши. Всего провианта на десять талеров".

— И они все это съедают?

— Этого еще мало! Хочешь, чтобы у тебя была лучшая команда, — бери больше, чем положено. Рыбаками командую я, независимо от того, что говорит Олине, а вот рыба — в руках Господних. Но если рыба идет, тут уж все зависит от команды.

— Хорошо бы побывать там.

— Да, там есть на что посмотреть. Рыбаков видимо-невидимо. Говорят, что на Лофотенах собирается до двадцати тысяч рыбаков. И у каждого своя снасть. И каждому требуется пища. Вот и считай, сколько бочек с хлебом и ларей с провизией надо припасти каждый год. Сколько морской рыбы и бахил. И за каждым судном обычно тянутся связки рукавиц, которые таким образом отмывают от грязи.

Вениамин представил себе двадцать тысяч пар заскорузлых от грязи и связанных друг с другом рукавиц, которые плывут по Вестфьорду. Это не шутки! Странно, что раньше никто не говорил ему об этом.

— Если Олине жаловалась тебе, что Дина скармливает лошади дар Божий, то невредно тебе узнать и то, что именно твоя мать много лет назад подсчитала, сколько сыру, масла и табаку требуется каждый год посылать на Лофотены. Тогда-то я и начал возить туда товар на продажу. Олине смотрит на все со своей колокольни, то есть из кухни в Рейнснесе... А мы с Диной — немного иначе.

Он сказал «мы с Диной». Это все искупало. Андерс участвует во всем, что делает Дина. Значит, Олине ошибается.

— Хоть ты и поедешь в Тромсё, чтобы стать ученым человеком, все-таки тебе неплохо знать: ловля рыбы — это свобода и приключения! Только там человек спит как убитый! Она дарит ему и силу, и мужество. Даже если рыбы не будет, все равно вырваться из дому — это счастье. А все остальное пусть ждет окончания сезона.

— А можно мне пойти с тобой на Лофотены? Вениамин видел, что Андерс растерялся. И все-таки повторил свой вопрос.

— Я поговорю с Диной, — неуверенно пообещал Андерс.

Но оба понимали: об этом нечего и мечтать. Андерс кашлянул.

— У тебя хорошая голова, парень. Пользуйся этим, пока молод.

— А у тебя, Андерс, разве плохая голова? Тебя небось никто не отправлял в Тромсё к чужим людям!

— Когда я был молодой, порядки были другие. Тогда мы радовались, если нам давали работу да еще и кусок хлеба. К тому же у меня не такой характер, чтобы корпеть над книгами.

— Мне тоже хочется стать шкипером! Андерс, скажи Дине, что мы с тобой так решили!

— Дина считает, что из тебя шкипер не выйдет.

— Это еще почему? Я ей докажу!

— Между прочим, я с ней согласен.

— Значит, если я не гожусь в шкиперы, мне надо сдохнуть в Тромсё?

— Нет. Я уверен, что ты будешь счастливым. Из тебя может получиться большой человек. Поэтому тебе надо учиться.

— Кем же я буду?

— Со временем определишься. Но ты станешь большим человеком, это точно!

— Я думал, раз ты теперь мой отец, тебе и решать, а все равно все решает Дина! — не сдержался Вениамин.

Любой рассердился бы на его месте. Но сказанного не воротишь. Андерс не поднимал глаз.

— Дина лучше знает, что тебе надо. На то она и мать.

— А ты посмотри, что вышло из Юхана. Лежит на диване в своей рясе и кланчит у Дины деньги.

Андерс не мог сдержать улыбку.

— Юхан не такой, как ты. Он не сын Дины, — улыбаясь, сказал он.

— Ну и что с того?

— Вы с ним очень разные.

— Откуда ты знаешь?

— Это по тебе видно, когда ты злишься. Впрочем, когда не злишься, тоже.

— Но ведь у нас с Юханом был один отец. Ты помнишь, как умер Иаков? А теперь он украшает стену и является привидением в Динином чулане.

— Кто тебе это сказал?

— Дина говорит, что он там.

— Ясно. — Андерс задумался.

— Но он никому не причиняет зла.

— Это уж точно.

Андерс повозился с трубкой и раскурил ее.

— Андерс, а ты веришь в привидения?

— Нельзя сказать, чтобы они очень донимали меня.

— А меня донимают.

— Кто же тебя донимает?

— Русский. Я знаю, он и в Тромсё со мной поедет. С кем я буду там по ночам играть в шахматы?

— Он все еще снится тебе?

— Да.

— Что же он делает?

— Кричит. И просит.

— О чем?

— Чтобы я был его свидетелем.

Этого говорить не следовало! Вениамин понял это, как только закрыл рот. О таком не говорят!

— Ты все забыть не можешь, как ленсман допрашивал тебя после того случая?

— Не знаю...

— Никак не забудешь, что русский застрелился?

— Это все ружье!

Вениамин несколько раз повторил эти слова, чтобы у Андерса не закралось каких-нибудь сомнений.

— Конечно ружье, — согласился Андерс.

— Разве люди могут стрелять друг в друга? — спросил Вениамин, понимая, что задает глупый вопрос.

— Иногда случается. Правда, не в наших местах.

— И что за это бывает?

— Пожизненная каторга. Стрелять в людей можно только на войне.

— Ты знаешь кого-нибудь, кто стрелял бы в людей?

— Слава Богу, нет!

— А ты подумай! Может, все-таки вспомнишь? Вениамин понимал, что идет по краю пропасти. Но сдержаться не мог. Он уже задал свой вопрос.

— Перестань, парень! Выкинь ты из головы все эти мысли!

Вениамин как ни в чем не бывало разглядывал маленького жука с черной спинкой, который медленно полз по полу. Черная блестящая спинка. Вениамин не знал, что на него нашло, но его вдруг заполнила невыносимая пустота. Он встал и раздавил жука каблуком.

— Бедный жук! Зачем ты раздавил его? Ведь он тебе ничего не сделал! — тихо сказал Андерс.

— А русский? Он тоже никому ничего не сделал, — ответил Вениамин и бессознательно сел на бочку. Бочка под ним закачалась. Пол был неровный.

— Это верно, — согласился Андерс.

— Скажи, как Дина может?.. Как она может жить, будто ничего не случилось? — Вениамин с удивлением вслушивался в собственный голос.

— Ты ошибаешься, она все помнит. Но только она не сдается. — Лицо у Андерса вдруг изменилось. Можно было подумать, что ему все известно.

Но ведь это невозможно!

— У Дины есть ты!

Как просто, оказывается, сказать эти слова: «У Дины есть ты!»

— Я есть и у тебя.

— Тот, кто принадлежит Дине, не может принадлежать кому-то еще! — выпалил Вениамин.

— Наверное, именно поэтому она и хочет, чтобы ты уехал из дому. Тогда бы ты перестал быть только сыном Дины.

— Ты так думаешь?

— Примерно так. — Андерс был не похож сам на себя.

— А русский?

— Русский останется в Рейнснесе. Если же нет, сообщи мне, я сразу приеду и потолкую с ним.

— А если ты в это время будешь на Лофотенах?

— Можно приехать и с Лофотенов.

— Это долго.

— Но возможно. Какое-то время тебе придется справляться с ним в одиночку. Мужчина должен ко многому привыкнуть.

— Ты считаешь, что я не мужчина, если боюсь мертвого русского?

— Я видел взрослых мужиков, которые пугались куда менее страшных несчастий, — серьезно ответил Андерс.

— А тебе когда-нибудь было страшно?

— Случалось.

— Дина говорит, что страшно бывает всем.

Лицо у Андерса вытянулось от удивления. Видно, он еще многого не знал, этот Андерс. И всегда верил только хорошему.

— Вот как?

— Да. Она говорит, что ей тоже бывает страшно.

— И чего же она боится?

Любой разговор требовал осторожности. Нельзя откровенничать, чтобы на душе стало легче. Надо терпеть. Теперь следовало перевести разговор на другую тему. Неопасную.

— Давай поговорим о чем-нибудь нестрашном, — предложил Вениамин.

Андерс кивнул и не стал больше задавать вопросов. Он был замечательный отец во всех отношениях. Знал, когда надо поставить точку. И тут же рассказал Вениамину, как во время одного плавания его даже рвало от страха, и морская болезнь была здесь ни при чем.

— А стоит сойти на берег, где тебе не угрожает опасность, сразу все забываешь, — с улыбкой заключил он.

\* \* \*

Уже на другой день Андерс сообщил Вениамину, что, к сожалению, его

обваляют в грамматике и поджарят на математике, чтобы подготовить к поступлению в классическую гимназию в Тромсё. Времени в обрез, так что с Лофотенами придется повременить.

— Почему она такая злая?

Вениамин мог позволить себе так сказать тому, кто должен был быть его отцом.

— На то есть много причин, — заметил Андерс и отвернулся.

\* \* \*

Вениамин часто сидел в комнате матушки Карен и размышлял над тем, что ему многое следует забыть. Хорошая память вовсе не благословение Божье. Но чем больше он думал об этом, тем лучше все помнил.

Иногда эти мысли одолевали его во время чтения и портили ему все удовольствие. Они взывали к нему его собственным испуганным голосом. Читая приключения и романы, он слышал, как сам рассказывает себе все то, что следовало забыть.

Это было, пожалуй, похуже, чем крики русского. Иногда он видел себя со стороны. Словно пылинку, положенную кем-то под увеличительное стекло матушки Карен. Может, даже он сам положил себя туда. Тогда он представлялся себе непобедимым великаном, который шагает по Вселенной, накинув на плечи вместо плаща звездное небо. Однако чаще всего он отождествлял себя с тем, что лежало у него под увеличительным стеклом. Несколько раз ему казалось, что он мотылек, который, никем не замеченный, летит через комнату.

Вениамин часто раздумывал, почему он подчиняется всем решениям Дины? Но может, она ничего и не решала? Может, это он сам всегда пытался угадать, чего она ждет от него?

Иногда он понимал, что она ни в чем не виновата. И вообще никто не виноват. Но не смел собрать воедино эти мысли, потому что тогда оказалось бы, что виноват он сам. Он трус. Он не такой добрый, каким следует быть. Он плачет и кричит без всякого повода еще почище, чем Олине.

В самые тяжелые дни он думал, что Юхан лучше его, хотя они оба сыновья Иакова. Юхан хороший человек, это бесспорно. И если он однажды ударил Вениамина, на то были причины. И очень веские.

Однажды после свадьбы Дины и Андерса Вениамин попытался поговорить с Юханом. Ведь другого брата у него не было. В тот день Юхан был непривычно весел. Поэтому Вениамин без приглашения отправился с ним на прогулку по берегу. Однако во время прогулки обнаружилось, что

его присутствие не доставляет Юхану ни малейшего удовольствия. Можно было, конечно, сделать вид, будто ничего не замечаешь, и выдержать прогулку до конца. Но это было бы уже совсем другое дело. Вениамин понимал, что плохо поступает по отношению к брату, что он уже достаточно взрослый и должен знать, что об этом говорить нельзя, и все-таки не удержался.

— Теперь Дина вышла замуж за Андерса, и тебе придется спать одному, когда ты приезжаешь в Рейнснес, — выпалил он то, что давно вертелось у него на языке.

Юхан замер. Прибой плескался о скалы. Солнце залило отмели зеленым светом, было очень тихо. Лишь где-то в отдалении слабый ветер наводил свой порядок. Но сердце Вениамина сковал лед. Юхан побелел, как песок из ракушечника, на котором он стоял. Его бледность предвещала беду.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил он, почти не разжимая губ.

Вениамин прекрасно знал, что Юхану будет трудно стерпеть его слова. Поэтому сказал:

— Ты спал у Дины, когда она жила в бывшем доме для работников! Признавайся!

— Откуда ты это взял?

Юхан грозно шагнул к нему. Оставалось только повернуться к нему спиной. Сердце Вениамина стучало в кончиках его пальцев.

— Я тебя видел!

Юхан схватил Вениамина за плечи. Его ногти впились ему в кожу. Вениамину было даже приятно. Как будто у них была общая вина.

— Молчи! Ты ничего не мог видеть! — крикнул Юхан и еще крепче сжал Вениамина.

Вениамину следовало закричать. Человек не может молчать, если в него так вцепились. Тогда хотя бы известно, отчего он кричит.

— А что в этом такого? — Вениамин вырвался и убежал вперед.

На бегу он обернулся и прибавил к сказанному такое, что Юхан бросился за ним, уже не сомневаясь, что Вениамин действительно видел его.

— Наглая ложь! Попробуй только повторить это хоть одной живой душе! — крикнул он.

«Я не лгу! Но если ты боишься, я никому ничего не скажу!» — мог бы крикнуть Вениамин своему брату. Это было так просто. У них с Юханом появилась бы общая тайна. Думая о ней, Юхан неизбежно думал бы и о нем.

## ГЛАВА 13

Перед Рождеством ленсман с семьей приехал в Рейнснес. Настроение за столом было не из веселых. Мальчики поехали с Фомой развозить рождественские подарки арендаторам.

Тучи сгустились после того, как ленсман за обедом заметил, что в Рейнснесе нет покоя даже ночью. Все время кто-то ходит, хлопает дверями. В приличных домах люди так себя не ведут.

— Вениамину до сих пор снятся кошмары, — коротко объяснил Андерс.

Дина вся напряглась, она сидела с каменным лицом, не притрагиваясь к еде.

— Каждую ночь? — спросила Дагни.

— Да, особенно в последнее время, — ответил Андерс.

— Это уже никуда не годится... Почему он у вас вырос таким неженкой? — спросил ленсман и потянулся за второй порцией рыбы.

— Это все тот случай с русским, — тихо ответил Андерс и передал ленсману блюдо с рыбой.

Палтус пах укусом и лавровым листом. Белый, плотный, усеянный по краям бусинками и прожилками жира.

— Но ведь прошло уже столько времени. — Ленсман положил себе большой кусок.

— Это произошло у него на глазах. Такое зрелище могло подействовать и на взрослого, — сказал Андерс.

— Но тогда, как только это случилось, он выглядел совершенно здоровым, — заметила Дагни — ей очень хотелось сохранить за столом мир.

Ленсман, продолжая жевать, долго смотрел на нее. Потом кивнул и многозначительно изрек:

— Чем меньше с детьми носятся, тем лучше.

— Как со мной, например? — спросила Дина.

— Ну-ну... — забормотал ленсман.

Андерс и Дагни заговорили одновременно, их слова столкнулись в воздухе.

— Что ты понимаешь? Ты видел, как упал русский? — продолжала Дина.

— Ну-ну... — добродушно повторил ленсман.

— Или как обварилась Ертруд? — прошептала Дина. Ленсман Холм вдруг побледнел и схватился за сердце.

— Дина, пожалуйста, не затевай ссору, — попросила Дагни, приподнявшись со стула. Ее нож упал на пол. Серебряная ручка еще долго звенела.

— Или, может, ты видел, как Иаков упал с обрыва? — холодно продолжала Дина. Она сплела пальцы над тарелкой и пристально смотрела в закрытые глаза ленсмана.

— Дина... — попросил Андерс.

— И как повесился Нильс? — От Дины веяло ледяным холодом. — Если бы ты все это видел, возможно, даже у тебя после этого началась бы бессонница. Так что лучше молчи!

Она спокойно отодвинула стул, сложила салфетку и положила ее рядом с нетронутой тарелкой. Потом кивнула каждому в отдельности и вышла из столовой.

Андерс высидел до конца. Но после обеда сослался на усталость, пожелал всем доброй ночи и ушел спать. Наверху, перед тем как войти в спальню, он постоял, собираясь с духом.

Дина раздевалась за ширмой. Андерс подошел к ширме и долго смотрел на Динину голову, пока она не подняла на него глаза.

— Я не могу выносить эту вечную войну между тобой и твоим отцом, — без обиняков начал он.

— И что ты намерен делать?

— Буду куда-нибудь уезжать, пока они гостят у нас. Если ты не позаботишься, чтобы за обеденным столом царил мир, — ответил он и снял сюртук вместе с рубашкой.

Дина молча повесила блузку на ширму. В неярком свете он видел только ее руки и голову. За окном шел снег. Андерс задернул занавески и разделся.

Высказав все, что у него было на душе, он сразу успокоился. Но Дина не унималась. И в конце концов Андерс не выдержал.

— Теперь другое, и самое главное: нельзя отправлять Вениамина в Тромсё, пока он в таком состоянии. Ведь он совершенно не спит! — сказал он.

— Там ему придется думать о другом, и он забудет о том, что мучило его здесь, — возразила Дина.

— Ты к нему слишком сурова. — Андерс заметил, что начинает сердиться.

— А что, по-твоему, мне делать?

— Оставить его дома, пока все не уляжется.

— А если это так и не уляжется?

Андерс смотрел на ее спину, она расчесывала волосы щеткой. Как обычно, когда он незаметно для Дины наблюдал за ней, лицо у него было беспомощное.

— А если все так и останется? Навсегда? Значит, ему всю жизнь жить здесь, в Рейнснесе, со своими кошмарами?

— Ты пробовала поговорить с ним? Что его мучит?

— Я знаю, что его мучит, — устало сказала Дина и вышла из-за ширмы.

— Понимаю, это смерть русского. Но надо объяснить Вениамину, что его вины в этом нет.

Дина быстро обернулась к Андерсу и посмотрела ему прямо в глаза:

— Никто и не говорит о вине!

— Я знаю. Но он-то это понимает? Мы могли бы помочь... — Андерс помолчал, потом медленно произнес:

— Впрочем, может, ты не совсем подходишь для такого разговора.

— Что ты имеешь в виду?

— Ты ведь тоже была там. Вы с Вениамином вместе нашли русского. Поэтому лучше, чтобы с ним поговорил кто-нибудь другой.

— Кто же, по-твоему? Пастор? — презрительно спросила Дина.

— Зачем пастор? Я!

Дина смерила его взглядом и положила щетку для волос на место.

— Не слишком ли ты высокого мнения о себе, Андерс?

Он почувствовал ее сарказм:

— А ты какого обо мне мнения? Разве не высокого? — По его лицу скользнуло подобие улыбки.

— Конечно высокого. С твоей стороны очень великодушно предложить свою помощь, — с отсутствующим видом сказала она.

Уже лежа в постели Дина проговорила, глядя в пространство:

— Это не тебя, а меня не должно быть в Рейнснесе.

— Любопытно. Значит, твои родственники будут приезжать в гости ко мне одному?

— Возможно, так и будет.

— Что ты имеешь в виду?

— Я думаю, мне придется уехать.

В комнате не осталось ничего, кроме тишины.

— Дина, опять? Но почему? — прошептал он наконец.

— Уеду куда-нибудь, где смогу учиться играть на виолончели.

— Играть на виолончели! О Господи!

Он слышал только ее дыхание. Очень холодное.

— Ты уже говорила об этом. — Он глубоко вздохнул. — Стало быть, опять все дело только в этом? Ты уже раскаиваешься, что вышла за меня замуж?

Она покачала головой и прижалась к нему.

— Что с тобой происходит? Неужели до сих пор в этом доме царит русский?

— Здесь нечем дышать.

— Помнишь, ты и на шхуне говорила то же самое. Потом захотела исправить это с моей помощью. Но теперь и я уже не помогаю!

— Я не виновата!

— Кто же тогда виноват?

Дина не ответила. Она лежала неподвижно, словно хотела показаться спящей. Андерс рассердился. Но он не любил показывать свой гнев.

— Ты все еще горюешь о нем? — спросил он наконец.

— Что значит... горевать? — ответила она вопросом на вопрос.

— Не знаю. Для меня это... Но я не знаю, что значит горевать для тебя.

— Я тоже, — еле слышно сказала она.

Его охватила смертельная усталость. И все-таки он выдержал. Он должен был заставить ее сказать все.

— Может, тебе все же следует разобраться в этом? Ты всю жизнь о ком-нибудь горевала. Сначала о матери, потом об Иакове. Теперь вот о Лео... Может, тебе следовало разобраться в этом до того, как ты попросила меня жениться на тебе?

Кто-то поднимался по лестнице на второй этаж. Дагни и ленсман, тихо разговаривая, осторожно закрыли за собой дверь залы. Когда все стихло, Дина несколько раз прерывисто вздохнула.

— Наш брак не имеет отношения к моему горю, — сказала она.

— Ты уверена? А ты вышла бы за меня замуж, если бы Лео по-прежнему приезжал в гости в Рейнснес?

— Опять начинаешь, Андерс?

— Нет!

Они лежали, прижавшись друг к другу, под большой периной. И не двигались. Прошло столько времени, что он невольно пошевелился.

— Поймать бы неводом все твои мысли! — сказал он и обнял ее.

Она промолчала и тоже обняла его. Это было уже немало.

— Дина! — Да?

— Ты не веришь... что и к нам когда-нибудь... придет любовь?... Или если хочешь... — Он начал заикаться.

— Любовь... — проговорила она.

— За себя я могу поручиться.

— Почему?

— Я знаю, что это так.

Она провела рукой по его волосам, по затылку. От этого он почувствовал себя еще более несчастным.

— Ты не ошибаешься? — шепнул он в ее ладонь.

— Нет, Андерс, нет! Не ошибаюсь!

Он задал ей очень важный вопрос. Поняла ли она его?

— Может, тебе станет легче, если ты поговоришь о нем? О Лео? — Андерс вздохнул.

Дина не ответила. Но он понял, что она думает над его словами. Она задержала дыхание. Он повернул ее к себе, чтобы увидеть ее глаза. Однако было слишком темно. Он увидел лишь две далекие звезды. Потом и они исчезли.

— Нет. Давай спать, Андерс. День был тяжелый. — Дина попыталась закутаться в перину.

— Ты казнишь себя из-за того, что он застрелился? И за то, что Вениамин видел это?

— Давай спать, Андерс, — повторила она.

— Нет! Почему ты хочешь уехать? — Он опять повернул ее к себе.

Андерс рассердился. И сам слышал это. Рассердился, потому что ему стало страшно.

— А если бы я сказала тебе... что он не сам... Что бы ты тогда сделал, Андерс?

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что сказала.

— Это был несчастный случай?

— Нет.

Что-то подозрительное было в тених у двери. Андерс не мог понять, откуда они появились.

— Дина!

— Что?

— Ты хочешь сказать?..

— Да! — Когда в комнате не осталось ничего, кроме их дыхания, она громко повторила:

— Да!

Было темно. Андерс снова стал маленьким мальчиком. Он сидел на коленях у матери. Но ведь его мать уже много лет как утонула! Никто

ничего не знает о времени. Он нашел Динину руку. Разжал и переплел свои пальцы с ее.

— И Вениамин видел это? — услышал он свой собственный голос, доносившийся откуда-то издалека.

— Не знаю, — ответила она так тихо, что он долго вслушивался в тишину, чтобы различить в ней ее слова.

Потом он переплел их пальцы и на другой руке. Так крепко, что у него заболели суставы. Но Дина, наверное, не чувствовала боли.

— Что ты теперь сделаешь? — спросила она.

Он прокашлялся. Потом сообразил, что им обоим холодно, и натянул на них перину.

— А черт его знает! — воскликнул он наконец и рывком привлек ее к себе, словно это было для него самое главное.

Время текло, точно песок, принесенный волной.

— Чем же он перед тобой провинился? — вдруг вырвалось у Андерса.

Она покачала головой. Это движение отдалось дрожью во всем ее теле. Ему показалось, что она плачет, но ее лицо, прижавшееся к его груди, было сухое.

— Дина?

— Я не могла позволить ему уехать. Меня ослепила страсть...

— И это говоришь ты? А сама грозишься уехать от меня! Может, и мне надо зарядить ружье?..

Ее глаза сверкнули в темноте.

— Да! — твердо сказала она. — Если у тебя хватит на это любви. Пожалуйста! Люди всегда поступают одинаково, пока кто-нибудь не осмелится нарушить привычный порядок. Всю жизнь. Но кто-то же должен осмелиться!

Он смотрел в темноту.

— Не может быть, чтобы ты говорила серьезно!

— Пожалуйста, Андерс! Освободи меня! И только таким образом! В Писании сказано, что любовь не бывает напрасной! Что она переживет все! У меня получилось иначе. Он больше не пришел...

Андерс чувствовал, как его сердце разрубает тело на части. Мощными ударами оно дробило кости и мышцы, наконец его голова отделилась от тела и покатила на колени Дины.

— Боже милостивый, спаси нас обоих! — выдохнул он и обнял ее обессиленными руками.

Он водил суда в непогоду, когда волны на море были выше церкви. Он разнимал мужчин, бросавшихся друг на друга с ножами. В тяжелую

минуту он призывал и Бога, и дьявола. Но он еще никогда не обнимал никого, кто бы...

Однако это была его жизнь, и он не мог от нее отказаться.

— Что ты теперь сделаешь? — ворвался в его мысли голос Дины. Чужой и жесткий.

Он набрал в легкие воздуха. Много-много.

— Я не выпущу тебя из объятий, пока ты не расскажешь все, что мне следует знать. И после этого тоже! Но только не бросай меня! Слышишь? Не уезжай от меня!

— И ты сможешь все вынести?

Он ответил не сразу, но, когда заговорил, голос его звучал твердо:

— Я вынесу все, что мы будем нести вместе! Все, что я буду знать!

— Теперь ты знаешь!

Дина издала хриплый короткий смешок и освободилась из его объятий. Потом, прежде чем он успел помешать ей, слезла с кровати. Ощупью, словно спросонья, вытащила из-под кровати ночной горшок и присела. Послышалось журчание. И вдруг этот звук смешался с рыданием.

Андерс сбросил перину и присел рядом с ней, вдыхая острый запах мочи и пота. Не зная, что делать, он пальцами расчесывал ее волосы. Потом помог ей лечь.

Дрожащими руками он зажег свечу. Поставил ее на стул возле двери, чтобы свет не раздражал Дину. Подошел к умывальнику. Намочил водой из кувшина полотенце и неловко выжал его.

Вернувшись к кровати, он обтер Дине лицо и шею; она бормотала что-то, но он не сразу понял ее слова:

— Я видела их всех. Учителя. Учеников. Иоанна. Иуду. Симона-Петра. Они все еще лгут. Лгут, отрекаются и предают. По-моему, они сами не ведают, что творят. А Христос, сколько бы падших женщин ни лежало у Его ног, всего лишь Младенец... — Она замолчала, словно не знала, как выразить все, что у нее на душе. — Но ты, Андерс!.. Ты взвалил на себя слишком тяжелую ношу. Тебе с ней не справиться!

— Я справлюсь со всем, с чем справишься ты! Она покачала головой и вернула ему полотенце.

— Все повторяется. Мы всегда поступаем одинаково. Всегда. До сегодняшней ночи ты не понимал этого. Но теперь... теперь ты знаешь все, Андерс!

Он бросил полотенце на пол.

— Помню, мне приходило в голову, что Лео не из тех мужчин, которые могут жить с одной женщиной... Но я думал, ты понимаешь это. Господи

Боже мой! Дина, мог ли я изменить что-нибудь, пока было еще не поздно?

Она покачала головой. Он крепко схватил ее за плечи и сказал:

— Значит, нам надо решить то, что еще можно решить!

Краем уха он услышал, как во двор въехали сани. Свет факела брызнул кровью на занавески. Вскоре осторожно открылась входная дверь и три пары ног прошаркали к своим постелям.

\* \* \*

Метель бросала в окна снежные комья, они прилипали к стеклу. Росли. А потом беззвучно срывались вниз под собственной тяжестью. И снова надолго в окне была видна ночь. И на стекле нарастали новые комья. И все повторялось сначала.

\* \* \*

Утром Дина и Андерс настороженно следили друг за другом. Словно каждый удивлялся, что другой все еще здесь. Несмотря на то что всю ночь они тесно прижимались друг к другу. Если бы кто-то накануне сказал Андерсу, что с такой тяжестью можно жить, он бы ни за что не поверил.

С этим они встали. Она первая. Он — за ней. Прошел к ней за ширму и обнял ее. Оба молчали.

За завтраком он смотрел на ее руки, намазывающие масло на хлеб. Длинные пальцы сжимали нож, удерживали на тарелке хлеб. И вдруг Андерс увидел руку, прижимавшую к щеке ружье. Услышал выстрел. Он раскатился по всему дому, но никто даже головы не повернул.

Тошнота. К ней Андерсу предстояло привыкнуть. Подавлять ее и скрывать.

## ГЛАВА 14

Вениамин слышал, как старики говорили, будто время идет слишком быстро. Теперь и он это чувствовал. После того как стало известно, что его отправят в Тромсё. В его жизни не осталось ничего, кроме занятий и кандидата Ангелла. Словно он уже не принадлежал к сонму живых.

Андерс один ушел на Лофотены и потом в Берген, в нынешнем году раньше, чем обычно. Теперь он редко бывал в Рейнснесе. А взгляд Дины был прикован к чему-то, чего не видел больше никто.

У Ханны же обязанностей было не меньше, чем у взрослой женщины.

Вениамин даже жалел, что уже давно отдалился от Фомы. Впрочем, как только сходил снег, Фома не интересовался ничем, кроме улучшения пахотных земель. Он настоял на своем и обратился в Сельскохозяйственное общество за советом, как улучшать земли, чтобы получать более богатые урожаи.

К тому же Фома уговорил Дину купить в Трэнделаге молодого быка айрширской породы. Теперь все только и говорили что об этом быке, будто других быков на свете уже не существовало. Андерс должен был привезти быка в Рейнснес, возвращаясь из Бергена.

Новый ткацкий станок Стине по-прежнему вызывал у всех восторг.

— Благословенный станок! — время от времени говорила Стине. — Превосходный навой, и ручка очень удобная. Сам широкий, а прибор легкий, просто чудо!

Чтобы никто не сомневался, кому принадлежит станок, Дина велела вырезать на навое инициалы Стине. Стине могла взять его с собой хоть в Америку, если бы захотела.

В усадьбу приходили женщины и просили у Стине разрешения поткать на ее новом станке. Со своей пряжей, лоскутами и дочерьми. Потому что станок с места не трогали! Его установили в самой большой комнате людской, в которой проводили свободное время все работники усадьбы. Мужчинам даже нравилось, что в усадьбе появился станок и чужие женщины, хотя им и приходилось выходить по вечерам на порог со своими вонючими трубками.

Чужие женщины резали тряпки на длинные лоскуты, сшивали их и помогали с уборкой. Они смеялись, сплетничали и пели. Их вид наводил Вениамина на мысль о свежесбитом масле или о ручьях, журчавших в горах.

Ткачихи приходили по очереди. Они набегали, как мелкие волны на берег. Одна, две... Сперва в аллее шуршали юбки. Потом за углами людской или уборной звучали веселые возгласы и тихий смех. Из открытых окон по ночам доносился шепот. Днем звенели, переливались звонкие голоса. Не один Вениамин наблюдал за работой этих чужих созданий. Все мужчины в усадьбе поглядывали на них. Вениамин слышал, как они спрашивали у женщин, не нужно ли чего принести. Или наколоть дров. Или прибить лишние крюки для светильников. Самый молодой из работников даже предложил смастерить полки для корзин с клубками из лоскутов, чтобы они не путались под ногами. Когда станок Стине предоставляли в распоряжение чужих ткачих, в Рейнснесе не было отбоя от новых работников.

Вениамин тоже придумывал предлоги, чтобы поглядеть на ткачих. У одной из них была такая тонкая талия, что он даже боялся заговорить с ней. Ткачихи склонялись над станком, и их обтянутые лифами груди слегка колыхались.

В лавку стало приезжать больше народу, чем обычно. Это начиналось уже с февраля. Мужчины приплывали на карбасах и лодках, чтобы повидаться с женами, сестрами, возлюбленными. Или с теми, кого надеялись застать в Рейнснесе. А уж вытянув лодки на берег, покупали сласти, нюхательный табак и всякую мелочь.

Иногда даже сам кандидат Ангелл, прислонившись к открытому окну, умолкал посреди диктанта. Это означало, что мимо прошла одна из незнакомых женщин.

\* \* \*

Однажды, в мае, Вениамин стоял на табурете и медленно поворачивался кругом, разведя руки в стороны. Если он делал неосторожное движение, многочисленные булавки больно кололи его.

— Стой спокойно, скорее закончим, — говорила ему портниха.

Вениамин и сам понимал, что это единственный способ скорее избавиться от врага.

— Вениамин почти не вырос за этот год, — заметила портниха, рот у нее был полон булавок.

На ней был синий передник и строгая накладка в волосах. Вениамину хотелось, чтобы она проглотила булавки. Все сразу. Конечно, это было скверное желание. Но естественное. Чтобы Бог простил его, он постоял не двигаясь лишнее время.

— Вениамин не спит по ночам и слишком мало ест, вот он и не

растет! — объяснила Теа; она разглядывала его, словно он уже усох и умер.

— Что тебя мучит, Вениамин? — вкрадчиво спросила врагиня и уколола его булавкой.

Он не ответил, но в отместку вытер нос рукавом, отчего на рукаве осталась белая полоска. Потом он невольно чихнул. Это уже непреднамеренно. И тут же раскаялся, потому что булавки пришлось перекалывать заново.

Стине тихонько пожурила его за испачканный рукав и пошла на кухню за тряпкой.

Вениамин промолчал. Пусть занимаются своим делом и судачат о том, что он не вырос. Он не будет им мешать.

Вошла Дина и оглядела его, склонив голову набок.

— А нельзя ли сшить костюм, который был бы ему впору? — спросила она.

— Мальчишкам всегда шьют одежду на вырост. А то еще до Рождества он будет ходить по Тромсё полуголый, — ответила портниха и показала, что она заложила складки внизу на штанинах и на рукавах рубашек.

Стине и Теа поддержали портниху. Они сняли со стены в прихожей большое зеркало и держали его перед Вениамином. И он сам, и костюм на нем выглядели как взятые напрокат.

Дина кивнула, но он прекрасно видел, что она даже не взглянула на него. Ей было наплевать, что он похож на огородное пугало. Однако его это не задело.

Вениамин позволил портнихе вертеть себя из стороны в сторону под строгим взглядом Стине. Он был всего лишь деревянной фигурой, которую должны нарядить и послать в Тромсё. Правда, перед тем ему предстояло ответить в церкви на вопросы пастора. Вениамин был готов на все, лишь бы Андерс успел до конфирмации вернуться из Бергена.

\* \* \*

Ханна теперь думала только о том, чтобы хорошо и быстро выполнять все, что ей поручали. Случалось, она тихонько садилась рядом с Вениамином и слушала, как он читает вслух. Но только потому, что не любила оставаться одна. Несколько раз она даже засыпала под его чтение.

Больше он не изучал ее тело, как раньше. Она говорила, что они уже слишком взрослые для таких игр. А он не находил нужных слов, чтобы возразить ей. Взрослые так взрослые, с этим уже ничего нельзя было поделать. Но несколько раз он все-таки зарылся носом в ее волосы на

затылке. Там хранилось странное тепло. Однако Ханна отказалась долго сидеть неподвижно. Впрочем, и это было не важно. Он все равно уедет отсюда. Сейчас он больше всего нуждался в одиночестве. Ему хотелось о многом подумать. Все несло мимо, и он уже ничего не мог удержать. Наверное, по той же причине и тело его перестало расти. Даже пушок на верхней губе и тот перестал расти.

Если он сидел в комнате матушки Карен и никому не мешал, все о нем забывали. И если б он в один прекрасный день вообще не вышел оттуда, никто и не заметил бы, что он куда-то исчез.

\* \* \*

Вениамин много времени проводил в летнем хлеву. Через маленькое оконце туда проникал синеватый свет. Пахло коровами, навозом и клевером. Он сидел в открытых дверях и размышлял над сложными вопросами: кто он, за кого его принимают другие и за кого ему следует себя выдавать, чтобы никто ничего не обнаружил?

Иногда, осмелев, он задавал себе вопрос: ради чего он живет? Ради себя? Или ради того, чтобы быть свидетелем, который не дает показаний?

Ответа он не находил. Зато привык к постоянно живущей в нем тревоге. Голова его казалась слишком большой по отношению к туловищу. Не спасало и то, что по совету Стине он держал ее высоко.

Вениамин уже не помнил, когда ему на ум первый раз пришла мысль, что его никто ни от чего не спасет. Он должен сам спасти себя. Эта мысль белым червем ползала в его позвоночнике. Червь извивался, копошился, плодил новых червей. В конце концов Вениамину стало трудно держаться прямо. У него не хватало сил даже бояться по-настоящему. Он знал, что этот страх может убить его. Потому вместо страха и пришла эта тревога с червями. Вот черви сожрут его, и останется пустота.

Вениамин видел, что Дина тоже ждет Андерса. Она ежедневно поднималась на бугор, где стоял флагшток.

Похудела и сама стала как флагшток. Где уж ей было думать о том, как выглядит Вениамин или что на нем надето! Зачем? Ей хватало своих забот.

Вениамин старался приходиться на бугор одновременно с Диной. Следил, когда она пойдет туда, словно у них там было назначено свидание. Только у них двоих. Хотя знал, что она ждет не его и даже не Андерса. Она ходила туда из-за русского.

Дина не сердилась на появления Вениамина, но почти не разговаривала с ним. Она стояла не двигаясь, и волосы ее летели по ветру, точно черный парус. Если светило солнце, они оба прикрывали глаза ладонью. Словно

сговорились.

Так они и стояли на ветру, когда шхуна Андерса вошла в пролив. Вениамин закричал от радости и бросился в дом, чтобы надеть длинные брюки, непомерно большой пиджак и белую манишку. Ни дать ни взять задержавшаяся перелетная птица, которая уже сменила свое летнее оперение и совсем скоро отправится за море.

Сапоги были ему впору, поэтому он ступал твердо и не спотыкался о камни и бревна. Он очень ждал возвращения Андерса. Но радости как будто не чувствовал и потому сперва громко кричал и смеялся. А потом замолчал и ждал вместе со всеми среди прибрежных камней.

На воду спустили лодки. Одну, другую. Люди уже замолчали, а ветер еще долго носил над водой и хлопьями пены их голоса.

Наконец-то мечта Фомы осуществилась! Быка торжественно доставили на берег, словно это был негр из Африки. Из-за сильной качки у быка расстроился желудок. Стоило, в котором его везли, и сопровождавший его парень были в навозе.

Андерс вздохнул с облегчением, когда на быка накинули веревку и свели на берег. Он тут же приказал начисто отдраить шхуну после такого пассажира.

— Бык, конечно, тоже человек, да только на море ему делать нечего, — засмеялся Андерс, когда днище лодки царапнуло камни.

— Его зовут Туре Собака, как одного древнего викинга, и стоил он тридцать талеров, — сообщил Фома всем налево и направо.

— Солидные деньги за скотину, — заметил один арендатор, он нырнул быку под брюхо и что-то там делал.

Мужчины с интересом следили за ним, женщины стыдливо отвернулись. Бык грозно замычал и вскинулся на ручную тележку.

— Мы еще на нем заработаем, — гордо сказал Фома.

— Что будешь брать за одну случку? — спросил кто-то.

— Шесть талеров, — ответил Фома и погладил рассерженного быка.

— Не многовато ли?

— Арендаторам будет скидка, — негромко сказал Фома.

Все сошлись на том, что такого могучего быка им видеть еще не доводилось.

На берег спустилась Дина. Она пожала Андерсу руку и поздравила его с возвращением домой. Вокруг Фомы с быком вдруг воцарилась тишина. Теперь остались только Дина и Лидере.

Рейнснес слишком долго страдал от сырого тумана. Андерс был для них все равно что спасительное шерстяное одеяло. Вениамин заметил, что

и Дина испытывала подобное чувство, когда они все вместе поднимались к дому. Андерс шел по аллее и нес русского на спине, точно пушинку. Но лишь когда Андерс, поставив локти на стол, начал рассказывать о поездке, дышать вдруг стало легче, чем раньше.

\* \* \*

Вениамин чувствовал себя упакованным в сундуки и чемоданы, но жаловаться было не на что. Все могло быть и хуже. В дорогу могла собраться сама Дина.

Однажды он стоял с Андерсом возле голубятни и смотрел на голубей. Неожиданно Андерс сказал:

— К Рождеству я приеду за тобой! Клянусь! Дотерпи до Рождества! А там я приеду за тобой в любую погоду!

Вениамину пришлось кивнуть — это было сказано с добрыми намерениями.

Ленсман с семьей приехал на конфирмацию Вениамина. Дагни хвалила Вениамина за то, как он отвечал в церкви на вопросы, касающиеся святой веры, и пространно толковал катехизис.

Ленсман считал, что такая светлая голова ни в коем случае не должна пропасть. Золотые запонки он преподнес Вениамину еще накануне.

Вениамин больше не дрался с Оскаром и Эгилем. Олине уже не кричала на весь дом, что отпрыски ленсмана убьют Вениамина. Оскар и Эгиль ходили по пятам за Диной. Они говорили только с ней или о ней. Как будто она принадлежала им. Вениамин так и не привык к тому, что они ее единокровные братья. Все портило еще и то, что он был моложе их.

Он сблизился с Дагни. За это лето она заметно изменилась в его глазах. Упрямая, вечно недовольная чем-то женщина вдруг стала очень приветливой. Опасной и необходимой. Ему хотелось всегда быть рядом с ней. Ее волосы. Тяжесть ее тела, когда она наклонялась над его кроватью, желая ему покойной ночи. Дагни сохранила этот обычай, хотя, на ее взгляд, мальчишки были для этого уже слишком большие.

Она была далеким облаком. Невыразимо прекрасным. Вениамин пользовался всеми мыслимыми приемами — и теми, которым выучился совсем недавно, и теми, которые знал давно, — чтобы заставить Дагни обратить на него внимание.

\* \* \*

После возвращения из церкви женщины в ожидании обеда собрались в беседке и возле нее. Вениамин прошел мимо открытой двери беседки. Тени

от листьев дрожали на лицах, плечах и грудях. Он погрузился в аромат, исходивший из корсетов и блуз. Это было не очень по-мужски. Но ведь можно позволить себе опять ненадолго стать маленьким!

Дагни наклонилась к нему, чтобы рассмотреть его запонки. Коснулась его руки. Это было немного странно. Сказала, что он вырос и стал красивый.

Голова Вениамина превратилась в мягкий клубок. Рука поднялась. И против его воли коснулась ее груди. Дагни не шелохнулась. Но спрятала его руку у себя на груди. Как будто вместе с ним участвовала в игре, о которой никто не должен был знать. Тогда он превратился в щенка и ткнулся носом в вырез ее платья. Только на мгновение. И все было кончено.

Но аромат Дагни он ощущал потом много дней.

## ГЛАВА 15

Фома предполагал, что 1859 год будет урожайным. Не только на картофель и овощи. Благодаря дождю и теплым дням трава выросла сочной и высокой. Вениамин с трудом пробирался по ней. Книги были отложены в сторону. Взрослые не возражали. Они вообще одобряли все, что бы он ни делал.

Сразу после сенокоса в Рейнснес приехала женщина с острова Бьяркёй, чтобы воспользоваться станком Стине. С ней приехала длинноногая белокожая и светловолосая дочка, Элсе Мария. Вениамин еще не видел таких девочек. Она была совершенно не похожа на Ханну.

Ханна приняла ее как свою. Они вместе работали. Хихикали над чем-то своим, разрезая тряпки на полосы, чтобы ткать половики. Вместе ходили в уборную. Их смех разносился по двору, точно крик обезумевших моевок.

Ханна воспользовалась появлением подружки, чтобы наказать Вениамина за то, что он уезжает в Тромсё. У него не было возможности ответить ей тем же.

Несколько раз он пытался приблизиться к девочкам, чтобы поговорить с Элсе Марией, но Ханна что-то шептала ей на ухо, и та начинала смеяться, закрыв лицо руками.

Однажды утром Вениамин увидел Элсе Марию одну во дворе. Она стояла у колодца и вычерпывала из бадьи воду. Не заплетенные в косы волосы сливались с низко стоявшим солнцем. Она была босиком. Льющиеся лучи очерчивали ее фигуру под тонким полотном рубашки. Вениамин быстро огляделся по сторонам и подошел к ней.

Из-за скрипа ворота она не слышала его шагов. Он подошел сзади и хотел взять у нее ручку ворота, чтобы помочь, но она вздрогнула и отпустила ее. Железная ручка содрала кожу с ладони Вениамина, и бадья с глухим плеском упала обратно в колодец.

Он зажал ладонь другой рукой, они не спускали глаз друг с друга.

— Я хотел помочь, — сказал он.

— А-а...

— Тебя зовут Элсе Мария? — спросил он и схватился за ручку ворота.

Она была в крови.

— Да, — застенчиво ответила девочка и в ужасе воскликнула:

— Господи, у тебя кровь!

Вениамин начал крутить ворот.

— У тебя кровь! — повторила она.

— Пустяки!

— Я же вижу! Позвать кого-нибудь?

— Глупости!

Он вращал ручку как одержимый. Элсе Мария молчала.

— Тебе нравится нарезать ткань для половиков? — спросил он. — Ты ничем другим не занимаешься.

— Нет.

Вдруг ей стало смешно. Она вся согнулась от смеха, поглядывая на него светлыми голубыми глазами. Совсем не похожими на темные глаза Ханны. Вениамин стоял так близко, что видел у нее на руках и на носу мелкие светлые веснушки. И на шее, потому что ворот рубахи был не застегнут.

Вениамин отвел глаза и старательно крутил ручку. Из колодца с глухим стуком показалась бадья, вода выплеснулась на них обоих. Темное пятно приклеило юбку к телу Элсе Марии. Он не мог отвести глаз от этого пятна. Изгибы ее тела заморозили его своей округлостью.

— Ты знаешь, кто я? — спросил он, беря ведро.

— Да.

— Кто же?

— Вениамин Грэнэльв, хозяин Рейнснеса.

— Откуда ты знаешь?

— Это все знают.

— Ты из-за этого боишься меня?

Она прикрыла обеими руками мокрое пятно на юбке и из-под приспущенных век наблюдала за ним.

— Нет.

— Почему же тогда ты не хочешь со мной разговаривать?

— Я этого не говорила.

— Я могу показать тебе что-то интересное. Возле летнего хлева. После ужина. Когда подоят коров и станет тихо. Но приходи до того, как солнце зайдет за Тюлений остров, иначе ничего не получится.

— Сколько тогда будет времени?

— Сама увидишь.

— А где Тюлений остров?

Он повернулся и махнул рукой в сторону острова.

— А что ты мне покажешь?

— Сейчас не скажу.

Она засмеялась и наклонилась над мокрой юбкой. Приподняла ее, опустила. Юбка снова прилипла к ней. С Вениамином что-то произошло.

Воздух застрял у него в горле.

Он положил на плечо коромысло и подцепил оба ведра. Положив руки на ведра, он сказал:

— Увидишь всякую нечисть.

Произнеся эти слова, Вениамин понял, что поступил глупо. Но было поздно. Забрать их назад он уже не мог. Он судорожно глотнул воздух и почувствовал, что краснеет. Потом быстро, как мог, повернулся с полными ведрами и отнес их к дверям людской.

В тот же день он помогал Фоме перевозить с поля жерди для сушил. Работа есть работа, и рана на руке не могла освободить от нее Вениамина. Фома не очень обращал внимание на такие мелочи.

Переход от занятий с кандидатом Ангеллом и торжество по поводу конфирмации к работе с Фомой дался Вениамину нелегко. Но он не жаловался. Да это и было бы бесполезно.

Вениамина мучило его глупое обещание показать Элсе Марии всякую нечисть. Где он ее возьмет?

К тому же ему было не по себе в обществе Фомы. Он чувствовал, что Фома наблюдает за ним, как будто ждет удобного случая, чтобы доказать ему, что он еще не настоящий работник. Что-то в Фоме заставляло Вениамина сторониться его. Но что именно, он не знал.

Однажды, проходя мимо открытых дверей конюшни, Вениамин услышал голос Фомы:

— Парень слишком бледный и хилый. Ему вредно столько сидеть над книгами. Смотри, как бы он от них не заболел.

Ответа Дины Вениамин не разобрал.

Кто-то из них тут же вышел из конюшни. Вениамин спрятался, ему было неприятно. Почему Дина говорит о нем с Фомой? Зачем?

С того дня его поставили работать на земле.

Сегодня он вместе с Фомой возил жерди.

Под взглядом Фомы у него начинало чесаться все тело. Но приходилось терпеть и даже поддерживать начатый Фомой разговор.

— Ну и жара нынче.

— Да.

Каждый из них принес по охапке жердей и сложил на тележку.

— Скоро поедешь учиться в Тромсё?

— Да.

— Интересно, поди?

— Не знаю.

— Учиться небось легче, чем носить жерди... Ты как считаешь?

— Угу.

— Тебе там должно понравиться.

— Да.

— Ханна будет скучать без тебя.

— Угу.

— На Рождество приедешь домой?

Вениамин обрушил на тележку сразу все жерди. Распрямился. Лицо его завязалось в багровый узел.

— Чего ты все выпрашиваешь?

Это было несправедливо. И все-таки он не удержался. Фома растерялся, не зная, что ответить. Вид Фомы вызвал у Вениамина жалость, но ему не хотелось жалеть Фому.

Фома спокойно опустил жерди на тележку и ответил, не поднимая глаз:

— Потому что желаю тебе добра. Смешное заявление для взрослого мужчины.

— Я слышал, как ты говорил Дине, что я никудышный работник.

— Когда это было?

— Не так давно... в конюшне.

— Я говорил, что тебе следует больше бывать на воздухе, а не сидеть все время над книгами.

— Какое тебе до этого дело?

Фома облизнул губы кончиком языка.

— Да в общем-то никакого...

Теперь он говорил шепотом. И это почему-то насторожило Вениамина. Точно Фома знал, что один из них скоро умрет, и ему было важно сказать Вениамину именно эти слова: «Я желаю тебе добра... В общем-то никакого...»

Вениамин глубоко вздохнул. Его гнев улегся. Что-то тут было не так. Почему он должен возить эти жерди и выслушивать то, на что не мог возразить? Чего он даже не понимал? Неожиданно для себя он схватил неполную еще тележку и быстро повез ее к хлеву. Жерди подпрыгивали на тележке, солнце палило. Он просто спасался.

Таща тележку мимо изгороди, Вениамин увидел Ханну и Элсе Марию. Они сидели на скамейке и резали свои вечные лоскуты. Он запыхался, но все-таки свистнул. Ханна даже не взглянула на него. Элсе Мария подняла руку. И все. Но этого было достаточно.

Вениамин подкатил тележку к хлеву. Одну за другой перекидал жерди в подпол. Рана на ладони открылась. Ее окружала краснота. Из раны текла кровь. Он никогда не видел своей крови. Не знал, что она такая красивая.

Его прошиб пот. По лицу побежали струйки.

«Элсе Мария! Элсе Мария!» — кричал он про себя. Однако следил, чтобы наружу не вырвалось ни звука. Он посидел немного. Высморкался здоровой рукой. Но это не помогло.

Когда он шел обратно за новыми жердями, девочки стояли у изгороди и смотрели на него. Бросив на него презрительный взгляд, Ханна наклонилась к Элсе Марии и что-то шепнула ей. И обе засмеялись, прикрывшись руками.

Вениамин потерял власть над собой, в нем что-то оборвалось. Где-то внутри. Все произошло слишком быстро. В нем вспыхнула злость. Глаза стали сухими, как трут. Голова превратилась в змеиное гнездо. Бешенство разбудило силу. Он подтащил тележку к изгороди. Выкрашенная в белый цвет изгородь была невысокая, такая, чтобы ее не перепрыгнули овцы. Сверху доски были заострены.

Не сознавая, что делает, Вениамин перегнулся через изгородь, обхватил Элсе Марию за талию и перенес на свою сторону. Опуская ее на землю, он встретился взглядом с кофейными глазами Ханны. Ему стало трудно дышать.

Но он пересилил себя. Вдохнул воздух так глубоко, что у него зашумело в ушах. И снова поднял приезжую девочку. Он держал ее над головой на вытянутых руках. Ее башмаки царапнули о доски. Она вздохнула, а может, всхлипнула, когда он посадил ее на тележку. Потом, обернувшись к Ханне, он рассмеялся ей в лицо. Но не был уверен, что у него это получилось.

На талии у Элсе Марии остался след от его руки. Красная полоса шла по всей талии. Теперь она принадлежит ему!

Вениамин схватил ручки тележки, на которой сидела Элсе Мария, и побежал по полю.

\* \* \*

Как ни странно, она пришла вечером к летнему хлеву. Вениамин спрятался в кустах и видел, как она поднимается по тропинке. Не правдоподобно светлая. Он и не знал, что такие бывают. Проходя мимо куста малины, она сорвала несколько ягод и нанизала их на стебелек. Это ему не понравилось — куст принадлежал Ханне, и никто не смел прикасаться к этой малине. Но его вины тут не было.

Элсе Мария как будто почувствовала, что за ней наблюдают. Она остановилась и подняла голову. Глаза ее смотрели прямо на него, но она его не видела. Вениамина охватило сладкое томление. Вдруг он вспомнил,

что не сможет показать ей никакой нечисти.

Скорей бы все было уже позади. Он вышел из кустов и поднял руку. Элсе Мария медленно подошла к нему, неся на стебельке красные ягоды. Когда она подошла ближе, он увидел, что лицо у нее покрыто испариной. На лбу и верхней губе выступили крохотные капельки пота. Кожа под ними была совершенно белая.

Он мог протянуть руку и коснуться ее лица кончиками пальцев. Вот так.

Она не двигалась и спокойно смотрела на его пальцы. Это было смешно. Он невольно засмеялся, хотя они еще не сказали ни слова. Она тоже засмеялась. Она была такая же невысокая, как Ханна. Хотя наверняка ей уже исполнилось пятнадцать. Водя пальцем по ее щеке, носу и лбу, Вениамин начал рассказывать ей о хюльдре [\[8\]](#) в синем платье, которая явилась из-под земли, потому что ей захотелось искупаться в ручье, где купались люди.

Он никогда не слышал этой истории, но это не имело значения. История сама явилась к нему. Ему оставалось только рассказать ее. Вскоре он заметил, что Элсе Мария даже не дышит.

— Хюльдра стояла в водопаде, и по ней стекала вода, — рассказывал он.

Элсе Мария по-прежнему не дышала, и с удивлением смотрела на него. Она сейчас задохнется, подумал Вениамин. И виноват будет он. Но он ничего не мог поделать — ему было приятно, что она стоит здесь и сейчас задохнется, слушая его рассказ.

Когда он подумал, что конец уже близок, Элсе Мария качнулась и снова начала дышать. Качнувшись, она оказалась ближе к нему. Так близко, что ей пришлось опереться руками ему в грудь, чтобы не упасть на него.

Какие теплые у нее руки! Вениамин никогда не испытывал ничего подобного. Руки были живые. Непостижимо живые.

Он снова прикоснулся кончиками пальцев к ее лицу. Какая у нее нежная кожа! Какая светлая! Может, свет жил в Элсе Марии и заставлял ее парить над землей? И Вениамин единственный знал об этом?

— Когда хюльдра вышла из-под водопада, она сняла свое синее платье — оно было мокрое — и повесила сушить на березу. На обычную березу, как все в этой роще. — Он быстро махнул рукой. Слишком быстро, потому что не мог надолго оторвать руку от ее лица. — Потом хюльдра легла на траву и уснула. А этого ей делать не следовало. Ее увидел темноволосый парень, и она показалась ему очень красивой, потому что в ней жил

солнечный свет. Парень хотел обнять хюльдру, ведь он не знал, что она не человек. Но едва он прикоснулся к ее щеке, как она проснулась и увидела, что лежит голая. Ей стало стыдно, и стыд хюльдры ощутили все ее родичи, которые жили в горе. Они поспешили к ней на помощь и заколдовали парня — он перестал быть самим собой. А хюльдра уже не могла вернуться обратно в гору, где жила. С тех пор она мерзнет, голая, под водопадом или бродит здесь по роще... Тс-с! Слышишь, Элсе Мария? Слышишь, хюльдра все еще бродит тут! Слушай!

Элсе Мария испуганно слушала его рассказ. Он взял ее за руку. Она ни разу не улыбнулась. Синева вокруг них постепенно сгущалась. Пахло первозданным летом и коровами. Она так и не сказала ни слова.

Он заставил ее сесть в густом кустарнике. Потом просительно протянул руку к стебельку с ягодами. Она словно опомнилась и дала ему одну ягодку. Он покачал головой и поднес ягодку к ее губам. Она открыла рот и взяла ягоду. Один из пузырьков малины лопнул, и красный сок нарисовал точку на ее подбородке. Вениамин должен был вытереть ее, но его руки были заняты, и он просто слизнул эту каплю.

Элсе Мария по-прежнему не спускала с него глаз. Она смотрела только на него. Он дрожал оттого, что сидел так близко, оттого, что она смотрела на него и молча ела малину.

Ягоды кончились, но Элсе Мария ни словом не напомнила ему о том, что он обещал показать ей нечисть. Впрочем, он не был уверен, что она забыла об этом. Поэтому он обеими руками коснулся ее талии. Легко-легко. Чтобы она не испугалась. И тут Элсе Мария закрыла глаза. Она не зажмурилась, словно ничего не хотела видеть. Нет. Ее веки просто скользнули вниз, точно маленькие крылья. Ресницы у нее были такие светлые, что казались ненастоящими. На белых веках просвечивали синие жилки. Словно кто-то нарисовал их тонким карандашом. Они оба дрожали и пытались скрыть свой страх.

Судорожно глотнув, он положил руки ей на грудь. Но не прямо на грудь, а чуть-чуть сбоку, как бы случайно. Ему было невыносимо, что она так долго не произносит ни слова и что у нее дрожат ресницы.

Он снова судорожно глотнул, и его рука скользнула в вырез платья. Кожа у Элсе Марии была шелковистая и влажная. Невероятно, но она сидела все так же, не двигаясь.

Он уже хотел расстегнуть верхнюю пуговку лифа, как в кустах послышался голос Ханны.

— Я знаю, что вы здесь! Я знаю, что вы здесь! — кричала она.

Элсе Мария мгновенно вскочила и бросилась бежать вниз по тропинке.

У Вениамина свело судорогой лицо, словно он собирался заплакать из-за пустяка. Мир был совершенно синий. Вениамин еще долго слышал треск веток, хотя Элсе Марии уже не было видно.

Ну и пусть! Вскоре он услышал внизу их смех.

\* \* \*

Вениамин пошел в летний хлев к коровам. Они дышали на него и брали у него из рук пучки травы. Он обнимал их теплые шеи. Одну за другой.

— Я Вениамин Грэнэльв из Рейнснеса. Ты меня знаешь? — шептал он каждой.

Они жевали жвачку, кто стоя, кто лежа. Некоторые долго смотрели на него и кивали.

— Но теперь я должен уехать отсюда. Последняя корова жарко и влажно дохнула ему в лицо.

— Я не гожусь даже на то, чтобы возить жерди. Корова решительно отвернулась от него.

Не раздумывая, он с силой ударил ее ногой в бок и крикнул:

— Я вам покажу! Я вам всем еще покажу! Слышите!

И тут вдруг коровы вытянули шеи и подняли головы к потолку. Тени от их больших голов внушали ужас. Дикое мычание вырвалось из их глоток и швырнуло Вениамина в желоб для навоза. Дрожащий, испуганный, он лежал там, чувствуя, как навоз просачивается у него между пальцами, проникает сквозь одежду. Коровы мычали. Били копытами в пол. Набирали полные легкие воздуха и снова мычали.

Вениамин поднялся и отступил к двери.

Глаза! Глаза коров преследовали его. Жгли огнем. С каждым его шагом этих глаз становилось все больше, пока все они не слились в один огромный коровий глаз.

Наконец он почувствовал спиной дверь, выскочил наружу и задвинул засов.

Деревья, точно призраки, окружали хлев. Они все видели и слышали. Они тянулись к Вениамину, царапали его и что-то шептали. Он побежал сквозь них. Другого пути не было. К реке. Мгновение он стоял и смотрел в бурлящий омут на середине реки. Потом бросился в него.

Ему нужно было смыть с себя свою тень. Она пахла навозом.

Холодная вода приняла Вениамина. Он находил самые глубокие места и погружался по шею. Подставлял себя мчавшемуся потоку. Вода струилась мимо. Холодная и прозрачная. От этого шума и движения у него закружилась голова. Все стало хрупким. Все разбивалось. Но он должен

был выдержать, сколько бы это ни продолжалось. Он услышал обращенный к нему шепот. Сперва он подумал, что это вода. Или хюльдра. Потом понял. Это шептал русский.

Вениамин не знал, сколько просидел в воде. Тело перестало существовать. Он не чувствовал холода. Руки и ноги исчезли. От него осталась лишь голова, она лежала в реке, и ее ледяные мысли устремлялись с потоком прочь. А с бескрайнего лилового неба на Вениамина смотрели светлые коровьи глаза.

# КНИГА ВТОРАЯ

# ГЛАВА 1

*Когда мать отлучает ребенка от груди, у нее под рукой должна быть более питательная пища, дабы ребенок не погиб. Счастлив тот, у кого под рукой есть более питательная пища.*

*Иоханнес де Силецио. Страх и трепет*

Темно-синим осенним днем «Матушка Карен» вошла в гавань Тромсё. Вениамину предстояло набраться знаний и, может быть, даже стать ученым мужем.

Андерс не считал, как некоторые, что человека следует учить тому, о чем он не просил. Но теперь он сбросил с головы зюйдвестку и уверенно вел шхуну. Высматривая место поудобнее, где бросить якорь, Андерс услышал у себя за спиной бормотание Вениамина. Это было похоже на заклинания.

— Биармийцы пришли сюда в тысяча двести пятидесятом году, потому что их земли в России заняли татары. Конунг <sup>[9]</sup> Хакон Хаконарсен разрешил им остаться в Норвегии, если они примут христианство. Они построили церкви в Уфутене и Тромсё. И люди стали приезжать туда, чтобы торговать. А теперь Дина из Рейнснеса прислала сюда меня! Хотя она и не помышляет о торговле!

Андерс не моргнул глазом, услышав эти слова, но ему стало не по себе.

— Откуда ты все это взял? — спросил он наконец, отдав короткую команду матросам, которые готовились бросить якорь.

— Кое-что придумал, а кое-что вычитал, как и многое другое, — не без высокомерия ответил Вениамин и тоже снял шапку.

Рулевой поставил шхуну точно между английским бригом и русской ладьей, и Лидере велел приступить к спуску якоря.

Как бывало уже не раз, когда Вениамин говорил о чем-то Андерсу неизвестном, Андерсу показалось, что ему подарили немного мудрости. Он невольно вспомнил матушку Карен. Но матушка Карен была старая и многое повидала на своем веку. Вениамин же был еще мальчик.

Они плыли на шлюпке к берегу, и Андерс показывал Вениамину дома, причалы и говорил, как они называются. Королевский арсенал с причалом стоял отдельно от других. Причалы и пакгаузы купца Евера внушали

уважение, так же как причалы и пакгаузы Фигеншау и Стеенсона. Пасторская усадьба и пакгаузы Эббелтофта лежали уже за городской чертой.

В синеватом свете дома как будто тянулись друг к другу. Их разделяли зеленые лужайки и купы деревьев. Некоторые сады были обнесены штакетником, вдоль которого росли рябины; дома были большие и белые. Дороги и тропинки паутиной оплетали пологий склон. Вершины гор исчезали в синеве вечернего неба.

Вдоль самого берега теснились невзрачные домишки с облупившейся краской, многие были вообще некрашеные; из невысоких труб поднимались тонкие струйки дыма. С другой стороны пролива все тонуло в густой зелени.

Разделенные широкой улицей дома стояли как на параде. Их было не так много, как в Бергене, и они были не такие большие, как там, но тоже с воротами и пристройками. Некоторые дома прижимались друг к другу стенами, словно боялись остаться в одиночестве.

Андерс и Вениамин шли за телегой, на которой везли сундук и узлы с вещами на всю зиму. Андерс знал названия всех домов, улиц и переулков.

— Вот подожди, — говорил он, — станет совсем темно, и зажгут фонари! Такого зрелища ты еще не видывал!

\* \* \*

Они поднялись вверх по холму к дому кожевника. Это был двухэтажный охристо-желтый дом с коричневыми наличниками. Если бы Вениамину не предстояло въехать сюда со своим сундуком и узлами, он счел бы этот дом даже красивым. Все здесь было добротное, крепкое, надежное, ничто не гремело и не скрипело даже в самый сильный ветер. Горшки с геранью, ворота, петли которых не издавали ни звука.

Проходя мимо этого дома, люди могли не бояться, что им на голову упадет черепица. Входная дверь тоже открывалась бесшумно.

И все-таки, как только Вениамин вошел в дом, его пронизал едва уловимый трепет. Словно его приезд сюда необъяснимым образом был кем-то предрешен заранее.

В доме стоял странный запах. Такого Вениамин еще не встречал. Здесь пахло не конюшней. Не порохом. Не щелочью или ночными горшками. Не прелой шерстью или протухшим мясом. Но как будто сразу всем понемногу. Запах усилился, когда кожевник пришел домой, и Вениамину показалось, что Андерс тоже ощутил его, однако ничего не сказал.

Их встретила жена кожевника, фру Андреа. Высокая, темноволосая,

при взгляде на ее бедра невольно останавливалось дыхание — они были необъятны. На ее зад спокойно можно было поставить кувшин с водой, что стоял у него дома на тумбочке. Спереди фру Андреа тоже была необъятна.

Вениамин не мог охватить ее взглядом — этот избыток плоти вгонял его в краску. Строгое коричневое платье было наглухо застегнуто и украшено брошкой, на которой, к счастью, можно было сосредоточить внимание.

Вениамин против воли покраснел. Волосы у фру Андреа были гладко причесаны и собраны в тугий пучок. От этого кожа на висках натянулась и глаза казались раскосыми, как у кошки.

У Дины волосы никогда не были так приглажены. Зато, если она хотела, лица ее было почти не видно.

Лицо же фру Андреа было как на ладони, однако заглянуть ей в глаза было невозможно.

Так же как невозможно было избежать глаз Дины. Из-за чего находиться с ней в одной комнате было жутко и приятно.

\* \* \*

С первой же минуты фру Андреа заполнила собой в доме все пространство. Она колыхалась между ними, словно волна между шхерами при западном ветре. Непостижимым образом она двигалась быстро и в то же время медленно. С еле уловимой зыбью. Или так только казалось из-за раскосых глаз? Ее легко было представить себе ведьмой или колдуньей. Впрочем, она не внушала страха. Дело было в другом. Вениамин только еще не знал, в чем именно. Ему вдруг захотелось оказаться макарониной, которую она держала на вилке и не спеша втягивала в себя губами.

Ему даже почудилось, что и Андерс испытывает нечто подобное. Впрочем, Андерс выглядел как обычно.

Когда они вошли, из-за спины фру Андреа выглянуло сухонькое существо в синем платье и белом платочке, сдвинутом на глаза. Оно беззвучно кивнуло им несколько раз. Потом по очереди пожало им руки и скрылось где-то в глубине дома.

\* \* \*

Андерс был прав. Фонари, горящие на площади и перед домом пекаря Рёста, оказались волшебной сказкой. Большие пакгаузы Вениамин видел и в Бергене, поэтому здесь они не произвели на него особого впечатления. Но зажженные фонари были чудом.

Уже в первую неделю он узнал, что гимназисты любят собираться под

этими фонарями. Они украдкой курили самокрутки и поглядывали на девушек.

Вениамин в жизни не видел столько девушек за один раз! Они прятали руки в муфты, а носы в меховые воротники и шарфы. Чем сильнее был мороз, тем больше раз шарф обматывался вокруг шеи. Девушки под зажженными фонарями в Тромсё! Такое трудно было себе даже представить.

Часы на ратуше тоже были освещены. Как будто в этом городе считалось необходимым, чтобы люди всегда знали точное время.

Откуда приходили девушки, было загадкой. Просто вечером под фонарями вдруг начинали мелькать верткие тени девушек из Южной женской гимназии. Они ахали и возмущались этими противными мальчишками из Северной мужской гимназии, которые бранились, плевались, кричали нехорошие слова, а зимой кидались снежками.

Иногда мимо проходил растрепанный, неряшливо одетый человек. Походка у него была как у работника, идущего домой из трактира. Но он был совершенно трезвый. Это был старший преподаватель Ханс Боде Тетинг. Он шел, размахивая руками и что-то бормоча себе под нос, точно его только что выпустили из приюта для душевнобольных. Его никто не боялся. Но гимназисты все же разбежались, чтобы не нарваться на неприятность. Случалось, кто-нибудь из отчаянных сорвиголов оставался и дразнил учителя. Но тот только махал руками и грозил, что эти каналы еще поплатятся за свои проделки. А потом, стукнув раз или два палкой о землю, приподнимал шляпу и уходил, тут же забыв о своем гневе.

Одних учителей презирали, другими восхищались. Третьи становились предметом жгучего интереса. Особенно это касалось тех, кто преподавал в Южной женской гимназии или в школе фрекен Тесен и фрекен Брек.

Ректор Блум был страстный любитель газет и в счет не шел. В то время как гимназисты корпели над переводами с немецкого, он занимался своими статьями. Он был поглощен своим делом, однако его тело и глаза присутствовали в классе. И никто не понимал, видит ли он проделки учеников. Шутить с ним было опасно. Он внушал к себе уважение, которое было трудно объяснить. Очевидно, все дело было в том, что он публиковал статьи в «Тромсё Стифтстиденде». С этим нельзя было не считаться.

\* \* \*

Уже первый раз идя по улице Фредерика Ланге к дому шкипера Вита, Вениамин вынужден был признаться себе, что ему нравится место ссылки. Он забыл все, чем мысленно раньше пугал себя.

Запахи. Спешащие люди. Звуки, доносившиеся из мастерских ремесленников, что стояли на берегу, суда с чужими флагами, необычно одетые иноземцы, которые на шлюпках прибывали на берег. Ему нравились даже неприступные горы по ту сторону пролива, не позволявшие видеть открытое море. Они как будто охраняли Вениамина. Уж коли ему было суждено оказаться на чужбине, хорошо, что здесь ничто не напоминало о Рейнснесе.

Сперва у него было чувство, будто он попал в сказочную страну. Он только не понимал, как к этому относиться. Когда же до него дошло, что ему предстоит долго прожить здесь, он решил, что этот город создан и существует исключительно для него. Иногда город казался ему главой в книге, которую он читает.

Но вот Андерс уехал домой, и Вениамин понял, что не достаточно просто захлопнуть книгу, чтобы выйти из нее. Что ему предстоит прожить здесь не один год, и с этим уже ничего не поделаешь.

\* \* \*

Каждый вечер, когда кожевник возвращался домой и они садились обедать, Вениамину казалось, будто дом заколдован. И сам он заточен здесь с драконом и этой заколдованной женщиной с непонятным выражением лица. В доме было много комнат, в которые ему не разрешалось заходить. И если б он нарушил запрет, наверняка случилось бы что-нибудь ужасное.

Хозяева обещали Андерсу, что отведут Вениамину лучшую комнату. Два высоких окна тупо упирались в какой-то сарай, притулившийся к забору. Черная чугунная печь пахла краской, которой ее покрывали, чтобы она блестела.

Вениамин ел за одним столом с этой крупной темноволосой женщиной, скрывавшей от мужа свою суть. Кожевник покашливал и недоверчиво переводил взгляд с предмета на предмет. Словно подозревал в чем-то всех и вся. Или боялся услышать что-нибудь такое, чего не в силах будет вынести. Что-нибудь, что развеет сразу все чары.

Вениамин не мог понять, как кожевник относится к тому, что он живет у него в доме. Ни он, ни его жена никак не проявляли своего отношения к нему. Слова их ничего не выражали. Наверное, когда-то давно им отвели несколько слов, которыми они могли пользоваться.

Пока Андерс не уехал, в поведении кожевника и его жены не было ничего необычного. Но после его отъезда они начали меняться. День ото дня. Становились какими-то ненастоящими. Вениамин копил тому

доказательства. У фру Андреа, например, на затылке был скрытый глаз. Стоило ему за ее спиной представить себе, что он ставит ей на зад кувшин, как она тут же оборачивалась.

Ему нужно было привыкнуть не только к запаху этого дома. Его, например, пугали руки кожевника. В первую неделю они были почти обыкновенные. Потом с каждым днем стали приобретать цвет меди. К тому же они были покрыты черными волосами. Даже суставы пальцев.

Вениамин заставлял себя не смотреть на его руки. Но это давалось ему с трудом.

Пища здесь тоже была какая-то ненастоящая. Вернее, заколдованная. Как бы она ни выглядела, вкус у нее всегда был одинаковый. Вениамина это удивляло. Ему казалось, что столовая кожевника находится на дне моря. Здесь колыхались темные леса водорослей, виднелись скользкие скалы и расщелины. Вокруг плавали существа с раскрытыми ртами и острыми плавниками. Коричневые цветы и стебли, разбросанные по обоям темной столовой, и были этими колышущимися водорослями и скользкими существами. До самого потолка столовая была набита мертвыми, произнесенными словами. Да и какие слова могли бы выжить в этой стихии, даже если б у них и были жабры!

Здесь в воздухе витали тайны, но Вениамин не успевал уловить их. Что-то в доме напоминало ему о грязных овчинных одеялах рыбаков, вернувшихся с Лофотенов. И о запахе, несвежем запахе помещения, где люди долгое время спали не раздеваясь.

К своему удивлению, Вениамин быстро освоился. Привык к тому, что здесь за столом всегда молчат, и далее вздрагивал, точно воришка, пойманный на месте преступления, если хозяева вдруг заговаривали о погоде. Хорошая погода или плохая. Северный ветер или, к сожалению, западный. А случалось, и тот и другой.

Но за всеми их словами скрывалось что-то зловещее. Страшное! Даже если они говорили о погоде.

Иногда Вениамин замечал улыбку. Обычно улыбалась фру Андреа. Но только ему. Не мужу. Когда она улыбнулась Вениамину первый раз, у него перехватило дыхание — ее глаза смотрели на него, губы раскрылись в улыбке, и он мог заглянуть ей в рот. Она превратилась в большое животное, готовое схватить его. Не проглотить одним разом, а, смакуя, втянуть в себя.

\* \* \*

Такой же она и приснилась ему в первый раз. С приподнятыми

уголками губ, она как будто навалилась на него. И все скрылось под тяжестью невыразимых и запретных образов. Она приближалась к нему все ближе, пока он не исчез в ее больших плотоядных губах.

Но то было ночью. За столом губы у нее всегда были сжаты, словно ее мучила зубная боль. Не считая тех случаев, когда она улыбалась. Вениамин не помнил, чтобы она улыбалась его словам или из желания проявить дружелюбие. Чаще всего она улыбалась, когда, быстро оглянувшись, замечала, что он сзади наблюдает за ней. Стоя у буфета и доставая приборы и чашки, она вдруг замирала и оглядывалась. Губы ее раскрывались в улыбке. И эта улыбка затягивала в себя терявшего волю Вениамина.

\* \* \*

Как только Вениамин вошел в дом кожевника, он понял, что люди тут не прикасаются друг к другу. Но знал, что когда-нибудь ему придется прикоснуться к ней. Таков был вынесенный ему приговор. Прикоснуться к ней, когда она будет стоять к нему спиной.

Он слышал рассказы об оборотнях и ведьмах, которые жили двойной жизнью. Днем они были как все люди, а ночью превращались в волчиц. Такой была и фру Андреа. От этой мысли он весь наливался тяжестью.

Вениамин знал, что, если прикоснется к ней, когда она этого не ждет, ему удастся разоблачить ее. И тогда случится самое страшное.

\* \* \*

Но жизнь в Тромсё не ограничивалась одной фру Андреа. Исполнение обязанностей и вечное стремление самоутвердиться были делом не только Вениамина Грэнэльва из Рейнснеса.

С 1858 года ректор Блум ввел в гимназии занятия по расширенной программе. Сын Дины был одним из девятнадцати учеников, приехавших издалека и живших либо на частных квартирах, либо у дальних родственников. Им предстояло постичь многие науки и привыкнуть к дисциплине. Гимназический курс был рассчитан на три года, за это время ученики должны были проштудировать девять книг Геродота, работы Платона, олимпийские речи Демосфена, «Илиаду» Гомера, песни с пятой по седьмую, а также учение о форме, синтаксис и грамматику греческого языка. Обширная программа по латыни охватывала первую книгу Тита Ливия начиная с сорок четвертой главы и вторую, четвертую и пятую книги римского баснописца Федра; «Энеида» Вергилия и Гораций также входили в программу. Каждые две недели гимназисты писали сочинения

по-немецки, по-английски и по-французски. Изучали географию, математику и геометрию. Это было необходимо, чтобы сдать выпускной экзамен. Его сдавали на латыни. Он включал сочинение, перевод и устный ответ. Кроме того, в этот экзамен входило сочинение на норвежском, история, религия, греческий, география, математика и геометрия. Даже пение и декламация. Последнее Вениамину особенно нравилось.

Каждый месяц успехи учеников обсуждались на учительском совете. Помимо того, велся ежедневный реестр грехов каждого гимназиста. За такое постижение жизненной и книжной премудрости Дина платила тридцать шесть талеров в год. Почти ежедневно с кафедры произносились восхищенные слова по адресу «дорогих родителей», приносящих столь щедрые жертвы.

Вениамин быстро овладел приемами, которые помогали ему избегать наказания, неотвратимо настигавшего того, кто не подчинялся общим правилам.

Первая заповедь гласила, что в присутствии учителя ученик должен хранить молчание и отвечать только на заданные ему вопросы. Вторая — ученик должен всегда быть вежливым, но не опускаться до подхалимства. Вениамин сразу усвоил, что подхалимов рано или поздно настигала месть Немезиды. Либо со стороны учителей, либо со стороны учеников. Следовать этой заповеди Вениамину ничего не стоило — он был не способен к подхалимству.

Труднее всего ему давалась наука держать язык за зубами. В Рейнснесе азам поведения его учили Дина и Стине. Они делали это от чистого сердца. Еще дома Вениамин усвоил, хотя никто ему этого не внушал, что каждый человек имеет право открыто высказывать свое мнение, не боясь наказания. Главное — не чертыхаться и не браниться в присутствии Олине.

Может быть, и прав был учитель латыни, который говорил, что Вениамин упрям и многословен, как оракул. Однако это не считалось смертным грехом, пока Вениамин выражал готовность исправиться.

\* \* \*

В гимназии учились сыновья торговцев и чиновников. Но были тут и сыновья ремесленников и моряков. В Тромсё труд ремесленника не считался зазорным. Однако разница между учениками все-таки чувствовалась.

Ученики из семей попроще быстро обнаруживали себя, как бы они ни следили за своей речью. Особенно трудно приходилось тем, у кого в семьях не обращали внимания на речь детей. Эти ученики говорили на

причудливой смеси книжного языка и просторечия.

Вениамин наконец понял, что имел в виду ленсман, когда неоднократно бранил Дину, позволявшую Вениамину говорить, «как говорят в конюшне». Это помогло ему контролировать свою речь.

Одни ученики считались воспитанными, другие — вульгарными. Вениамин лучше всего чувствовал себя в обществе Софуса, сына столяра Бека. Софус если и чертыхался, то очень тихо и, когда требовалось, легко переходил на книжный язык. Его тоже волновали девушки под фонарями. Вениамину нравилось, что от Софуса пахнет свежим струганым деревом и хвоей.

Долговязый, мрачный, широконосый, Софус был тем человеком, на которого Вениамин всегда мог положиться. Но они не говорили об этом.

## ГЛАВА 2

Фру Андреа была моложе своего мужа. Думая об этом, Вениамин испытывал нечто похожее на торжество. Он не знал, чем она занимается днем, когда он бывал в гимназии, и даже хотел спросить у нее об этом, но как-то не находил подходящего случая. Это ему предстояло выяснить самому. Деваться было некуда.

Кожевник все время проводил в своей мастерской на берегу. Но от этого он не был менее опасным. Вениамин представлял себе, как кожевник стоит над дымящимся чаном и огромным черпаком мешает кипящую кровавую массу. Конечно, Вениамин знал, что дубят только кожу. Ну а все остальное — мясо, кости? Куда это девается? Ведь как-то от этого избавляются? В том числе и кожевник. Не зря у него такие нечеловеческие ручищи.

Вениамин никогда не видел таких рук. День ото дня они становились все больше. Несколько раз Вениамину казалось, что он видит их даже сквозь стену. словно черные раны, они зияли под одеялом на теле фру Андреа. Эта картина постоянно возникала у Вениамина перед глазами, когда он видел, как кожевник, сложив руки на белой скатерти, читает застольную молитву. На одном из указательных пальцев ноготь у него был похож на кривой звериный коготь. Это был тайник! Там фру Андреа хранила зелье, с помощью которого держала их всех в плену.

Сперва он думал, что фру Андреа не видит его. А если и видит, то как-то не по-настоящему. Дома, например, Дина и все домочадцы видели его, даже не поворачивая головы в его сторону. Он в этом давно убедился. У него в Рейнснесе были свои тайные убежища, но, если в доме требовалось его присутствие, домашние всегда так или иначе давали ему знать об этом.

Здесь у него никто ничего не спрашивал. Обращаясь к нему, они не смотрели на него. Они и сами были какие-то ненастоящие.

\* \* \*

В доме кожевника никогда не бывало посторонних. Только старуха, которая была одновременно и кухаркой, и горничной. Она жила отдельно, в маленькой пристройке, служившей когда-то конюшней или сараем. А могла бы жить и в доме — ведь здесь было пять спален! Во всяком случае, на втором этаже в коридор выходило пять дверей. Но старуха не зря покидала каждый вечер этот дом, она прекрасно понимала, что делает.

В Рейнснес без конца приезжали разные люди. Многих из них Вениамин видел впервые. Все, даже пробст, непременно наведывались на кухню и в лавку. Для этого не требовалось никакого предлога.

Здесь все было иначе. Прожив целый месяц в доме кожевника, Вениамин не был нигде, кроме столовой, лестницы и своей комнаты.

В Рейнснесе на всех дверях и шкафах были замки и ручки. Без них, открывая двери, было бы не за что ухватиться. Но замки никогда не запирались. Даже в конторе при лавке дверь никогда не запиралась на ключ. Другое дело винный погреб. Вот он всегда был заперт. Но ключ висел на гвоздике у Олине или лежал наверху у Дины, если она забывала повесить его на место.

В доме кожевника перед сном запирались все двери. Для каждой комнаты имелся свой ключ. И ключами не пренебрегали. Вечером Вениамин лежал и слушал, как ключи поворачиваются в замочных скважинах. Потом слышались шаги на лестнице, скрип двери в спальне хозяев, кашель кожевника, и наконец ключ в спальне поворачивался изнутри.

Уже в первые дни Вениамин понял, что в тот вечер, когда этот ритуал по какой-либо причине прервется или будет нарушен, произойдет нечто ужасное.

Он лежал под своей периной и старался ни о чем не думать, пока в доме не наступит полная тишина. Мысленно он считал ступеньки на лестнице и сколько ключей уже повернулось в своих скважинах.

\* \* \*

И тем не менее он оказался неподготовленным, когда это все-таки произошло. Однажды вечером, незадолго до Рождества, последний ключ так и не повернулся в своей скважине!

Ночь была зловещая, как гроб, стоявший в Рейнснесе на сеновале и еще неизвестно кому предназначенный. Конечно, можно было встать, зажечь лампу и таким образом спастись. Но для этого нужно было действовать. А как раз действовать Вениамин и не мог.

Следовало попытаться заснуть. Ведь не обязательно это имело отношение к нему. Эта незапертая дверь вполне могла оказаться ловушкой, поставленной кожевником для жены. Однако в глубине души Вениамин понимал, что ловушка предназначена именно ему.

Теперь трудно было сказать, слышал ли он раньше эти звуки из спальни хозяев и просто привык к ним, как и ко всему остальному. Но через несколько минут он безошибочно угадал их происхождение. Они невольно

проникали ему в уши, и он не мог избавиться от вызванного ими мучительного напряжения.

За стеной кто-то пыхтел и стонал!

Надо было взять себя в руки и так или иначе спастись. Вениамин встал. В комнате было холодно и темно. Он кое-как оделся. Обулся, ощутив тепло шерстяных носков. Руки и вся нижняя часть туловища у него занемели. Это чувство, приятное и в то же время неприятное, и было самым главным. Вениамин подошел к окнам и откинул занавески. В комнату проник лунный свет и изменил все. Это был явный знак. И еще эти звуки. Вениамин больше не мог оставаться в своей комнате.

Он шел, едва касаясь пола. Никто не смог бы обнаружить его. Его просто не существовало. От этого сознания его охватило какое-то легкое цепенящее чувство.

В коридоре звуки были слышнее. Приглушенный вскрип и грубый стон. Как будто Вениамин раньше не знал этого! Кожевник хочет разоблачить жену, он понял, что она спрятала свое зелье в его ногте.

Настал час. Кожевнику нужен был свидетель. Он хотел застрелить жену!

Вениамин все время догадывался об этом. Иначе и быть не могло. Он больше не раздумывал, хватит ли у него смелости. Поэтому просто распахнул дверь их спальни. Она отворилась беззвучно. Дверь тоже участвовала в исполнении приговора. Теперь ему следовало войти в спальню. Для этого он и пришел сюда.

Сперва все было хаосом и тьмой. Однако в щель между занавесками проникал лунный свет. В темноте обозначилась могучая спина кожевника в белой ночной сорочке. Его ноги походили на сучковатые сосновые корни. Тело двигалось, подчиняясь мощной силе невидимых мехов. Вениамин слышал это по звуку. В этом было что-то нереальное. Неожиданно кожевник распрямил спину и немного отодвинулся в сторону.

Он что-то держал в руке. Что-то странное. Охотничье ружье? Нож? Он расставил ей ловушку. Она не смогла скрыть от него, что она оборотень, и он решил убить ее.

Лунный свет упал на ее бедра. Они были ослепительно белые.

Потом луна осветила то, что кожевник держал в руке.

Но ведь это не существует отдельно от тела! Это его часть! Но таков был ее приговор: она приговорила его к этому! Он должен держать это в руке отдельно от тела.

Очевидно, кожевник намеревался отомстить ей. У него в руке было орудие мести!

Она поняла, что проиграла. И застонала, когда кожевник склонился над ней и всадил в нее свое орудие. Одной рукой он удерживал ее на месте, другой держал орудие.

Комнату переполняли слова, которые никогда не были сказаны, мечь кожевника и ее стоны.

Спасти от этого было невозможно. Оставалось только дожидаться конца. Не вскрикнуть. Не пошевелиться. Даже когда она забилась в судорогах. Ее бедра и икры белели с обеих сторон широкой спины кожевника. Луна подарила им ослепительную белизну.

Неожиданно кожевник замер. Может, он почувствовал, что в комнате кто-то есть? Нет. Вот он нагнулся и снова вогнал в нее это орудие. О эти движения! Эти стоны! Она была еще жива!

Вениамин вынужден был стоять неподвижно и быть свидетелем. Кожевник и его жена исполняли своеобразный танец. Они были враги, осужденные жить вместе. Конец. Сейчас грянет выстрел. И потечет кровь.

Вдруг она глухо застонала, ноги ее упали и бессильно свесились с кровати.

Вениамин был уже в могиле. Эту тишину нельзя было сравнить ни с чем. Он только ждал, когда полетят комья земли и погребут его под собой.

Кожевник перехитрил его и заставил быть свидетелем. Теперь Вениамин стал таким же, как они. Ненастоящим.

Он даже не прикрыл за собой дверь. Просто вышел в коридор и вернулся к себе. Его волосы и кожа пропитались их запахом. Дыхание кожевника стало его дыханием. Запах их постели — его запахом. Ему не было спасения. Он сказался в центре происходившего. С ними, в их постели.

\* \* \*

Все случилось на другое утро. Хотя ничего не изменилось. Потому что она не умерла. Вениамин слышал, как она ходит за стеной. Как ни в чем не бывало разговаривает с кожевником. Это только подчеркивало нереальность того, что он видел ночью.

Вениамину предстояло сделать все, что положено. Спуститься к завтраку. Поест. И уйти в гимназию. Его могла спасти лишь привычка — ведь он проделывал это каждый день. Он спустился на одну ступеньку, потом — на другую. Руки его не отпускали перил.

Он стоял на сеновале и должен был прыгнуть вниз на сено. С большой высоты. Ему не было видно, есть ли внизу сено. Он прыгнул. А-а-ах!

Теперь дверь столовой. Это потребовало от него немалых усилий. Ее

следовало открыть быстро, и притом так, чтобы они не заметили, что он стал таким же, как они.

Вениамин вошел в комнату, они уже сидели за столом. Он не подумал, что они уже там. Теперь они могли наблюдать, как он подходит к столу, отодвигает стул, садится.

Ему удалось сесть, ничего не уронив и не опрокинув, но встать он уже не мог. Он был пригвожден к стулу.

Кожевник кашлянул и буркнул:

— Доброе утро.

Фру Андреа шевельнула губами, не глядя на Вениамина.

Она все знала! Она видела его в дверях спальни!

Ее руки передали ему хлебницу. Хлеб, безусловно, был отравлен. Но ему пришлось взять кусок. Потом он взял масло, которое лежало на квадратной тарелочке с золотым ободком. Затеяливыми буквами на тарелочке было выведено: «Масло». Твердое как камень, оно не намазывалось и продавило в хлебе глубокую ямку.

Вениамин потянулся за вареньем. Красная смородина. Ярко-красная. Она как будто растеклась по всей комнате. Его затошнило, и он протянул руку за сыром. Сыр лежал на другой квадратной тарелочке, на ней затейливыми буквами было написано: «Сыр». Письмена диктовали, что ему следует делать.

Письмена диктовали, что каждую ночь он должен стоять в дверях спальни и следить, чтобы кожевник не вздумал прибегнуть к ножу или к охотничьему ружью.

Для этого они и взяли его к себе в дом.

Или его взяла она, сразу сообразив, для чего он ей нужен?

Вениамин жевал, переводя взгляд с одной квадратной тарелочки на другую. Ему следовало привыкнуть к ним.

А вот поднять стакан с молоком он оказался уже не в силах. Молоко было того же цвета, что луна и ее бедра. Как он мог выпить его?

Благополучно справившись с куском хлеба и собравшись покинуть столовую, Вениамин вдруг увидел ее улыбку. Она расплзлась по всему лицу. По всей комнате. Губы изогнулись, но зубов видно не было. А глаза! Сонные и в то же время настороженные. Как у кошки.

— Да, да, нынче недурная погода, — кашлянул кожевник.

Вениамин бросился за дверь, схватил куртку и выбежал из дому. В кармане его руку обжег ключ. Он забыл запереть входную дверь, как здесь было положено.

Теперь Вениамин спал, накрыв голову подушкой. И все равно все

слышал. Даже во сне. Ведь он знал, что они там творят. Ему казалось, что не кожевник, а он сам держит в руке тот предмет и орудует им. Иногда они делали это вместе, он и кожевник. Иногда он оставался с ней один. Она была большая и мягкая. Уголки ее губ приподнимались в улыбке. Ему казалось, что его орудие проваливается в бездонную пропасть. Она вздыхала и стонала, облизывая полные, плотоядные губы.

Днем ему было трудно жить с тем, о чем знала ночь. За обеденным столом он не смел поднять глаз на фру Андреа. Он засыпал и просыпался с одним желанием: потрогать ее. Хотя это и грозило ему смертью.

И тем не менее он понимал, что должен потрогать ее!

Дома он поджидал случая, чтобы прикоснуться к ней рукой, и вместе с тем старался избегать расставляемых ею ловушек, которые должны были заставить его сделать это. Теперь он видел сквозь платье ее тело как некое знамение. Он всегда и во всем видел знаки и знамения.

Но пока кожевник и его жена не знали, что у него есть лицо, ему нечего было бояться.

## ГЛАВА 3

У кожевника умер родственник. Истолковать это знамение можно было только одним образом: он, Вениамин, виноват в этой смерти. Он давно желал чего-нибудь, что заставило бы хозяев уехать из дому.

Ведь орудие кожевника было спрятано где-то в спальне.

Вениамин был не в силах испытывать угрызения совести, когда фру Андреа, с каменным лицом, сказала ему, что они с мужем уезжают на похороны. Их не будет четыре дня. Его будут кормить как обычно. Кухарка будет приходить каждый день.

\* \* \*

Он сидел в своей комнате над латинскими склонениями и ждал, когда наступит вечер. Шаркая ногами в толстых шерстяных носках, пришла кухарка и сказала, что уходит на молитвенное собрание. Ужин ему оставлен в столовой, под салфеткой.

Вениамин не мог удержаться и улыбнулся ей. Этого делать не следовало. Кухарка подозрительно взглянула на него.

— Только не забудьте запереть входную дверь! — сказала она.

Он быстро снова сделал серьезное лицо.

Как только он услышал, что кухарка заперла за собой дверь, латинские склонения и спряжения перестали существовать. Он подбежал к окну в коридоре, чтобы убедиться, что она действительно идет по улице, крепко прижав к груди потертый ридикюль.

Он снова был на сеновале. Внизу лежало сено. Оставалось только прыгнуть. Он знал это чувство. Томление. Возбуждение. Любопытство. Хватит ли у него смелости справиться с тем, что он задумал?

А если дверь спальни заперта? Если они засунули листик бумаги между ящиками комода, чтобы разоблачить его? А то и еще хуже: она не уехала! Лежит в кровати и ждет его! Ведь он не видел, как они уходили из дому. Может, они просто решили заманить его в спальню? И там схватить?

Вениамин несколько раз прошелся по комнате. Следовало принять какое-то решение. И он его принял! Он выскользнул в коридор и подошел к их двери. Ему казалось, что его кровь через уши водопадом хлынула на пол.

Он осторожно положил руку на медную ручку и нажал. Ручка поддалась, не издав ни звука. Так же беззвучно открылась внутрь и сама

дверь. Неужели это ловушка? Почему дверь оказалась незапертой? Ведь они всегда запирали ее.

Вениамин ступил на порог спальни. Стены словно раздвинулись. Холодный синий свет проникал в окно и падал на постельное покрывало.

Ее в кровати не было!

Он вошел в спальню и закрыл за собой дверь. Дом прислушивался к его шагам. Спальня кожевника пахла совсем не так, как спальня Дины. Аромат лета и свежего сена никогда не проникал сюда.

Кровать была кораблем-призраком. Высокая. Темная. Над комодом, немного наклоненное к полу, висело большое зеркало. Вениамин вздрогнул, увидев в нем свое отражение — расплывчатые очертания фигуры, слишком длинные рукава рубашки, белое как мел лицо. Большие темные глаза. Он хотел убежать. Но что-то неведомое оказалось сильнее его. Он остался.

В голове грохотал горный обвал. Он вспомнил, что забыл послушать, вернулась ли домой кухарка. Вдруг она что-нибудь забыла?

Вениамин выбежал в коридор и замер на площадке лестницы. Нет, никого. Все тихо. Ни из комнат, ни из кухни не доносилось ни звука. Не скрипнула ни одна дверь. Он снова вернулся в спальню и, глубоко вздохнув, открыл ближайшую тумбочку. Там стоял ночной горшок с крышкой.

Вениамин выдвинул небольшой ящик и увидел ларчик, обитый внутри желтым шелком, в нем — аккуратная стопка вышитых носовых платков. В другом ларчике лежали кольца и булавки. Это была ее тумбочка! В длинной плоской картонной коробке хранилось незаконченное рукоделие — вышитая крестом девочка с ягненком. В ягненке торчало несколько иголок. Шерсть для вышивания была сложена аккуратными моточками. Красная, желтая, синяя, оранжевая и черная. Внизу лежала пачка писем, перевязанная шелковой лентой. Бог с ними, пусть лежат!

Тумбочка кожевника, конечно, была заперта! Вениамин заранее знал, что так будет. Тем не менее это привело его в ярость. Он изо всех сил дергал и крутил ручку. Но дверца не открывалась. Ноги отказывались держать Вениамина, однако сесть на кровать он не осмелился. В ногах кровати стояла скамеечка. Он сел на нее. В горле першило. Он снова увидел в зеркале свое отражение. Волосы дыбом. Лицо безумца. А ведь он добровольно поддался этому безумию!

Его вдруг охватило неудержимое желание. Он начал сдирать с себя одежду. Сейчас ему не мог помочь никто, кроме него самого!

Он все-таки попался в ее ловушку! Иначе и быть не могло. Наконец

наступило освобождение/и он упал ничком.

Кажется, стукнула входная дверь?

Можно ли задохнуться от ударов собственного сердца? Он через силу встал. Надел брюки. Вернулся в свою комнату. Но все равно теперь он был у нее в руках.

Без сил он рухнул на кровать и заснул.

\* \* \*

Днем, в гимназии, Вениамин думал только о том, как ему открыть запертую тумбочку. Дома, когда он в одиночестве ел копченую селедку с картошкой, к нему вернулась смелость.

Домашние уроки он кое-как приготовил. Но слова не задерживались у него в памяти. Наконец наступил вечер.

Сперва Вениамин убедился, что в доме никого нет, кроме него. Потом спустился в подвал и нашел там отвертку, шило и молоток. Где бы он в доме ни находился, его преследовал запах хозяйской спальни. Ему было еще страшнее, чем накануне. Он положил на комод отвертку, шило и молоток и осторожно погладил кровать. Неужели она еще теплая? Нет. Потом приподнял покрывало и заглянул под кровать. Чернота!

Перед бронзовой ручкой тумбочки мужество на мгновение покинуло Вениамина. Он глубоко вздохнул и решил для начала воспользоваться шилом. Это ничего не дало. Замок оказался более сложным, чем он думал. Отвертка была слишком велика, а о молотке нечего было и думать.

И вдруг его осенило!

Он быстро вскочил и отодвинул тумбочку от стены. Так и есть. На задней стенке деревянные планки были прибиты гвоздями. Вениамин повернул тумбочку так, чтобы ему было легче работать.

Но гвозди не поддавались без клещей. Они сидели слишком крепко. Ему удалось вытащить их настолько, что шляпка поднялась над доской, но дальше дело не шло.

Кажется, в подвале были и клещи? Он взял лампу и снова спустился вниз. Лампа чадила, потому что он криво держал ее. В темных углах что-то скрипело.

Неужели там кто-то ходит? Спотыкаясь, Вениамин поднялся по узкой лесенке и прислушался. Нет. Все тихо.

Клещи он не нашел, но вспомнил, что в кухне на стене висят щипцы для сахара. Может, они сгодятся? Он сбегал за ними.

«Я стал как они, как кожевник и фру Андреа», — думал Вениамин. Голова его была окутана красным туманом, который расплзался по всему

телу. Непонятная сила этого тумана вытеснила из Вениамина весь воздух и заполнила его жгучим ожиданием.

Наконец одна дощечка сдвинулась в сторону, и он смог засунуть руку в тумбочку. Внутри было две полки. На нижней лежали какие-то бумаги и книги, похожие на бухгалтерские. На верхней — скомканная клетчатая ткань. Вениамин вытащил ткань, в ней было что-то завернуто.

Он развернул ткань.

Орудие кожевника упало на пол.

\* \* \*

Сперва Вениамин, не двигаясь, смотрел на него. Потом осторожно поднял. Кожевник уехал на похороны без своего орудия!

Оно было сшито из мягкой светлой кожи. Длинной с ладонь, даже длиннее. На одном конце была круглая головка, на другом — что-то вроде большой мошонки.

Стоя на коленях, Вениамин держал этот предмет в руке. Шесть кожаных полосок были сшиты друг с другом мелкими стежками коричневой шелковой нитью.

Кончики пальцев нащупали почти незаметный шов. Очевидно, этот самодельный фаллос был набит опилками.

Из зеркала вырвался табун жеребцов. Под брюхом у каждого торчало орудие кожевника. Цель у жеребцов была одна. Стучали копыта, развевались гривы. Под кожей играли мышцы. Жеребцы громко ржали. И с топотом неслись к цели. К фру Андреа. К ней в кровать.

Видения летали вокруг головы Вениамина как пощечины. Наконец и сам он смешался с этим табуном. Орудие кожевника жгло ему руку. Вениамин не отрывал от него глаз. Даже понюхал его. И всадил в нее. От этого он весь налился силой. Теперь он смешался с этими ржущими жеребцами, которые ждали своей очереди.

Вениамин сунул орудие на место и опустил дощечку, потом повернул тумбочку задней стороной к стене и отнес на кухню щипцы для сахара. Он как будто спускался в непроглядной тьме по крутому склону, хотя в руке у него была лампа. Правда, стекло лампы почернело от копоти.

Вениамин решил, что никто не хватится отвертки, шила и молотка, и потому спрятал их у себя.

Печь остыла, холодная луна глядела в его окна. Складки красной кожи заполнили голову, и Вениамин вернулся в спальню кожевника.

Он должен был полежать в кровати фру Андреа! Как это сделать, чтобы никто этого не обнаружил, он не знал, но отказаться от своего желания не

мог.

Необоримые силы владели им, мешали дышать. Он забрался под перину с той стороны кровати, где стояла ее тумбочка. Зарылся лицом в подушку и вдыхал ее запах. Отвратительный. Знакомый. Прекрасный. И такой отчетливый.

Вениамин всегда чувствовал его, когда она входила в столовую. Несколько раз он угадывал его в коридоре. Но здесь этот запах заполнил все своей тяжестью. Тело, дыхание, ночь.

Вениамин задул лампу и обхватил руками подушку вместе с периной. Это была она. Горячая. Она обняла его и стала ласкать, и он тут же превратился в орудие кожевника с шелковыми швами.

Ему было больно, но она не отпускала его. Держала мертвой хваткой. И он наслаждался, пока у него хватило сил, а потом сдался.

Впервые это была не игра, вызывавшая у него чувство стыда. Все было серьезно. Он лежал в ее постели!

Вениамин представил себе, что кожевник разоблачил его и повесил на люстре. Или избил до полусмерти. Или сообщил о нем ректору. Или написал письмо Дине и Андерсу. Но все это уже не имело никакого значения. Он был непобедим. Он был взрослый мужчина, который излил свое семя в нее и на ее ложе.

Вениамин проснулся, когда на лестнице послышались шаги кухарки. Она поднималась, чтобы разбудить его! Он не смел даже вздохнуть. Глаза его приковались к ручке задолго до того, как сон окончательно покинул его. Он проспал всю ночь в постели хозяев! Сейчас его разоблачат!

Кухарка постучала в дверь его комнаты. Ее стук разодрал мир в клочья. Вениамин с трудом удержался, чтобы не откликнуться из чужой спальни, лишь бы этот стук прекратился.

Кухарка за дверью сделала шаг, потом другой. А может, просто в ожидании ответа переступила с ноги на ногу. И позвала снова:

— Семь часов! Пора вставать!

Вениамин задержал дыхание. Оба выжидали. Сейчас кухарка откроет его дверь! Увидит, что кровать пуста! Он начал молиться, чтобы она ушла восвояси. Совершенно забыв, что в таком позорном положении лучше не привлекать к себе внимание Всевышнего.

Кухарка позвала в третий раз. Голос у нее был пронзительный. Мир замер. Потом его молитва была услышана и заскрипели ступени.

Вениамин вскочил. Хотел оглядеть кровать. Но было слишком темно. Он запихнул сердце поглубже в живот, чтобы оно не так стучало. Словно слепой котенок, который пытается уничтожить свои следы, разгладил

покрывало. И даже не забыл взять с собой лампу.

Он едва не попался. Кухарка снова поднялась наверх. Он громко и выразительно закашлял, чтобы она поняла, что он уже встал. Хоть бы она не стала задавать ему вопросы! Но его кашель насторожил ее.

— Вы здоровы? Почему вы так кашляете?

— Здоров! Здоров! — крикнул Вениамин незнакомым голосом. — Сейчас иду!

Она что-то пробормотала, и ступени заскрипели снова.

\* \* \*

Вениамин ерзал на твердой деревянной скамье парты — его мучил страх. А что если кухарка поднимется в спальню кожевника и обнаружит испорченную тумбочку и смятую постель?

Учитель, заметив его бледность, спросил, не болен ли он, и Вениамин признался, что чувствует себя скверно. Его отпустили домой. Теперь он сможет осмотреть спальню и замести следы. Пока еще не стемнело.

Башмаков и пальто кухарки на месте не было. Вздохнув с облегчением, Вениамин ступил в запретную комнату. Его страх оказался обоснованным: было видно, что ночью на кровати кто-то лежал. На подушке виднелось углубление от его головы, хотя он и накинул на нее покрывало. Вениамин расправил все как мог. К сожалению, у него не было навыка — уборка постели дома не входила в его обязанности.

Вечером, дождавшись, когда кухарка ушла к себе, он снова завернул в ткань орудие кожевника и прибил дощечку на место. У него было такое чувство, будто он спрятал заговорщика, которому известна его тайна.

Вениамин представлял себе, как фру Андреа, вернувшись домой, будет спать в той же постели, в которой спал он.

Делая уроки, он думал только об этом.

\* \* \*

В тот день, когда кожевник с женой вернулись домой с похорон, Вениамин выступал в зале ресторатора Петтерсена. Так он объяснил своим хозяевам.

Учитель норвежского просил его прочитать на вечере стихотворение Вергеланда.

— У вас хороший голос и талант к декламации, — сказал он Вениамину.

Вениамин стоял на возвышении и вкладывал свою тайну в каждое слово стихотворения, посвященного Стелле, «небесной невесте». Слова

сами собой возникали у него на губах. Ему оставалось только произносить их:

*О чувства, вы как тот блаженный  
Толчок, что сообщил Вселенной  
Движение, зажег вдали  
Светила, Прометею дал  
Огонь, который запылал  
В безжизненной крови Земли!*

[10]

Тут уже не имело значения, что рукава сюртука слишком длинны и штанины лежат складками на башмаках. Долго не смолкали аплодисменты.

Вениамин был озабочен тем, чтобы не споткнуться на сцене, держаться с достоинством и пройти твердым шагом.

В первом ряду сидели девушки. Проходя во время антракта в соседний зал, чтобы выпить чашку какао, Вениамин скользнул по ним взглядом.

Они смотрели на него. Все как одна! На него? Возвращаясь с полной чашкой, он заставил себя снова пройти мимо них. Среди гимназисток сидела рыжеволосая девушка с кожаным кантом на манжетах.

Неожиданно Вениамин обнаружил, что держит в руке орудие кожевника. Он невольно вздрогнул и пролил горячее какао.

Рыженькая тут же вскочила, спрятала орудие кожевника в складках своей юбки и взяла у него из рук чашку. Она, как и прежде, не отрывала от него глаз. Все произошло очень быстро. Он смущенно поклонился ей:

— Спасибо!

Тут же напомнила о себе обожженная рука. Вениамин скривился. Держа в одной руке чашку, девушка другой рукой достала носовой платок. Ее груди поднимались и опускались, как два зверька. Белые пухлые пальчики осторожно вытерли его пострадавшую руку.

— Вы так хорошо читали стихи! — сказала она. Глаза у нее были синие. Но он не мог забыть, что она спрятала в складках юбки орудие кожевника.

— Спасибо! Хотите какао? — предложил он, с трудом справившись с дыханием.

Она одновременно сделала реверанс и пригубила какао. И тоже обожглась. Он это заметил. Хотя она пыталась не подать виду. Глаза ее были все так же прикованы к нему.

Когда она подняла голову, над верхней губой у нее темнела коричневая

полоска от какао. Ему захотелось слизнуть ее. Но вместо этого он широко улыбнулся девушке.

— Меня зовут Шарлотта Викстрём, — немного застенчиво сказала она. Ее манера произносить свое имя свидетельствовала о том, что для нее было бы неожиданностью, если б кто-нибудь не знал его.

Она искоса глянула на подруг, словно затеяла этот разговор на пари с ними. Поэтому Вениамин вежливо поклонился и назвал свою фамилию.

— Мне знакома эта фамилия, — по-взрослому заметила рыженькая и погладила орудие кожевника, спрятанное в складках ее юбки. — Все знают Грэнэльвов из Рейнснеса.

— Вот как? — Вениамин растерялся.

— Да. Все знают фру Дину Грэнэльв.

Он хотел спросить, кто эти все, но не успел. Она высунула кончик языка и слизнула с губы какао. У Вениамина закружилась голова. Руку жгло. Но он даже не взглянул на нее. Язык у девушки был розовый. Вениамин пытался не замечать боли и не двигался.

Девушка покраснела и опустила глаза. Потом коротко кивнула ему и отошла к подругам. Только тогда он понял, что она решила, будто он передразнил ее. Ведь он тоже высунул кончик языка и провел им по губам. Исправить это было уже невозможно.

Он хотел броситься за ней, но она скрылась в толпе. Он должен найти ее! Должен объяснить, что просто облизнулся, что у него и в мыслях не было ее передразнивать. Он должен найти ее! Ведь и она тоже была знаменем и скрылась с драгоценным орудием кожевника, спрятанным в юбке!

\* \* \*

Возвращаясь домой, Вениамин думал о том, что его хозяева уже вернулись с похорон и что Шарлотта Викстрём сбежала от него с орудием кожевника. Кожевник уже знал все. Уже обнаружил, что Вениамин взломал тумбочку и спал в их постели.

Смертельная опасность поскрипывала снегом и рыдала под подошвами башмаков.

С пересохшими губами и бегающим взглядом, Вениамин отпер дверь дома и хотел тихонько подняться к себе. На середине лестницы он был пойман с поличным. Хозяйка сама вышла в коридор и обратилась к нему. Она заговорила с ним!

— Все ли было в порядке, пока нас не было? Хорошо ли вас кормили?

Он что-то пробормотал и несколько раз кивнул.

— Муж пошел к себе в мастерскую проверить, все ли там в порядке, — по-кошачьи промурлыкала она и подняла глаза. Прямо на него.

Испарина. Он как дурак пытался удержать морской прилив. Лицо. По верхней губе, которую он брил вот уже полгода, ручьем тек пот. А нос! Он пылал как костер.

Зачем она так высоко держит лампу?

— Вы не будете возражать, если обед немного запоздает? Мы подождем мужа.

— Да-да, конечно! — с трудом выдавил он. И бросился вверх по лестнице.

Когда фру Андреа позвала его в столовую, кожевника все еще не было.

— Он так истосковался по работе, что, наверное, вернется теперь очень поздно, — сказала она и налила Вениамину молока.

На мгновение все окуталось сладкой тенью. На всякий случай он положил бутерброд на тарелку. Говорить он не мог. Язык не повиновался ему.

На буфете стоял медный самовар. Он холодно блеснул, когда Вениамин попытался удержать на нем свой взгляд. Над столом горела лампа. Она чуть-чуть покачивалась. Почему она покачивается и зажигает пожар у него на лице?

Он откинулся на стуле и смотрел на самовар. Потом, не жуя, проглотил кусочек хлеба.

Конечно, она разоблачила его. Он это видел по ней. Ему оставалось покориться своей участи. Он громко вздохнул. Отпил молока и подумал о ее бедрах, залитых лунным светом.

Она передала ему кувшин с молоком. Его тело вспыхнуло горячим пламенем, когда он, беря кувшин, прикоснулся к ее пальцам. Он держал кувшин над столом в вытянутой руке, пока она не убрала свою руку. От этого движения брошка, приколотая у нее между грудями, слабо блеснула.

Неожиданно на столе между ними появилось орудие кожевника. Вениамин мысленно поблагодарил рыжеволосую девушку. Страшное орудие вдруг начало танцевать. Сытое, довольное, оно шлепало по белой скатерти.

А глаза фру Андреа! Встретаться с ней взглядом было опасно. Ее глаза прятались за тяжелыми веками. Губы набухли и отделились от лица. Они слегка шевелились. Хотели дотянуться до него. Всосать в себя. А орудие кожевника продолжало свой танец.

Вениамин все понял. Конечно, он разоблачен!

Он только еще не знал, несет ли ему это смерть или наслаждение. Но

как бы там ни было, избежать этого было невозможно. Она расплылась в улыбке. Обнажились передние зубы. Уголки губ дрожали.

Орудие кожевника грохотало по столу. В конце концов стакан с молоком опрокинулся.

Она встала, обошла вокруг стола и всем телом склонилась над ним с салфеткой в руках.

Сейчас или никогда! Хорошо, что он вспомнил об этом: нужно коснуться ее. Он заставил руку подняться. Рука подчинилась и легла на ее обнаженную шею. Такую мягкую и теплую.

На мгновение она замерла. Потом опустила салфетку между Вениамином и тарелкой и начала вытирать пролитое молоко. Но он не снял руки с ее шеи. Его рука двигалась вместе с нею, когда она вытирала молоко. Слово была частицей ее самой.

Закончив вытирать, она положила салфетку на свою тарелку. Потом взяла кувшин и снова налила ему молока.

Он не удержался и снова опрокинул стакан!

— Ах, опять! — услышал он ее голос. Фру Андреа тяжело наклонилась над ним. Белый поток тек по его рукам и капал на колени. Молоко просочилось сквозь ткань, и она прилипла к ногам.

Пряча глаза, фру Андреа осторожно вытирала его. Кажется, сказала, чтобы он переделал брюки. Пощупала их. Пальцы у нее были жадные. Они скользили по нему. Прикасались то там, то здесь. Не отпускали. Он откинул голову. Его руки бессильно висели вдоль стула. Из-под закрытых век он угадывал ее тень. Коварная тень. Но опасна ли она сама? И можно ли ее избежать? Тень тяжело дышала.

Его охватило чувство, которое можно было бы назвать болью. Но это была не боль.

\* \* \*

Печь давно остыла. Запирание замков, ритуал с дверями и ступенями был уже позади. Сон стал частью самого дома. Частью слабых порывов ветра, бьющих в окна.

Она вошла к нему в комнату так тихо, что он даже не слышал, что дверь открылась. Услышал только, как фру Андреа уже изнутри заперла ее. Стояла непроглядная ночь. Но над фру Андреа все-таки трепетало сияние. Сперва над складками капота, потом над ее телом, закутанным в тонкую белую ткань. На него вылилась ее кожа. Избежать этой волны было невозможно. Бархатная волна тяжелой массой обрушилась на него с потолка и похоронила его под собой.

Сперва фру Андреа была единым целым с темнотой и дивной погибелью. Со смертью и страхом. Он должен был пройти через это. Без сопротивления. Отдаться на милость ее влажного огня. Спрятаться в ней. Заползти как можно глубже. Стонать. Двигаться как рыба, которая еще не знает, что она умеет плавать, но все-таки плывет. Теперь он принадлежал ей.

И она позволила ему разлить молоко на чистую скатерть.

## ГЛАВА 4

Проснулся он очень рано. Как человек, который не может спать от волнения перед трудной работой. Его работа состояла в том, чтобы улизнуть из дому, пока другие еще спали.

Он бродил по пустынным улицам и смотрел, как просыпается город. Дошел до церкви. Прошел несколько раз из конца в конец улицы Страндгата. Мимо дома повивальной бабки и дома ленсмана Иргена, мимо дома купца Евера. Можно было считать дома, деля их по величине и цвету. Можно было попытаться запомнить фамилии их владельцев.

В конце концов он оказался на берегу между двумя старыми домами, принадлежавшими церкви. Он никогда здесь не был. Какой-то человек, который явно еще не ложился, проходя мимо Вениамина, подозрительно оглядел его. Здесь стоял острый запах мочи и нечистот. С изгороди соскочила взъерошенная кошка неопределенного цвета, она зашипела на Вениамина, когда он чуть не споткнулся о нее.

Он находился на дне колодца. Он погиб. Но весь мир принадлежал ему! Он больше не мог вернуться в дом кожевника. Никогда! Кожевник вспорот ему живот. Выпустит кишки. Прольет на лестницу его кровь, и она потечет вниз по ступеням. Кожу он сдерет и сделает из нее еще одно шелковистое орудие. И набьет его опилками. Единственное, что утешало Вениамина, — он знал, для кого это орудие предназначалось.

Его голову и фаллос кожевник отрежет и спрячет где-нибудь в сарае. А может, засолит в бочонке, как засаливают сельдь. Когда-нибудь, когда кухарка уйдет на свое молитвенное собрание, он потихоньку вытащит их и сожрет.

И никто даже не вспомнит о Вениамине, кроме юной Шарлотты Викстрём. Несколько раз она поинтересуется, куда он пропал, а потом забудет его ради кого-нибудь другого.

Подумав о Шарлотте, Вениамин попытался вспомнить, не говорил ли

ему кто-нибудь, где она живет. Может, стоило бы попросить ее замолвить за него словечко перед кожевником. Но Вениамин быстро отказался от этой мысли. Ведь тогда ему пришлось бы рассказать ей всю историю. А эта история была совсем не похожа на стихи Вергеланда. Она не предназначалась для ушей Шарлотты Викстрём.

Вениамин направился в школу. Башмаки у него промокли. Ему было неприятно, но он воспринимал это как очищение.

Что всегда говорила Олине? Сын человеческий страдал ради очищения всех людей. По своим замерзшим ногам Вениамин мог судить, как тяжело страдал Христос.

Ему оставалось продолжать путь. И может быть, очиститься. Собственные мысли больше не угнетали его. В них не было ничего, кроме орудия кожевника и кожи фру Андреа. И непомерной тяжести внизу живота.

Он не знал, сможет ли когда-нибудь привыкнуть к этому чувству.

Он будет все отрицать. Пусть кожевник говорит что угодно, он будет все отрицать. Другого выхода нет. А может, лучше использовать тактику кожевника? Молчать. Не произносить ни слова. Молча есть и уходить к себе. А если кожевник его ударит? Изобьет до полусмерти? Наплевать. Кожевник никогда не убьет ни его, ни ее. Разве что обоих вместе. В конце концов.

Нет-нет! Фру Андрея этого не допустит. Она спрячет его.

Мужество отчасти вернулось к Вениамину. Он решил идти в гимназию. А там будь что будет! Размышляя об этом, Вениамин налетел на кого-то за углом дома. Оба упали, выронив учебники.

Послышалась брань. Вениамин увидел нос, из которого текла кровь. Это был Софус Бек. Они встали, собрали рассыпанные вещи и стряхнули с себя снег.

— Надо смотреть, куда идешь! — рыкнул Софус, ища, чем бы вытереть кровь, бегущую из носа.

— Сам бы и смотрел!

Помолчав, они сообразили, что ссора им сейчас ни к чему. Вениамин протянул Софусу свой платок. Тот взял его не поблагодарив и приложил к носу. Однако кровь не унималась.

— Надо приложить снег. Это помогает, — сказал Вениамин и без лишних слов приложил Софусу к носу комок снега. Кровь остановилась.

— Мой отец знал одного человека, который умел заговаривать кровь, — сказал Софус.

— Теперь и ты тоже знаешь такого человека. — Вениамин усмехнулся.

По дороге они как взрослые беседовали на всевозможные темы. Об учителях и уроках. Вениамин мог себе это позволить. Довлеет дневи злоба его.

То ли благодаря Софусу, то ли еще почему, но после школы он вернулся в дом кожевника. Будь что будет. Все лучше, чем бродить по морозу.

Конечно, можно привыкнуть быть улиткой, ползущей по колее. Стать безобразным, чтобы все прониклись к тебе отвращением и оставили тебя в покое.

Но она-то приняла его! И изменить это было уже нельзя.

\* \* \*

Начало обеда не предвещало добра. Кожевник заговорил! Он спросил, намерен ли Вениамин каждый день уходить из дому, когда другие еще спят. Если так, ему будут оставлять тарелку с бутербродами, а то он умрет с голоду.

Вениамин еще ни разу не слышал, чтобы кожевник за один раз произнес так много слов.

— Мне нужно было сделать одну работу... Я обещал...

Кожевник хрюкнул, сложил желтые руки и начал читать застольную молитву.

Фру Андреа ела мясной суп, не поднимая глаз от тарелки. Она церемонно набирала в ложку по капельке супа. Не разжимала зубов. Губы ее обнимали ложку целиком.

Вениамину стало трудно дышать. Но ему следовало что-то сделать. Он схватил ложку.

Может, кожевник прячет под столом нож или ружье? И нападет, когда Вениамин этого не ждет? Может, и она тоже с ним заодно?

Капля супа упала с ложки фру Андреа обратно в тарелку. Одна капля. Как будто ей было важно услышать звон именно этой упавшей капли. На Вениамина она не смотрела. Неужели она приняла сторону кожевника? Неужели они обо всем договорились? Нет, она защитит Вениамина. Конечно защитит.

Мясо было нарезано мелкими кусочками. И все-таки некоторые из них были довольно велики — на их красноте мелькали бусинки жира. Вениамин не мог смотреть на них.

У фру Андреа были густые ресницы. Темные, как старая колючая проволока. Сейчас они были опущены и лежали у нее на щеках. Она была очень бледна. Вениамин невольно подумал о терновом венце Христа. У

фру Андреа терновый венец лежал на щеках. Может, она так искупает грехи?

Брошка на груди поднималась и опускалась. Поднималась и опускалась. Вениамина начало трясти. Тогда терновые веночки поднялись и она посмотрела на него. Прямо в глаза.

Он упал. И падал до тех пор, пока не сжал колени и не перестал дышать.

\* \* \*

После этого прошло много дней и ночей. Вениамин посещал гимназию и учил уроки. Гулял с Софусом под фонарями и смотрел на девушек. Но все это делалось только ради прикрытия.

Несколько раз его охватывало раскаяние, и он обещал себе исправиться. Обычно он держался до наступления сумерек. А с ними приходила тревога. Желание. Тоска.

Самыми опасными бывали вечера, когда кожевник после обеда уходил в свою мастерскую, а кухарка — на молитвенное собрание.

Вениамин раздевался, гасил свет и ложился. Ему страстно хотелось поскорее стать взрослым. Он был несущей балкой, на которой держался весь этот дом, выкрашенный желтой охрой.

## ГЛАВА 5

Когда-то Дина обещала, что предупредит его, если захочет уехать. Наверное, она послала свое предупреждение с ветром.

Кое-что Вениамин узнал, когда летом приехал домой. Олине чувствовала себя старой зафрахтованной баржей и не совсем понимала, какой именно груз она должна доставить Вениамину. Но постепенно она распределила груз по местам, и ему все стало ясно.

Дина уехала. В мае. После того, как Андерс ушел в Берген. Сперва она целую неделю ходила ночами по зале. Потом вдруг принялась за дело и собралась, прежде чем люди сообразили, что к чему. За несколько дней она сумела распорядиться своим имуществом. Сложила счета и бумаги в старый сейф. И дала приказчику в лавке все полномочия до возвращения Андерса.

Потом за то время, что солнце успеваешь пересечь на горизонте свой собственный след, упаковала картонку со шляпами, сундук и виолончель Лорка.

— Кулик-сорока уже прилетел к нам на север и обустроивал свои гнезда на кромке поля, а Дина бросила свое гнездо и на пароходе уехала на юг. — Так сказала Олине.

Вениамин всегда знал, что Дине хочется уехать. Вот она и уехала.

Олине рассказала также, что ленсман получил по почте письмо, в котором Дина на неопределенное время передавала Андерсу право распоряжаться Рейнснесом и «мальчиком». Вениамин понял это так, что его сочли частью имущества. Письмо хранилось в большом запечатанном конверте, на котором было написано имя Андерса. В конторском сейфе.

Вениамин всегда мог пойти в контору и посмотреть на это письмо. Конечно, не распечатывая его. Ключ постоянно торчал в дверце сейфа. Здесь было не так, как в доме кожевника.

Он узнал также, что ленсман сгоряча хотел разослать телеграммы по всему пути следования парохода, чтобы найти Дину и вернуть домой. Однако Дагни отговорила его. Он только отправил телеграмму Андерсу в Берген. И получил от него ответ, удививший всех своей сдержанностью: «Моя жена поехала за границу, чтобы учиться играть на виолончели. А я скоро вернусь домой, если на то будет воля Божья. Уважающий тебя зять Андерс».

Воля Божья позволила Андерсу вернуться домой. Но вообще приговор Всевышнего оказался достаточно суровым. Он забрал к себе шхуну «Матушка Карен». На обратном пути из Бергена. Вместе с командой и грузом.

Вениамин стоял на берегу, когда Андерс прибыл домой на пароходе. Ему было стыдно, но он плакал на глазах у всех. Хотя сам не мог понять, почему плачет. Дина уехала, но была жива. Андерс вернулся с пустыми руками, разоренный, но тоже живой. Люди же вокруг Вениамина оплакивали тех, кто уже не мог вернуться домой.

Андерс прошел через собравшуюся на берегу толпу, обнимая тех, кто потерял близких. Когда-то давно он сказал Вениамину, что после кораблекрушения меняется вся жизнь. Он знал это по собственному опыту.

— Ты уж прости меня, Вениамин, — сказал Андерс. — На этот раз я не привез тебе из города никакого подарка.

Вениамин так и не понял, что Андерс имел в виду.

О том, что судно и груз у Андерса не были застрахованы, несмотря на настоятельные рекомендации ленсмана, почти не говорилось. Страховать людей было бесполезно. Они погибли, и их было уже не вернуть.

Тех же, кто остался жив, Андерс пригласил на поминки в Рейнснес. Люди разместились кто где. На полу, на кроватях. Им предстояло провести

вместе день и ночь. Об экономии на расходах не могло быть и речи. Приехал пробст и утешал всех как мог.

В самом трудном положении осталась вдова арендатора Педера Олая. У нее было шестеро малолетних детей и большие долги. Андерс распорядился, чтобы в лавке и вообще всюду, где бывают люди, поставили кружки для пожертвований. Самому ему нечем было помочь вдове — его сундучок с деньгами лежал на дне Фоллова моря.

— Туман, шторм. Волна шла за волной. Мачта треснула, как сухая ветка. Мы сбились с курса. Руль снесло подводной скалой. И мы все вдруг оказались в бушующем море.

Так бывает, когда Всевышний требует своего.

Андерса и руль выбросило на скалу. Дня через два его снял со скалы один рыбак. Нашли тело юнги, который помогал коку. Его похоронили в земле. Об остальных даже не спрашивали.

\* \* \*

После поминок на Рейнснес опустилась мертвая тишина. Потом Андерс отправился на рыбалку. Два дня он провел в море без хлеба и воды. Один. Это был поступок безумца.

Когда он к ночи не вернулся домой, Олине в слезах обратилась к Всевышнему. В тех местах люди говорили: «Господь всемогущ, но трое рыбаков в шестивесельной лодке тоже чего-то стоят!»

Но Олине переиначила это по-своему:

— Боже милостивый, на той шестивесельной лодке вышел всего один человек, поэтому мы уповаем на Тебя. Пошли ему хорошей погоды!

Они видели лодку с берега. Она летала как тень. То у самого горизонта, то снова возвращалась в пролив. Вениамин не знал, как следует поступить человеку, мать которого сбежала из дому, а отец ушел один на рыбалку. Плакать или смеяться? Но что бы он ни сделал, легче ему от этого не стало бы. В конце концов он решил, что, будь он на месте Андерса, ему бы хотелось, чтобы кто-нибудь сейчас приплыл к нему и уговорил вернуться обратно на берег. Поэтому он взял лодку и отправился узнать, как там обстоят дела. Все это заняло три часа. Путь туда и обратно. И разговор.

Вениамин не считал, что этот разговор был очень содержательный.

— Андерс, ты решил остаться здесь на всю жизнь? — крикнул он в вечерний туман, когда подплыл достаточно близко.

— Да вроде того, парень!

— Что ты тут делаешь?

— Тут до черта мелкой сайды!

— У тебя на лодке своя жиротопня?

— Нет, но чайкам у меня неплохо живется.

— Может, угостишь своей рыбкой и тех, кто остался на берегу?

— Этого я, черт побери, еще не решил.

— И долго ты еще будешь решать?

— А что? Ты меня ждешь?

— Да. Мне ведь теперь некого больше ждать.

— Это верно.

Лодки уперлись друг в друга. Борода у Андерса была серая, как сталь, нос обгорел на солнце.

— Ты похож на морского тролля, — осмелился сказать Вениамин, придерживая за борт его лодку.

— А я и есть морской тролль! — отозвался Андерс. — Пропади она пропадом, эта жизнь! Пропади она пропадом! Кто же я теперь, если не тролль? И пусть сам Господь Бог с чертом-дьяволом хоть лопнут от злости, а совладать с настоящим морским троллем не под силу даже им. Как бы они ни тужились, ни лезли из кожи, придется им смириться с тем, что Андерс не намерен больше как дурачок терпеть выходки этих чертовых баб! Привяжи свою лодку, парень! И прыгай ко мне!

Без особого труда Вениамин выполнил приказ этого своего отца, ставшего морским троллем. Когда он уже греб, сидя на банке, Андерс снова заговорил:

— Нет, ты только подумай: взять с собой эту проклятую виолончель и уехать! Как тебе это нравится? Ты хоть что-нибудь понимаешь? Даже самая распоследняя баба и та такого не выкинет! Хоть она тебе и мать... Она такая же... такая... Да пропади она пропадом! Теперь мы с тобой свободны! И наш путь лежит прямо в геенну огненную!..

В то лето Андерс перестал быть Андерсом. Он поседел. Но приступы ярости постепенно улеглись. Позже он почти никогда не упоминал ни о шхуне «Матушка Карен», ни о Дине. Разве что они имели непосредственное отношение к тому, о чем он рассказывал.

Держался Андерс как ни в чем не бывало. Но перестал ездить в церковь. И Вениамин понимал его: морскому троллю нечего делать в церкви.

\* \* \*

Вениамин испытал даже облегчение, когда осенью пришло время возвращаться в Тромсё. К тому времени он привык к мысли, что Дины больше нет в Рейнснесе и что Андерс стал морским троллем.

Если долго убеждать себя, что Рейнснес существует в одном мире, а Тромсё — в другом, то в конце концов можно в это поверить.

Осень уже не страшила Вениамина, хотя и приятного в ней было мало.

Главное, довлеет дневи злоба его, и Рейнснес далеко от Тромсё.

И еще фру Андреа. В глубине души Вениамин знал: рано или поздно это должно случиться. Собственно, все было predetermined заранее и добром кончиться не могло.

Фру Андреа никогда ничего не обещала ему. Но он всегда считал, что она не даст его в обиду. Не в том смысле, что она застрелит кожевника. Этого бы она, конечно, не сделала. Но она могла бы попросить кожевника, с его желтыми страшными ручищами, забрать свое оружие и исчезнуть из города. После чего из дому постепенно выветрился бы и его запах.

А потом они бы перекрасили дом в другой цвет, например в белый. Сам Вениамин учился бы в гимназии, а она занималась бы своими делами. И никто ни о чем не догадался бы. Потому что иметь квартирантов не возбраняется.

\* \* \*

Но в тот день, незадолго до Рождества, когда кожевник вернулся домой раньше обычного и произнес свою короткую речь, фру Андреа покинула комнату Вениамина, не сказав ни слова.

Вениамин понимал, что между отъездом Дины и уходом фру Андреа из его комнаты нет ничего общего. Для этого он был достаточно взрослый. У него была возможность привыкнуть к тому, что люди время от времени исчезают. Он жил не в изолированном пространстве.

Нет, кожевник не убил его.

И ничего ему не отрезал.

И не грозил сообщить о случившемся в гимназию, чтобы Вениамина исключили.

Кожевник произнес нечто похожее на речь, и по лицу у него текли слезы. Он плакал рядом с кроватью Вениамина. Вениамин всегда знал, что кожевник ненастоящий.

\* \* \*

Вениамина спасла кухарка. Она приютила его в своей пристройке на те дни, что ему предстояло прожить в Тромсё до отъезда домой на Рождество. Но он не помнил, чтобы она сказала ему хотя бы слово. Дома у нее пахло камфарой и йодом. Из-за этого Вениамин чувствовал себя больным. Однако это не волновало его. Он перестал бояться, что что-то случится.

Ведь все уже случилось.

В Рейнснесе он узнал, что Ханна собирается уехать к родственникам Андерса на Грётёй. Ей было полезно посмотреть, как живут люди в других местах.

Помешать этому он уже не мог.

После того лета с Элсе Марией Ханна стала другой, отделилась от него. Теперь она небось торжествует. Это на нее похоже.

Как будто Грётёй — земля обетованная.

Вениамин смирился бы с этим, если б его не окружала пустота.

## ГЛАВА 6

-Ну и вымахал же ты, парень! Думаю, нынче ты уже сможешь пойти с нами на Лофотены, — сказал Андерс.

Значит, ему не придется сразу после Рождества возвращаться в Тромсё!

Андерс видел и понимал многое, но помалкивал об этом. Он просто принял решение.

— Тебе надо развеяться, — сказал он. — Напишем в Тромсё знакомым людям, так что, когда ты вернешься туда, у тебя будет новое жилье. Это все мелочи, — добавил он.

Вениамин плохо представлял себе лов на Лофотенах. Он слышал рассказы Андерса о свободе, о волнах, о мужском братстве и о рыбе. Об этом сказочном серебре, которое поднимали из черных морских глубин. Но Андерс забыл рассказать ему об адской боли обожженных морозом пальцев, простуде и вечно мокрых чулках. А изрезанные сетями руки! Они были точь-в-точь как руки библейских прокаженных, о которых ему рассказывала матушка Карен. Пока их лодка часами дрейфовала в море, Вениамин просто не чувствовал своих рук. И это как раз было неплохо. Но стоило ему попасть в теплое помещение, как начиналась пытка. Тогда уже не оставалось ничего, кроме его рук.

Рыбак из Вениамина получился никудышный, хотя он из кожи лез, чтобы всем угодить. Однако, несмотря на это, он то и дело попадал впросак, потому что опрокидывал и разбивал все, что попадалось ему на пути. Он без конца ронял что-нибудь за борт и, ослепленный горем, а также бьющей через край энергией, ничему не мог научиться.

Сперва рыбаки мрачно поглядывали на его книги и советовали поднять их на мачту, чтобы чайки тоже могли чему-нибудь научиться. Убедившись в его полной непригодности к делу, они стали бросать на него косые взгляды. Потом послышались обидные замечания.

Чтобы лишить эти слова их обидной силы, Вениамин громко повторял их вслух, и это пугало рыбаков.

Его долго не трогали. У Вениамина было неприятное чувство, что его просто жалеют. Да и уважение к Андерсу тоже не позволяло рыбакам проучить Вениамина.

\* \* \*

Но однажды в субботу вечером грянул гром. Андерс уехал по делам в

поселок, а рыбаки поставили на железную печку котел с ухой.

Пришел Вениамин и начал развешивать для просушки свою одежду, опасаясь, как бы не уронить в котел рукавицы. Беда пришла неожиданно. Он задел ручку котла, и тресковая уха вылилась на пол.

В ожидании ухи рыбаки успели пропустить по рюмочке. А кое-кто и не по одной. Их гнев и досада оказались искрой в сухом сене.

Двое схватили Вениамина за руки и кричали, что сейчас он языком вылизет пол. Третий придумал наказание похлеще:

— Лучше мы окунем этого ведьмина выродка в бочку с печенью! Так сказать, окрестим его!

Вениамина поволокли в другое помещение. Он закрыл глаза и, насколько мог, задержал дыхание. Наконец его вытащили из бочки, чтобы он не задохнулся.

Удовлетворенные своей работой, рыбаки осмотрели Вениамина. Он растерянно моргал, в волосах у него застряла ледяная печень. Он не смел шелохнуться, боясь, что любое движение навлечет на него новое наказание.

Жалкий вид Вениамина вызвал у рыбаков новый прилив злобы. Кто-то крикнул, что парня следует вымыть, пусть станет чистым, как скалы, на которых вялят рыбу.

— Да, да, да, — закивали остальные, точно женщины на молитвенном собрании..

Вениамина перевязали прочным канатом, оттащили на причал и бросили в воду. В феврале это было нешуточное наказание.

\* \* \*

Вениамин приготовился к смерти еще тогда, когда его сунули головой в бочку с печенью. Теперь же он просто умер. Он задохнулся от ледяной воды, сомкнувшейся у него над головой. На какое-то время он перестал существовать. Потом открыл глаза в потустороннем мире и услышал поднимающийся из глубины слабый звон колокольчиков. Он не только слышал звон, но и видел, как этот звон колышется. Это было непостижимо и очень красиво.

Пусть он умрет, но тот, кто слышал этот звон, уже никогда его не забудет.

Должно быть, в это время в заливе показалась лодка Андерса. Вениамин увидел ее в ту минуту, когда его вытащили на поверхность. Рыбаки в панике подняли Вениамина так быстро, что у него чуть не лопнули барабанные перепонки. И все-таки он узнал Андерса. Андерс

поднялся и стоял в лодке, не выпуская из рук весел. Они висели, уходя лопастями в море, как ободранные птичьи крылья.

Голос Андерса был подобен грохоту горного обвала, он звучал сразу со всех сторон. Приближавшаяся с ним буря разорвала воздух в клочья и разбила вдребезги остатки дневного света.

Рыбаки испугались. Они вовсе не собирались еще раз погружать его в воду. Но никто не хотел быть пойманным на месте преступления, и они одновременно выпустили из рук канат. Тут уж Вениамин пошел прямо на дно. Однако его быстро подхватили под мышки и вытащили из воды.

В гнетущем молчании его положили на причал. Сперва Вениамин пребывал в каком-то оцепенении. Потом его вырвало, хотя он был уже мертвый. Рыбаки оказались перевернутыми вверх ногами, небо находилось на месте моря, и все это с бешеной скоростью вращалось вокруг него.

Значит, ему предстояло не только умереть, но и быть вывернутым наизнанку.

Его отнесли в помещение и раздели. Андерс коротко приказал подать горячей воды, шерстяное белье и овчинные одеяла.

Юнга, помогавший коку, скулил, что он не виноват. Он отошел в сторону и хотел выйти на улицу, но голос Андерса распорол воздух:

— Сегодня никто не пойдет на берег! Все останутся здесь! Думаю, мне придется кое об кого почесать кулаки!

Недовольный ропот пробежал среди рыбаков. Но все остались.

Вениамина завернули в теплые одеяла и уложили в постель. Андерс выбрал четверых рыбаков, которые участвовали в развлечении. Теперь он был совершенно спокоен. Он вызывал каждого по имени, точно пастор, который собирался привести их к святому причастию. Вениамин лежал с закрытыми глазами, но все слышал — его позор был напаян ему на голову, словно мешок. Значения первых звуков он не понял — ему было еще слишком плохо. В голове у него все смешалось, как булавки в жестяной банке. Потом ему почудилось, будто Олине взбивает мясной фарш в деревянной миске. Значит, Андерс сперва расчистил себе место среди табуреток, снастей и бочек, а уже после этого заработал кулаками.

Вениамин забыл о своих испытаниях и открыл глаза.

Первый рыбак принял удары с какой-то мечтательной покорностью. Между ним и Андерсом вклинились другие рыбаки. Тогда Андерс превратился в мощную ветряную мельницу. Его руки и ноги били без промаху. Вениамин и представить себе не мог, что Андерс способен на такое.

— Да он спятил! — проговорил кто-то, но, получив удар в глаз, без

звука осел на ящики.

Андерс налетел на следующего. Конечно, они скрутили бы его. Если бы было за что. Но перед его праведным гневом они как будто утратили всю силу. И позволили ему избить себя.

Рыбак, который почти не принимал участия в крещении Вениамина в бочке с печенью, а теперь стоял на ящиках, крикнул, не выдержав:

— Остановись, Андерс! Остановись, ради Бога! Андерс прыгнул на него с диким воем. Рыбак был невысокий, но плотный и сильный. Кроме того, он был почти не пьяный. Вениамин испугался за Андерса. Но когда Андерс наконец поднялся и привел в относительный порядок свою одежду, рыбак с окровавленным лицом лежал на неструганых досках пола. Он медленно вытер лицо, глаза и выдавил из себя улыбку, чтобы не потерять остатки собственного достоинства.

— Успокойся, Андерс! — выдохнул он. — Мы поняли, что ты способен навести порядок в собственном доме! Мы все поняли! Парень не рыбак, это всем ясно. Но ему чертовски повезло с отчимом! Я вместе с тобой буду следить, чтобы с ним больше ничего не случилось. А теперь остынь!

\* \* \*

Потом Андерс заставил всех по очереди подойти к койке Вениамина и пожать ему руку. Это было ужасно. Вениамин не мог вымолвить ни слова. Но он никогда не сказал Андерсу, что они назвали его ведьминным выродком. Он был убежден, что это стоило бы жизни тому, кто придумал такое прозвище.

С тех пор с ним обращались как с драгоценной булавкой, о которую можно больно уколоться. Андерс предстал перед рыбаками в новом свете. Правда, после учиненной расправы он несколько дней обматывал руки тряпками и пытался скрыть это под рукавицами. Нелегко быть великаном с обычными человеческими суставами.

Из случившегося Вениамин вынес, во-первых, то, что Андерс ради него способен превратиться в ветряную мельницу, и, во-вторых, что даже взрослые мужчины не всегда могут скрыть свой стыд. Рыбаки были похожи на стаю бакланов на птичьем базаре. С переменой ветра они все разом поворачивали головы.

Вениамин чувствовал себя виноватым перед ними. И простил их всех. А что ему еще оставалось?

На душе у Вениамина было скверно. Теперь его окружало липкое молчание. И когда закипал котел с рыбой, его начинало тошнить от одного запаха. Этот запах навсегда отбил у него вкус к вареной треске.

\* \* \*

Они вернулись в Рейнснес измученные разделкой рыбы и тоской по дому. За это время Стине наняла новую служанку — Элсе Марию с Бьяркёйя. Она должна была заменить уехавшую Ханну и научиться вести хозяйство в большой усадьбе.

Вернуться домой после суровой жизни в обществе рыбаков было все равно что излечиться от долгой и тяжелой болезни. Вениамин почти забыл, что Дина уехала из Рейнснеса.

Сперва он вымылся со всеми в бане, истопленной специально для рыбаков, вернувшихся с Лофотенов. Солнце пронзало пар огненными мечами всякий раз, как отворялась дверь бани. Женщины приносили то воду, то дрова. На мгновение мужчины представляли перед ними в своем истинном виде. Нагими.

Такое зрелище могло испугать кого угодно. Одно дело — одетым мальчишкой снова среди моющихся, другое — мыться вместе с ними как равный. Вениамин был хорошо сложен, у него было сильное тело, но этот процесс как будто еще не завершился. Ему было стыдно. Утешало лишь то, что за это время он немного вырос. Это заметили уже на берегу.

— А Вениамин-то какой большой стал! Вон у него какие ножищи! И усы!

— Мы кормили его рыбьим жиром и растягивали на сушилах для рыбы! — отшутился Андерс.

Вениамин действительно вырос. Но ему было стыдно, что о нем говорят как о теленке.

Он уже давно знал: есть какой-то особый смысл в том, что все мужчины моются вместе. А женщины приходят и уходят, прислуживая им.

Один за другим мужчины выходили из бани с мокрыми волосами и подстриженными бородами. Кое-кто еще не успел приладить подтяжки или застегнуть рубаху. Им хотелось показать пышную растительность на груди. Конечно, не нарушая приличий. Вениамин видел, как они лапают пробегающих мимо девушек. Разве они решились бы на такое в любой другой день? Но сегодня день был особенный, и девушки стояли неподвижно и улыбались. Был свой смысл в том, что день или два они позволяли к себе прикасаться.

Девушки были под запретом. И вместе с тем нет. Только надо было знать, как к ним подступиться. Или быть достаточно волосатым и бородатым.

Что бы там ни было, а Вениамин мылся в бане вместе с мужчинами!

Внутри было тесно, душно и пахло мылом. Пока Вениамин одевался за развешенным парусом, Теа налила в деревянную бадью чистой горячей воды. Теперь была очередь Андерса. Ему терли спину, а он добродушно беседовал с рыбаками. Вениамин слышал, как Андерс плещется в воде, дразня Теа тем, что у нее тяжелая рука.

— Твоему возлюбленному не позавидуешь! Такая ручища!

— Нет у меня никакого возлюбленного! А если хочешь испытать, какая у меня рука, я тебя приласкаю! — отшучивалась Теа.

Так она позволяла себе разговаривать с Андерсом только в банный день. В этом не было никакого сомнения.

Общий смех свидетельствовал о том, что ее дерзкий ответ всем пришелся по душе. Андерс, сидевший в деревянной бадье, смеялся вместе со всеми. Вениамин видел его спину, торчавшие из бадьи волосатые руки и ноги. Ему хотелось быть таким же. Если бы он был сыном Андерса, он по крайней мере знал бы, каким станет через несколько лет. А у висевшего на стене Иакова не было ничего, кроме красивого лица. Кто знает, какое тело станет в будущем у его сына?

Вениамин надевал рубаху, когда между натянутым парусом и стеной показалось розовое лицо, обрамленное растрепавшимися золотистыми волосами. Широко открытые голубые глаза сверкали, как играющая в воде форель. Вениамин не мог оторвать глаз. Это длилось мгновение. Потом лицо покраснело и исчезло. Элсе Мария с Бьяркёйя!

— Смотри не сглазь там за парусом нашего паренька! — крикнул один из рыбаков.

— Я не знала... Меня прислали за зеленым мылом, — оправдывалась она.

Рыбаки засмеялись. У Вениамина было чувство, будто кто-то щекочет его, водя соломинкой по его телу. Он весь покрылся гусиной кожей. Сунув ноги в деревянные башмаки, он выбрался из своего укрытия, чтобы продемонстрировать всем, что Элсе Мария не видела его голым.

Она уже ушла. Но ее лицо светлой пеленой лежало на всем, на что падал его взгляд. Он стоял в дверях и пытался вызвать в памяти ее образ. Ему хотелось, чтобы она подошла к нему. Приникла, как одежда к телу. Как ветер. Хотя бы на миг.

Но этого никто не должен был видеть!

\* \* \*

Вениамин явился на кухню к Олине и поразил ее привезенным ей подарком. Но пришел-то он туда ради Элсе Марии.

Она шинковала лук для печени. Деревянные башмаки были надеты у него на босу ногу. Он ввалился прямо с мороза. Она подняла на него прекрасные, полные слез глаза. Но слезы-то были вызваны луком.

Вениамин представил себе, как вел бы себя на его месте Андерс. Поэтому он расправил плечи, обнял Олине и преподнес ей сверток с тканью на платье. Склонившись к Олине, он мог без помех разглядывать девушку, которая шинковала лук. Красивая, округлая фигура. Красивее, чем он помнил. Вспоминал ли он за это время Элсе Марию? Трудно сказать. Его слишком долго не было дома. Тромсё. Лофотены... Теперь-то он, конечно, думал о ней.

Даже не покраснев, Вениамин беседовал с Олине.

— Это что же такое! — приговаривала она, разглаживая ткань обеими руками. — Спасибо тебе, Вениамин! Большое спасибо!

Он позволил ей обнять себя и услышал, что он на редкость добрый и заботливый мальчик. Элсе Марии полезно было это узнать.

— Я вижу, у тебя появилась помощница? — сказал он.

— Так это ж Элсе Мария, ты ее знаешь. Она будет жить у нас до осени. — Олине милостиво кивнула в сторону девушки.

Стараясь ничего не задеть своими деревянными башмаками, Вениамин подошел к Элсе Марии и поздоровался с ней за руку, как его когда-то учили здороваться с новой прислугой в доме. Рука у нее была холодная, влажная и пахла луком.

Золотистые волосы кудрявились на висках. Они были заплетены в две длинные косы, как и в тот раз, когда он вез ее в тележке по полю. Веснушек у нее стало меньше. Но свет, окружавший ее фигуру, был ярче, чем раньше. Такой могла бы быть хюльдра.

\* \* \*

Вениамин стал так часто заглядывать на кухню, что это не укрылось от Олине. Она над ним не подтрунивала. Вовсе нет. В ее голосе звучало предостережение.

— Ты, Вениамин, мужчина, а не помощник кухарки, — прищурившись, сказала она через несколько дней. Ее зрачки сверлили его сквозь узкие щелки.

Вениамин пробовал держаться по-мужски и подмигивал Элсе Марии, когда Олине этого не видела. Но девушка не смела поднять на него глаза.

Он перестал приходить на кухню, однако подстерегал Элсе Марию, когда та шла в хлев или еще куда-нибудь. Мысли о ней могли озарить любой день, даже самый беспросветный.

Вениамин часто требовал, чтобы ему в комнату принесли то теплой воды, то полотенце, то еще чего-нибудь. Особенно когда знал, что все заняты и сделать это может только Элсе Мария. Точно нежное прикосновение, она появлялась в дверях. И исчезала, прежде чем он успевал поблагодарить ее. Однажды он быстро подскочил к ней и схватил за руку.

— Подожди, Элсе Мария! — задыхаясь, проговорил он и прикрыл дверь в коридор.

— У меня много работы! — Она тоже дышала с трудом.

— Что ты делаешь?

— Убираю южную комнату. С пароходом должен прибыть гость.

Она пахла морем и солнцем. Он прижал ее к дверной притолоке, потом обнял. Крепко, на случай если она попытается убежать.

Сперва она действительно хотела вырваться. Потом затихла. Он даже подумал: «Что же мне теперь делать?»

Оба тяжело дышали. Он поднял руку и погладил ее по щеке. Она вздохнула и переступила с ноги на ногу. И все время не спускала глаз с чего-то на противоположной стене.

— Давай встретимся вечером возле летнего хлева? — прошептал он наконец.

— Не могу.

— Почему? Ты же приходила туда раньше?

— Олине.

— Твои вечера принадлежат тебе, а не Олине. — Да, но...

И вдруг он сказал по-взрослому, даже не понимая, откуда к нему пришли эти слова:

— Но сама Олине, как и все остальное, принадлежит мне!

Элсе Мария уставилась на него:

— Значит, хозяевам Рейнснеса принадлежит и кухарка, и все-все?

— Конечно! — Он засмеялся, обращая все в шутку.

— Теперь уж я точно не посмею прийти к летнему хлеву! — Она вырвалась и захлопнула за собой дверь.

\* \* \*

Вениамин постоянно подстерегал Элсе Марию. Не таясь помогал ей приносить воду или дрова.

Конечно, он помнил, что она только служанка, но это ничего не меняло. Он должен был добиться ее расположения.

Однажды Олине позвала его в буфетную. Она сидела на одном из

обитых парчой кресел, которые стояли там, потому что пользовались ими только в исключительных случаях.

— Я все вижу и слышу, Вениамин, — сказала Олине. Он стоял у двери, не понимая, куда она клонит.

— Для меня не секрет, что ты Элсе Марии проходу не даешь.

Лучше было не возражать ей.

— Так вот, знай, я взяла на себя ответственность за эту девушку!

Ему оставалось только выслушать ее до конца.

— Ты уже взрослый, Вениамин. И знаешь, что мужчины готовы на многое, лишь бы проникнуть в комнату к служанкам. Почему, ты думаешь, никогда, если не считать бедняжки Стине, но то случилось много лет назад и в конторе при лавке... Почему, ты думаешь, прости мне, Господи, грехи мои тяжкие, в Рейнснесе никогда больше не случалось такого позора? А потому, что я всегда следила за порядком и сон у меня легче, чем у бабочки!

— Я бы никогда не причинил зла Элсе Марии! У него покраснело не только лицо, но и все тело.

— Ну так докажи мне это! — строго сказала Олине. Она задумалась, и Вениамину показалось, что она сейчас заплачет.

— Создатель мой милостивый, до чего же ты похож на покойного Иакова!.. — проговорила она и тут же продолжала без всякого перехода:

— Господь накажет тебя, если ты не перестанешь бегать за Элсе Марией и доведешь ее до беды...

— Но, Олине!

— Тебе никто не говорил, что наследнику Рейнснеса негоже бегать за служанками?

— Не-ет...

— Ну так знай! — Олине хлопнула себя ладонями по ляжкам, и они задрожали. Она встала.

Вениамин не знал, как ему снова добиться ее расположения.

— Но мне очень нравится Элсе Мария! — прошептал он.

На мгновение лицо Олине как будто озарилось солнцем. Она распахнула объятия и подошла к нему:

— Вениамин, мальчик мой, как же ты похож на Иакова! — Она провела рукой по глазам. — Пойми, любовь в твоем возрасте так мимолетна. Ведь ты не хочешь испортить Элсе Марии всю жизнь? Допустить, чтобы люди стали о ней судачить?

— Нет, конечно.

Что-то застряло у него в горле.

— Вот и оставь ее в покое. Она помолвлена с Эвертом Стейнбаккеном с Хасселёйя и должна научиться у нас вести хозяйство. К тому же она старше тебя на два года. Ты еще ребенок. Добрый ребенок...

Олине снова чуть не заплакала. От одного этого можно было сгореть со стыда.

Вениамин так ничего и не добился. Во всяком случае, он уехал в Тромсё, не повидавшись с Элсе Марией у летнего хлева. Ему оставалось посмеиваться про себя и утешаться тем, что и время года к этому не располагало.

## ГЛАВА 7

Андерс даже не спросил, почему Вениамин перед Рождеством съехал от кожевника.

Несколько раз Вениамину казалось, будто Андерс все знает. Но все-таки чаще он думал, что Андерсу ничего не известно. Людям не следует знать слишком много. Голова у него была так забита одним, что ни для чего другого в ней просто не осталось места.

Нет, Андерс ничего не сказал. Он только распорядился, чтобы сундук и все вещи Вениамина перевезли от кожевника в дом купца Сёренсена, который стоял на площади. К приезду Вениамина в Тромсё его вещи были уже там.

Комната Вениамина была расположена на чердаке. Она была изолирована, и от лестницы ее отделял темный чердак. Семья Сёренсена состояла из семи человек. Вместе с Вениамином за столом сидело восемь. Больше всех говорила хозяйка. Она знала все про всех и жаждала поделиться своими знаниями с другими. Вениамину было интересно, знает ли она, почему он уехал от кожевника. Но знал ли он это сам?

Он набрался терпения и ждал, понимая, что, если ей что-то известно, она не сможет долго держать это в себе.

\* \* \*

Грехи искупаются трудом — учит Священное Писание.

Был уже март, и ректор выразил сожаление, что болезнь так надолго оторвала Вениамина от занятий. Но если он хочет заниматься дополнительно и все-таки выдержать экзамен, это, конечно, будет ему позволено.

«Какая болезнь?» — чуть не спросил Вениамин, но вовремя спохватился. Это все Андерс. Вениамин уже давно понял, что Андерс умеет давать нужные объяснения.

Ему оставалось только налечь на книги.

Стояли слишком светлые дни, чтобы он мог позволить себе прогуляться к дому кожевника, — ему хотелось посмотреть, живут ли они еще там.

Он знал, какой дорогой кожевник ходит в свою мастерскую, и старался держаться подальше. Несколько раз ему чудился запах фру Андреа, и он невольно оборачивался. Но это всегда были другие женщины.

\* \* \*

Примерно в то время, когда он вернулся с Лофотенов и ему не дано было встретиться у летнего хлева с Элсе Марией, потому что она принадлежала Олине, у него появился какой-то странный недуг. А может, то был вовсе не недуг, а пустота, возникшая в нем после того, как фру Андреа вышла из комнаты, даже не взглянув на него.

Во всяком случае, стоило ему услышать запах женщины, как он начинал искать его источник. Это было похоже на голод, который постоянно мучит толстяков. Они никогда не могут наесться и продолжают есть, даже если их уже тошнит от одного вида пищи. Словно пища способна защитить их от всех невзгод.

Вениамина тянуло к женщинам независимо от того, отталкивали они его или поощрительно ему улыбались. Эти создания существовали, и он чувствовал, что должен найти их, прежде чем они исчезнут.

Фру Андреа уже исчезла, хотя и оставалась жить в доме кожевника.

\* \* \*

Дом купца Сёренсена был белый и шумный. В нем всегда кричали, смеялись и веселились дети. Первое, что Вениамин здесь заметил, — открытые двери, они никогда не запирались.

— Было бы счастье, да одолело ненастье, — говорила фру Сёренсен, когда случалось что-нибудь неприятное.

Господин Сёренсен вел торговлю с поморами. На днях был получен королевский указ, разрешавший ввозить в Северную Норвегию древесину из Архангельска. Теперь связи, которые у господина Сёренсена сложились уже давно, поддерживать будет значительно легче.

Господин Сёренсен вставил большие пальцы в проймы жилета, и вид у него был такой, будто этот указ издал он сам. Радостное событие отметили жарким, скатерть быстро оказалась забрызганной жирным соусом. Вениамин сидел с Сёренсенами за обеденным столом. Но думал только о том, что сейчас ест фру Андреа.

Многочисленное и шумное семейство купца утомляло его. В Рейнсесе тоже бывало много народу, но там во всем соблюдалась мера. Если там кто-то хотел остаться в одиночестве, ему было достаточно просто прикрыть свою дверь и даже не запирать ее.

Спасаясь от жаждущих общения чад господина Сёренсена, Вениамин все дни проводил у Софуса, они много занимались.

\* \* \*

Вениамин заметно вырос. Он всегда мечтал об этом. Но все-таки был недоволен собой. Ему не нравились собственные запястья и плечи. Летом ему сшили новый костюм. Во время примерки он отказался встать на табурет. Лишь посмеялся над этим предложением и ущипнул портниху за щеку.

Иногда он вспоминал Ханну. И Элсе Марию. Но их в Рейнснесе уже не было.

Приехав домой на Рождество, он узнал, что Элсе Мария вышла замуж. А Ханна оказалась просто незаменимой на Грётёйе. Девичья жизнь удивляла Вениамина: она проходила мимо как будто слишком быстро, хотя само время двигалось медленно.

Он присмотрелся к новым служанкам, немного потискал их. Но в меру, потому что у Олине на каждом пальце было по глазу. А когда он приехал домой в следующий раз, их там уже не было.

В Тромсё у него была Шарлотта Викстрём. Иногда под фонарем можно было зарыться носом в ее воротник. Но она никогда не соглашалась съездить с ним на один из островов. Или сесть впереди него на сани, когда они катались с горы.

— Маме это не понравится. И полиция может забрать сани, если мы будем ехать слишком быстро, — говорила она и прятала руки в муфту.

Но отказаться от Шарлотты он не мог, его привлекал ее запах.

Он много занимался. Курил с Софусом самокрутки. И все-таки это была еще не настоящая жизнь. Однако время шло, как любили говорить старики. Скоро он и сам станет старым, так и не встретив никого, к кому можно было бы прижаться.

В последнее время он уже не спрашивал у Андерса, не было ли писем от Дины. О ней в Рейнснесе больше не говорили. Даже потихоньку. Жалели Андерса.

Андерс все больше и больше превращался в морского тролля. Он почти не разговаривал, но работал куда больше, чем прежде. Однажды, когда они вдвоем сидели в курительной, он вдруг сказал Вениамину:

— Ты уже третий год живешь в Тромсё. А летом будет два года, как она уехала.

Вениамин хотел спросить, что Андерс думает по этому поводу, но не решился. Черным январем он вернулся в Тромсё, так и не узнав, что думает Андерс. Но виноват в этом был он сам. О чем только он не спрашивал в детстве у Андерса! И Андерс всегда отвечал ему.

\* \* \*

Однажды Вениамину приснилось, что он идет по улице. Он шел на запах. В мастерскую кожевника. Кожевник стоял на доске, перекинутой через огромный дубильный чан. В чане плавали кожи разных размеров. Вениамину не следовало приходить туда, при виде Вениамина кожевник упал в чан и с головой скрылся в растворе. Со всех сторон сбежались люди и вытащили его оттуда. Кожевник был весь желтый. Вениамин долго смотрел на него. Потом вдруг оказался за столом у Сёренсенов, но не сказал им, что был у кожевника.

— А что, Магнус, кожевник, умер? — спросил старший сын Сёренсенов. В тот день ему стукнуло четырнадцать и он получил в подарок оружие кожевника. Оно лежало на столе на серой бумаге.

Утром Вениамин посмеялся, что во сне это оружие никого не удивило. Даже фру Сёренсен. Она сказала:

— Да, бедняга кожевник... Он стал весь желтый, это так ужасно... Смотри, как ты ешь, дружок! У тебя все молоко на скатерти! — сказала она младшему.

Чего только люди не говорят во сне! И как это похоже на то, что они говорят в жизни! Ну разве не смешно?

Вениамин, например, не знал, что кожевника зовут Магнус.

Во сне он даже подумал: иногда человеку нужно уехать или умереть, чтобы люди узнали его имя.

Он так и не пошел к дому кожевника и не знал, живет ли там еще фру Андреа.

\* \* \*

В ту же ночь заболел старший сын Сёренсенов. Может, именно поэтому Вениамину и явилась мысль, что он должен стать доктором. Впрочем, он думал об этом и раньше, еще до того, как ездил домой на Рождество. Тогда ректор пришел к ним в класс и сказал, что в городе ходит тяжелая болезнь, началась эпидемия. Говорили, будто эту болезнь завезли из Трондхейма. Ее так и называли трондхеймской болезнью. Она начиналась с боли в горле, и исход у нее был смертельный.

Стояла весна. Господин Сёренсен взял сына с собой, когда ездил на одну из шхун, прибывших из Трондхейма. Сперва в доме все всполошились. Потом наступила зловещая тишина. Вениамин слышал, как они говорили, что не успели вовремя смазать ему горло азотной кислотой.

Конечно, Вениамин знал, что мальчика зовут Сёрен. А если б и не знал, так узнал бы теперь. Фру Сёренсен кричала на весь дом, призывая к себе сына. С той самой ночи, как Сёрен умер.

— Ты не должен был брать Сёрена с собой! — кричала она мужу. — Это твоя вина! Твоя! Сёрена больше нет, теперь он лежит в сырой земле! А виноват в этом ты!

Комната на чердаке была расположена как раз над их спальней. В мире не осталось ничего, кроме имени Сёрен. Спать Вениамин не мог, ему оставалось только лежать и думать, что он должен стать доктором.

Когда полуночное солнце заглянуло к нему в окно, он сел учить латынь. В ту ночь в его комнате было на удивление светло. Громко кричали чайки. Наверное, у них было гнездо на крыше. Вениамин заткнул уши ватой. Бедная фру Сёренсен, она тоже кричала. Проснулся весь дом. Кто-то плакал, это он тоже слышал.

Через час Вениамин увидел в окно господина Сёренсена. Он шел по дороге, без шляпы, в развевающейся морской тужурке. Из чердачного окна господин Сёренсен казался просто черным пятном. У него был такой вид, будто он только что с кем-то простился. Впрочем, так оно и было. А вот фру Сёренсен уйти не могла, что бы там ни случилось. Она только кляла себя за то, что не сумела защитить сына. Потому-то господину Сёренсену и пришлось уйти из дому.

\* \* \*

Когда хоронили Сёрена, Вениамин был в гимназии. Но Сёренсенам это было безразлично. Он ничем не мог помочь им.

Сам же Вениамин думал, что так и не сказал Сёрену ни одного доброго слова, пока тот был еще жив. Сёрен много раз заходил к нему в комнату. Хотел поговорить, посмотреть его книги.

Именно это и сыграло главную роль в том, что Вениамин решил стать доктором.

В феврале комитет по здоровью горожан опубликовал следующие рекомендации: необходимо поддерживать в домах чистоту и проветривать помещения. Похоронить человека, умершего от горловой болезни, следует как можно быстрее, но не следует устраивать пышные похороны и потом собираться на поминки. Постельное белье и носильные вещи больного необходимо тщательно выстирать, комнату, где он лежал, вымыть и проветрить.

Еще многим было суждено умереть от этой болезни. Слишком многим, чтобы Вениамин мог запомнить все имена. Но кое-кого он помнил.

В ту пору в Тромсё все время плакали. Сёрену было только четырнадцать. А старшему из умерших — двадцать три.

\* \* \*

В тот день, когда раздавали аттестаты, ректор выступил перед выпускниками с напутственной речью. Он говорил только о тех, кто ушел из жизни в расцвете юности. Софуса Бека тоже не было среди гимназистов. Ректор уже получил известие о его болезни. Вениамин сразу понял: настал черед Софуса.

\* \* \*

Софус был из тех, с кем можно дружить. Они часто смеялись, особенно когда не зубрили уроки и не наблюдали за девушками, которые прогуливались рука об руку. Несколько раз они ездили на какой-нибудь остров и бродили там вдоль кромки воды. На одном из островов Вениамин признался Софусу, что в тот раз не был болен, а ходил на Лофотены. И Софус поклялся, что никому об этом не скажет. Впрочем, у Вениамина были и такие тайны, которые он не мог доверить даже Софусу.

Вениамину пришлось пережить еще раз все, что сопровождало смерти. Основательное мытье. После бани лица у всех Сёренсенов были красные и блестящие. Раз кто-то из их дома общался с Софусом Бекем, вымыться должна была вся семья. Сёренсены не могли рисковать жизнью еще кого-нибудь из детей.

Несмотря на то что Вениамин уже подвергся процедуре мытья, он все-таки пошел к Софусу, пока тот был еще жив. Он собирался сказать ему, что Дина не случайно утверждала, будто покойники вопреки всему остаются живыми. Он был уже достаточно взрослый и понимал, что таким образом утешает самого себя. Софусу было сейчас не до этого. Но мать Софуса не пустила Вениамина к нему. Она обняла его и горько заплакала.

— Комитет по здоровью горожан запретил пускать к бедному Софусу кого бы то ни было, — всхлипывая, объяснила она.

Вениамин сказал, что не боится заразы: ведь они все время были вместе, а рано или поздно все умрут. Но этого говорить не следовало. Почему человек говорит всегда не то, что следует? Мать Софуса заплакала еще сильнее.

Он не посмел обнять ее.

Похороны были как будто ненастоящие. Хоронить людей по всем правилам не разрешал комитет по здоровью горожан. Вениамин понимал, что это делается, дабы избежать лишних жертв.

Но он все же пришел на кладбище и стоял за оградой. Мать Софуса плакала, но издали кивнула ему. Странно, что она заметила его даже в

такой день!

Теперь Вениамину оставалось только ждать. Но если он избежит смерти — это знак, что ему следует стать доктором.

Каждый день, пока Вениамин ждал, не заболит ли он, он думал о том, что надо пойти к фру Андреа в дом кожевника. Но так и не пошел.

Кожевник тоже не заболел и не умер. Умирили только молодые. Софус был шестнадцатый. Этого было уже больше чем достаточно.

Андерс приехал за Вениамином на новой шхуне. Она называлась «Лебедь».

— Господи, что же это такое? Что они с тобой сделали? — спросил он, не успев войти в комнату на чердаке.

Вениамин невольно подумал, что фру Сёренсен перестала говорить: «Было бы счастье, да одолело ненастье».

Чтобы загладить впечатление, которое он произвел на Андерса своим жалким видом, Вениамин протянул ему свой аттестат. Они вместе изучили его. Андерс потер лоб и сказал:

— Недурно! Недурно! Идем! Здесь тебе нечего больше делать.

И он был прав.

# **КНИГА ТРЕТЬЯ**

## ГЛАВА 1

*Каждое движение бесконечности совершается благодаря страсти, и никакие рефлексии не в состоянии вызвать движение. Это и есть тот самый непрерывный прыжок в нашем существовании, который объясняет движение...*

*Иоханнес де Силенцио. Страх и трепет*

Можно спросить у себя: что заставляет человека сделать выбор? И существует ли у него вообще выбор? Проплавав несколько месяцев с Андерсом, я понял, что из меня никогда не получится ни моряк, ни купец. Не знаю, был ли Андерс разочарован или вздохнул с облегчением в тот день, когда я сказал ему, что хочу поехать учиться в Копенгаген. Во всяком случае, он не стал меня отговаривать. И ничего не сказал о том, что учение стоит больших денег.

По рекомендации Юхана я поселился у вдовы Фредериксен на Бредгаде, как все называли эту улицу. На самом деле она называлась Норвежской, и мне следовало выбрать ее уже за одно название. Вдова Фредериксен была женщина не богатая, но вполне состоятельная. Первым делом она решительно заявила, что я несколько не похож на брата. Лишь несколько месяцев спустя я понял, что это было поставлено мне в заслугу.

Сначала Копенгаген испугал меня. Но долго жить в страхе невозможно, и в конце концов я уступил любопытству. Только тот, кто сам побывал в подобном положении, может представить себе, что я испытал, когда первый раз вошел в вестибюль университета.

Постепенно я втянулся в студенческую жизнь и выучил все студенческие песни. Кроме того, я проштудировал одну из книг Меллера, посвященную вопросам женственности, но ни за что не признался бы, что открыл для себя много нового. Студент вообще не должен ни в чем признаваться, он должен изучать и обсуждать вечные вопросы. Должен посещать пивные и получать приглашения на балы.

Вековые деревья с могучими стволами и развесистыми кронами стали моими друзьями. Через них осуществлялась моя непосредственная связь с небесами. Дома эту роль выполняли горы. В Рейнснесе, когда осень превращала ветви деревьев в голые торчащие сучья, у меня во рту

появлялся металлический привкус. В Копенгагене же деревья даже часть зимы сохраняли листву. Мороз изменял ее, покрывал глазурью, но она держалась.

Естественно, ни с кем из знакомых студентов я не мог поделиться своими мыслями. Это открыло мне глаза на то, что после смерти матушки Карен я начал думать как старик.

Относительно быстро я привык к высоким домам, скоплению людей, датскому языку и успокоился. Но где-то в глубине души еще тлела лихорадка, вызванная этим сильным впечатлением. Объяснить это мне было бы трудно.

*Что рядом с шапочкой студента  
Убор апостола Петра?  
Погибнет мир или спасется —  
Студент средь мудрецов пасется  
В веках белесых, как легенда,  
С утра и до утра.  
Из-за добра дерутся снова...  
Лишь мысль — его добро. Иного  
Нет у него добра.*

Так писал Меллер в своей книге для студентов. Я посещал студенческую коллегия Ренсен и пел вместе со всеми, а чаши с пивом ходили по кругу, как трубки мира. Позже я предпочел ходить в коллегия Валькендорф. Там каждый пил из своей кружки. И праздники свидетельствовали о щедрых карманных деньгах, которыми располагали студенты.

В Валькендорфе я познакомился с Акселем. Он был сыном пастора из Лимфьорда, его отец был лично знаком с Грундтвигом [\[11\]](#). Аксель немало гордился тем, что имел право считаться одним из самых испорченных пасторских сыновей в Дании. Он был высокий, светловолосый и ироничный. Говорил как судья и был напичкан всякими историями, как могильщик.

Постепенно мы выделили друг друга из общей массы. Мы вместе занимались философией и слушали лекции профессоров Сибберна и Расмуса Нильсена. Кроме того, нам предстояло серьезно познакомиться с зоологией, физикой, ботаникой и химией. Это было необходимо, чтобы перейти к изучению медицины.

Преподаватели утверждали, что на основе этих наук и у нас появится

определенная «точка зрения на природу и ее тайны». Эти тайны были достаточно скучны, и мы быстро сообразили, что Копенгаген скрывает другие тайны, тоже достойные изучения.

У Акселя были большие связи. Мы с ним ходили на балы. Я скоро усвоил, что девушки, с которыми мы встречались на балах, неприкосновенны. Все они были чьими-то дочерьми. С ними нельзя было даже потанцевать, если ты предварительно не был внесен в их блокнотики. Человека, явившегося сюда чуть ли не с Северного полюса, это могло даже напугать. Но в конце концов ко всему привыкаешь.

Мне пришлось заново учиться танцевать. По мнению Акселя, я танцевал как слон. Мы украдкой упражнялись в коридорах Валькендорфа. Аксель тоже был тяжел и неповоротлив. Он утверждал, что в датских пасторских усадьбах не танцуют.

Мало кому из студентов приобретение знаний доставляло удовольствие. Им было важнее вырваться из дому, избавиться от школьной дисциплины или же просто шататься по королевской столице. Изящная словесность занимала только женщин, но никак не мужчин.

Мужчины изучали науки, слушали лекции и спорили о политике. Меня это удивило и разочаровало. Но я не подавал виду.

Тем не менее именно литература сделала нас с Акселем, так сказать, побратимами. Однажды вечером перед Новым годом я рассказал ему, как в грустном одиночестве встречал Рождество у вдовы Фредериксен на Бредгаде. Я тогда с большим трудом читал в оригинале «Госпожу Бовари» Флобера.

Мы с Акселем сидели в кафе, которое называлось «Аптека», и я пытался втолковать ему, что нашел у Флобера подтверждение всем своим мыслям. Аксель решил, будто я хочу выглядеть умней, чем есть, но отнесся к этому спокойно.

— Интеллигентные люди приходят на землю, чтобы убедиться в том, что все повторяется, и даже благословить этот порядок, — трагически произнес я.

— Не вижу в этом ничего особенного, — улыбнулся Аксель.

Я сделал вид, что не заметил намеренной насмешки в его словах, и продолжал развивать свою мысль. Он покорно слушал, не скрывая скуки.

— Повторяется все, не только такие само собой разумеющиеся вещи, как прием пищи, работа желудка, движение конечностей; люди влюбляются, интригуют и тому подобное. Решительно все повторяется в этом вечном хороводе. И все имеет один-единственный конец. А именно бессмысленную смерть! — проговорил я, почти, не переводя дыхания.

Аксель вздохнул, пока я набирал в легкие воздух. И между прочим, дважды поправил мой датский язык.

— Конечно, я понимаю, что поэт хотел показать нам также и великую трагедию. Но все заслонила форма. Она чересчур плоская.

— Ты рассуждаешь как старик! И ты слишком буржуазен. Я читал, что французская буржуазия хотела посадить Флобера в тюрьму. — Он засмеялся.

— Я буржуазен? — с негодованием воскликнул я.

— Конечно, потому ты и сердишься. Ведь это всего лишь литературное произведение. Верно? Что в этом романе такого необычного?

— Он считается неприличным.

— Почему?

— Из-за образа Эммы Бовари, — нетерпеливо объяснил я и хотел снова углубиться в философию. Но Аксель этого не допустил.

— Объясни, что в ней представляется тебе неприличным? — с интересом попросил он.

— Ну-у... — Я замялся. — Это не так легко объяснить.

— Ты считаешь, что о таких женщинах, как Эмма, не стоит писать? — Аксель улыбнулся.

— Она заставила доктора, своего мужа, произвести операцию новым методом. Он с этим не справился. Для нас, будущих докторов, этот момент должен быть особенно важен. Между прочим, я мог бы сделать это гораздо лучше. Я имею в виду — написать книгу, — похвастался я.

— Напишешь, когда перестанешь быть красной девицей, — весело сказал он.

Я покраснел и замолчал. Невозможно было угадать заранее, что скажет этот пасторский сынок.

— Ты просто не читал этот роман.

— Да, не читал. И мне надоели твои словоизвержения. Давай лучше поговорим о Бодлере, — предложил Аксель.

— Это трудно, — признался я.

— Почему? После трех кружек пива ты всегда начинаешь читать его стихи!

— Это другое дело.

О Бодлере я не мог говорить ни с кем. Мне было стыдно, что его стихи производили на меня такое сильное впечатление. Действительно, я несколько раз читал их вслух. И потом раскаивался в этом. Для меня стихи Бодлера — чистая магия. Меня одинаково очаровывало и описание длинной похоронной процессии, и надежда поэта, которая поднимала свой

черный флаг над его склоненной головой.

— Самое лучшее в стихах Бодлера — это женщины, — сказал я, пытаюсь найти хоть что-то, что было бы интересно нам обоим. К тому же это была правда.

— Почему же?

— Они такие неистовые. Жестокие, буйные, опасные. В них есть что-то нечеловеческое.

— Ты хочешь сказать, что их можно взять с собой в постель и они избавят тебя от тоски по живой женщине? — спросил он.

— Не знаю.

— Не могу поверить, что тебя так интересует поэзия! Ты просто хочешь показать, что очень начитанный и умный. Хвастаешься, как все норвежцы! — Аксель захохотал.

Я возмутился и стал излагать свои соображения, почему стихи Бодлера так волнуют меня.

— Они тебя возбуждают? — Аксель оживился.

— Как сказать...

— Чтобы стихи Бодлера могли возбуждать! Ведь он пишет только о змеях и смерти! Верно? И что же ты испытываешь?

— У меня появляется желание что-нибудь предпринять...

— Это касается женщин? Или...

— Вообще! Что-нибудь совершить.

— Господи Боже мой! — простонал он.

Я определенно произвел на него впечатление. Ему все-таки удалось выманить меня из моей раковины.

— Я знал когда-то одну женщину... — начал я.

— И что же? — Аксель облизнул губы и затаил дыхание.

— Ее звали Андреа... Она была такая... Она приходила ко мне по ночам...

— Не может быть! Когда это было?

— Давно, — уклончиво ответил я.

Он долго смотрел на меня, и я опять покраснел.

— Смелей! И что же дальше?

— Она ложилась со мной, ласкала меня и... — И что?

— Делала все остальное... Все.

Рассказывая о жене кожевника и его кожаном фаллосе и наблюдая в то же время за лицом Акселя, я вдруг усомнился в достоверности этой истории. Может, я все это выдумал? Увидел во сне?

— Должно быть, она была извращенка? — Глаза у Акселя горели.

— Почему ты так думаешь?

— Трудно поверить, чтобы она... Нет! Хватит рассказывать сказки. Ты все это придумал, чтобы шокировать меня!

Я молча покачал головой.

— Ну и какая же она была? — спросил он через некоторое время.

— Ненасытная.

— Я понимаю, но в чем это выразалось?

— Подробностей я не помню.

— Лжешь! Помнишь! Просто стесняешься. Он натужно засмеялся.

— Это было ужасно! — неожиданно для себя сказал я, мне хотелось сказать совсем другое.

— Почему?

— Ее муж вышвырнул меня из дома.

— Я так же поступил бы на его месте! — сказал Аксель.

— Он плакал.

— Плакал? Фу!

— А я молился, чтобы он умер, — признался я.

— Нельзя желать смерти ближнего, — сказал Аксель.

— А я желал!

— Тебе так только казалось. И не пытайся внушить мне, будто ты такой храбрый. На самом деле ты трус. Черт бы тебя побрал, Вениамин! Неужели все действительно было так, как ты говоришь?

— Смотри, это должно остаться между нами!

— Само собой!

Аксель протянул мне свою ручищу.

Я чувствовал себя на гребне волны. Теперь у нас с Акселем была общая тайна. Может, это и называется великим словом «счастье»? Или это можно назвать как-то иначе?

Когда мы вышли на улицу, Аксель пошутил, что мы должны сейчас же отправиться в «переулки» к женщинам.

— Я знаю там одно надежное место, — сказал он.

Я вылупил на него глаза. Тогда он признался, что только слышал о нем. Но где это находится, он знает. Это место легко найти. Женщины там сидят в своих окнах, точно в витрине.

— Я их тоже видел! — храбро сказал я.

Двое в два раза храбрее одного. Мы пересчитали свои деньги и решили, что их должно хватить.

— Сколько это стоит? — спросил я.

— А черт его знает! Возьмем тех, что подешевле. Мы прямым ходом

направились на Хольменсгаде.

Именно там мы оба видели женщин, сидевших в окнах. Но, по-видимому, все они сейчас были заняты, потому что нам никто не открыл. Мы постучали в двери, на которые указал Аксель.

— Чистоплюи перекрестили эту улицу, — усмехнулся Аксель.

— А как она называлась раньше?

— Улькегаде. Или улица Морских Волков. Ее знали все моряки мира. В конце концов люди, жившие в «приличном» конце улицы, не выдержали. Но перемена названия ничего не изменила.

Мы, смеясь, шагали по грязи.

— Ладно, как бы она ни называлась, мы не можем ходить тут всю ночь, — сказал я.

Аксель был немного смущен — ведь он утверждал, будто ему здесь все известно.

— А кто говорил, что у него богатый опыт? — поддел он меня.

— Ну, когда это было! — засмеялся я.

— Не скромничай!

— Магстредде! Вот куда мы пойдём! — воскликнул я и потянул его за рукав.

— Ты с ума сошел! Там в борделях гостиные обиты плюшем и строгие хозяйки в цилиндрах. Это нам не по карману! — возразил Аксель.

— Вот и верь после этого людям, которые хвалятся своим знанием мира! — пробормотал я.

В конце концов мы оказались в переулке Педера Мадсена — тесном проходе, который вел на Грённегаде.

Эта узкая грязная дыра одним своим видом предупреждала об опасности. Во всяком случае, женщин. По обе стороны мостовой со сточными канавами, наполненными отбросами и нечистотами, вплотную друг к другу жались трех — и четырехэтажные дома.

Я вдруг вспомнил, как один из профессоров говорил нам на лекции, что статистика за пять лет показала: из восьмидесяти детей, родившихся на этой улице, только девятнадцать доживают до пяти лет.

Я не стал напоминать об этом Акселю. К чему? Хорошая память на цифры всегда была моим несчастьем. Однако я вздрогнул, и он решил, что я уже пожалел о нашей затее.

— Хочешь бежать?

— И не думаю!

Две или три женщины сидели у открытых окон и уже заметили нас. Отступить было поздно. Я глянул на Акселя и спросил, не лучше ли нам

разойтись поодиночке. Но он побоялся идти один. Зря я похвастался ему своим опытом! Я кашлянул и улыбнулся ближайшему видению в окне. Крупное, одутловатое лицо, волосы, искусно собранные в пучок на макушке. Широкое белое платье, украшенное кружевным воротничком и брошкой, — очевидно, женщина надевала его только для работы. Она была не толстая, но кости у нее не торчали. Мне она показалась достаточно привлекательной, чтобы заговорить с ней. Но лечь? Ни за что!

Аксель, по-видимому, был иного мнения. Или просто хотел покрасоваться. Он стряхнул с себя нерешительность, просунул голову к ней в окно и сказал:

— Неплохая погодка!

Она улыбнулась и встала. Женщина, сидевшая в окне на другой стороне улицы, махнула мне рукой. Она курила трубку и была не первой молодости. Впрочем, они обе были не первой молодости...

— Милости прошу в мою контору! — крикнула она через улицу.

Они начали из-за нас переругиваться. Это было их обычное занятие. Я попытался утащить Акселя оттуда. Но он словно прирос к месту, на лице у него играла глупая улыбка.

Дверь распахнулась, и на пороге показалась сама Мадам. На улице мгновенно воцарилась тишина.

— Заходите, пожалуйста, — пригласила она нас. — И не обращайтесь внимания на Йенни, это известная скандалистка. — Мадам кивнула в сторону Йенни, которая работала в другой «конторе».

Мы оказались в маленькой и очень темной прихожей. Но как бы то ни было, мы были вместе. Сердце громко стучало. Кадык душил меня, и я не знал, что сказать.

Мадам открыла дверь, и из небольшой гостиной, украшенной драпировками, бахромой и кистями, на нас упал зловещий желтый свет. Словно этого было мало, на нас, скаля зубы, начала прыгать крохотная уродливая собачонка. Пузатая и слюнявая.

— Он всегда радуется, когда к нам приходят гости, — объяснила Мадам.

Гостиная была забита мебелью. Комод с тремя вазами для цветов, подставка для трубок, неполная бутылка. Круглый стол, покрытый цветастой скатертью, четыре стакана. Позади стола стояла кушетка, на которой сидела полная женщина, державшая на коленях еще одну собачонку. У этой собачонки были явные признаки парши, но настроена она была миролюбиво. У стола сидели две сильно накрашенные женщины в широких светло-желтых платьях. Они кивали и приветливо улыбались,

словно сидели в ложе Королевского театра.

От керосиновой лампы, висящей под потолком, исходил желтый свет. Эта лампа была единственной красивой вещью во всей гостиной и напоминала лампу в столовой Рейнснеса. Опоры, на которых держались резервуар для керосина и абажур, были сделаны в виде стеблей, абажур был желтый. На ручке висели три пыльных розовых шерстяных помпона. Коричневато-табачную стену украшал портрет короля. Окон я не заметил. Пахло розовой водой и потом с примесью сырого лука. Перед женщинами стояли кружки с пивом и блюдо с зеленоватым печеньем.

Мы смущенно позволили посадить нас на стульях. Женщины и собаки теснились на кушетке. Акселю было нелегко засунуть под стол свои длинные ноги. Он сидел на краешке стула, откинувшись назад, и осторожно двигал ногами под столом.

Кто знал, что тут окажется так много женщин! Я поглядел на Аксея — он был невозмутим.

— Это Тильда, это Ольга, это Бирте. Рекомендую! — Мадам широко повела рукой. На ней тоже было просторное платье, но коричневатое и как будто не предназначенное для определенной работы. По лифу спиралью была уложена желтая тесьма. Когда Мадам двигалась, спирали на груди дрожали. От них трудно было оторвать взгляд. Лицо у нее было строгое. Почти красивое. Возраст неопределенный. Она напоминала просмоленное пиратское судно, пустившееся в опасное плавание.

Самой молодой из женщин было лет двадцать пять, может быть, меньше. Вид у нее был заурядный. Аксель смотрел только на нее, хотя она была далеко не красива.

Женщину с собачкой звали Бирте. Это был настоящий фрегат. Живот ее затрясся, когда она убрала со стола свои маленькие пухлые ручки и сложила их на коленях.

«Неужели тут этим занимаются у всех на глазах?» — подумал я.

Я заметил, что Аксель быстро трезвеет, и от этого почувствовал себя еще более одиноким.

Женщины выжидающе смотрели на нас. Я старался не встречаться с ними глазами. Наконец Мадам спросила:

— Не выпьют ли господа по стаканчику пива, прежде чем пройдут в кабинеты?

— Какая у вас плата? — кашлянув, спросил я. Она назвала цену и обратила наше внимание на то, что пиво подается бесплатно.

— С каждого? — спросил я, беря на себя бразды правления.

— С каждого! — Мадам закатила глаза к потолку.

— Столько у нас нет, — признался я. Мадам по очереди оглядела нас.

— У нас твердые цены, и мы берем только наличными, — решительно сказала она. Было видно, что она нам не верит.

— Мы вместе располагаем лишь половиной той суммы, которую вы назвали. — Я встал. Аксель тоже вскочил.

Он не учел длину своих ног. Женщины успели схватить стаканы с пивом и вазу на высокой ножке. Мы чувствовали себя оловянными солдатиками, уцелевшими на опасной войне.

Женщины переглянулись. Очевидно, они привыкли разговаривать глазами.

— Вы очень молоды, — мягко, по-кошачьи сказала Мадам.

— Ну-у, предположим, — протянул Аксель.

— Вы красивы, особенно тот, темненький, с такими дивными глазами. — Мадам говорила о нас как о собаках.

Толстуха на кушетке заколыхалась от смеха. Брошенный на нее взгляд Мадам был способен убить быка. Мгновенно воцарилась тишина. Женщины по очереди сделали по глотку пива. Это было похоже на ритуал. Мадам медленно раскурила трубку, внимательно разглядывая нас сквозь дым.

— Высокий не очень красив, но у него широкие плечи, — сказала она женщинам, сидевшим на кушетке.

— Не спорю, — миролюбиво согласилась толстуха.

— Но это ему не поможет! — Самая молодая захихикала, прикрывшись рукой.

У нее прыщи и плохие зубы, мстительно подумал я и повернулся, чтобы уйти.

— Пойдите, господа, — сказала Мадам.

По спине у меня побежали мурашки.

Мадам подошла к кушетке и о чем-то пошептала с толстухой, наконец она повернулась к нам и мягко спросила:

— Сколько у вас всего денег?

Мы с Акселем переглянулись, покраснев до корней волос. Потом достали из карманов все, что у нас было. Мы не успели выложить деньги на стол, как четыре головы склонились над ними и стали считать.

Наконец головы поднялись. Мадам сухо сказала:

— За такие деньги, мои юные друзья, кабинетов вам не видать. За эту цену можно получить женщину либо у городского вала, либо на кладбище.

Она милостиво кивнула нам. Потом пальцем поправила волосы.

— Я сама возьму их в кабинет, — сказала она остальным, точно мы

были глухие.

Толстуха хотела запротестовать, но раздумала. Двое других окаменели от изумления.

— Но, матушка, какой же вам смысл? — удивилась толстуха.

Мадам вздохнула.

— Нынче воскресенье. А в воскресенье принято делать добрые дела, — сказала она.

Отступить было поздно. Слишком поздно. Даже у Акселя лоб покрылся испариной. Нас препроводили в маленькую темную комнату, тоже без окон. Я подумал, что, если случится пожар, мы из огня земного окажемся прямо в адском, — бежать отсюда не было никакой возможности.

Я хорошо знаю, как может стучать сердце. В том числе и по собственному опыту. Но в ту минуту мое сердце затихло. Дышать я тоже не мог. Это была клиническая смерть.

В комнате было слишком темно, чтобы мы могли разглядеть опрятность кровати, стоявшей посередине. За черной ширмой угадывался умывальник. Мадам принесла с собой фонарь с зажженной свечой и поставила его на табуретку за ширмой.

— Прошу вас, располагайтесь! — Она кивнула на кровать.

Аксель толкнул меня в бок, но я не двинулся с места. Он с трудом выдавил из себя улыбку.

Я сел на край кровати и смотрел на ширму, за которой скрылась Мадам. Она налила в таз воды. Потом стянула с себя свою просмоленную обшивку со спиральями. Сквозь щели в ширме мелькнула ее кожа со множеством складок. Потом она медленно натянула на себя какой-то белый хитон. Аксель судорожно глотнул воздух у самого моего уха.

Остановить это было уже невозможно. Мадам вышла из-за ширмы, освещаемая сзади неярким светом, который позволял видеть сквозь легкую ткань ее бедра и ляжки. Они колыхались. Колыхались не только они, но и вся комната.

Потом она начала медленно раздевать Акселя, разговаривая с ним, словно с одной из своих собачонок.

Она сняла с нас всю одежду, начиная от пояса и ниже. Мы даже помогли ей. Я не смел взглянуть на Акселя. Если бы Аксель запротестовал, я поддержал бы его. Но он делал вид, что все идет как положено. Мне вообще казалось, что он двигается как во сне.

Кровать была слишком узка для троих. Мы чуть не потерпели кораблекрушение. Тогда Мадам сняла перину вместе с простыней и расстелила их на полу.

Она легла между нами и стала ласкать нас, словно мы были единым телом. Ее руки обращались с нами как руки Олине с тестом.

Я думал, что не выдержу первый. Но Аксель опередил меня.

Неожиданно Мадам повернулась к Акселю задом и задрала подол хитона, из-под которого показалась белая гора. Гора кокетливо покачивалась перед ошалевшим от неожиданности Акселем.

Трудясь надо мной, Мадам предлагала Акселю другую часть своего тела! Потом она вывалила из хитона свои груди.

— Давай, давай! — властно проговорила она, уронив на меня два кожаных бурдюка.

Кажется, я не молился. Хотя следовало бы. Помилуй, Боже, всех нас, бедных грешников!

Аксель постепенно нашел нужный ритм у нее за спиной. Наконец черт вырвался наружу! Аксель вцепился в Мадам, как хищник, и крепко прижал ее ко мне. На некоторое время я умер, задушенный ее огромными грудями.

Можно не вспоминать об этом каждый день. Но забыть этого я не смогу никогда!

Наконец Аксель упал. Его дыхание было похоже на пыхтение паровоза, пытавшегося сбавить скорость.

А вот со мной у Мадам ничего не получилось. Я чуть не плакал от стыда. Поняв, что со мной происходит, Аксель ушел за ширмы. Но это не помогло. Я снова был в доме кожевника. Был полон неукротимых сил в умелых руках фру Андреа. Но как только Мадам пыталась помочь мне, я опадал. И это повторялось бесконечно.

Наконец Мадам сдалась. Она погладила меня по бедру и сказала, желая утешить:

— Не надо огорчаться, ты красив и молод. Твое время еще придет. Поверь мне!

Такого стыда я не испытывал еще никогда.

Наконец мы оказались на улице. Я дрожал от холодного ветра.

— Сейчас хорошо бы выпить! — сказал Аксель.

— Нет, я иду домой!

— Какого черта! Ты не посмеешь оставить меня одного! Я первый раз прошел через это!

Мы нашли погребок, который был еще открыт, и забрались в самый темный угол. Там мы хотя бы почти не видели друг друга. Наверное, мы оба были похожи на огородные пугала. Я-то во всяком случае. Как-никак, а Аксель выдержал этот экзамен.

— Я верну тебе деньги, которые ты внес, — вдруг сказал он, глядя в

рюмку.

— Зачем? — буркнул я, тоже глядя в рюмку...

Впоследствии он ни разу не напомнил мне о моем унижении. Даже тогда, когда я пытался отбить у него Анну.

## ГЛАВА 2

Конечно, датчане не пощадили меня и выложили мне все, что они думают о Норвегии и норвежцах! Совсем недавно шведский король Карл встретился в Копенгагене с датским королем Фредериком VII и во имя святого скандинавского братства обещал игнорировать Германский союз.

Но фанфары и высокие слова оказались пустым звуком, и, когда дошло до дела, шведы и норвежцы самоустранились.

Я был новичок в этом мире. И потому всю вторую половину года меня мучил стыд оттого, что я норвежец. Несмотря на университет, пиво и Акселя. Как-никак, а Дания осталась одна-одинешенька перед двумя большими кровожадными армиями.

Я почти перестал говорить на родном языке. Пользовался короткими заученными датскими фразами и кивками, а в остальном помалкивал. Если же моя речь выдавала во мне норвежца, мне приходилось выслушивать о непостоянстве Карла XV: когда шведско-норвежское правительство поняло, что дело обстоит серьезно, оно даже не подумало о том, чтобы защитить братскую Данию.

В студенческой среде и в пивных рассказывали смачные истории и пели скабрзные песенки о любви королевы Виктории к Бисмарку. О многочисленных беременностях королевы и конкретно о тех, за которые англичане были ему обязаны. А также о трусливом Наполеоне III, который от страха пернуть не смел, не то что открыть пальбу по прусским позициям.

Купцы и мелочные торговцы по-прежнему читали «Адрессеависен», потому что в ней печаталось много объявлений. А все остальные читали о войне где только было возможно. По городу летали листовки. Кроме того, последние новости можно было узнать в пивных.

13 ноября датский ригсдаг принял новую Общую конституцию для Дании и Шлезвига. Немцы только этого и ждали. К тому же на носу была зима.

Люди говорили об этом по-своему:

— Придет Бисмарк с железом и кровью.

\* \* \*

— Карна? — воскликнул я, когда она сказала, как ее зовут. — Такого имени нет!

— А у меня есть! — мрачно ответила Карна.

Она сидела на телеге и держала за руку раненого лейтенанта. Даже до обочины, по которой шел я, долетал запах крови и нечистот.

Кого мне благодарить за встречу с Карной? Прусские и австрийские войска? В ночь на 1 февраля 1864 года они перешли через Айдер. Или, может, я должен благодарить Бисмарка? Этого циничного человека, стоявшего за оккупацией Шлезвига?

Уже в декабре студенты понимали, что на высшем уровне идет брожение. Но мы не могли представить себе всех последствий. В Копенгагене считали, что вал Даневирке способен удержать немцев.

Встречаясь в пивных, мы обсуждали военные действия за кружкой пива. Многие, не только я, агнец Божий из Нурланда, даже понятия не имели, что такое война. Этот самый страшный из всех видов героизма.

В детстве я часто пытался узнать, что происходит на войне, но никто мне этого не говорил. В пивных Копенгагена рассказывали истории о главнокомандующем генерале де Меза, который играл на клавикордах, ходил в халате и страдал несварением желудка в то время, как его армия мужественно гибла на полях сражений.

Бисмарка почти не знали. Мне было интересно, умеет ли он играть в шахматы. Может, вся жизнь была для него лишь одной шахматной партией?

\* \* \*

Тем временем датская армия оставила вал Даневирке и укрепилась на дюббельских позициях. Она отступала, словно свора воришек, не понимавших, что происходит, и потерявших всякую надежду на спасение. Те, кто вернулся в Копенгаген и был в состоянии говорить, рассказывали, как проводили дни и ночи почти без пищи, без теплой одежды, на морозе, под мокрым снегом, тогда как от австрийских костров за ними наблюдала смерть.

Некий ненавистный представитель правительства, который прибыл к ним, чтобы провести какую-то инспекцию, был в галошах и с зонтиком! Король бежал, а весь остальной Север сидел за своими ломящимися от снеди столами и, закрыв глаза, жалобно вздыхал:

— Это безумие! Какая жалость! Какая трагедия!

Я все слышал, но все-таки плохо понимал, что происходит. Вокруг рассказывали увлекательные истории. Улицы пестрели от сверкающих сапог, оружия и военных мундиров. Кое-кто говорил, что надо завербоваться в армию. В этом отношении у университета были славные традиции.

После одной студенческой сходки во дворе Регенсена, где пиво и песни помогли нам почувствовать себя героями в теплых рукавицах и студенческих фуражках, Аксель тоже хотел записаться в армию. Но у него была мать, она приехала и воспрепятствовала этому. У меня же матери не было.

Поскольку я был норвежец и к тому же студент-медик, меня послали на поле брани, но не сражаться, а подбирать там раненых и отправлять их в лазарет.

Сначала я воспринял это как унижение и насмешку. Но, побегав несколько дней по обгаренной кровью земле, понял, что мне повезло с назначением. Если только вообще можно говорить о везении применительно к тому ледяному аду.

Знай они, какое великолепное пушечное мясо представляет собой мое молодое тело, они дали бы мне оружие и послали на линию огня.

Но ведь и генералы тоже не верили в эту войну.

\* \* \*

Нас разместили в конюшне. Лошади дарили нам свое тепло. Старое сено тоже немного грело. Мы мылись, как могли, в бадье с водой, стоявшей во дворе, разбивая затянувший ее хрупкий ночной лед.

Новобранца, с которым я подбирал раненых и убитых, звали Паулем. С утра до вечера мы с ним были на ногах. Первым делом мы отправлялись к заснеженным домишкам с соломенными крышами и укреплению — это был форпост. Всего укреплений было десять. Мы одинаково ненавидели их все. От страха мы почти не разговаривали. Мороз щипал нам уши и проникал сквозь одежду. Хотя по спинам у нас бежал пот.

В разгар канонады нас на поле не посылали. Но после обстрела мы приходили туда первые. Когда канонада стихала, брали слово прусские гранаты.

Нас было трое — полевой фельдшер и мы с Паулем. Иногда фельдшер бывал так грязен, что его можно было принять за бродягу. Он перебежал от раненого к раненому со своим чемоданчиком, потом сел на телегу и несколько минут клевал носом. Один раз фельдшер упал и разбил себе лоб. Я перевязал его, как мог, а он ругал меня идиотом и недоучкой.

Я предложил привязать его к телеге, чтобы он мог там немного поспать. Но мои слова потонули в грохоте начавшейся канонады.

Наши солдаты промаршировали к укреплению. Потом мы видели, как они ползли и ковыляли назад. Наши солдаты. Они были уже мертвые. И те, что еще шли, тоже.

\* \* \*

Однажды кто-то сказал:

— Немецкие позиции находятся в четырехстах пятидесяти метрах от укреплений.

Ему никто не поверил. Так мы воевали. Так я встретил Карну.

\* \* \*

Когда пятнадцать тысяч пруссаков первый раз перешли через Альс, Господь сорвал их планы, настав снегопад и благословенную непогоду. Но они забросали нас снарядами. Прусские гранаты навсегда соединились у меня в памяти с проклятым солнечным днем, несшим нам смерть. С 9 апреля датская артиллерия не произвела больше ни одного выстрела.

Когда наш лазарет был переполнен, нам приказали размещать раненых в ближайших усадьбах и во временных лазаретах поблизости. Один из них был устроен в маленькой усадьбе возле церкви. Жалкие, испуганные, мы перевезли и перенесли с поля боя сотни раненых солдат.

Кошмары с русским, которые мучили меня когда-то, были оттеснены в моем сознании. Я механически исполнял все, что от меня требовалось.

Думать можно было потом. Например, о справедливости. Захотел бы я, скажем, поменять медицину на юриспруденцию? Какая глупость! Опыт, полученный мной под Дюббелем, научил меня, что справедливость смешна и бесполезна. Пусть медицина ограничивается лишь первой помощью, посвятить жизнь все-таки лучше ей.

Постоянной была только смерть. Но я боялся признаться себе в этом. Страх был вороним конем, который раз за разом сбрасывал меня на землю. Но я неизменно поднимался. Не смел не подняться.

Благодаря одному сну, который приснился мне в конюшне, где мы ночевали, я увидел Дину в новом свете. Если солдаты, присягнувшие Пруссии и Австрии, могли убивать и калечить сотни датчан, потому что тех послали защищать свою землю, почему Дина не могла пустить пулю в лоб одному-единственному человеку, который пересек ее путь?

Я находил утешение в этой мысли. Мне было приятно увидеть Дину с этой точки зрения. Русский был сильно изуродован, потому что она стреляла с близкого расстояния, но смерть его была легкой. Мгновенной и легкой! Однажды вместо русского я увидел в ночном кошмаре Дину. Она скакала верхом, на ней был военный мундир. Быстро и безболезненно Дина убивала подряд всех прусских и австрийских солдат. Из охотничьего ружья! Уверенно и решительно она гнала генералов за линию фронта.

Гонялась за золотыми эполетами и аксельбантами, словно это были модные шляпы. Ее сопровождал герольд, который подбирал с поля брани, где сражалось тщеславие, мужские украшения в виде медалей и знаков отличий.

Я проснулся на своей походной койке и понял, что вовсе не воинственная Дина превратила мой сон в кошмар. И не орда безымянных солдат у нее за спиной. Мучительней всего была моя роль в этом сне. Ведь я и был тем перепуганным герольдом, что копался среди трупов коней и солдат. И тащил в рюкзаке на спине все эти ордена и медали.

Я чувствовал, себя старым как мир.

\* \* \*

Полевой лазарет былместилищем крови, боли и страданий. Оторванных конечностей, гангрены и изуродованных лиц. И, конечно, смерти. Если на поле боя человек бессилен, если он потерял веру, что эту войну можно выиграть, то в госпитале он мог хотя бы дать выход своей боли и отчаянию.

Я всегда не выносил, когда меня унижали. В Дюббеле же я научился терпеть унижение. Более того, я испытывал тройное унижение. Мои соотечественники трусливо ушли в кусты, оставив датчан в одиночестве вести эту безнадежную войну. Дина пряталась где-то в стане врагов, и я не знал где. И наконец, люди, которым я отдавал свои силы и жизнь, откровенно презирали меня, стоило мне открыть рот. Если только их раны позволяли им это презрение выразить. Они терпели меня, пока были бессильны. Но лишь только к ним возвращалось хотя бы немного сил, они с ненавистью выкладывали мне все, что думали о норвежцах.

Почему я оставался там? Но ведь я же завербовался! Подписал какие-то бумаги! Наверное, я просто не понимал разницы между страхом и гневом. Должно быть, они слились во мне воедино. Одна из женщин, работавших в усадьбе, где мы разбили свой лазарет, называла меня «наш добрый норвежец».

Я даже не стал спрашивать, что она имела в виду.

\* \* \*

Женщины в усадьбе работали круглые сутки, они готовили пищу, ухаживали за ранеными и за нами.

Я нуждался кое в чем помимо крови и страха. Поэтому я поглядывал на женщин. Ловил их запах. Старался держаться к ним поближе. Они представлялись мне костром на привале, о котором я мечтал, бегая по

замерзшей земле. Это помогало мне держать на расстоянии все остальное. Пушки. Пожары. Истерзанные человеческие тела.

Каждый, кто возвращался домой с поля боя и был еще относительно цел, думал так же, как я. Люди курили, лапали девушек, пили и спали. Иногда они пели. У одного была с собой старая шарманка.

Женщины были как музыка. Их близость пугала. Проникала под кожу. И вместе с тем они были слишком недостижимы, чтобы толкнуть на неосторожный поступок или растрогать. Они были не живыми существами, а мимолетным состоянием души. Ведь они почти тут же покидали комнату.

А вот книги и мечты, напротив, всегда были со мной. Даже здесь. В аду.

Не знаю, мечтал ли я о чем-нибудь с тех пор, как убил Карну.

\* \* \*

Первый солдат, который умер в лазарете у меня на глазах, звал маму. Потом я узнал, что мужчины, умирая, часто зовут маму.

Правую руку и плечо у него разнесло снарядом. К серому лицу прилипли светлые пряди волос. Живыми у него были только налитые кровью глаза.

— Мама! Мама! — громко стонал он, цепляясь за Карну уцелевшей рукой. — Не уходи! Останься! Мама, не гаси свет! Не уходи! — молил мальчишеский голос.

Карна Донс покачивала его в объятиях и что-то шептала на ухо.

Она была работницей в этой усадьбе. До того, как мы пришли сюда. До Бисмарка. Моя ровесница. Работящая. Ловкая. Густые, как грива у лошади, волосы. Бледное серьезное лицо. Увидев, как она помогает нести раненого по лестнице и укладывает его на походной койке, я понял, что она очень сильная.

Было что-то неповторимое в том, как она прижимала к себе беднягу и покачивала его в своих объятиях. Красные, распухшие от тяжелой работы руки. Когда она обращалась ко мне, глаза ее всегда смотрели куда-то вверх моей головы.

Неожиданно во мне вспыхнуло желание овладеть Карной. Это противоречило всякому здравому смыслу. Но она пленила меня, когда я увидел, как она баюкает в объятиях смерть.

Синий измятый фартук свидетельствовал о нелегких ночных дежурствах. Закатанные рукава обнажали по-зимнему бледную кожу и ямочки на локтях. Сильные распухшие пальцы колдовали над несчастным,

лежавшим на койке. Зловоние смерти смешивалось с запахом живого тела. Все это и разбудило во мне страсть.

Я знал, что стою у койки и жду, когда раненый умрет и наступит моя очередь претендовать на внимание Карны. Я мечтал овладеть ею.

\* \* \*

Теперь я думал только о теле Карны. Через два часа, когда мы уже вынесли труп из дома, я подстерег ее. Она шла в чулан, где у нас была устроена кладовая, чтобы взять там бинты и простыни.

Я шмыгнул следом за ней и закрыл дверь. Потом прижал ее к полкам и дал волю рукам. Не знаю, почему я вел себя так глупо. Я мог бы пустить в ход хитрость, прибегнуть к обольщению и, возможно, добился бы того, чего хотел.

Она даже не вскрикнула. Только уперлась коленом мне в пах, и я сразу же отпустил ее.

\* \* \*

Тем же вечером, когда мы ужинали на тесной кухне, я поймал на себе ее взгляд. Мы сидели друг против друга. Неожиданно у меня все поплыло перед глазами, и я выбежал во двор. Меня вырвало. Это была погибель и одержимость.

Жалкий и дрожащий, я вернулся на кухню. Карна дружески кивнула мне. Как будто давно привыкла, что все мужчины, и умирающие и еще живые, так или иначе посягают на нее.

Она превратилась в металлический привкус во рту и вечно тлеющее желание. Она никому не насплетничала обо мне. Это я бы заметил. Так что случай в чулане не обернулся для меня позором. Впрочем, позор был бы обоюдный. И Карна это понимала.

Я снова ездил с Паулем на телеге с дрожавшей от страха лошадью. Все плыло в едких испарениях и запахе страданий. И центром всего была Карна! Я привозил к ней телегу, груженную телами. Вносил их в помещение. И она баюкала их в объятиях, пока они звали маму и умирали.

Уже на другой день наши глаза встретились над стонущим, разорванным телом. Я больше ничего не предпринимал. Я ждал.

В нашем лазарете все умирающие жаждали умереть у нас на руках. Мы с Карной оказались зависимыми друг от друга. Наши руки искали друг друга, поднимая раненого солдата. Мы касались друг друга, когда могли. Но я старался держаться подальше от чулана, когда там была Карна.

Я ждал.

\* \* \*

До нас доходили слухи о студенческих беспорядках. О том, что студенты плевали вслед королевской семье. Я был избавлен от участия в беспорядках. Мои дни и ночи принадлежали Дюббелю. Я ждал Карну, а датская армия молилась, чтобы наши укрепления выдержали, как они выдержали во время трехлетней войны.

Но эта молитва не была услышана. Кровь лилась рекой. Ее было столько, что дезертирство и бунты стали обычным явлением. Дезертиры тоже попадали к нам, они были похожи на испуганных детей, сошедших с ума от шока и страха смерти. Иногда они сами наносили себе увечья, чтобы вырваться отсюда.

\* \* \*

Когда пруссаки 18 апреля начали штурм Дюббеля, у меня не было дежурства. Пока грохотали пушки и пожар за пожаром опалял небо и землю, Карна дожидалась меня у ворот. И увела на зады, в свою комнатку.

Карна Донс.

На двери был крючок, в углу стояла узкая кровать, над которой висела глянцевая картинка, изображавшая архангела Гавриила с факелом в руке и нимбом вокруг головы.

Карна оказалась вовсе не такой ловкой, как я думал. И груди у нее тоже были не такие большие, как я представлял себе. Но это были теплые холмики в мире вечного холода. По светлой коже, словно сигналы, бежали жилки, где бы я к ней ни прикоснулся.

Карна была полна соков, как земля влаги. Точно она копила их с того дня, когда я хотел овладеть ею в чулане.

Мы оба молчали. Время от времени мы поднимали головы и ждали, когда замолчат пушки. И снова пробовали найти друг друга. И все время мне казалось, будто меня запихнули в какой-то мешок вместе с фру Андреа и кожаным фаллосом ее мужа.

И все-таки я овладел Карной! Не знаю, доставила ли ей удовольствие наша близость. Но она отнеслась к этому разумно. Так же разумно относилась она и к смерти.

Потом мы ели картошку с селедкой и пили дешевую водку. Я был смущен, и мне хотелось узнать, что она чувствовала. Но спросить я не решился.

Когда бутылка почти опустела, я расплакался как маленький мальчик. Я

плакал и, заикаясь, бормотал что-то о смерти и войне. Она кивала. Глаза у нее были сухие и добрые. Я мог бы полюбить ее только за то, как она отнеслась к моим слезам. Но нелюбил. Она просто стала тяжестью в моем теле. Приятная это была тяжесть или неприятная, я не знал. Но она стала частицей меня самого. Частицей моей совести и моего горя. Правда, тогда я еще не подозревал об этом.

\* \* \*

Не знаю, чего я ждал, когда увидел воочию безумство войны, когда бежал по полю боя, задыхаясь от отчаяния. Знаю только, что это окончательно излечило меня от русского.

Уже в тот день, когда Карна стала частицей меня, мы с Паулем бежали через кладбище возле дюббельской церкви, таща на носилках человека, в которого угодил снаряд. У него не было носа, и зубы, как дешевые бусы, висели изо рта. Все было красным от крови. Он даже не звал маму.

А вот я, напротив, орал так, что насмерть перепугал бедного Пауля. Или его больше испугала близость вражеских пушек? Во всяком случае, я кричал человеку, у которого не было лица:

— Не бойся, все будет хорошо! Лежи тихо! Мама скоро придет! Уже совсем скоро!

Кованые чугунные ворота разоренного кладбища были открыты и пронзительно скрипели. Казалось, будто во всем мире только ровные ряды заснеженных могил еще сохраняли какой-то порядок. На каменной изгороди лежал мирный снежный покров, и на крыше маленького домика у колодца блестели сосульки. Голые деревья вокруг церкви тянули корявые руки к красному небу, дрожащему от канонады и криков на поле боя.

Я перекашивался в своей пустой голове, словно какой-то ненужный обломок. И одна мысль билась во мне среди всего этого ужаса: «Дина, помоги мне не лишиться рассудка! Пристрели этого человека! Помоги ему умереть легко и быстро! Пожалуйста, помоги!»

Мы бежали по замерзшей траве и гравиию. Кровь раненого солдата и мои мысли обгоняли друг друга. И земля под нашими ногами впитывала и то и другое.

Потом уже, когда я вернулся к действительности, я видел только зимний ландшафт, а не людей. Не замечал последствий шестичасового артиллерийского обстрела, на который датчане не ответили. Не видел дикого страха в глазах людей, встретившихся нам на дороге. Не различал порохового дыма над превосходящими силами пруссаков, которые теперь были ближе к укреплениям, чем наши войска. Не слышал яростных криков

команды и стонов. Ничего этого я не слышал и не видел, но мой рассудок знал, что они окружали меня со всех сторон.

Я видел только тихий зимний ландшафт и людей, причудливо круживших друг перед другом. И красный снег. И заледеневшие черные воронки от взрывов снарядов.

18 апреля Дания потеряла пять тысяч солдат. Из всех, кого я нес на своих носилках, мне больше всего запомнился человек без лица. Он и тот несчастный, что умер в объятиях Карны, прогнали русского прочь.

Зато Карна осталась.

Однажды мы с Карной латали маленькую цыганочку, которую тоже не пощадила война. У нее были глаза Ханны. Меня охватила слабость. Но только на мгновение. Я тут же пошел дальше. К следующей койке.

На другой день цыганочка и ее семья исчезли. Их называли людьми ночи.

Я думал о том, что мне следует попробовать спастись и уехать в Рейнснес. Пока был жив Бисмарк, врачи здесь не требовались.

Но я не уехал.

\* \* \*

Когда я вернулся в Копенгаген, меня ждало письмо от Андерса. Он объяснял, почему прислал мне на жизнь меньше денег, чем хотел бы. Ему пришлось взять заем. Рыбы в море почти не было, а новая шхуна обошлась слишком дорого. В конце письма он сообщал, что Ханна вышла замуж и переехала жить на Лофотены.

Наступило лето. Я иногда останавливался и думал: сейчас в Рейнснесе лето! И видел солнце, которое опускается на острова, но так и не исчезает в море. Где бы я ни был, меня преследовал острый запах нагретых солнцем водорослей.

Но мне почти не было грустно, что время движется вперед без меня. Я даже плохо помнил лицо Ханны.

Рейнснес был лишь усадьбой, о которой я читал в книге.

\* \* \*

Когда в конце июня состоялась Лондонская конференция и было заключено перемирие, у меня появилась детская надежда, что Дина, где бы она сейчас ни находилась, пришлет мне письмо или телеграмму: приезжай! Мы вместе поедем в Рейнснес!

Но она этого не сделала.

Потом пруссаки захватили Альс, и унижительный мир стал фактом. 30

октября Шлезвиг и Гольштейн одним росчерком пера были переданы под управление прусского короля и австрийского императора.

Я решил, что больше никогда не произнесу ни слова по-норвежски. И никогда не ступлю ногой на шведскую землю.

Копенгаген впал в оцепенение. Одни думали о своих сбережениях в банке и ренте, другие собирали продовольствие и бежали из города. Поздней осенью Аксель обратил внимание на то, что я сделал большие успехи в датском. Но иначе и быть не могло. Ведь я сдал отечество на хранение и должен был изучать медицину.

\* \* \*

Я решительно не мог предвидеть, что вернусь в Копенгаген в качестве героя только потому, что подбирал раненых под Дюббелем. Так создаются мифы о мужестве.

И уж совсем не мог предвидеть, что Карна тоже приедет в Копенгаген. Тело ее в Копенгагене оказалось совсем не таким, каким оно было под Дюббелем. Я это чувствовал, но объяснить не мог.

Очевидно, то, что в студенческой среде меня считали героем, не прошло для меня безнаказанно. Однажды я напился и крикнул Акселю и другим собутыльникам:

— Кто из вас знает убийцу?

Убийцу не знал никто. Они решили, что я потерял рассудок. Я разозлился и заорал, ударив кулаком по столу:

— Куда, черт подери, она спряталась, эта убийца? Кто скажет?

Ни один из них даже бровью не повел.

— Он стал таким после встречи с пруссаками, — пробормотал Аксель и велел мне заткнуться.

Двое студентов подхватили меня под руки и отвели к вдове Фредериксен на Бредгаде.

Конечно, я знал, что убийцам, и мужчинам и женщинам, место на каторге и в тюрьме. Одно время я даже работал на каторге. Там я познакомился с двумя убийцами. Но это знакомство ничего мне не объяснило. Только спутало все мои представления. Убийцы выглядели такими невинными. Такими униженными. Жалкими. Иногда они вдруг грубили и становились несносными, как дети, которых никто не любит. Они не были похожи на Дину. У Дины и глаза, и мысли были острее бритвы.

## ГЛАВА 3

Однажды мы с Акселем и еще одним студентом закатали пирушку на всю ночь. Студента звали Клаус. Мы выдержали экзамен на мужество, и нам захотелось это отпраздновать. Несколько часов подряд мы препарировали труп. Наша задача состояла в том, чтобы удалить из него все внутренние органы, набить его старыми газетами и снова зашить. После этого нас мучила жажда, мы были возбуждены и чувствовали себя героями оттого, что знали о людях все.

У покойника, человека известного и уважаемого, мы обнаружили все признаки запущенного сифилиса.

— Тс-с! — шикнул Аксель, когда Клаус заговорил о покойнике.

— Я же не называю фамилии, — успокоил его Клаус.

— Если мы сообщим о твоей болтовне главному врачу, у тебя будут неприятности.

— Кто бы подумал, что даже такие люди посещают «переулки»!

— Теперь ты это знаешь и успокойся, — сказал я, пытаюсь подавить тошноту. Меня после вскрытия тошнило весь день.

— Бедняга! Ведь он был духовным лицом! — не унимался Клаус.

— Замолчи! И смотри, чтобы тебя никто не услышал. А то жалеть придется уже тебя! — Аксель поглядел по сторонам.

Клаус заговорил о том, что многим ныне покойным ученым не хватало ни нравственности, ни культуры.

— Но чтобы и духовные люди посещали «переулки», это уже ни в какие ворота не лезет! — воскликнул он, не желая сдаваться.

Мы с Акселем переглянулись.

— А ты сам никогда там не был? — вдруг спросил я.

— Где?

— У проституток.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я только спросил.

— Приличные люди не ходят в такие места, — смущенно сказал он.

— Но где-то мужчины все-таки приобретают опыт! — Я нарочно провоцировал его.

— Фу! — Он поглядел на Аксея в поисках помощи.

— Да-да, именно так! — Аксель явно не желал помогать ему.

Клаус не был нашим единомышленником, и у меня возникло желание помучить его.

Но Аксель перевел разговор на другую тему и начал рассказывать о городе, где прошло его детство, о двойной морали буржуазии и о своем отце, который каждое воскресенье в церкви отпускал всем грехи. В общем-то он говорил о том же, но более невинно. Акселю следовало стать дипломатом.

При этом он, словно ручной волк или большая собака, одним махом проглотил целый бутерброд и сырое яйцо. Ему удалось запихнуть это себе в глотку, не запачкав бороды. Потом он захлопнул рот и начал энергично жевать.

Строгое воспитание, которое он получил дома, не позволяло ему разговаривать с нами во время этих действий. Он держал рот закрытым. Но сам был точно в трансе. Он дрожал, как от холода, и судорожно подергивался. Сперва у него дергалась голова, а потом эти движения передались всему его крупному туловищу. Когда пища опустилась куда следовало, он сделал большой глоток пива. Точнее, одним глотком ополовинил кружку.

И продолжал рассказывать забавные истории о любовниках супруги судьи, даже не обратив внимания на то, что, пока он жевал, мы с Клаусом восстановили дружеские отношения. И начали обсуждать возможность получить места ординаторов в одной из клиник, когда мы кончим учиться.

Тогда-то я и увидел Сесиль — она вошла в залу, чтобы налить пива. Сесиль наклонилась над стойкой, и в вырезе платья стала видна впадинка между грудями. Пораженная манерой Акселя поглощать пищу, она не замечала, что пиво льется уже через край.

В конце концов мне стало жаль пива, и я прикоснулся к ее руке. Она была ледяная от темного пива. Сесиль подняла на меня глаза. И я тут же понял, что в мою жизнь вошло нечто необычное.

Сесиль, как лихорадка, завладела мной. Я перестал ходить к Карне на Стуре Страндстреле. Даже война и та куда-то отодвинулась.

После первой же нашей встречи в ее постели — пока жившая с ней подруга была на работе — Сесиль твердо решила стать докторшей в Рейнснесе.

Я отнесся к этому скептически, но Сесиль была женщина практичная и домовитая. Она подавала мне пиво, стирала мое белье и приглашала меня к себе в постель, когда ее подруги не было дома. Она же и бранила меня, если ей казалось, что я веду себя неподобающим образом.

Когда мы ссорились, что случалось довольно часто, она перед той же подругой выставила меня дураком. Она вообще любила играть на публику. Поэтому наши ссоры ни для кого не оставались секретом. Это

доводило меня до бешенства. Несколько раз я даже поколотил ее, когда мы были наедине. И довольно сильно. Но она только смотрела на меня горящими глазами и терпела. Правда, я всегда успевал отпустить ее, прежде чем она в меня плюнет. Найти разумную причину наших ссор было бы невозможно. Ссора, как извержение вулкана, зрела где-то в глубинах, о существовании которых мы не догадывались. Потом она с силой вырывалась наружу и наконец затихала.

Не знаю, чувствовала ли Сесиль, как я, что вокруг нас застывает лава. И с каждым разом ее слой становится все толще и толще.

Приемы, которые мы применяли во время наших драк, были неизвестны даже Акселю. Я кое-чему научился, общаясь с Ханной. Длинные волосы Сесиль были ее слабым местом. Я вцеплялся в них и не отпускал, пока она не признавала себя побежденной. Но обычно, когда я уже торжествовал победу, ей удавалось локтем или коленом угодить мне в самое уязвимое место. Было ясно, что и ей тоже известны кое-какие приемы. Однажды она так нажала мне большим пальцем на глаз, что я потом несколько дней плохо видел.

Мало того, мне же пришлось утешать ее, когда она сокрушалась, что едва не ослепила меня. Со временем я понял, что на внешнюю сторону наших отношений с Сесиль я трачу столько сил, что ни на что другое их уже не остается.

Аксель настойчиво предлагал мне завести любовницу из другого сословия.

— С женщинами не дерутся! — отечески поучал он меня, когда однажды мы с ним были вынуждены бежать из трактира, потому что нам почудилось, будто Сесиль со своей подружкой подмешали нам в пиво мышьяк. — Найди себе возлюбленную вроде Анны! — сказал он.

У меня не было сил спорить. Был ранний вечер. Моросил дождь. Жизнь казалась мне беспросветной. Я, конечно, мог бы спросить у него, получил ли он сам от Анны то, чего хотел. Анна не очень интересовала меня. Красивая профессорская дочка, из тех, которых можно встретить лишь на балах, в Тиволи или в кафе «Аламбра». А то и в Королевском театре.

С тех пор как Андерс начал экономить деньги, у меня не было средств на такие развлечения. Да и терпением я тоже не мог похвастаться.

— Попридержи язык, буржуазный прихвостень! — только и сказал я ему.

— Я не намерен с тобой ссориться. Ты так глуп, что даже поссориться по-настоящему и то не можешь! — бросил он мне.

\* \* \*

Нас с Сесиль спас сержант королевской армии со свежим шрамом на лбу. Женщины обожают шрамы. И раненых мужчин. Объяснить это невозможно, но это так.

Сержант не был виноват в нашем разрыве. Собственно, этот разрыв произошел за несколько недель до его появления в нашей жизни. В тот день, когда у меня при Сесиль выпало из кармана письмо Андерса.

Первый раз письмо Андерса содержало просьбу. Она была высказана несколько высокопарным, старомодным языком человека, не привыкшего выражать свои мысли на бумаге. Он бы очень хотел, чтобы я по окончании занятий вернулся домой. Или хотя бы сделал перерыв в занятиях. Между строк читалась его тревога за Рейнснес. Я был нужен дома.

Объяснить Сесиль смысл этого письма я был не в силах. Мне было стыдно. Я понял, что уже почти четыре года живу в Копенгагене только благодаря усилиям Андерса. А теперь он опасается, что, вернувшись домой, я окажусь ни на что не годным. Как Юхан.

Пока Сесиль щебетала, как замечательно мы заживем в Норвегии, я попытался спрятать письмо Андерса.

Мне было невыносимо думать, что всю оставшуюся жизнь я буду в Нурланде вскрывать нарывы на пальцах и выписывать рецепты на пилюли и порошки. Но объяснить этого Сесиль я не мог. Она хотела вырвать у меня письмо. Я в раздражении оттолкнул ее.

Сесиль оскорбилась, обиделась и наконец заявила, что у меня есть от нее тайны.

— Это письмо от моего отчима. — Я был расстроен.

— Тогда почему я не могу прочитать его?

— Потому что оно адресовано мне! — холодно сказал я и понял, что вычеркнул Сесиль из своей жизни.

Не знаю, поняла ли это она. Во всяком случае, она изменила тактику. Начала спрашивать меня о Рейнснесе, о его людях, о местности, о судах, о море.

Сперва я был польщен тем, что она замерла у моих ног, пока я разливался соловьем, рассказывая занимательные истории об интересных местах и легендарных людях. Я был наверху блаженства и чувствовал себя школьником, которого спросили о том, что он знает.

Потом Сесиль начала спрашивать о Дине. Сначала осторожно. Потому что раньше никогда не получала исчерпывающих ответов на свои вопросы. Однако теперь, когда я так разошелся, она осмелела и проявила

настойчивость:

— А какая она, твоя мать?

— Она живет за границей. Я тебе уже говорил... Я не видел ее много лет.

— Почему? Вы поссорились?

— Вовсе нет. Я ведь тоже живу не дома.

— Почему ты не хочешь рассказать мне о ней? Разве мы не любим друг друга? Разве я не самый близкий тебе человек в этом ужасном мире?

Такие слова крайне раздражали меня. Люди не должны быть друг другу ближе, чем это необходимо каждому из них. Я не переносил, когда мне задавали сразу много вопросов. У нас в Тромсё был один учитель, который имел обыкновение задавать столько вопросов, что отвечать ему было бессмысленно.

Я очень старался удовлетворить любопытство Сесиль так, чтобы между нами не вспыхнула драка, и вдруг остро почувствовал, что она мне смертельно надоела.

— Почему ты не хочешь говорить о своей матери? — не унималась Сесиль.

Вместо ответа я бросился на нее и овладел ею, искусав ей грудь. Но ее лоно не могло затмить картины, которые проходили у меня перед глазами. Я видел, как Дина моется за ширмой. Видел ее тень и слышал ее запах. Страшным видением мелькнула простреленная голова русского. И голова солдата, которого баюкала в объятиях Карна. Эти видения двигались в том же ритме, что и тело, лежащее подо мной. Наконец из русского и из солдата толчками вылилась вся кровь. И мы с Сесиль замерли, склеенные ею.

Но я ничего не сказал Сесиль. Мысленно я уже простился с нею. Она была не та женщина, которой можно было доверить свою душу, не рискуя, что она не будет разбита.

Однако некоторое время мы все-таки еще дрались с ней. Пока не появился сержант. Не помню, чтобы его появление огорчило меня. Но мне он не нравился.

\* \* \*

Споры, попойки, смех, трубки. Все это внушало мне чувство причастности к некоему братству. Удерживало на расстоянии непонятную, тлеющую во мне тоску.

Освободившись наконец от Сесиль, я вдруг отчетливо увидел Рейнснес. Птицу над головой. Одинокий стебелек на грядке. Листья, которые

поворачивались изнанкой к ветру. Дождь! Запах пыли, книг и лаванды.

\* \* \*

Студенты горячо спорили о выпадах Кьеркегора против официального христианства. О его утверждении, что лишь мученик-одиночка представляет собой ценность. Кьеркегор подтвердил эту мысль собственным примером: работая как одержимый, изнуренный работой, он однажды упал и умер прямо на улице. И хотя это случилось в ноябре 1855 года, Кьеркегор еще волновал умы студентов.

Кое-кто не мог простить Кьеркегору его нападок на Грундтвига. Их привлекал тезис Грундтвига: сначала человек, потом христианин, таким должен быть порядок жизни.

Бурный энтузиазм, с которым люди безоговорочно принимали или столь же безоговорочно отвергали чьи-либо высказывания, всегда немного смущал меня. Я часто находил у великих мыслителей кое-что не казавшееся мне безусловным. Поэтому мне представлялось более плодотворным искать истину в споре, нежели только восхищаться или только отвергать. Я был не в состоянии сделать выбор между Грундтвигом и Кьеркегором.

По наивности я сперва полагал, что все говорящие о них со знанием дела встречались с ними, были знакомы. Однако со временем выяснилось, что они их и в глаза не видели и знают лишь понаслышке. Были и такие, которые только делали вид, будто читали их произведения. И всегда спорящие стремились разоблачить друг друга.

Поначалу меня привлекали эти споры. Они словно подтверждали теорию матушки Карен о том, что слова могут обманывать или, в лучшем случае, представлять все в несколько измененном виде. Она считала, что опасно любить книги, не вдумываясь в их содержание. Нет никаких оснований считать, что одна мудрость исключает другую. Ведь жизнь, как землю, нельзя точно разбить на участки, лесные или пахотные. Нельзя определить, сколько рыбы можно добывать в море. Или отстаивать свою веру и сомнения до того, как жизнь подвергнет их испытанию. Любовь к ближнему и тезисы об этой любви не имеют между собой ничего общего.

Несколько раз я посещал коллегия Борка и слушал лектора, о котором все кругом говорили. Его звали Георг Брандес [\[12\]](#). Думаю, я умею лучше слушать, чем спорить. Слушая изящные аргументы в пользу Грундтвига, я думал, что из этих двух мыслителей Кьеркегор более трезвый и интересный. У него лучше работала голова. Но поскольку я изучал медицину, меня всегда сдерживало то, что я не мог наблюдать их мозговую

деятельность, так сказать, изнутри. Впрочем, если б и мог, у меня еще не было достаточно знаний, чтобы объяснить увиденное.

Я взвешивал все «за» и «против» как человек, делающий выбор между сочным бифштексом, за которым следует десерт, и пустым луковым супом, но зато с бокалом хорошего вина. Выбор зависел от обстоятельств и состояния выбирающего.

Если кто-то приводил убедительные аргументы в пользу Кьеркегора и его сатиры, я всегда начинал защищать Грундтвига, который, на мой взгляд, обладал более высокими человеческими достоинствами и вел более праведный образ жизни.

Я проштудировал исследования, статьи и выступления их обоих, но так и не сделал никакого определенного вывода. Я был и остался нейтральным и считал, что они оба могут мне пригодиться. Правда, не совсем понимал, для чего именно.

Но были и такие темы, на которые я любил спорить. Одна из них — чувство вины, и я часто заводил споры на эту тему. Как правило, они кончались тем, что мы углублялись в философию религии.

Другая тема была — женщины. Говорить о женщинах было трудно, потому что студенты любили прихвастнуть и скрывали правду.

Мы с Акселем знали друг о друге все. Но Аксель не спорил на такие темы. Он предпочитал действовать. И уклонялся от разговора.

Я же каждую встречную женщину воспринимал как материализовавшийся дар неба, посланный для того, чтобы обогатить мою фантазию. Я далеко не всегда мечтал обладать какой-то конкретной женщиной. Вовсе нет! Я знал свои возможности. Но мечты мои охватывали и этих женщин. Лучших из них я хранил в своем собрании и извлекал оттуда, когда хотел. Их было немало. Я делил их по цвету волос, полноте и возрасту. В любую минуту я мог вызвать в памяти образ любой из них. Иногда я видел их так явственно, что, если бы они в ту минуту вошли ко мне, я не заметил бы разницы между живой и воображаемой женщиной. Однако чаще они были скрыты неким флером, явно их приукрашавшим. Бывало, что они представлялись мне в непристойном виде. Или же были невинно девственны и пассивны. Все зависело от моего желания.

Иногда я пытался рассказать Акселю о своей коллекции, но он отмахивался от меня.

— Но, Аксель, женщины ко всему относятся иначе! Они совсем не такие, как мужчины! Они способны проникнуть в мысли мужчины, даже если он этого не хочет!

— Нельзя все объяснять только женщинами. Можно подумать, ты влез

в их шкуру.

Его слова заставили меня почувствовать себя гермафродитом.

— Может, тебе стоит снова сходить в «переулки»? — хохотнул он. — Там сделал свое дело — и проваливай!

— Я говорю не об этом, — мрачно сказал я. — Между прочим, почему бы тебе самому не сходить туда? Не думаю, чтобы Анна всегда была к твоим услугам.

Мне даже хотелось, чтобы он меня ударил. Но он не ударил, только с презрением смотрел на меня.

— Прости! — сказал я через некоторое время.

Мы брели вдоль прудов, был сильный ветер. Несколько человек катались по льду на коньках. Скользили туда и обратно, как пестрые утки.

— После того как препарировал святыню в анатомическом театре, в «переулки» уже не пойдешь, — сухо заметил Аксель.

— Может, ты просто боишься сифилиса?

— Как сказать... — Он явно уклонялся от ответа.

— Но ведь тебе там понравилось? — не унимался я.

— Заткнись, Вениамин!

— Что тебе там понравилось? Запах? Чувство страха? Толстые ягодицы? — Я не мог остановиться.

— Запах? Нет. А видеть я там ничего не мог. Ведь свет был погашен.

Я еле сдерживался, чтобы не рассмеяться.

— Стало быть, тебе безразлично, с кем ты лежишь в постели, лишь бы свет был погашен?

— Конечно нет!

— Тогда в чем же дело? Что ты хотел испытать? Аксель пожал плечами.

— Отстань от меня со своей отвлеченной болтовней, — решительно потребовал он.

— Но ведь есть же у тебя какие-то соображения, зачем человеку бордель, если тебя, по твоим словам, удерживает от него не только страх перед сифилисом? А почему ты советовал мне обзавестись любовницей, которая не была бы общедоступной женщиной? — крикнул я.

— Заткнись! Я этого не говорил!.. Но это и так ясно. Это же легко понять...

— А чувства?

— Хватит, замолчи! — сказал он и ушел.

Я побежал за ним, скользя на обледеневшей дороге. У меня было чувство, будто я публично заставил его раздеться.

На другой день в аудитории, проходя мимо Акселя, я сунул ему в руку записку: «Причина, по которой я не иду в бордель: страх, что у меня ничего не получится. Но если мы побывали там вместе и у одного получилось, уже хорошо. А врач может освидетельствовать, не инфицирован ли товар».

Я видел, как он с усмешкой сунул записку в карман. Потом поднял руку в знак того, что прощает меня.

## ГЛАВА 4

Мы отложили свой поход в «переулки». Зато Аксель похлопотал, чтобы меня пригласили на обед к родителям Анны.

Профессор оказался жизнерадостным человеком с большими бакенбардами. Читая студентам лекции, он имел обыкновение приподниматься на носки и потом, громко скрипнув башмаками, опускаться на всю ступню. Из-за этого я почти не слышал того, что он говорит.

Отец Акселя дружил с профессором, когда они оба учились в университете. Наверное, именно этим объяснялась наивно чистая любовь Акселя к Анне. Кто знает? Во всяком случае, он получил приглашение на обед, которое относилось также к «уроженцу далеких и диких гор Нурланда».

Когда я спросил у Акселя, как ему это удалось, он только засмеялся:

— Я должен спасти тебя от таких, как Сесиль, Карна или как там их зовут. Тебе следует попасть в приличное общество. Но есть и еще одна причина...

— Какая же? — спросил я, полный неприятных предчувствий.

— Ты обладаешь необыкновенной способностью желать чего-нибудь так сильно, что люди, с которыми ты общаешься, начинают страдать от нечистой совести: им кажется, будто они виноваты, что ты не получил того, чего хотел. Сколько раз ты был недоволен, когда я ходил куда-нибудь с Анной без тебя! Вот я и позаботился, чтобы ты получил приглашение!

\* \* \*

Профессор занимал подобающую его положению квартиру на Стуре Конгенсгаде. Невысокая горничная, в черном платье и белом фартуке, открыла нам дверь и приняла у нас пальто и шляпы. Ради такого случая я даже надел перчатки. Но видела их только черно-белая горничная.

Я был в приподнятом настроении и улыбнулся ей. Но Аксель процедил

сквозь зубы:

— Это же служанка!..

Горничная приняла у нас коробку шоколада, которую мы с Акселем купили в складчину, сделала реверанс и провела нас в гостиную. Обстановка квартиры свидетельствовала одновременно и об отменном вкусе, и о человеческих слабостях. Часть мебели, судя по всему, была приобретена в магазине Хансена на Конгенс-Ньюторв. Хозяйка, как бы между прочим, заметила, что этот мебельщик получил звание поставщика его королевского величества.

Уже в прихожей я уловил тяжелый аромат сигар. И как будто очутился дома. В памяти всплыл Рейнснес. Его комнаты. Звуки. Запахи. Портреты. Особенно Иакова. Бронзовые подсвечники и лампы. Гудящие печи. Что бы я ни вспомнил, говорило о том, что люди и вещи связаны друг с другом.

Однажды я уже видел Анну и ее сестру Софию. Но лишь мимоходом. Мы обменялись рукопожатием на улице. Они никогда не посещали студенческие праздники. Мне казалось, что Аксель нарочно прячет Анну. Она была как будто ненастоящая.

За столом больше других говорили профессорша и София. Это началось с первого же блюда. Но еще до того, как подали десерт, я решил втянуть в разговор и Анну.

Она почти все время молчала, однако я заметил, что из-под приспущенных век она наблюдает за мной. Она была очень стройная, и Господь наградил ее всеми формами, положенными каждой женщине. Ладони у нее были узкие, красивые, длинные пальцы изящно держали нож и вилку. Лицо было золотистое, несмотря на то что стояла зима. Такой цвет лица я замечал у новорожденных, у которых была желтуха. Анна отличалась от других членов семьи. Наверное, это объяснялось тем, что, как они сказали, в профессоре текла и еврейская кровь.

Волосы у Анны были темно-каштановые, прямые. Но вокруг лба они немного вились. Благодаря Создателю или щипцам для завивки — у женщин этого не разберешь. Среди этих золотисто-коричневых тонов ее голубые глаза производили впечатление шока.

Не понимаю, как я этого не заметил в нашу первую встречу. Ярко-голубые, они видели все насквозь. Но я многого не заметил в первый раз. Например, ее носа. Строгого, с горбинкой и тонкими нервными ноздрями. Плечи Анны, словно стена, отгораживали ее от всех и вся.

Аксель смотрел на меня и улыбался. Почему-то это страшно раздражало меня.

София увлекалась учением Грундтвига и толковала о том, что

просвещение должно быть доступно народу. Она собиралась стать учительницей и преподавать в духе Грундтвига. Но сперва ей требовалось приобрести определенные знания.

Профессор гордо кивал головой.

— Мой норвежский друг предпочитает Кьеркегора, — заметил Аксель и с вызовом посмотрел на меня.

— Не понимаю, почему нельзя восхищаться одновременно ими обоими? — Я почувствовал, что краснею.

— «Страх и трепет» — это же так страшно! — с восторгом прошептала Анна.

— Но эта книга не предназначалась для молодых женщин, — засмеялся профессор.

— А что вас пугает в этой работе? — спросил я, и Аксель вместе с родными Анны словно исчезли в большом буфете и закрыли за собой дверцы.

— Что в этой книге страшного?.. Да все, что он говорит про жертву. Авраам был готов принести в жертву своего сына Исаака, — ответила Анна, глядя сквозь меня.

— Но ведь он действовал по приказу Бога! Я уже объяснял тебе это, дружок! — вставил профессор.

Она пропустила его слова мимо ушей и сказала, по-прежнему глядя сквозь меня:

— Бог, который дает такие приказы, не может ждать, что люди станут лучше даже через тысячу лет.

— Но, Анна, дорогая! — испуганно воскликнула профессорша, потом она повернулась к мужу и сказала с укором:

— Я предупреждала тебя: у Анны слишком слабые нервы для таких произведений! Она все воспринимает слишком серьезно. Так нельзя. Такие произведения не...

— Но, мама, неужели ты хочешь сказать, что я не должна серьезно относиться к Богу? — прервала ее Анна.

По-моему, ей не следовало так говорить. Не следовало выпускать мать из буфета.

— А отчего, по-вашему, Кьеркегор писал об этом? — спросил я у Анны.

— Оттого, что он не согласен со Священным Писанием. Ведь эта история рассказана в Библии.

— Лучше бы он оставил в покое Библию и писал так, чтобы люди понимали, что он хочет сказать, — заметил Аксель.

— У меня тоже иногда возникает потребность разгадать загадки, которых в Библии так много, — сказал я. — Ничего удивительного, что такой выдающийся философ, как Кьеркегор, попытался их разгадать.

— А что вас в этой книге занимает больше всего? — спросила у меня Анна, словно, кроме нас двоих, в комнате никого не было.

— Грех и вина!

— А не страх, как самого Кьеркегора?

— Нет... Но ведь это то же самое...

Я запнулся, потому что меня удивила эта мысль.

— По-моему, это слишком мрачная тема для обеденного стола, — со вздохом проговорила профессорша. — Нет, Грундтвиг куда человечнее. Он несет людям чудо просвещения. Он верит, что мир может стать лучше, все в воле человека. Если бы все имеющие власть были такие, как Грундтвиг! — И профессорша произнесла длинную речь об этом гнусном Бисмарке, который потребовал, чтобы все пасторы, учителя и чиновники Шлезвига и Гольштейна принесли клятву верности императору, после того как эти территории отошли к Пруссии. А тех, кто отказался принести эту клятву, без всяких на то оснований освободили от должности.

— Из любви к человечеству кто-нибудь должен был бы пустить пулю в господина Бисмарка, — мрачно изрек Аксель.

Мне вдруг стало так противно, что я покрылся испариной и долго не слышал, о чем идет разговор. Наконец я наклонился над столом к Анне и спросил ее, прервав профессора на полуслове:

— А как вы относитесь к Грундтвигу?

За столом воцарилось молчание. Я проявил невежливость.

— Я его не знаю, — равнодушно ответила она.

— Анна интересуется только музыкой и поэзией, — вздохнула София.

— А какую музыку вы предпочитаете? — спросил я и посмотрел Анне в лицо, защищаясь в то же время от ее взгляда.

— Должна признаться, что я музыку не люблю. Мои родные считают, будто я ее люблю только потому, что я немного играю на фортепиано.

— Анна, милая, как ты можешь так говорить! — воскликнула профессорша.

Я закашлялся и прикрылся салфеткой. Красный и потный, я вынырнул из-за салфетки, стараясь сохранить чувство собственного достоинства. Но тут мне понадобилось высморкаться и пришлось лезть за носовым платком. Все сочувственно молчали. Даже Аксель не пришел мне на помощь. Когда пульс у меня стал нормальным, я глупо сказал:

— Мне всегда хотелось научиться играть на каком-нибудь

музыкальном инструменте.

— Это очень просто, — сказала Анна.

— Неужели?

— Да. Только требует много времени. В принципе это то же самое, что вязать крючком салфетки.

— Но, Анна! Музицирование — это искусство! — воскликнул профессор.

— Искусство не имеет ничего общего с умением быстро перебирать пальцами клавиши, — сказала Анна с таким видом, будто с трудом сдерживает зевоту.

— Вот как? А что же тогда искусство? — любопытно спросил я.

На мгновение она растерялась.

— Искусство — это то состояние души, для выражения которого человек должен использовать все свои чувства, — сказала она наконец.

— Вы хотите сказать, что только сильное переживание создает образы искусства? — спросил я.

— Нет, но без сильных чувств того, кто их испытывает, и того, кто их воспринимает, искусство невидимо и не представляет собой никакой ценности.

— Стало быть, произведения искусства, скрытые, например, в склепах, не представляют собой ценности потому, что их никто не видит?

— Нет, представляют, потому что люди мечтают увидеть их.

Я перестал дышать. Она была как откровение!

Мне захотелось крикнуть Акселю через стол: «Черт подери, теперь я понимаю, почему ты не бегаешь в „переулки»!» Но я удержался. Это было бы решительно неуместно.

## ГЛАВА 5

В то лето я действительно собирался поехать домой. Мне хотелось помочь Андерсу и Рейнснесу. Возможно, на меня повлияли просветительские мысли Грундтвига. Его приверженцы открывали народные школы и привлекали на свою сторону крестьян.

В Копенгагене многие так называемые интеллектуалы смотрели на это с презрением и называли чепухой. Однако со временем уже почти не осталось людей, которые выступали бы против идеи просвещения. Все рвались в народ, дабы просветить его. Возможно, тоска по дому смешалась у меня с мыслями о миссионерстве.

Однако я не мог забыть слова Кьеркегора о том, что истинный рыцарь веры бывает только свидетелем, но не учителем. Это звучало как приговор, которого я не мог избежать. Кроме того, мне никак не удавалось поговорить с Анной наедине. Слабым утешением служило то, что и Акселю это тоже не удавалось.

Сестры всюду бывали вместе. У меня создалось впечатление, что Софию приставили следить за сестрой, ибо моей репутации не доверяли. Тем не менее мы четверо сблизились настолько, что я теперь обращался к сестрам на «ты» и мне даже позволялось держать их за руки.

Однажды мы с Акселем сопровождали Анну и Софию в Тиволи. Анна спросила, знаю ли я норвежского поэта, которого зовут Генрих Ибсен.

— Я читал о нем в газетах.

— А я читала его последнее произведение! «Пер Гюнт». У нас есть дома. Ты должен непременно прочитать эту поэму.

— Спасибо.

— Ибсен тоже живет вдали от родины. Совсем как ты. Но, полагаю, по другим причинам.

Я пожал плечами. К норвежскому поэту я мог относиться только скептически. Норвежец не может быть настоящим поэтом. Поэзия, которую я ценил, не имела ничего общего с Норвегией. Во всяком случае, после того, как я подбирал раненых на полях сражения под Дюббелем.

Не знаю, собирался ли я объяснить это Анне, но Карна, неожиданно возникшая перед нами на Нью Вестергаде, заставила меня забыть о поэзии. Она несла большую корзину. Судя по всему, очень тяжелую. Что она здесь делает?

Ее обогнала большая компания, занявшая весь тротуар, нам пришлось остановиться. Наши глаза встретились. Кто знает, что она подумала, но она

не ответила на мое приветствие и прошла мимо.

— Кажется, это была Карна? — спросил Аксель.

— Да. — Все замолчали, и я нарушил молчание:

— Анна, а где живет Ибсен? Ты знаешь?

— Ты знаком с ней? — спросила Анна.

— С кем?

— С этой служанкой, которая только что прошла мимо нас с корзиной.

— Ах, с нею! Она работала в полевом лазарете в Дюббеле, — ответил я.

Анна промолчала. Аксель тоже. А мог бы сказать многое, если бы захотел.

Когда мы проводили дам домой, мне там вручили «Пера Гюнта».

\* \* \*

Может быть, потому, что я читал поэму глазами Анны, я не оторвался от нее, пока не дочитал до конца. Я презирал этого Пера Гюнта и восхищался им. Льющийся ритм очаровал меня, но сама поэма вызвала раздражение. Меня раздражало все — самообман, трусость, ложь. Даже юмор. Все было мне одинаково неприятно.

Ночью мне приснилась Карна. Но почему-то я не мог узнать ее. Какая-то она была не такая. Я проснулся и долго лежал, стараясь понять, в чем дело. И наконец понял: во сне у Карны было лицо Сесиль. А может, Ханны?

Мне снилось, будто Карна висела у меня на шее на цепочке. Вроде серебряного креста, который матушка Карен подарила Юхану. Я стоял на набережной Нюхавн и вертел Карну в пальцах, как амулет. Нечаянно я сделал резкое движение. Цепочка, на которой висела Карна, порвалась. Карна упала в воду. Цепочка обожгла мне пальцы и тоже скользнула в воду.

Проснувшись, я вспомнил одно изречение, которое где-то слышал или вычитал. А может, оно родилось во мне после этого странного сна: человек многое должен простить себе, прежде чем научиться прощать другим.

\* \* \*

Я не знал, живет ли до сих пор Карна у своей бабушки на Стуре Страндстреле, но на другой вечер пошел туда.

— Она работает сиделкой в клинике Фредерика, — сказал ее брат, с любопытством разглядывая меня.

— Когда она вернется домой?

— Завтра утром.

Мы долго смотрели друг на друга.

— Давненько ты у нас не был, — сказал он наконец.

— Это верно. Передай ей привет.

— Спасибо, передам. Ты придешь еще?

— Может быть, — подумав, ответил я.

\* \* \*

Назавтра после лекций я пошел бродить по улицам. Мне не хотелось встречаться с Акселем, и я ушел из университета, не поговорив с ним. Что, безусловно, должно было его удивить. Я избегал всех мест, где обычно встречались студенты. И старался, чтобы Круглая башня — главная примета студенческого района — не попадалась мне на глаза.

Потом я набрался храбрости и в трактире «Старый берег» сочинил Анне письмо. Но как ей его передать, не знал.

Сперва я прошелся по Королевскому парку, стараясь убедить себя, будто просто гуляю. Потом направился к дому Анны.

Мне открыла та же горничная, которая встретила нас, когда мы обедали у профессора. Она сделала реверанс, узнала меня и очень удивилась. На мне не было ни пальто, ни шляпы, и я выглядел как самый обыкновенный студент.

— Вы подождете? — спросила она.

Я кивнул. Она оставила наружную дверь открытой и ушла с моим письмом. Я сел на каменные ступени и настороженно прислушивался, чтобы быстро вскочить и встать по стойке «смирно», если кто-нибудь выйдет из квартиры. Кого именно я ждал, горничную или Анну, не знаю.

Когда в дверях появилась Анна, я понял, что не ожидал этого. Покраснев как рак, я встретил ее взгляд.

— Добрый день! — В ее голосе звучало удивление. Заикаясь, я начал излагать ей содержание своего письма.

— Я сейчас иду на урок музыки. Может, ты проводишь меня? Это недалеко. — Она тревожно оглянулась через плечо, словно опасалась, что кто-нибудь остановит ее. Потом прибавила:

— Иди вперед и жди меня в Королевском парке!

Она назвала место, где мы должны были встретиться, но я не расслышал, потому что сердце стучало у меня в ушах. Анна исчезла.

Пошатываясь, я спустился по ступеням и вышел на улицу. Теперь я знал, что запреты для меня не существуют. Она осмелилась встретиться со мной наедине, никому не сообщив об этом!

В парк я не пошел. Стоял у входа, чтобы не пропустить ее. Ждал,

спрятавшись за деревьями. Дыхание и сердце не слушались меня. Я презирал себя за это, но ничего не мог с собой поделать.

Вскоре я увидел Анну. Черная фигура в развевающемся недлинном пальто. Юбки ее колыхались на плитах тротуара. Стук каблучков звучал как фанфары. «Идет Анна!» — возвещали они.

Вблизи свет совершенно преобразил ее. Она словно сбросила с себя темную шкуру и превратилась в видение, закутанное в легкую желтую ткань. Под кронами деревьев солнце творило чудеса.

Мне хотелось прижать ее к груди. Мои руки пытались освободиться от меня и слушаться только себя. Но я знал, что она не Карна. Не Сесиль. И не Ханна. Она — профессорская дочка, хоть и согласилась встретиться со мной наедине. Не знаю, помнил ли я о том, что она к тому же принадлежит Акселю.

Когда она вошла в тень, по ее лицу скользнула улыбка.

— У меня всего полчаса. Я ведь и в самом деле иду на урок музыки, — сказала она.

Как будто я сомневался в этом!

— Давай пойдем по этой тропинке. Там есть скамья, — предложила она.

Я до сих пор не произнес ни слова. Только кивнул и пошел следом за ней.

— Ну что, прочитал «Пера Гюнта»? Тебе, наверное, кажется, что это написано про тебя? — спросила она через плечо.

Я не сразу вспомнил, что именно об этом написал ей в своем письме. Шутит она? Или говорит серьезно?

— Наверное, это потому, что мы оба покинули родину, — проговорил я и остановился.

— Я так и знала! — воскликнула она. — Знала, что тебе понравится! Скольким людям Пер изменил! Сколько испытаний не выдержал!

И тем не менее она застала меня врасплох, когда спросила без обиняков:

— А ты изменял кому-нибудь?

— Как сказать... — Я попытался уклониться от ответа.

— Если не ошибаюсь, именно измена Перу Гюнта заставила тебя написать мне это письмо?

По ее голосу я ничего не мог понять. Нейтральный звук на лоне природы. Но в нем слышалось много вопросов.

— Да, — признался я.

— Да? Но говорить об этом не хочешь?

— Мне просто хотелось увидеть тебя, — к собственному удивлению, произнес я.

Мы подошли к скамейке. Я смахнул с нее пыль и сделал галантный жест, приглашая Анну сесть. Она молча села. Я примостился на самом краю.

— Ты часто видишь меня... — начала она.

— Но не наедине!

Мы помолчали. Слова, которые мне хотелось сказать ей, куда-то исчезли. Она подняла на меня глаза:

— Ты прав. Не наедине.

Я всей кожей ощущал ее присутствие.

— А с Акселем ты встречаешься наедине? — вырвалось у меня.

Она искоса поглядела на меня и улыбнулась. Я не знал, как истолковать ее улыбку.

— Это совсем другое.

— Почему?

— Мы с Акселем давно знаем друг друга.

— Вот как? — Я мысленно увидел Акселя за спиной у Мадам в переулке Педера Мадсена.

— У тебя, кажется, не очень хорошая репутация? — спросила она. Словно поняла, о чем я вспомнил, и простила Акселя.

— Что ты имеешь в виду?

— Подруга Софии была на одной студенческой вечеринке в Регенсене, — сказала она, словно это все объясняло.

— Такие вечеринки бывают и в Валькендорфе, — заметил я, включив таким образом и Акселя в свою компанию.

— Я знаю.

— Так в чем же дело?

— Она там живет.

Мне нечего было возразить.

— А что сказала обо мне подруга Софии?

— Что у тебя много возлюбленных, — честно призналась Анна.

— А еще что?

— Что ты умный и хороший, но к избранной среде не относишься.

Я мог бы сказать, что мы с Акселем относимся к одной среде. Но удержался.

— А еще что? — опять спросил я.

— Что ты собираешься вернуться на родину, когда закончишь учение.

— Ты расспрашивала ее обо мне?

— Да.

— Почему?

— Мне было интересно.

— Почему? — шепотом повторил я, не смея поднять на нее глаза.

Я видел только ее руки. Сильные пальцы. Запястья, как у мальчишки. Выпуклые, коротко остриженные ногти. Если б я не знал ее, я подумал бы, что это руки женщины, которая занимается физическим трудом.

— Почему, Анна?

— Потому что ты не такой, как все. А может быть, потому, что ты тогда спросил меня об искусстве... Или...

Она замолчала и подкинула ногой камешек.

— Можно мне взять тебя за руку? Пожалуйста! Для меня это важно.

Она улыбнулась и спрятала от меня глаза.

— Если хочешь. Вот тебе одна рука. Другую я оставляю себе.

Одной я, конечно, удовлетвориться не мог. Схватил обе. Почти теряя сознание, но охваченный безграничной радостью. Я ощущал запах лесной почвы. Острый и свежий после дождя. Запах самой Анны. Лаванды?

Розовой воды? Кто знает? Ему не было имени. Может, так пахли ее волосы? Незнакомо и тревожно. Но я знал, что отныне каждую ночь буду ощущать этот запах.

— Ты такой необычный... — Анна говорила в пространство.

— В чем это выражается?

— Ты словно открываешь мне то, что скрыто во мне. Я был готов всю жизнь нести ее на руках.

— Понимаешь... мне было так важно... поговорить с тобой... — неуверенно начал я.

— О чем? О Пере Гюнте?

— Нет.

— О чем же?

— О сущности любви, например!

Она моргнула по очереди каждым глазом. Потом у нее на лице появилось выражение заговорщика. Она кивнула и слабо пошевелила пальцами, которые я держал.

— И что же ты думаешь о... о сущности любви? — серьезно спросила она.

— Я не считаю, что любовь имеет прямое отношение к физической близости.

— Правда? И что же такое, по-твоему, любовь?

— По-моему, это сила.

— Какая сила?

— Этого я еще не знаю. — Я придвинулся к ней ближе. Я был в плену. В заточении. Сидел рядом с ней и чувствовал на себе ее дыхание, но был в заточении. Пока ее пальцы не зашевелились в моих руках.

— Мне надо идти, — неуверенно сказала она.

— Нет, нет, посиди еще.

— Я думала, тебе хочется поговорить со мной об измене Пера Гюнта.

— Конечно! Я готов говорить с тобой о чем угодно!

— София слышала, будто у тебя связь с официанткой из трактира. И даже не с одной!

— Где она это слышала?

— Там, где она изучает Грундтвига.

— Вот оно что! — Во мне шевельнулась ненависть к Грундтвику.

— Это правда?

— Тебе не нравятся официантки?

— Дело не в этом...

Неужели Анну это задело? Неужели это правда? О Господи, если б она хотя бы намекнула мне, что принимает это так близко к сердцу!

— Да! Некоторое время у меня была возлюбленная, которая работала в трактире.

— А где же она теперь?

— Ушла к другому. Наступило молчание.

— Почему она ушла к другому? — прошептала Анна.

— Потому что мы не любили друг друга.

— А что же вас тогда связывало?

Она осмелела. Держалась по-товарищески. Я чувствовал, что любопытство победило в ней скромность. И все-таки солгал, опасаясь, что она вскочит и убежит. Ведь Пер Гюнт и Великая Кривая были рядом — они прикинулись пальцами Анны.

— Мы иногда встречались. Она была такая забавная... И...

Я встретил ее взгляд. По ее лицу было видно, что она все понимает.

— Почему ты хотел увидеть меня? — шепотом спросила она.

— Мне казалось, ты относишься к тем людям, встречи с которыми я давно жду. Я должен был увидеть тебя. Наедине.

— Но почему?

Она все еще говорила шепотом.

Я попытался объяснить ей, но напрасно. Все, что я говорил, было невразумительно. Наконец я сдался и покачал головой. Если б я мог обнять ее! Не все же можно объяснить словами!

— Ты пришел, потому что прочитал «Пера Гюнта». Ты написал, что эта книга о тебе, — сказала она и вытащила мое письмо.

Больше она не держала меня за руку. Она меня бросила! Я вырвал у нее письмо, смял и затоптал ногой.

— Это уже некрасиво! У тебя нет никаких оснований сердиться. Ты сказал, что эта официантка ушла от тебя к другому, потому что вы не любили друг друга. Зачем тебе понадобилось говорить со мной об этом?

— Но я же объяснил тебе.

— Что объяснил?

— Мне нужно было увидаться с тобой наедине. Книгам нельзя полностью доверять... Я знаю, что вы с Акселем... Но я знаю, что я... я люблю тебя...

Наконец-то я это сказал! Я сам слышал свои слова.

— Мне и в самом деле пора! — прошептала Анна совсем рядом.

Она встала и отошла на несколько шагов. Я бросился за ней как назойливая собачонка.

— Не уходи! — всхлипнул я и схватил ее руку.

— Но мне пора!

— Можно мне снова встретиться с тобой? Здесь? Завтра?

— Нет, нельзя.

— Ты все равно уже опоздала на свой урок! — крикнул я и хотел ее удержать.

Но она стряхнула мою руку и пошла прочь.

— Ты уже опоздала! Ты все выдумала про этот урок! Выдумала, чтобы я не понял, что ты тоже хочешь встретиться со мной!

Она остановилась и посмотрела на меня. словно разглядывала что-то выставленное в витрине.

— Я оставлю книгу себе! Ты ее больше не получишь! — в отчаянии крикнул я.

— Да ты просто сумасшедший! — тихо сказала она. Потом повернулась ко мне спиной и пошла. Твердым, коротким шагом. Сквозь щебетание птиц. Сквозь стволы деревьев. Сквозь солнце. Сквозь мою жизнь.

## ГЛАВА 6

Не помню, когда я впервые понял, что не воспринимаю смерть как окончательную разлуку. Должно быть, это было в комнате матушки Карен. После ее смерти.

Много лет, читая книги, я слышал голос матушки Карен. Я бы не понял многих историй, если б не слышал мысленно ее объяснений. Она выбирала в книгах слова и говорила:

— Вениамин, это слово употреблено в его первоначальном значении. Потом его стали употреблять совсем в другом смысле. А вот так его употребляют теперь. Слова искажают нашу действительность. Понимаешь? Слово никогда не бывает тем, чем кажется с первого взгляда. В иные времена, в иной действительности люди употребляли эти слова в другом смысле. Слова звучали иначе и имели другое значение. Например, Бог. Бог очень изменился за последние сотни лет. Раньше Его легко было понять. Теперь мы пользуемся этим словом, когда хотим скрыть, что больше не понимаем, кто такой Бог.

— А кто такой Бог? — спросил я, затаив дыхание и думая, что сейчас получу ответ на эту великую загадку, которая, словно черная тень, лежит на земле.

— Бог, Вениамин, — это любовь, что живет в человеке. Без любви в человеке Бога нет!

Когда я сидел на полу один с книгами матушки Карен, такой ответ не мог убедить меня. Но все-таки матушка Карен была права. Слова фальшивы. Человек должен выстрадать каждое слово, только тогда он наконец поймет, что без любви Бога нет. Матушка Карен объяснила мне это уже после своей смерти. Для этого ее плоть была не нужна.

Конечно, мне хотелось бы, чтобы она погладила меня по щеке. В детстве я часто воображал, как она берет меня к себе на колени и ее седые локоны щекочут мне лицо. Но это требовало от меня столько сил, что я почти не слышал, что она говорит мне. К тому же я начинал плакать от жалости к себе — ведь я знал, что ее нет рядом со мной. Поэтому я предпочитал слушать ее голос. Он не зависел от ее тела. Я носил его в себе. Ложился с ним спать. Брал его с собой в летний хлев. Увез в Копенгаген.

Постепенно каждая книга, которую я открывал, звучала для меня голосом матушки Карен. Даже скучные описания проклятой анатомии.

Случались у нас с матушкой Карен и горькие разногласия. В Дюббеле у меня не было ни любви, ни Бога. Там были только зловоние, тошнота и

слепой страх, заставлявший тело исторгать мочу, пот и слезы. Помню, я попытался сделать ее посредницей между мной и моим отсутствующим Богом. Но матушка Карен недвусмысленно ответила мне, что не станет досаждать Богу моей особой, пока у меня нет любви.

— Но, матушка Карен, пойми, у меня просто нет на это времени! — кричал я ей среди порохового дыма и стона раненых.

— Смотри на людей, мой мальчик! — говорила она. — Что ты бегаешь и плачешь, как трус? Смотри на людей! Страдай вместе с ними, и ты обретешь Бога.

— Но я не могу молиться, матушка Карен! Я в это не верю!

— Ты так ничего и не понял, мой мальчик! Тебе и не надо верить. Только глупцы тратят свою жизнь на религиозные обряды и молитвы, придуманные людьми. Все дело в любви. Если в тебе есть любовь, значит, она содержит и все молитвы Земли. Если же любви нет, значит, нет и Бога. А когда Бог отсутствует, умирать бесполезно. Тогда человек обречен вечно метаться в скелете своей мечты.

Так говорила мне матушка Карен. Так учила тому, что было бы написано в ее книгах, если б со временем слова не потеряли своего значения и не приобрели новый смысл.

\* \* \*

Стоял июль 1868 года. Скоро нам уже не придется приходить точно к восьми в клинику Вита, посещать лекции и сдавать экзамены. Волноваться из-за отметок.

Акселя они волновали. Я сочувствовал ему. И это немного облегчало мою совесть. Ведь я продолжал мечтать об Анне и не говорил ему об этом. В таком невозможно признаться даже лучшему другу. Тем более если сам еще не разобрался в своих чувствах.

Меня спасало то, что у Акселя тоже не было времени посещать балы с танцами и холодными закусками или прогуливаться с дамами. Он превратился в бледного, издерганного зубрилу.

Первые экзамены я сдал так хорошо, что позволил себе немного расслабиться на последнем экзамене у профессора Банга.

На вытянутом мною билете было написано: «Заболевания спинного мозга».

— Спинной мозг можно назвать хвостом головного мозга... — начал я.

Профессор улыбнулся. Наша схватка началась. Наконец он сказал:

— Я вижу, что от приобретенных знаний вы совсем потеряли голову!

Все было позади. Мы еле держались на ногах, и сознание

свершившегося, точно шлем, тяжело давило голову.

— Легкий экзамен, ничего не скажешь! — воскликнул я, когда мы вышли на улицу.

— Черт подери, а я и не знал, что бывают болезни спинного мозга! — проговорил Аксель.

— Вспомни слова учителя: если сомневаешься в диагнозе, не забывай, что естественное — всегда самое надежное! — высокомерно изрек я.

И зря. Аксель тут же повернулся и ушел, не сказав мне ни слова. Я был плохой товарищ и не мог заставить себя побежать за ним. Ведь Анна принадлежала ему! И по случаю окончания экзаменов он был приглашен к профессору на обед.

Неожиданно на тротуаре передо мной возникла Анна. И тут же проехавшая мимо телега обдала водой из лужи мои брюки.

Грохот телеги, грязная вода и Анна доконали меня. Это было невыносимое сочетание. Кажется, я даже хотел пройти мимо, сделав вид, что не заметил ее.

Она схватила меня за рукав:

— Теперь я вижу, что Аксель прав. Ты похож на живого мертвеца!

Я стоял как столб. Забыл даже поздороваться.

— Аксель считает, что ты повредился в уме от занятий, — продолжала она, увлекая меня к стене, потому что мимо грохотала новая телега.

— Он прав. — Я не стал спорить.

Анна была в светлом, как и в последний раз, когда я видел ее. Волосы были убраны под шляпу. На лицо падала тень. Профиль с гордым изгибом носа — крутой горный кряж, обтянутый тонкой кожей. Я стоял так близко, что видел даже розоватые впадинки возле ноздрей. Губы и подбородок были освещены лучше. Осмотрев с пристрастием ее лицо, я заметил и маленький прыщик в углу губ. Он что-то пробудил во мне.

— Как давно... — пробормотал я.

Она взяла меня за руку. Я видел, что она что-то говорит. Но слов разобрать не мог. Она стояла слишком близко.

Потом она пошла в противоположном от нужного мне направлении. Мне казалось, что я сейчас растворюсь и исчезну. Ее локоть упирался мне в бок.

Женщина создана из проклятого ребра мужчины, думал я, не зная, о чем говорить с Анной.

Если б еще не было так жарко! Я хотел расстегнуть сюртук, но не мог сделать этого одной рукой. Другой же завладела Анна и крепко держала ее.

— Аксель говорил, что ты слишком много занимался в последнее

время. И потому ни с кем не виделся.

— Угу, — выдохнул я и наконец справился со своим волнением. — Давай где-нибудь посидим.

Она огляделась по сторонам, словно вдруг испугалась, что нас увидят вместе. Потом прижала к себе мою руку.

— Давай! — храбро сказала она и зашагала такими большими шагами, какие ей позволяла узкая юбка.

Я судорожно глотнул воздуха. Когда мы наконец сидели с полными бокалами в кафе на Брулеггерстредзе, Анна сказала:

— Мне разрешили пригласить тебя к нам на обед. В воскресенье.

Я молча кивнул.

— Ты, кажется, не рад?

— Конечно рад.

— Можешь не приходить, если не хочешь.

— Но я хочу!

— Так ты придешь?

— Обязательно! Большое спасибо!

В вырезе блузки было видно, как краска разлилась у нее по шее. Словно искала выхода запертая под кожей кровь.

— Твоя кровь рвется ко мне, — шепотом сказал я. Анна сделалась совсем пунцовой и плотней запахла шаль.

— Не сердись!

— Ты... Это было бестактно с твоей стороны!

— Я гораздо лучше, чем ты обо мне думаешь. Хотя и украл у тебя «Пера Гюнта»...

Она перебирала бахрому скатерти, не сводя с меня глаз. Словно пыталась понять, не смеюсь ли я над ней.

— Ты не подавал никаких признаков жизни.

— А я должен был их подавать?

— Ты издеваешься над людьми.

— Каким образом?

— Говоришь глупости... Говоришь... Все это ложь!

— Что ложь?

— То, что ты сказал мне в нашу последнюю встречу... Сладкая истома завладела моим телом.

— А что я тебе сказал?

Она упрямо глядела на меня. Покраснела еще больше, но не отступала ни на дюйм.

— Ты сказал, что...

Она бы понравилась Дине!

— Верно.

— И что же?

— Это правда, — прошептал я. Воцарилось молчание.

— И что же? — снова спросила она, поправив что-то на коленях, чего я не видел. Потом положила руки на стол. Она ждала.

— Пойдем ко мне! Сейчас! — прошептал я и схватил ее обнаженную руку.

Дыхание со свистом вырывалось у нее из груди.

— Ты хочешь нарочно меня скомпрометировать.

— Нет! У меня серьезные намерения!

— Я не девка!

— Ну и что же, я все равно хочу тебя!

Она рванулась вскочить. Я попытался удержать ее. Головы наши столкнулись над столом. Череп у нее был крепкий. Ее бокал опрокинулся.

— Анна, не уходи! — взмолился я. Булавка на ее шляпе была нацелена мне прямо в глаз.

Проходивший мимо официант с интересом поглядел на нас.

Ей оставалось только сесть. Мне тоже.

— Все, что я говорил тебе, я говорил серьезно. И в Королевском парке, и теперь! — прошептал я, когда официант ушел.

— И что ты собираешься делать?

— А что ты предлагаешь?

— Это ты узнаешь в воскресенье после обеда, — по-деловому сказала она.

Не знаю почему, но меня вдруг охватила жгучая радость. Может, все объяснялось только химическими процессами? Или звуковыми волнами? Запахом, витавшим между нами? Мы склонили головы друг к другу и засмеялись...

Мы взяли извозчика и попросили его поднять верх. Забившись в угол пролетки, мы выехали из города.

— Знаешь, что говорит мой отец? — вскоре спросила она.

— Нет.

— Он говорит, что я нереалистически отношусь к жизни.

— Почему?

— Потому, что не хочу выходить замуж. Я насторожился.

— Такие проблемы с отцами не обсуждают.

— А что делать, если он хочет выдать меня замуж?

— За кого же? За Аксея?

Извозчик свернул. Пролетка накренилась. Копыта цокали по мостовой.

— Ты не можешь выйти замуж за Аксея, — спокойно и решительно сказал я.

— Конечно нет. Я вообще не собираюсь выходить замуж. Я уеду в Лондон... Там у меня тетя.

Она улыбалась. Втягивала в себя воздух, не разжимая губ, ноздри у нее раздувались.

— Ты нарочно подстерегла меня, чтобы сообщить мне об этом?

— Фу, как некрасиво с твоей стороны! — Она оскорбилась.

— Зачем же тогда я тебе нужен?

— Нужен, и все. Скандал помешает мне войти в пасторскую семью Аксея. Родителям придется на время куда-нибудь отправить меня. Например, в Лондон.

— О каком скандале ты говоришь?

— О моей связи с его лучшим другом! Унижение мое не знало границ. Я смотрел на хвост лошади и думал, что произойдет, если я сейчас выпрыгну из пролетки и брошусь под ноги лошади. Но я не двинулся с места. Поглядев сбоку на Анну, я увидел, что она больше не улыбается.

— У тебя хватит денег расплатиться, если мы поедем дальше? — побудничному спросила она.

— Не-ет...

— Тогда повернем обратно.

— Чем ты намерена заниматься в Лондоне?

— Буду знакомиться с жизнью. Играть на фортепиано. Там никто не будет ограничивать мою свободу. Я хочу вести светский образ жизни...

Я крикнул извозчику, чтобы он повернул назад. Громко и сердито, будто поймал вора на месте преступления.

Мы долго молчали, покачиваясь в такт движению. Меня охватило отчаяние. Сегодня все было похоже на безумие.

Анна захотела выйти, не доезжая до дому, чтобы ее не увидели из окна.

Я спрыгнул первый и помог ей сойти. Расплатившись с извозчиком, я пошел рядом с Анной. Радость исчезла. Представление было окончено.

— Здесь мы с тобой расстанемся, — с напускной веселостью сказала Анна.

— В чем же теперь заключается моя роль? — спросил я.

— Ты должен убедить всех, что без ума от меня! Значит, в воскресенье в шесть? Смотри, не опаздывай! Аксель тоже будет, — прибавила она, подняв руку в знак приветствия. И тут же исчезла.

Как будто я раньше не знал, что женщина — отродье дьявола!

В поисках Акселя я ходил из одного заведения в другое. Когда я нашел его в кафе «Зоргенфри» на Брулеггерстредзе, мы оба были уже слишком пьяны, чтобы затеять драку. Он сидел в обществе студентов из коллегии Валькендорф и отнюдь не обрадовался при виде меня. Однако весело крикнул:

— Никак молодой Грэнэльв вышел в свет, чтобы немного проветриться? Где ты пропадал столько времени?

— Поздравляю с окончанием экзаменов! — трезвым голосом сказал я.

— Спасибо, и тебя тоже! Когда все кончилось, ты сбежал, словно собака, которую прогнали палкой. Не выдержали слабые норвежские нервы?

— Иди к черту! Ты сам обиделся на меня и ушел. — Я втиснулся на скамью рядом с ним.

Я не понимал, знает ли он что-нибудь про Анну или действительно радуется тому, что экзамены уже позади.

— Мы закатили в Валькендорфе пирушку. С шампанским! Искали тебя повсюду, даже у вдовы на Бред-гаде. Безрезультатно! И вдруг ты являешься сюда собственной персоной! — прогнусавил он.

— А я знаю, где он был! — вдруг крикнул парень по имени Отто и ударил себя по ляжкам.

— Где же? Выкладывай! — распорядился Аксель.

— Совершал увеселительную прогулку с неприступной профессорской дочкой! — торжественно возвестил Отто.

Я отчетливо слышал воцарившуюся в Акселе тишину. У меня на глазах его голова превратилась в небольшой орешек.

— Какого черта! — крикнул кто-то из студентов, но Аксель молчал.

— Я не знал, что и ты тоже ловишь рыбку в этом пруду, — сказал другой студент.

— Мне казалось, ты ограничиваешься сиделками и официантками! — крикнул третий.

Мне хотелось ударить кого-нибудь из них. Но сейчас это было бы равносильно самоубийству.

— Она пригласила меня на обед, — тихо сказал я, не спуская с Акселя глаз.

Он кивнул.

— У тебя есть деньги? Твоя очередь платить! — сказал он, глядя мне в глаза.

Я заплатил за очередной круг, и все тут же забыли об Анне. Только не Аксель.

Мы довольно долго пели и пили за студенческую жизнь и за женщин. Наконец все вышли на улицу, собираясь закончить праздник уже в Регенсене. Аксель тут же оказался рядом со мной.

— Мы уходим! — сказал он мне.

— Почему? — Я насторожился.

— Хватит с меня светских развлечений, как-никак я пасторский отпрыск. Мне нужна и духовная пища!

— Мы с Акселем немного прогуляемся вокруг церкви Святого Духа! Ему надо подышать свежим воздухом! — крикнул я остальным.

— Так что там у тебя с Анной? — спросил он, когда все ушли.

— Я встретил ее на улице, мы прокатились на извозчике, и она пригласила меня на обед. Конечно, с разрешения родителей, — как можно равнодушной ответил я.

— Почему?

— Что — почему? Разве я должен спрашивать у тебя разрешения, чтобы прокатиться на извозчике с дамой?

— Ты прекрасно понимаешь, почему меня это интересует. — Он уже немного успокоился.

— Что я понимаю?

— Ты знаешь, что мы с Анной собираемся пожениться.

— Да, она говорила об этом.

— И?..

— Что и?..

— И ты ухаживаешь за ней?

— Она сама предложила мне прокатиться!

— Ложь! — выдохнул он. — Ты пустил в ход свои чары и теперь рассчитываешь получить место ординатора в клинике Фредерика только потому, что таскаешься за профессорской дочкой!

— Это уже слишком! Можно подумать, что у тебя самого другие намерения! Ты...

— Я сразу понял, что ты влюбился в нее, — мрачно сказал он.

— Ну и что? Я в этом виноват?

Аксель присмирел. Мы сидели на ступенях церкви и чертыхались на чем свет стоит.

— У тебя это серьезно? — спросил он через некоторое время.

— Не знаю.

— Я думал, что этот день будет самым радостным днем в моей жизни! — пожаловался он.

— Держи себя в руках!

— Не смей даже приближаться к ней! — угрюмо предупредил он меня.

— Она еще не твоя!

— Но ведь мы с тобой братья! Разве мы не побратались у Мадам в переулке Педера Мадсена?

— Ты рассказал ей об этом?

— Знаешь, я серьезно сомневаюсь в твоих умственных способностях, — сказал он с отвращением.

«Черт меня подери, не знаю, что с ним творится, но я люблю его», — думал я.

— Черт меня подери, Аксель, но я люблю тебя! — сказал я, схватившись обеими руками за голову. — Даже несмотря на то, что иногда ты требуешь от меня невозможного.

Он заплакал. Я совсем не таким представлял себе плачущего мужчину. Поэтому тут же отвел глаза. Он был пьянее, чем я.

— Ну хватит, хватит, — утешал я его, покачивая в объятиях. Он возвышался надо мной, точно могучее дерево. — Мы с тобой неотделимы друг от друга, — сказал я куда-то в пространство.

Он сморкнулся при помощи пальца и ничего не сказал.

— Может, Анна должна принадлежать нам обоим? — предположил я.

— Подлец! Что у тебя за грязные мысли!

— Подумаешь, какой нравственный! Разве мы не вместе были у Мадам?

Он выкинул вперед кулак и распял меня на церковной двери.

— Не смей так говорить про Анну! — заорал он. — Анна — это ангел! Цветок... Она... Она...

Он не мог найти слов и снова заплакал.

Я молча раскурил нам одну сигару на двоих. Аксель произнес длинную речь о красоте и достоинствах Анны и немного успокоился. Кое-какие его утверждения вызывали у меня сомнения, но в целом я был с ним согласен. Однако поостерегся и не высказал ему своего мнения.

Уже совсем поздно мы оказались с ним на Хольменсгаде. Аксель знал там один подходящий трактир. Исполнившись братских чувств, мы кое-как привели себя в порядок и постучали в дверь. Нам открыла хозяйка в белом капоте. Она окинула нас быстрым взглядом, потом отрицательно покачала головой и зевнула.

Пристыженные, мы поплелись дальше, качаясь из стороны в сторону, точно ослепленные светом мотыльки. Неуклюже обнимая друг друга, мы горланили одну непристойную песню за другой. Одни песни мы пели до конца, другие — сколько помнили. Жизнь потеряла свой смысл. Экзамены

были позади. Война, пустота, женщины. Стоило ли ради этого жить и умирать?

Мы заснули на скамье в парке, лежа валетом. На рассвете нас разбудил полицейский.

Когда мы с трудом поднялись на ноги, Аксель засмеялся:

— Наконец-то ты ожил, мой норвежец!

\* \* \*

Я пошел провожать Акселя в Валькендорф. Проходя мимо Регенсена, мы увидели Карну возле старой кирпичной стены. На углу Стуре Канникестреде. Из-за предутреннего света она казалась прозрачной. На голове у нее была белая шаль. Она что-то держала в руках. Кажется, узел с бельем.

— Это Карна? — спросил Аксель.

Я остановился, но чувствовал себя слишком усталым, чтобы пересечь улицу и подойти к ней. Когда я опомнился, ее уже не было.

— Это была Карна? — спросил Аксель и громко икнул.

— Нет, — буркнул я.

## ГЛАВА 7

Выспавшись и протрезвев, я тщательно оделся и вместе с Акселем отправился на званый обед к Анне. Кроме семьи профессора и нас с Акселем там было еще четверо гостей. Даже сразу после обеда я не мог бы сказать, как они выглядели и что говорили. Помню только, что это были двое мужчин и две женщины.

Охая и ахая, София рассказывала, как они целый день снимали с мебели чехлы и вытирали в гостиной пыль перед этим званым обедом, устроенным в честь Акселя. Словно Аксель был единственным студентом во всей Дании, который получил в этом году диплом.

— А сколько мы всего наготовили! Ужас!

— София! — одернула ее профессорша.

Аксель рассыпался в благодарностях — восхищался их заботой, туалетами дам, едой. Он, который терпеть не мог карт, перед обедом предложил дамам сыграть в бостон.

— На сладкое у нас будет миндальное печенье! — щебетала София. — Но сперва вам придется отдать должное холодным закускам.

— Перестань, София! — строго сказала профессорша. Гусь, ножки которого были украшены бумажными оборками, придал мне мужества. Я пытался встретиться глазами с Анной. Но ее глаза играли со мной в прятки, под сверкающими огнями люстры.

Потеряв голову от страсти, я сдернул с нее платье, но этого никто не заметил. Потом я уложил ее среди копченой лососины, мясного рулета, анчоусов и красной солонины.

Наконец-то мы совокупились. Там, на столе. Ее ноги жадно обхватили мои бедра. Я видел их сквозь подставку с двумя графинами, в одном было вино, в другом — датская водка. Ноги у Анны были непередаваемого золотистого цвета. Груды ее лежали в корзиночке с хлебом. Я схватил их. Подержал в руках. Внимательно рассмотрел. Потом взял ее губы. Прямо с блюда. У них был вкус желе из красной смородины и миндального печенья. Я еще долго ощущал его.

Мы с Анной не принимали участия в застольной беседе. Я следил за каждым ее движением. И не видел никого, кроме нее.

Один раз мой взгляд упал на Акселя. С каменным лицом он разговаривал с профессором и его женой. Мне захотелось погладить его по щеке. Но это было бы неприлично.

После обеда перед мужчинами распахнулись двустворчатые двери в

библиотеку. Там можно было курить.

Но я еще не покончил с Анной. Так же как и она со мной. Хотя платье она уже надела.

«Сейчас она исчезнет, и мне придется пить коньяк и курить сигары с Акселем, профессором и теми двумя, у которых нет лиц», — подумал я.

Не знаю, откуда у меня взялась смелость, но я сказал:

— Не покидайте нас, фрекен Анна!

Она замерла, уставившись на меня, а потом вопросительно подняла глаза на профессора. Он сделал вид, что не заметил ее взгляда. Но она пошла со мной.

Анна нарушила обычай. Возможно, ей будет сделан выговор. Но это потом. Делать замечание в присутствии гостей не полагалось. Профессору нравилось играть роль либерала с современными понятиями. Он выступал за то, чтобы женщины могли получать образование и приобретать профессию.

Анна села на пуфик у ног отца. Спина у нее была прямая, лицо — серьезное.

Как же я проглядел это раньше! Анна была похожа на героиню из книг матушки Карен. Только не знаю, на какую именно. Но я встречал ее там, это точно.

\* \* \*

В библиотеке профессора было много ценных изданий. Я вдруг вспомнил, какое настроение воцарялось в Рейнснесе, когда туда прибывали ящики с книгами для матушки Карен, — сладостное предчувствие чего-то прекрасного. Иногда книги прибывали издалека. Незадолго до ее смерти прибыл ящик с книгами из Копенгагена. Матушке Карен присылали и немецкие книги. Она читала их мне по-немецки и переводила содержание своими словами. Это были мои первые уроки немецкого. Она читала вслух так много стихов Гейне, что ей приходилось время от времени снимать пенсне и вытирать глаз, который у нее постоянно слезился.

Я не очень разбирался в стихах, но слушал, не шелохнувшись. Ее голос уносил меня куда-то ввысь. Но тогда я этого не понимал.

Сегодня, глядя на Анну, я думал, что, кроме меня, матушке Карен не с кем было разделить радость поэзии. Уже тогда я чувствовал, что стихи бывают полны лунного света и боли.

Если чтение происходило днем, в высокие окна падали снопы света и кружились в медленном танце с мебелью и стеблями, изображенными на обоях. Когда же становилось темно, матушка Карен зажигала высокую

лампу с зеленым стеклянным абажуром. Черный литой херувим держал этот зеленый купол высоко над головой. Книга и руки матушки Карен казались покрытыми зеленым мхом.

Этой лампы больше не существовало. Я уронил и разбил ее, когда услышал, что меня отправляют учиться в Тромсё.

Ящик с книгами стоял посреди комнаты и был полон разных запахов. Пыли, бумаги и старых газет; которыми были переложены книги. Чуть-чуть пахло также влагой и плесенью.

Однажды я узнал этот запах в одном копенгагенском антикварном магазине. Можно было подумать, что от него на сердце станет грустно и сладко. Но там, среди книжных полок, я ощутил острую боль во всем теле и поспешил на улицу, чтобы не задохнуться.

В богатой библиотеке профессора, обставленной обитой кожей мебелью, я вдруг подумал, что комната матушки Карен существует для меня более реально, чем многое окружающее меня каждый день. Она принадлежала мне. Я носил ее в себе.

Снопы света. «Хижина дяди Тома». Сказки Андерсена. Вергеланд — «Еврей», «Еврейка» и «Английский лоцман». Все это лежало там, дома, среди подушек и ковров. И кто бы когда бы ни зажег в комнате свет, все герои тут же оживали.

А теперь я сидел среди чужих книжных шкафов и смотрел на Анну.

В библиотеке профессора все было крупнее, холоднее и по-мужски целесообразнее. В прошлый раз это не произвело на меня такого впечатления. Возможно, я тогда ни о чем не думал, кроме Анны. Теперь же я как следует разглядел библиотеку, потому что присутствие Анны усиливало разницу между профессорской библиотекой и комнатой матушки Карен.

— Ну как, молодой человек, вы по-прежнему читаете Кьеркегора? Или работа в клинике и чтение медицинской литературы не оставляют вам свободного времени? — спросил профессор, протягивая мне рюмку коньяку.

— Раз уж вы спросили об этом, господин профессор, должен признаться: мне хочется перечитать, что Кьеркегор пишет о том, как Авраам собрался принести в жертву Исаака, — ответил я, принимая у него рюмку.

— Стало быть, старый патриарх не минует суда Божьего. А ты, Аксель, что скажешь на это? Ты ведь сын богослова.

— Я не считаю богословие своей сильной стороной, — ответил Аксель.

— Вот-вот, всего, что связано с жертвой Авраама, я и не понимаю в

этой книге, — вмешалась в разговор Анна.

Профессор великодушно налил ей рюмку хереса.

Я насторожился, когда профессор заговорил о Кьеркегоре. Его слова придали мне отваги, и я уже не мог сдержаться.

— Странно, но слова Кьеркегора я всегда слышу произносимыми голосом моей бабушки. Она была верующая, читала мне вслух... Так или иначе, но эти слова стали моим девизом, когда я пытался составить для себя образ отца, — сказал я и сел на свободный стул напротив Анны.

— Почему?.. — начала Анна, но профессор перебил ее:

— Зачем составлять себе образ отца? Отец — это отец, он есть, и к этому нечего прибавить.

— Возможно. Но мой отец умер еще до моего рождения.

Воцарилось молчание. Все глядели в свои рюмки. Один из гостей что-то сказал, но я его не слушал. Дождавшись, когда он замолчит, я продолжал:

— Наверное, именно этим и объясняется моя реакция.

— Реакция на что, господин Грэнэльв? — спросил профессор.

— На образ богобоязненного, справедливого отца. Этот глубоко верующий Авраам был готов принести в жертву Богу своего сына, даже не потрудившись сказать об этом тем, кого это также касалось. Тому же Исааку. И Сарре.

— Вы берете отдельный эпизод из религиозного мифа и рассматриваете его с бытовой и человеческой точки зрения, — улыбнулся профессор.

Его улыбка больше, чем слова, разозлила меня. Но я сдержал раздражение.

— Если миф об отце всего лишь отдельный эпизод и обязывает к молчанию и фанатической вере в Божество, мне остается только радоваться, что мой отец умер так рано, — сухо сказал я.

Опять наступило мучительное молчание. Его нарушало поскрипывание профессорских башмаков.

— Авраам не мог никому ничего сказать, тогда бы он провинился перед Богом, — равнодушно заметил Аксель.

Я вдруг понял: Иаков виноват не в том, что он умер до моего рождения, а в том, что он умолчал обо всем. Что висел на стене в черной овальной раме, улыбался неестественной красивой улыбкой и был для меня тем же, чем для всех, кто смотрел на его портрет.

Во всем этом не содержалось никакого предупреждения. О том, что я буду принесен в жертву.

— Так же как мясник очищается, глядя в глаза животному на заклании,

человек должен быть честным по отношению к сыну, которого по той или иной причине приносит на заклание. В моих глазах Авраам всегда был нечестным трусом, хотя моя бабушка и Кьеркегор боготворили его. Одно дело — исполнить волю Божью, другое — каким образом человек ее исполняет.

Я перевел дух после этой тирады. Профессор сидел с дымящейся сигарой, брови его были нахмурены. Аксель выглядел озабоченным.

— А я согласна с господином Грэнэльвом, — вдруг сказала Анна. — Я всегда не понимала, как это Кьеркегор не замечает, что умалчивание — тоже грех. Тот, кого приносят в жертву, должен знать, почему это делается.

Второй гость без лица что-то сказал, но я даже не стал вслушиваться в его слова. Когда он замолчал, заговорил профессор:

— Вы, молодые, слишком нетерпимы. У вас нет чувства соразмерности. Вы не понимаете значения мифа.

— Что вы имеете в виду, господин профессор? — вежливо спросил я.

— Что я имею в виду? Извольте, скажу! Авраам был избран Богом, чтобы принести эту жертву. Он должен был также принять на себя тяжесть своего молчания — ведь он не мог ничего открыть тем, кого любил и кого это тоже касалось. Отношение Авраама к людям было подчинено его отношению к Богу.

— Я все-таки не понимаю, почему он не мог сделать и того и другого, — заметила Анна. — Почему он не сказал Исааку и его матери, что Исаак должен умереть?

— И что, по-твоему, тогда сделала бы Сарра? — со вздохом вмешался Аксель. Было видно, что разговор наскучил ему.

— Пожертвовала бы своим сыном, чтобы угодить мужу, который в свою очередь хотел угодить Богу, — дерзко ответила Анна.

— А Исаак? — По голосу профессора было слышно, что разговор забавляет его.

— Позволил бы принести себя в жертву, потому что скрыться ему было негде, — сказал я.

— Любопытно, — заметил профессор.

Он перевел взгляд с Анны на меня. Потом опять на Анну.

\* \* \*

Пришла черно-белая горничная и сказала, что кофе подан в гостиной. Я задержался в библиотеке. Когда все, уходя, повернулись к нам спиной, я смело коснулся запястья Анны. Она не отдернула руку. Но продолжала внимательно следить за отцом, который теперь рассуждал уже о

современном медицинском образовании.

А Аксель? Он смотрел на нас? Странно, что я даже не подумал об этом.

— Очень важно, чтобы существовала тесная связь с клиниками и чтобы опытные медики вели занятия со студентами. Это их долг. Надо усовершенствовать существующий порядок, при котором студенты как можно раньше начинают стажироваться в той или иной клинике.

— Нельзя допускать, чтобы врачи начинали практиковать, не пройдя ординатуру. — Аксель внимательно наблюдал за мной и Анной.

Мы заняли места вокруг низкого кофейного стола. Дамы тоже. Я бессовестно втиснулся между Акселем и Анной.

Аксель бросил на меня презрительный взгляд.

— Пример Вениамина подтверждает эту мысль, — сказал Аксель. — Ведь ты и на войне был, и роды принимал. Правда? — Он насмешливо улыбнулся. Такую насмешливость мог позволить себе только очень близкий друг.

Он имел в виду тот случай, когда я принимал ребенка, который не правильно лежал в утробе матери.

— Ну, что касается родов, это далеко не так безусловно, — вмешалась профессорша. — Нужно считаться с чувством стыдливости, присущим каждой женщине, уважать личные пожелания, хотя, конечно, студентам необходима практика.

— Пока что клинический курс по акушерству у нас проходят только ординаторы, но не студенты, — мягко сказал профессор и погладил жену по руке. — Я считаю, что студентам необходимо минимум два семестра, чтобы они были готовы оказывать подобную помощь. Что же касается практических занятий в клиниках, они должны стать более систематическими.

— Разумеется, при этом необходимо помнить, что нельзя разрешать всем студентам подряд осматривать женщин, страдающих женскими болезнями, — сказала профессорша.

— Простите, но я с вами не согласен, — вмешался я. — Когда идет речь о трудных родах, нельзя считаться с застенчивостью. Ведь доктор должен знать о родах больше, нежели простая повитуха. От этого зависит жизнь и матери, и ребенка.

Этого говорить не следовало. Я понял это по Анне.

— Несомненно. Но нельзя и оскорблять женщин, превращая их в подопытных животных. Это вульгарно, молодой человек, — сказала профессорша.

Значит, мои слова оскорбили ее.

— Врача нельзя ставить на одну доску со всеми мужчинами, — примирительно сказал профессор.

— Но от этого он не перестает быть мужчиной! — Голос профессорши звучал резко.

— Будем довольны, дорогая, что этот молодой человек не взял на себя неприятных практических задач, — заметил профессор.

— Боже мой, как мне надоели ваши медицинские разговоры! — воскликнула София. — Давайте лучше поговорим о лете. Куда кто поедет?

— Вы собираетесь съездить домой, господин Грэнэльв? — спросил у меня профессор.

— Этого я еще не решил. В Копенгагене трудно получить место ординатора. Во всяком случае, сразу после окончания.

— Я уговариваю его съездить к моим родителям, — сказал Аксель.

Кажется, я даже рот раскрыл от удивления.

— И был бы рад ответному приглашению! — Аксель явно дразнил меня.

— Как интересно! Тогда бы ты мог присутствовать на обручении Акселя и Анны! — вырвалось у Софии.

Наступило неловкое молчание, которое нарушил Аксель:

— Вот именно!

— Простите! Надеюсь, я не выдала тайну? — покраснев, спросила София. — Ведь Вениамин Грэнэльв лучший друг Акселя!

— Конечно! — Аксель был доволен.

Не думаю, что у меня было желание продолжать этот разговор. Я не спускал глаз с Анны.

Вскоре мы поняли, что пора уходить. Аксель поднялся. Мы ушли вместе.

В прихожей, когда мы прощались с хозяевами и благодарили их за вечер, я сжал руки Анны. Впился в нее глазами. Мне хотелось проникнуть в ее мысли так, чтобы она это почувствовала. Но я не мог спросить, поняла ли она меня.

Я мрачно шагал по аллее, заложив руки за спину. Аксель шел сзади, беспечно насвистывая.

— Ты не можешь жениться на ней! — Я был в бешенстве.

— Ты будешь моим шафером.

— Катись к черту!

— Тихо! Тихо! Не горячись! Давай выпьем по рюмочке, прежде чем разойдемся по домам.

— Мне больше не доставляет удовольствия пить с тобой!

— Ради всего святого, не будем ссориться!

— Почему же?

— Вот мы и коснулись этого! Наконец-то! Ты признаешь, что мы соперники?

— Нет, — буркнул я.

— Обещай хотя бы, что приедешь на праздник по случаю нашего обручения.

— Нет! Она не хочет выходить за тебя!

— Ошибаешься! — Аксель хитро улыбнулся.

Он почти бежал, чтобы догнать меня. Неожиданно он начал горланить песню.

— Я ей сказал, что ты ходишь к проституткам! — мрачно изрек я.

Он перестал петь и уставился на меня:

— Не лги! Ты не решился бы на такую подлость! Его глаза и рот казались узкими щелками на лунном ландшафте.

— Но ведь ты ее не любишь! — сказал я как можно спокойнее.

Он остановился. Осторожно взял меня за воротник и повернул лицом к себе.

— Это ты ее не любишь, — процедил он сквозь зубы.

— Думаешь, ты знаешь о любви больше, чем я? — Я вырвался из его рук.

— Любовь — это не состязание! — сердито бросил он.

— А что же это такое?

— Речь идет о том, что человек должен найти себе такую жену, с которой он сможет прожить всю жизнь. Анна замечательная девушка. И она...

Больше он ничего не успел сказать. Не знаю, что на меня нашло, но я вдруг заплакал. Сам не понимаю, как это получилось. Всклипывая, я объяснял свою слабость тем, что в последнее время слишком много занимался и часто дежурил по ночам. Что я плохо переношу коньяк и вино.

Мы стояли на Конгенс-Нюторв. Прохожие смотрели на нас. Улыбались, пожимали плечами и медленно уходили, обернувшись раз или два. Два молодых хама остановились, один из них смеялся, другой ловко передразнивал меня.

Вдруг я услышал, как что-то хрястнуло. И тут же тот, который передразнивал меня, уже лежал на спине.

Одним ударом Аксель сбил его с ног. Две женщины закричали. К нам подошли люди, возвращавшиеся из театра.

— Что тут происходит? — спросил господин в цилиндре и визитке.

— Этот человек плюнул на моего друга, который плакал, потому что у него случилось несчастье! — сердито ответил Аксель.

Толпа разглядывала лежавшего на мостовой парня. Дамы морщились. Потом все разошлись.

К нам бравым шагом подошел полицейский. Он тоже пожелал узнать, что случилось. Аксель повторил то, что сказал раньше. Но теперь сбитый им парень оправился настолько, что разразился бранью. И напрасно. Мир несправедлив к бранящимся. Полицейский принял сторону Акселя, схватил парня за шиворот и увел его.

Мы были одеты безупречно. А я к тому же не произнес ни слова.

Когда мы остались одни, насколько это возможно на Конгенс-Ньюторв, Аксель процедил сквозь зубы:

— Я все-таки должен выпить сейчас водки, даже если это будет стоить мне свободы!

Я поплелся за ним.

После третьей рюмки, которую мы выпили в красноречивом молчании, Аксель осторожно спросил:

— Неужели ты не понимаешь, что никогда не получишь ее?

Не отвечая, я бросил на него гневный взгляд.

— Ты хочешь жениться на ней? И увезти ее в свой медвежий угол?

Я по-прежнему молчал.

— Я ее знаю, она сбежит оттуда через два месяца!

— Катись к черту! — горько вырвалось у меня.

— И ты тоже! Мы помолчали.

Двоим студентам за соседним столиком, которые уже с трудом сидели на стульях, хозяин предложил отправиться домой в Регенсен, прежде чем их придется везти туда на тачке.

— Ты лицемер, — вдруг сказал мне Аксель точно таким же тоном, каким хозяин говорил со студентами.

Слово «лицемер» оживило меня.

— У тебя нет никакого права называть меня лицемером!

— Ты играешь с девушками, как кошка с мышью. Но когда это делает другой, ты возмущаешься и поднимаешь шум.

— Я не играю с девушками.

— Играешь!

— Когда? И с кем?

Он перечислил всех по именам. У него была хорошая память. Очевидно, он основательно развил ее, разучивая в детстве псалмы.

— Ну хватит! — Я не защищался.

— Мы даже гадали, уж не подцепил ли ты сифилис, когда вдруг одумался и сдал все экзамены.

— Кто гадал?

— Многие. В том числе и Анна.

— Подлец! Ты говорил об этом с Анной?

— Нет, она сама спросила меня об этом. Я бессильно откинулся на спинку стула.

— И что же ты сказал ей?

Он пожал плечами, опрокинул в рот остатки водки и вытер губы.

— Сказал, что не знаю, чему верить. Что ты все время сидишь дома над учебниками. Похудел и стал похож на пугало. Даже не моешься...

— А она?

— Сказала, что тебя надо спасать.

Я вдруг понял, что она не случайно встретила меня на улице. Меня нужно было спасать! Но почему? Значит ли это, что я ей небезразличен?

— Ты ей не нужен! — сказал я Акселю.

— Не нужен сейчас, буду нужен потом.

Я сплюнул, чтобы продемонстрировать свое отвращение и протест.

— Она сбежит от тебя в Лондон! — вырвалось у меня.

«Вот я и предал ее», — подумал я.

Но Аксель был невозмутим:

— Женщины из приличных семей не сбегают, хотя и грозят сбежать. — Он не спускал с меня глаз.

Я сильно опьянел. Это был тяжелый, невеселый хмель. Мы помолчали. Наконец он дружески похлопал меня по плечу и сказал:

— Хватит, Вениамин! Выпьем еще по одной, я угощаю. Сколько нам еще осталось быть вместе?! Скоро со студенческой жизнью будет покончено... Хорошая была жизнь. Мне будет... Да-да, мне будет недоставать тебя! Но надеюсь, мы с тобой попадем в ординатуру в клинике Фредерика и встретимся там опять!

Он снова похлопал меня по плечу.

— Неужели Анна поверила, будто у меня сифилис?

— Какое это имеет значение! С сифилисом ты еще интересней, чем без него, — сказал он. — А такие женщины, как Анна, любят спасать людей.

## ГЛАВА 8

Все последующие дни Рейнснес представлялся мне раем, скрывающимся за радугой. Я не чаял дожить до того дня, когда доберусь туда. Не говоря уже о том, когда вернусь туда насовсем. Много лет я внушал себе, что больше не считаю его своим домом. Но теперь он завладел мной, и я ни о чем другом не мог думать. Словно нашел старую детскую книжку с картинками и боялся открыть ее.

Я убеждал себя, что должен поехать домой ради Андерса и что еще неизвестно, получу ли я место ординатора в какой-нибудь копенгагенской клинике.

\* \* \*

Уже в Бергене мне стало известно, что солидные силы оказывают давление на норвежский стортинг, чтобы немного проучить шведского короля. Я не мог принять ничью сторону. Слишком долго меня здесь не было. Я даже испытал некоторое злорадство, оттого что и Норвегии приходится отстаивать свои права. Я еще не простил ей, что она позволила Дании одной принять на себя удар Бисмарка. Мне до сих пор было стыдно, когда я думал об этом.

Чем дальше на север шел наш пароход, выбрасывая клубы дыма, тем больше я жалел, что еду домой.

Спутник, с которым я делил каюту, мешал мне спать по ночам своим храпом. А в шесть утра он уже начинал кашлять и отхаркиваться. К тому же он болтал, не закрывая рта.

Я отвечал односложно. Помня, как я презирал Юхана, который вернулся из Копенгагена слишком «одатчанившимся», я решил говорить как можно меньше.

Мой спутник постепенно все ближе и ближе подбирался к столу, за которым я обедал. Он обложил меня со всех сторон, как зверя в логове. Когда один пассажир сошел в Брённёйсунде и за моим столом освободилось место, он пересел ко мне.

Когда-то я уже видел его. Оказавшись рядом со мной, он начал допытывать меня вопросами. Избежать этого было невозможно. Он и раньше давал мне понять, что знает, кто я. Но своего имени не называл. А я не спрашивал. Однако пытался припомнить, где я мог его видеть.

На губах у него играла самодовольная улыбка. Время от времени меня прошибал пот. Как будто я боялся, что сейчас он откроет мне страшную

тайну.

Сперва он еще сдерживал себя. Мы передавали друг другу блюда и молча ели. Потом он высоким визгливым голосом заговорил о Рейнснесе. От страха я покрылся испариной. Угроза содержалась не в словах, а в тоне, каким они произносились. Я то пропускал их мимо ушей, отвечая коротко и безразлично, то становился преувеличенно вежливым и внимательным. Однако он не внял этим предостережениям. Настроение за столом было не из приятных — все поняли, что я не хочу разговаривать с этим человеком.

Он выглядел весьма преуспевающим и был хорошо одет. Из-за безвкусных, слишком больших бакенбард его лицо казалось чересчур широким, словно отраженным в кривом зеркале. Говорил он подчеркнуто медленно, точно изрекал вечные истины и хотел привлечь внимание к важным насущным проблемам. Я весь бурлил, хотя он не сказал мне ни одного неприятного слова. Пока еще не сказал.

Я чувствовал себя ребенком, для которого этот пассажир олицетворял катастрофу. С той минуты как он упомянул имя Дины, словно она была членом его семьи, я уже не мог есть в его присутствии.

Он сообщил, что недавно ездил в Трондхейм по делам, и дал мне понять, что является известным и уважаемым человеком. Всем сидевшим за столом приходилось выслушивать, как он поет себе дифирамбы. Весьма витиевато он сообщил, что торгует неводами для сельди и охотно ссужает людей деньгами. Капитан, который тоже сидел с нами за столом, назвал одного своего знакомого и спросил, не приобрел ли тот невод для сельди у нашего хвастуна.

— Упаси Бог от этого человека! Он же неплатежеспособен!

Капитан больше ничего не сказал. Другие тоже промолчали. И наш собеседник продолжал гнуть свою линию:

— Я лично не занимаюсь рыбным промыслом. Мое дело — облагораживать морское серебро, если можно так выразиться. Даю возможность работать тем, кто в этом нуждается. Колесо вертится. Все идет к лучшему. Надо только понимать, куда ветер дует. Я слышал, что в Рейнснесе дела идут неблестяще. Это так?

Я сдался и отложил прибор. Почему он выбрал именно меня? Почему не донимает других пассажиров? Неужели это я сам спровоцировал его, спросив о его успехах? Или причина в чем-то другом?

— Я слышал из достоверных источников, что Рейнснес испытывает определенные трудности с платежами. Вам-то это должно быть известно. Это началось давно. После того, как затонула шхуна. Кораблекрушение всегда несчастье... Андерс, конечно, опытный человек, но у каждого есть

свой предел. Ему трудно справляться и с лавкой, и с усадьбой. Раньше делами занималась сама Дина Грэнэльв. Это все знали. Что было, то было...

Люди говорят... Да-да, Андерс пытался промышлять сельдь. Но ему не повезло, или уже не знаю, как это назвать... Похоже, что его вытеснил Страндстедет. Словом, с сельдью у него не получилось.

Мне захотелось его стукнуть. Или ущипнуть за пухлую розовую щеку. Но я только с растущим отвращением смотрел на его рот, который напоминал мне свиную задницу.

— Я был знаком с вашей матерью, — сказал он.

Солнце жарко светило в иллюминатор кают-компании. Хорошо бы уйти. Но для этого мне пришлось бы протиснуться мимо него, может быть, даже прикоснуться к нему. Кусок застрял у меня в горле. Его глаза жадно наблюдали за мной из своих щелок. Он не сдавался.

— Своевольная была женщина.

Он наклонился над столом и загородил мне проход.

— Между прочим, а почему она уехала? Ведь они только-только поженились? — Он вздохнул, очень довольный собой.

Я пробормотал какое-то извинение, протиснулся мимо него и вышел на палубу. Спрятавшись за трубой так, чтобы меня не было видно из кают-компании, я дал себе волю. Меня вырвало. Весь мокрый от пота, я испытывал мучительный стыд. В конце концов я устроился на каком-то ящике в третьем классе.

Здесь пассажиры и дневали и ночевали, питались они за свой счет. Они с удивлением разглядывали меня, но вопросов не задавали. Несколько часов я просидел там без верхней одежды.

Лопасты колес несли нас вперед. Я оправился настолько, что решил составить план, который помог бы мне выдержать оставшееся время.

Пункт 1. Необходимо придумать и задать этому человеку каверзные вопросы. Личного характера. О его семье, о материальном положении. Сделать вид, будто мне известно, что он кое в чем блефует.

Пункт 2. Необходимо парировать все его замечания по адресу Андерса и Дины и вообще всех членов нашей семьи.

Пункт 3. Надо сказать ему в присутствии всех, что его храп и харканье по ночам отвратительны и мешают спать.

Я немного успокоился и даже увидел в этой ситуации смешные стороны. Я возвращался домой.

Мне стало ясно, что каждое общество живет по своим законам. Законы, которые годились для копенгагенских пивных и медицинского факультета,

были неприемлемы на этом прокопченном от дыма пароходе, ползущем среди норвежских шхер. Здесь зависть и злорадство выглядели иначе и голоса у них были другие. Мне предстояло заново изучить местные нравы, иначе я здесь пропаду. Очевидно, в детстве я недостаточно познакомился с этой стороной жизни. Рейнснес защищал меня от нее.

К ужину мой план был готов. Я чувствовал себя начинающим режиссером, когда мой мучитель спросил меня в кают-компании, прошла ли моя морская болезнь.

— Я, видите ли, больше завишу от компании за столом, — ответил я. — Бывает, что глупая болтовня вызывает у меня тошноту.

Его коренастое туловище напряглось, он покраснел, но не осмелился спросить, кого я имею в виду. Первый раунд был выигран. Однако мое торжество длилось недолго. Он очень вежливо спросил меня, чем я занимался в Копенгагене.

— Учился.

— Это я уже понял. И кем же вы собираетесь стать, господин студент?

Подошла горничная с кофейником, и я воспользовался этим, чтобы переменить тему разговора, не удовлетворив его любопытства:

— Сразу видно, что ваш сын не учится в Копенгагене, иначе вы не задавали бы мне столько вопросов.

— Конечно... но...

— Я понимаю, это не каждому по карману. Слишком дорогое удовольствие. Вы любите кофе?

— Да, очень, — растерянно ответил он.

— А что вы пьете дома по вечерам — кофе, чай, водку?

— Ни то, ни другое, ни третье, — смущенно признался он с кривой улыбкой.

Пассажиры обратили внимание на нашу странную беседу и стали прислушиваться.

— Должно быть, вы не женаты? Что-то не помню, чтобы я слышал о вас. Наверное, ваша семья здесь мало известна?

Он лихорадочно поглощал пищу, но попался на мой крючок и ответил между двумя ложками, что он действительно не женат.

— Я так и подумал. Вы уж не обижайтесь. — Как режиссер я был доволен своим спектаклем.

Он не поднимал головы, потом глянул на пассажиров и снова стал бросать в себя пищу, словно наполнял топку парового котла.

Супружеская пара, сидевшая за нашим столом, оказалась невольной свидетельницей этих двух трапез. Я видел, что они на моей стороне. Они

ехали в Тромсё навестить дочь. Кроме этого, я почти ничего не знал о них, потому что инквизитор не давал никому раскрыть рта.

— Вы говорили об Андерсе. Когда вы видели его в последний раз? — Я брезгливо скривился, оттого что он громко отхлебнул кофе.

— Когда? Кажется, в шестьдесят первом на Лофотенах.

— Ясно. И вы совершили с ним какую-нибудь сделку?

— Да нет...

— Вы были на шхуне у Андерса?

— Нет, нет, — ответил он уклончиво и отодвинул тарелку.

— Но вы его хорошо знаете? Наверное, вы гостили в Рейнснесе у Дины Грёнэльв?

— Нет, не гостил...

— Однако вы хорошо осведомлены о делах Андерса, о лавке.

— Слухом земля полнится.

— Возможно, в тех местах, откуда вы родом, ловля слухов — единственный способ получать необходимые сведения. Ловля и передача их дальше. Так сказать, своеобразный гешефт. Уж не на нем ли вы разбогатели?

Моя дерзость доконала его. Он тяжело распрямылся. Помедлил, держа руки на коленях и глядя в пол. Потом встал и вышел из кают-компания. Лицо у него было ясное, как восход, а лоб напоминал омываемую морем скалу.

После его ухода за столом воцарилось молчание. Я не пытался ни извиняться, ни продолжать разговор. В глубине души я понимал, что зашел слишком далеко. Этот тип не заслуживал такой расправы хотя бы потому, что злоба в нем затмевала рассудок. Он был не в состоянии понять, что глубоко ранит людей. И уж конечно, не мог предположить, что, произнеся имя Дины, вызвал лавину чувств, над которыми я был не властен.

Торжество и раскаяние раздирали меня. Мне стало легче, когда я встретился глазами с седой дамой, передавая ей селедочницу. Она кивнула мне.

— Как приятно, что ночи становятся все светлее и светлее! — мягко сказала она.

— Да, — с благодарностью отозвался я. — Я уже почти забыл, как они прекрасны.

— Мы первый раз едем на север. От восхищения мы даже не можем спать. Наверное, вам было трудно покинуть эти места и уехать в Копенгаген?

— Всегда полезно узнать, как живут люди в других местах, — заметил

ее муж.

— Это верно, — согласился я.

— Думаю, после Копенгагена не так легко возвращаться сюда. Особенно если становишься предметом подобного внимания. — Он кивнул на дверь.

— Но вы прекрасно с ним расправились! — прошептала его жена, склонив голову набок.

В ту ночь я спал, несмотря на его храп. А может, он даже и не смел храпеть. Теперь этого уже никто не узнает. Однако утром он пересел за другой стол. И вскоре на всю кают-компанию снова звучал его инквизиторский голос, которым он медленно, с самодовольной миной рассказывал о банкротствах и семейных скандалах. Его новые сотрапезники молчали, опуская головы все ниже.

А лопасти колес тем временем работали уже в водах Вестфьорда.

Вскоре инквизитор сошел на берег, и никто не выразил сожаления по этому поводу. В мужской каюте и в кают-компании стало легче дышать.

\* \* \*

Ночью я проснулся от неприятного сна. Почему-то я испытывал сострадание. Я помню, что мне приснился этот проклятый инквизитор, но всего сна не помнил.

Мне стало жаль его, когда я понял, сколько в нем злобы, свидетелями которой были многие пассажиры. Но это единственное, что я запомнил из всего сна.

\* \* \*

Не знаю, чего я ждал, увидев на фоне зеленых полей дома Рейнснеса. Мне было невозможно стоять на палубе среди пассажиров. Я занялся своим багажом и несколько раз проверил, лежат ли в саквояже мои бумаги и два письма, которые я собирался отдать почтовому экспедитору. Приготовил за них восемь скиллингов и видел потом, как мои письма исчезли в сумке экспедитора, когда его шлюпка пристала к борту парохода.

Меня не покидало чувство, что я здесь чужой. Когда я увидел в лодке Андерса, мне удалось взять себя в руки. Он греб сам. Я чуть не заплакал. Но сдержался.

— Эй! Эй! — крикнул я и замахал руками, сообразив, чего от меня ждут.

Я не думал, что за эти годы Андерс так состарился и поседел. Не думал, что увижу новую лодку с незнакомым парнем на носу. Забыл, что море за

островами так безбрежно. Что при ярком солнце острова кажутся маленькими, как песчинки. И что у Андерса такие большие, натруженные руки.

Не узнал я и пакгаузов. Краска с пакгауза Андреаса почти облупилась. Дома как будто вросли в землю. Почему это дым, поднимающийся над прачечной, такой прозрачный? А люди на скалах? Почему они смотрят на меня, словно я призрак? Может, я и в самом деле призрак? Это мой дом или я только гость этих чужих людей, которые прочли мое имя в списке пассажиров, напечатанном в газете? Господи, что мне здесь делать?

Неужели человек, вернувшийся домой после долгого отсутствия, всегда чувствует нечто подобное?

Я много раз слышал, что перед тонущим человеком часто проносится вся его жизнь. Теперь я испытал это на себе. Передо мной промелькнула моя жизнь. Я ухватился за борт лодки. У меня кружилась голова, меня как будто избили. И все это перемешалось с дурацким жизнеописанием Пера Гюнта. Труса, лжеца и искателя приключений. Он был такой же, как я. Клок пены, затерявшийся в океане. А когда его наконец прибило к родному берегу, берег оказался чужим.

\* \* \*

Дочь Фомы и Стине, Сара, работала в конторе при лавке, она читала Андерсу вслух письма и газеты. В тот день она читала о том, что во фьордах полно сельди и что в Страндстедете много порожних бочек и свободных людей, готовых солить сельдь за деньги или за долю в улове.

— Нам надо солить здесь, в Рейнснесе, — сказал Андерс, глядя на Сару, словно она была его компаньоном.

— Конечно! Купим новый невод для сельди!

Андерс стукнул кулаком по столу, и столешница запела. Подбородок его глядел вперед, глаза смеялись. Он был как ивы на бугре, где стоял флагшток. В непогоду они пластались по земле. Но не ломались. Когда ветер стихал, они распрямлялись и покачивали кронами, словно никакой бури и не было.

Последний раз на Лофотенах Андерс заметил, что стал хуже видеть по вечерам. Сперва он объяснял это непогодой, которая в конце зимы причинила многим большой ущерб и часто не позволяла рыбакам выйти в море. Но дело было не только в снежных бурях и юго-западном ветре. Просто у Андерса сдало зрение.

Разные глаза Фомы — один голубой, другой карий — приветливо смотрели на меня. Я уже не помнил, из-за чего мы поссорились перед моим

отъездом. Однако разговаривали мы с ним мало.

\* \* \*

Свидетельницей моей прошлой жизни в Рейнснесе была Ханна. Но теперь она жила в другом месте.

— Ей хорошо живется. Правда, она редко приезжает к нам. — Стине, как всегда, была немногословна.

Сара сильно выросла. Этот редкий полевой цветок признавал только одно — складывать буквы в слова, чтобы они получали смысл. Андерс нанял Сару на всю зиму читать ему вслух газеты. Они договорились, что каждую субботу она будет получать головку бурого сахара, а летом он привезет ей из Бергена платье.

Эта девочка была старушкой с самого рождения. Она приволакивала одну ножку. Я заметил, что ступня у нее чуть-чуть вывернута. Я посадил Сару к себе на колени и стал массировать ей ножку. Она сидела тихо, как мышка.

— Тебе говорили, что ты похожа на Ханну? — спросил я.

Она кивнула и уселась поудобнее.

— А ты здесь ни на кого не похож! — сказала она. Глаза у нее были серьезные.

## ГЛАВА 9

Ища следы Дины в чулане и в сундуках, я понял, что нарушил обещание, которое дал себе, когда мне было семнадцать: не искать ее, если она сама не даст знать о себе.

Однажды вечером я отправился к Андерсу в контору.

Легкий ветер шевелил кроны деревьев в алее. Воздух остро пах инеем. Мне не хватало копенгагенских пивных и студенческой жизни. Природа Рейнснеса будила во мне угрызения совести, я чувствовал себя здесь неприкаянным и одиноким. Кто я? По своей сути я не был ни рыбаком, ни крестьянином, ни охотником. Да и торговцем тоже. И Дина, конечно, понимала это. Я сделал для Рейнснеса не больше, чем в свое время Юхан. Но в тот вечер я отступил от этого правила.

С последними гаванскими сигарами в кармане я шел к Андерсу, еще не зная, с чего начну разговор.

Он явно обрадовался, что я оторвал его от работы. Закрыв документы и убрал их прочь. Потом налил в рюмки ром и пригласил меня сесть на кушетку, которая стояла тут еще со времен Нильса. Кушетка была потертая, пружины громко скрипели, на подлокотниках болтались жалкие кисти. Пятна на кушетке свидетельствовали о неряшливости рыбаков и об обмывании сделок.

Я поинтересовался, чем Андерс занят. И он повел рассказ о том, что нам необходимо приобрести невод для сельди. Некоторое время я не прерывал его, кивал и даже задавал вопросы.

Когда же он встал, чтобы снова наполнить рюмки, я выпалил неожиданно без всякого перехода:

— Я собираюсь написать Дине.

Он стоял ко мне спиной, но от меня не укрылось почти незаметное движение, которое он сделал рукой и затылком. После чего застыл, казалось, уже навечно. Наконец он все-таки повернулся и посмотрел на меня:

— Этого я тебе запретить не могу. И протянул мне рюмку.

— У тебя есть ее адрес? — спросил я. Он поднял рюмку и медленно выпил ром.

— Я писал ей несколько раз... на берлинский адрес. Но ответа не получил. Это было давно. Больше уже не пишу. Ты знаешь, я не любитель писать письма. Надеюсь, у нее все в порядке.

Я судорожно глотнул воздух, чувствуя, как во мне закипает гнев. И

долго не поднимал глаз.

— Эти письма вернулись к тебе? — Нет.

— Значит, она их получила!

— Кто знает...

— Но не ответила, — с горечью сказал я и опустошил рюмку.

Он молчал.

— Но у тебя есть ее адрес?

— Да. Только она там, наверное, уже не живет. Берлин — большой город.

— А мир еще больше, — жестко сказал я. Он внимательно поглядел на меня:

— Почему ты вдруг решил написать ей? Ведь раньше ты ей не писал.

— Все мое время, — уклончиво ответил я. Он кивнул:

— Тяжелые времена теперь позади... Я собираюсь купить невод... Что ты намерен ей сообщить? Не стоит писать, что дела у нас идут неважно. Что толку писать об этом?

— Ладно.

Мы помолчали.

— Хочу написать, что ненавижу ее! — вырвалось у меня.

Такие глаза, как у него, я видел только у раненых, которых подбирали под Дюббелем. У тех, в ком еще теплилась жизнь.

— Как можно ненавидеть свою мать?

— Она сама виновата.

— Ты умный, но слишком строгий, — медленно проговорил он.

— А ты разве глупый? Для ненависти ума не нужно.

— Наверное, ты прав. — Он выпрямился и посмотрел мне в глаза. — Я не играю в азартные игры. Ненависть? Нет, это не для меня.

— Что же помогает тебе жить?

— Работа! — Он криво усмехнулся, хлопнул себя по колену и пригладил седые волосы.

Я не поддержал его улыбкой. Словно забыл, как должен вести себя мужчина в трудную минуту.

— И ты ни разу, даже мысленно, не упрекнул ее, когда вернулся из Бергена к разоренному очагу?

— Она не виновата, что шхуна утонула, — твердо сказал он.

— Но ведь ее уже не было, когда ты вернулся домой!

Он сидел согнувшись, упершись локтями в колени и уронив кисти рук. Усталый рыбак, благополучно вернувшийся на берег и закуривший первую трубку.

— У нее были на то свои причины, — проговорил он.

— Какие причины?

Он глянул на меня так строго, что я вздрогнул. Это были не его глаза. Это были глаза морского тролля.

— Ты самый близкий ей человек, тебе бы следовало это знать.

— Что ты имеешь в виду? — прошептал я. Неужели все эти годы я мечтал именно об этом? Что кто-нибудь скажет: «Я все знаю!» Может, сейчас это и случится?

— Что ты имеешь в виду, Андерс? — повторил я.

— Дина объяснила мне, почему она уезжает. Просила позаботиться о Рейнснесе.

Я не мог видеть его лица. Голова у него была опущена.

— Она благословила меня и все, что я делаю, — тихо сказал он.

— Благословила тебя?

— Да, как старые патриархи, о которых ты читал в Библии... Она благословила меня.

— Еще до того, как ты ушел в Берген и «Матушка Карен» пошла ко дну вместе с командой и грузом? Этого не может быть!

— Благословение я получил позже. В письме. Но она еще до того объяснила мне, почему должна уехать.

Керосин в лампе выгорел, и она начала чадить. Я увернул фитиль. В темноте мы стали как бы ближе друг другу. Даже слишком. Я отошел к окну.

— А можно мне взглянуть на это благословение?

— Я сжег его еще тогда.

— Почему?

— Оно могло попасть на глаза кому не следует. Он все знал! Я положил голову на плаху и ждал, когда упадет топор. Во рту у меня пересохло, мозг отказывался работать. Это был конец. Андерс все знал и скрыл это от меня.

— Неужели ее благословение обладало такой силой, что тебе пришлось сжечь его?

Я пытался говорить равнодушно. Пытался даже вложить в свой голос детскую ревность.

— Да, можно сказать и так. В этом благословении было многое сказано.

— И ты не захотел разделить его даже со мной?

— Меньше всего с тобой, Вениамин!

Я смотрел на черную кайму водорослей в заливе. Вспомнил, как в детстве темными вечерами они пугали меня. Так же как и их запах. Потом перевел взгляд на луну. Одинокая золотистая запятая на безнадежно

пустой фиолетовой странице книги.

\* \* \*

Я написал:

*"Рейнснес, 15 января 1869*

*Дина!*

*Тебе пишет твой сын Вениамин. Я вынужден написать тебе из-за Андерса и Рейнснеса.*

*С тех пор как ты уехала, прошло много лет. И за все это время Андерс не получил от тебя ни одного письма. Он пережил много тяжелого. Потерял в кораблекрушении „Матушку Карен“, но это ты знаешь. Погибла вся команда, в том числе и штурман Антон. Ни ихуна, ни груз не были застрахованы. Два года подряд не было рыбы. Приказчики в лавке менялись несколько раз.*

*Обо всем этом Андерс писал тебе. Я пишу по другой причине. Я прошу тебя сообщить Андерсу, жива ли ты. Ему надо жениться. Мало сказать, что он очень одинок. Ты могла бы расторгнуть свой брак с ним или найти какой-нибудь другой выход. Не знаю, что и будет, если ты опять не подашь признаков жизни.*

*Фома, Стине и их дети здоровы. Олине начала стареть. У ленсмана, насколько я знаю, все в порядке. Ханна вышла замуж и живет на Лофотенах.*

*Твой сын Вениамин Грэнэльв*

*Р. S. Если это письмо не дойдет до Дины Грэнэльв, прошу ответить того, кому оно попадет в руки.*

*В. Г."*

Я сам отвез это письмо на пароход. Словно боялся, что приказчик из лавки увидит его и бог знает что подумает.

Я мог бы написать ей, сколько собираюсь прожить в Рейнснесе или о том, что закончил медицинский факультет и надеюсь получить место ординатора в какой-нибудь клинике. Но я писал не ради себя. И она должна была это понять.

На что она живет? Андерс сказал, что никогда не посылал ей денег. Иногда я мысленно видел Дину под мостом в каком-нибудь незнакомом городе. Она была грязная, непричесанная, тело ее прикрывали жалкие лохмотья. А иногда она представлялась мне на сцене концертного зала в черном шелковом платье, с блестящими волосами, падавшими на плечи, и

с виолончелью в объятиях. И публика с благоговением слушала ее.

Середины не существовало.

Я пробовал выпытать из Андерса что-нибудь еще. Но понял, что только заставляю его страдать. Уехав, Дина увезла с собой большую часть Андерса. Думаю, он никогда так и не решился оценить нанесенный ему урон.

Бывает, человек совершает глупость, которая оказывается чем-то вроде искупления его вины. Я пошел с Андерсом на Лофотены скорее чтобы утешить его, чем принести пользу.

На меня была возложена ответственность за счета и торговлю. Ну и, конечно, я должен был помогать там, где требовалось.

Мы шли на новой шхуне и двух карбасах. Места хватало и для нас, и для груза. Фрахт товаров для продажи на Лофотенах был выгодным делом. Особенно к концу сезона, когда у рыбаков, пришедших туда на небольших судах, кончались запасы. Тогда мы снимали шхуну с промысла и везли рыбакам соль и все, в чем они там нуждались.

Я должен был находиться при шхуне и вести счета. Андерс поставил меня на эту работу, чтобы избавить мои руки от ржавых крючков и мороза.

Сам-то он предпочитал лов. Для него лов означал свободу и приключения. А распухшие руки только прибавляли мужества.

— Даже если лов неудачен, он все равно дарит человеку радость. Все остальное, если это не карается законом, пусть ждет, когда мы вернемся с Лофотенов, — говорил Андерс.

Его люди были согласны с ним во всем. Они считали его непревзойденным артельным. Но что-то в нем, видно, было, что удерживало их на расстоянии. Какая-то аура, выделявшая его из всех. Он мог быть одет в робу и зюйдвестку, сморкаться в кулак, как все, и тем не менее уже издали было видно, что этот человек обладает властью. Над Андерсом из Рейнснеса можно было посмеяться, но никто не посмел бы смеяться над ним у него за спиной. Он умел без брани и угроз внушить к себе уважение. Ему хватало одного взгляда.

Мне это было приятно.

\* \* \*

Я пытался не подавать виду, что мне не нравится сидеть в наших складах на берегу и слушать вечные разговоры о погоде и перемене ветра. Меня мучил запах рыбьих потрохов и мокрой прокисшей одежды. Я как будто отбывал наказание. Но за что?

Ни разу я не заметил, чтобы Андерс проверял мою работу, однако знал,

что он ее контролирует. Я рассказывал ему про себя всякие забавные истории, и мы вместе смеялись над ними. Но рассказать ему о своей жизни в Копенгагене и о глупостях, совершенных мной там, я не мог.

Меня признали доктором не только люди из Рейнснеса. Случалось, к моей помощи прибегали и чужие. Меня просили оказать помощь при нарывах на пальцах, похмелье, кашле и простуде.

На Лофотенах мелочи не имели значения. Тут никого не интересовало, что у меня еще мало практики. Если требовался доктор, люди говорили, что есть тут один, который учился в Копенгагене, и мне оставалось только не ударить в грязь лицом. Расчет был простой: выигрыш или проигрыш, жизнь или смерть.

Доктор всегда доктор, даже если он еще неопытен. Ко мне относились с уважением. Раза два я предпочел бы, чтобы меня окунули в бочку с рыбьим жиром, чем видеть высокомерное уважение рыбаков и их косые взгляды.

Но мой отказ от полной доли в улове оскорбил их. Это была моя ошибка. Я поздно это понял. Они решили, что я не принимаю всерьез их труд, не уважаю его, как он того заслуживает. И не обладаю силой воли, необходимой для того, чтобы заниматься этим трудом.

Ведьмин выродок мог позволить себе отказаться от своей доли в улове, ведь он доктор. Ему не обязательно быть полноценным рыбаком, он может разгуливать в сюртуке и жилетке. Но они не сказали мне ни слова.

Если бы лов оказался неудачным, как было в первый раз, когда я ходил на Лофотены, они, наверное, не спустили бы мне моего промаха. Однако лов был хороший. И потому их гнев потерял силу, стал вялым, вроде трески, которую они поднимали на борт.

Глядя на Андерса во время непогоды, когда его лицо было так же спокойно, как горы, я завидовал ему. Он сам был морем. И ему никто не был нужен в такие минуты.

Не могу сказать, чтобы я недолюбливал нашу команду или пренебрегал порученной мне работой. Но это была не моя жизнь. И рыбаки понимали это.

Дина тоже поняла это и потому приговорила меня к книгам.

Я остерегался пить водку и не позволял себе объяснять рыбакам, что мир велик и не ограничивается одними Лофотенами. Это было бы глупо. Все равно что недооценивать противника только за то, что он пользуется другим оружием, чем ты.

Чтобы понять это, достаточно было один раз упасть на колени во время сильного юго-западного ветра в открытом Вестфьорде. Или отнести на

койку парня, которого проучили за пьянку.

\* \* \*

Дом, который мы снимали на Лофотенах, был относительно большой. Однако нам все равно было тесно. Мы с Андерсом делили одну койку на двоих. Над головой у меня висела полка с книгами и письменными принадлежностями. Никто к ним не прикасался и не отпускал никаких шуточек по этому поводу.

В тот раз, когда я мальчишкой первый раз был на Лофотенах, у нас в команде был рыбак по имени Туре.

Каждый вечер он читал нам вслух Библию. Все считали его очень набожным и не трогали. Но в первую же субботу он вернулся домой мертвецки пьяный, и рыбаки поняли, что ошиблись в нем. Они поинтересовались, почему он с таким упорством каждый вечер читает им Библию, и тут выяснилось, что Туре совсем недавно научился читать. Чтение стало его страстью. Ему было уже почти пятьдесят. И у него не было другой книги, кроме Библии. И других слушателей, кроме команды. Я мысленно видел перед собой этого человека: он торжественно читал по слогам Евангелие людям, которые засыпали от усталости и скуки. Но его это не смущало.

Я вдруг вспомнил Дину с ее виолончелью. Она тоже заставляла нас слушать через стены звуки виолончели. Я всегда просыпался от них. Всю ночь напролет виолончель в зале гремела, рыдала и смеялась. Теперь я лучше понимал, что значит давать то, чего никто не хочет принять.

Может, у людей просто не бывает выбора? Они сдаются и мирятся с тем, что есть. Как я в доме кожевника. Или находят в себе силы вырваться из заколдованного круга. Независимо от цены, которую им приходится за это платить.

Легко спастись, если ты шут. Если ты вызываешь смех, но при этом внушаешь страх. Шутов все боятся. Шут может смеяться над собой, и никто не поймет, что у него на уме и в чей огород он бросает камень. Но невозможно стать шутом по собственному желанию. Шутом надо родиться. Думаю, мне этого не дано.

\* \* \*

Я был рад, что на этот раз с нами нет того рыбака с Библией. По вечерам я тихо читал при свече. Это время было бы для меня потерянным, если б я стал делиться прочитанным с людьми, с которым делил кров. Я не гордился тем, что умею читать. Эта наука далась мне слишком легко.

Моей заслуги тут не было. Моя жизнь походила скорее на пассивное путешествие первооткрывателя, чем на борьбу. Думаю, у меня и не было склонности к борьбе. Я не понимаю правил игры. Когда-то я, несомненно, обладал способностью подчиняться. Но я зашел в этом так далеко, что оказался изгнанным.

Может, потому, что я неудавшийся шут?

\* \* \*

17 марта мы вернулись с Лофотенов.

Об этом дне в старинном календаре матушки Карен сказано, что теперь уже можно ложиться спать, не зажигая света. Но письма от Дины так и не было.

А вот место ординатора в клинике Фредерика я получил.

В мае я поехал с Андерсом в Берген — в том году раньше, чем обычно, — чтобы затем отправиться дальше в Копенгаген. Письма от Дины по-прежнему не было.

Я собирался уехать в Копенгаген, не сообщив ей своего адреса. Если она решила прятаться от меня, я тоже спрячусь от нее. Узнать что-нибудь обо мне она сможет только через Андерса.

Андерс стоял на крыше каюты и махал мне рукой, когда датская шхуна, на которой оказалось для меня свободное место, прошла мимо его «Лебедя» и вышла из Вогена. Стояло лето, но волосы Андерса были присыпаны снегом, и он махал мне платком, в который никогда не сморкался.

— Мне противна сморкаться в тряпку, — сказал он мне однажды, когда я был мальчиком.

Постепенно лицо Андерса расплылось и исчезло. Фигура уменьшилась. Чуть-чуть сутулая спина. Широкие плечи. Руки. В честь моего отъезда Андерс надел морскую тужурку. Из-за нее он казался черным пятном среди мачт.

Носовой платок слился с небом.

У меня было чувство, будто я, взрослый, уезжаю, а он — мальчик, который вынужден остаться дома. Может, не так уж было и важно, кто из нас отец, а кто — сын.

Самое важное — не быть брошенным.

Почему Андерс даже не спросил, ответила ли Дина на мое письмо? Не попытался отговорить меня от возвращения в Копенгаген?

Скоро он вернется домой. Вечера станут темными. В большом доме в Рейнснесе будет пусто. Глухое эхо одиноких шагов Андерса будет

раздаваться в коридорах, по которым гуляет сквозняк. Потом в свои права вступит бездомный ветер. И ему подчинится все. В пустые комнаты будут долетать голоса из буфетной и кухни. Мороз нарисует на стеклах цветы. Особенно в тех комнатах, где никто не живет. Андерс будет бродить по дому между живыми и мертвыми. И ему не для кого будет разводить в печке огонь.

Я сам несколько раз относил на берег ее картонку со шляпами и видел, как она исчезает в морской дали. Стояло лето. Но каждый раз я как будто промерзал насквозь.

Не понимаю, как Андерсу удалось, испытав все это, остаться живым.

## ГЛАВА 10

В июле в Копенгагене обычно стоит жара.

Несколько дней я провел дома на Бредгаде со спущенными шторами. Я освежал в памяти свои знания, перед тем как явиться в клинику Фредерика в качестве ординатора.

Иногда я все-таки выбирался из дому. В одну из пивных по соседству с Регенсенем. Знакомых я почти не встречал. Студенты либо где-нибудь работали, либо уехали из города. Аксель гостил дома у родителей.

Было немного досадно, что я вернулся в Копенгаген в самый разгар лета. Но я старался не терять времени. Читал, спал и пил пиво.

\* \* \*

Однажды я совершил дерзкий поступок.

Надел свежую рубашку, цилиндр, как подобает кандидату медицины, и отправился с визитом в семью профессора. Без Акселя это было немного странно. Но я внушил себе, что врач-ординатор, получивший место в клинике Фредерика, может позволить себе такой шаг. Благодаря этому визиту я мог бы попасть на какой-нибудь летний бал. Или пригласить Анну с Софией в Тиволи.

Горничная, по-видимому новая, с любопытством уставилась на меня. Нет, дома никого нет, профессор в клинике, а хозяйка с дочерьми на даче.

Я не спросил, где именно. Это было безразлично. Я все равно не мог бы явиться туда без приглашения.

Меня одолели жалость к себе и одиночество. Поэтому однажды вечером я отправился на Стуре Страндстреле, чтобы повидать Карну.

Мне открыла бабушка Донс. Я не мог определить ее возраст. У нее был старый надтреснутый голос и морщинистое лицо. Но глаза живые и настороженные. Очевидно, бабушке в ее возрасте было трудно так много работать. Она разносила газеты. Подметала улицу. Убирала у людей. Продавая газеты или позволив себе отдохнуть пять минут на солнышке где-нибудь на крыльце, она подкрепляла силы старой трубкой.

Бабушка рассказала мне, что Карне повезло и летом она получила место сиделки в клинике Фредерика. Если все будет в порядке, она вернется с дежурства утром.

Бабушка говорила вежливо и равнодушно. Я слишком давно у них не был.

\* \* \*

Карна. Вспоминал ли я о ней в Рейнснесе?

Она вдруг стала мне необходима. Я должен был увидеть ее. Набравшись храбрости, я тем же вечером отправился в клинику. Я прошел через сад, чтобы проверить, сидят ли там сестры милосердия и сиделки с чашками какао, наслаждаясь вечерним покоем. Если они там, не исключено, что Карна сейчас одна в своем отделении.

Они расположились на скамейках и стульях вокруг столиков с точеными ножками. Чашки с чаем или какао стояли среди их рукоделия. Если бы я не знал, что тут больница, я бы решил, что попал в какое-то заведение, где женщины носят одинаковые голубые халаты. У всех были аккуратные пучки на макушках или красиво уложенные косы, но передники кое у кого были не совсем чистые.

Только по их голосам и по смеху можно было догадаться, что сиделки все-таки женщины.

Я напустил на себя уверенный вид и деловито прошел через сад. Чтобы попасть в отделение, я предпочел все-таки воспользоваться черным ходом. В коридоре мне попала только одна сиделка. Я остановился и сделал вид, будто кого-то жду. Глупо было бы подвергать себя допросу этих женщин. Они были еще почище Олине. Хотя, по мнению профессоров, сиделки недостаточно следили за гигиеной, в вопросах дисциплины это были настоящие церберы.

Бабушка сказала, что Карна работает на «чердаке» — так среди персонала называлось это отделение. Я его хорошо знал. Туда поднимались по узкой крутой лестнице. Рассказывали, что один больной после операции свалился с носилок, потому что санитары забыли застегнуть ремни. На его счастье, он уже находился в больнице.

На «чердаке» было две палаты. Мужская и женская. Если не ошибаюсь, в каждой было по три койки. Здесь лежали инфекционные больные и больные с белой горячкой.

Помню, что старшая сиделка отделения отличалась удивительной добротой и каждый вечер пекла для больных яблоки на плите, стоявшей в темном коридоре.

Я не ошибся, запах печеных яблок чувствовался уже на лестнице.

\* \* \*

Карна стояла у плиты. Ее скрывали шкаф и комод, которым не нашлось места в «закутке». «Закутком» называли крохотный чулан в углу одной из палат, который предназначался для сиделок.

Наверху пахло не только яблоками, но и нечистотами. Ведра

опорожнялись только около полуночи и стояли в коридоре весь долгий день.

Это было неприятно, но терпимо. По крайней мере сразу было ясно, если у кого-то из больных случился понос.

Я смотрел на спину и талию Карны. Она не слышала моих шагов — их заглушал громкий кашель в палате.

Форма была Карне велика и свободно болталась на ней. Однако не могла скрыть очертания ее фигуры. Волосы у нее были убраны под платок, так же как и в полевом лазарете.

Дверь в одну из палат была приоткрыта. В коридор падал свет, зеленоватый от абажуров. Казалось, будто Карна стоит у плиты среди зеленого леса и ждет, когда я сзади обниму ее.

Серая кошка, мякнув, оторвалась от ее юбки и подошла ко мне. Тогда Карна оглянулась и увидела меня. Не знаю, обрадовалась ли она, но она улыбнулась.

Кто-то громко кашлял и отхаркивался в палате под зеленым лесным светом.

— Ты? — сказал она. — Да.

С Карной всегда было так. Стоило мне остаться с ней наедине, и она безраздельно завладевала мной. Становилась частицей меня. Я был не в силах отличить ее от себя, пока мое желание не было удовлетворено.

— Как ты вошел сюда?

— Через черный ход. Там, где стоят судна и лежит грязное белье, — шепотом ответил я. Мое желание становилось неуправляемым.

— Она может прийти в любую минуту! — предупредила Карна, когда я обхватил ее за бедра и прижал к себе.

Она — это старшая сиделка.

— Она вышивает в саду и пьет какао, — прошептал я.

— Не лги! У нее болит голова, и она пошла к себе, чтобы немного поспать. Мне пришлось самой печь яблоки, — спокойно сказала Карна и обняла меня за шею.

— Я тебя подожду. — Я прижался губами к ее губам.

— Нет. Здесь нельзя оставаться. Сиделку, которая работала до меня, уволили потому, что она принимала тут мужчину, пока старшая сиделка отдыхала в «закутке».

Она говорила шепотом, но руки ее еще крепче обхватили мою шею.

— Тем более никто не подумает, что ты делаешь то же самое, — сказал я.

Это было какое-то наваждение! Я должен был овладеть ею тут же, за

шкафом.

В палате начался новый приступ кашля. Кто-то поднимался по лестнице, но шаги остановились этажом ниже. Карна быстро выскользнула из моих рук и понесла в палату яблоки. Перед тем она сунула мне в рот кусок горячего яблока, и я отпрянул, освободив ей дорогу.

\* \* \*

Ведро с нечистотами наконец опорожнили, и шум тяжелой повозки золотаря замер вдаль. Пока Карна бегала с тазами, утками, суднами и тряпками, я сидел, затаившись на стуле за шкафом.

Ошалевший от радостного возбуждения, я наблюдал, как она ходит из двери в дверь. Зеленоватый свет лампы подчеркивал синюю темноту ночи, проникавшую сквозь маленькие окна под потолком. Иногда свет падал на стены и нарушал ночной покой тараканов, их орды разбегались во все стороны и прятались по углам. Я разделял волнение тараканов. Кошка спокойно дремала у меня на коленях. Один раз она встала и повернулась по часовой стрелке, перебирая мягкими лапами по самой уязвимой части моего тела.

Неожиданно вернулась старшая сиделка. Однако в коридоре было темно, и я успел спрятаться среди одеял, висевших за шкафом. Кошка чуть не выдала меня. Но дружеский пинок заставил ее понять, что мне сейчас не до нее.

Старшая сиделка вздохнула, пожаловалась на головную боль и спросила, все ли в порядке. Карна прошептала «да» и сказала, что ночью справится и одна.

— Правила для всех одинаковы, — вздохнула старуха и пошла по палатам.

Я понял, что, если не уйду сейчас, она непременно заметит меня, когда вернется. Поэтому я стрелой бросился вниз и спрятался под лестницей.

Правила одинаковы для всех, но старуха была явно на нашей стороне, потому что опять где-то прилегла.

Наконец из-за стены послышался храп. Больные заснули. Скоро я освобожусь из своего плена! Теперь только это имело для меня значение.

В дверях появилась Карна. Прижав палец к губам, она другой рукой поманила меня к себе. Я показал ей на шкаф. Мне казалось, что за ним самое подходящее место, — я хотел отодвинуть тазы и устроить Карну на стоявшей там скамье. Думаю, среди ее юбок я представлял бы собой весьма занятное зрелище.

Но Карне это пришлось не по вкусу. Она провела меня через палату

мимо ширмы, которую заранее поставила перед кроватью, где лежал единственный больной. Он тихо стонал во сне под зеленым абажуром керосиновой лампы.

Наконец мы с Карной оказались в «закутке».

Как давно мы не были вместе! От нее пахло припарками и арникой, печеными яблоками и потом. К этому примешивался едва уловимый запах крови и тлена и словно предупреждал об опасности. Таинственный, первозданный, свежий и влажный.

Я с трудом глотал воздух.

\* \* \*

Карна! Будь благословенна твоя способность к самоотдаче даже тогда, когда больной, которого мучил кашель, поворачивался в постели и мы с тобой тонули в его столах! Будь благословенна твоя способность не замечать струпья и сукровицу, грязные колбы и тазы!

Это ты посвятила меня в ординаторы клиники Фредерика. Как легко ты справилась с этой задачей! Даже после того, как я заявил профессору Бангу, что спинной мозг — это хвост головного.

Карна!

Ты помогла мне поверить в себя и получить триста талеров — жалованье врача-ординатора. В ту ночь мы почти не разговаривали. Место не располагало к беседе. И время требовало не слов, а действий.

Один раз я шепотом произнес ее имя. Но и этого было уже много. Она закрыла мне рот, и страсть понесла нас дальше.

Когда все было кончено, я спустился по лестнице, легкий, как ночная бабочка. Я крался в темноте, преследуемый запахами и страхом разоблачения, стараясь не попадать в полоски зеленого света, который просачивался через дверные щели. И был счастлив, что я в Копенгагене!

Карна! Тогда я еще не ощущал себя древним старцем. Тогда я еще не отнял у тебя жизнь.

\* \* \*

Тогда мне еще снились письма от Дины.

Случалось, просыпаясь утром, я помнил их наизусть. Но в почтовом ящике для меня ничего не было.

Тем временем подошла осень. Теперь я был не только ночной бабочкой на «чердаке» клиники Фредерика. Я входил в число избранных счастливых, которых приняли туда в ординатуру.

Тот же привратник, которого я помнил со времени, когда приходил

сюда на практические занятия, сидел в деревянной привратничкой и следил за порядком. Он совсем не изменился с тех пор. Стоило мне появиться, он тут же ожил. Нет, здесь все оставалось по-прежнему. Даже пятно на его ливрее, даже вопросы и интонация.

— Что у вас в сумке? Куда вы идете? Вам назначено время?

Я бы засмеялся, но мне было не до смеха. Привратник уже не пугал меня. Будучи студентом, я кланялся ему, словно начальнику королевской гвардии. Теперь я коротко бросил:

— Я иду к помощнику главного хирурга!

Он подозрительно кивнул, сделав вид, что не узнал меня, и начал объяснять, как пройти.

— Я знаю дорогу!

А вот помощник главного хирурга сразу признал меня. Это придало мне мужества.

Я спросил у него про Акселя и узнал, что Аксель на обходе.

— Где вы родились? — Ему нужно было заполнить какие-то бумаги.

Я ответил.

— Да-да, верно. Ведь вы тот самый норвежец, который говорит по-датски! — сказал он, скрипя пером.

Я не был уверен, что в его словах не содержалось иронии, и потому промолчал.

— Итак, вы один из наших десяти ординаторов, которые должны явиться завтра ровно в половине восьмого. Палата "П". Оттуда начинается врачебный обход.

Мы просили бы вас пройти через главный вход в коридор, куда выходят аудитории, потом подняться в коридор рядом с операционной и там снять верхнее платье. Студенты и ординаторы часто прибегают в последнюю минуту, пользуясь входом с Амалиегаде, и являются на обход прямо в верхней одежде. Это недопустимо!

— Мне известны правила! — Я поклонился.

— Они всем известны. Но доктор Саксторп требует, чтобы их еще и выполняли.

Я промолчал, снова поклонился и пошел к двери.

Началась новая жизнь. Рейнснес отодвинулся куда-то далеко. Анна была отрезанным ломтем.

Когда Карна работала, я спал. Или наоборот — она спала, а я работал. Иногда я приходил к ней на «чердак», и она милостиво принимала меня. Но случалось, она вытирала вспотевший лоб и махала рукой, чтобы я ушел. «Чердак» в клинике Фредерика был не самым подходящим местом для

громких возражений.

Но мелкие подарки она принимала. Особенно по воскресеньям, когда я являлся с ними к ней домой. Ее бабушка до сих пор поглядывала на меня с вежливым недоверием.

\* \* \*

Однажды в больничном кафе я как бы между прочим спросил у Акселя:

— А что слышно про Анну? Он вскинул на меня глаза:

— Анна в Лондоне.

Я кивнул и перевел разговор на другую тему. Андерс прислал мне письмо. Все свои надежды он связывал с новым неводом для сельди. Так шла наша жизнь.

## ГЛАВА 11

Бисмарк заявил, что война — естественное состояние человека. Он блестяще разыграл свои карты, заставив всю Европу оставаться нейтральной. Никто не помог Франции, когда Бисмарк явился туда со своей огромной армией и превратил «триумфальное шествие французов от Страсбурга до Берлина» в кровавое поражение.

Об императрице Евгении, сидевшей в Париже и не разрешавшей своему больному мужу покинуть поле сражения как побитая собака, говорили с презрением. Я мысленно видел несчастного императора, которого, словно ненужный хлам, возили среди военного снаряжения и прочего багажа. Императорская мантия провоняла от крови, порвалась, а о стреляющих пробках шампанского и думать забыли.

Когда Бисмарк низверг императора, императрица бежала в Лондон. Как и многие, я отождествлял себя с императором и презирал бежавшую императрицу.

В Париже тем временем шло брожение. Рассказывали, будто Бисмарк смеялся и говорил: «Даю один день революции в Париже и иду туда!»

Он так и сделал. Осада Парижа стала фактом. Железное кольцо превратило Париж в тюрьму. До нас доходили слухи о голоде, холоде и отчаянии. Все, кто был побогаче, давно уехали из города. Бедняки остались и теперь умирали от голода. Такой страшной зимы Париж еще не знал. Говорили, что в Париже у смерти два помощника: голод и мороз. Но все оказалось еще хуже. Ненависть к тем, кто капитулировал перед Бисмарком, привела патриотов к ненависти против Национального собрания и богатых буржуа.

Бедняки считали, что Коммуна, словно сезам-сезам, откроет им врата рая. Быть буржуа считалось еще хуже, чем солдатом. В тот майский день, когда версальские войска вошли в Париж, там воцарилось безумие. Казалось, огромная мухобойка прихлопнула целый рой комаров. Жизнь человека стоила меньше, чем сапоги и пуговицы на его мундире. Версаль расстрелял своих пленников, а Париж объявил, что во имя святой мести за каждого погибшего будет отрублено по три головы. Париж был объят огнем.

Разрушай, ибо жизнь коротка! А потом придет новое счастливое общество!

В конце концов Национальное собрание объявило Тьера героем. Он позволил уничтожить тридцать тысяч человек.

\* \* \*

Тем временем я ходил между клиникой Фредерика и своим домом на Бредгаде, как отшельник в башне без окон. Больше всего меня мучила мысль, что Дина в Париже. Я мысленно видел ее на кладбище Пер-Лашез в гряде трупов, свезенных туда после очередной казни.

Ночь за ночью мне снилось, что она старается выбраться из-под трупов, однако медленно и бесповоротно погружается все глубже и глубже. В конце концов мне была видна уже только ее ступня.

На правом мизинце у нее не было ногтя. Не помню, чтобы я раньше видел это, хотя не знать, конечно, не мог.

Постепенно жизнь во сне стала для меня более реальной, чем все, что происходило в клинике.

Там самым главным была сдача очередной темы. Например, новое снотворное средство — хлоралгидрат, — которое так пришлось по душе и больным, и медикам. Эфирный наркоз. Сифилис, первая, вторая и третья стадии. Действие сифилиса на нервную систему и кровообращение человека было еще недостаточно изучено, и это затрудняло лечение. Тем не менее для наружного лечения применялась мазь со ртутью, а для внутреннего — препарат каломель. Оба средства преследовали одну цель — вызвать сильное слюноотделение.

В ту ночь, когда Дина на моих глазах исчезла в горе трупов, я заявил, что русского убил я. Во сне, конечно. Реакция ленсмана меня не удивила. Он был в ярости, оттого что член его семьи мог совершить убийство.

На другой день во время обхода больных я представил себе, как меня будут судить.

В одной палате лежал молодой парень, у которого был большой нарыв на ноге. У него был такой несчастный вид, что он мне даже снился.

На обходе с парня откинули одеяло, и один из студентов должен был держать его ногу, чтобы Аксель наложил больному повязку из горячей овсянки. В нос нам ударило неопишное зловоние. Но до наложения повязки все по очереди должны были осмотреть и описать воспаленное место. Профессор стал выдавливать из нарыва гной.

Студент, державший ногу больного, закачался. Я стоял по другую сторону кровати и не мог подхватить его. Но успел подумать: достаточно человеку упасть, и он выбывает из игры.

С глухим стуком студент грохнулся на пол. — Унесите его! — приказал профессор. Студента унесли. Больше мы о нем никогда не слышали. Как, оказывается, все просто: упал — и готово.

Я думал о предстоящем мне судебном процессе, он представлялся мне похожим на длинную скучную лекцию о туберкулезе, который можно вылечить некоторыми препаратами. Если только вовремя начать лечение. Я заранее ощущал холодное презрение судей, которые, без сомнения, должны были поверить моему рассказу.

Тюрьма или туберкулез, какая разница! Для меня это было не больше чем фарс на тему страдания. Люди либо страдают, либо оказываются героями фарса. Почему меня должна миновать эта участь?

Одно время студенты и ординаторы использовали короткие передышки для праздных споров, например о неандертальцах. Я не любил спор ради спора. Стоять в коридоре и спорить, демонстрируя всем свое невежество, — ради этого не стоило ни жить, ни умирать. Моя же цель была проста и ясна, и возражать против нее было трудно.

\* \* \*

Не знаю, когда я первый раз понял, что русский снова вернулся ко мне. Из-за Дины. Из-за предстоящего судебного процесса. Это были какие-то смутные кошмары. Однажды мне приснилось, будто я насекомое, которое хочет спастись, забравшись под кучу старой листвы. Но как я ни старался, забраться под нее я не мог.

\* \* \*

Дина по-прежнему не писала! Какого черта она не пишет? Или я когда-нибудь чем-то ее обидел? Если не считать того раза, когда я оказался нечаянным свидетелем убийства русского. Но моей вины в том не было.

Вначале мои сны переплетались с лекциями, которые нам читали профессора. Или вдруг в них возникали строки из старого учебника Банга, выпущенного в 1789 году и безнадежно устаревшего. Я читал его как курьез, выуживая цитаты, которыми мог бы блеснуть, документально подтверждая безумство мира. Он соответствовал моему настроению.

Все сводилось к теоретическим болезням и абсолютной смерти. Природа, деревья, цветы, животные — все это была утопия. Здесь, в городе, среди камня и высоких кирпичных стен, мы почти не видели природы. Даже деревья в парках и на бульварах были уже мертвы. Не хватало еще одной войны. Зажженной спички. И от всего останутся только обугленные скелеты. Эта мысль завораживала меня. Я любил смотреть на пожары, уличные драки и читал трагические газетные заголовки как старый сутенер, который приходит в дома терпимости, но уже не получает от них ни удовольствия, ни дохода.

\* \* \*

Стоял октябрь 1871 года.

Мы с Карной редко говорили друг с другом. То есть она не говорила со мной. Она молчала. Но глаза ее говорили. И руки тоже.

Правда, однажды у нас все-таки состоялся разговор. Мне нужно было подвести своеобразный итог.

Было раннее воскресное утро. Мы с ней шли под дождем из клиники Фредерика. У нее было ночное дежурство, а я всю ночь болтался поблизости с Акселем и еще двумя ординаторами и хотел обрадовать ее, встретив у ворот клиники.

Серые пустые улицы пахли осенью. Я шел нараспашку, засунув руки в карманы. Рубашка на груди промокла. По плечам текла вода. С носа и волос падали капли.

Карна укрылась от дождя под большим рваным зонтом. Я отказался разделить с ней ее убежище. Чтобы идти с Карной под одним зонтом, нужно было обладать змеиной верткостью. Она двигалась как-то рывками, точно потревоженное животное. Могла остановиться ни с того ни с сего, и тогда спица зонта проткнула бы мне глаз.

Я попытался продолжить разговор о войне и мире, который мы с друзьями начали еще в пивной. Карна слушала молча, думая о своем.

— Никогда не мог понять, откуда у людей берутся враги, — сказал я. — Чем больше узнаешь людей, тем меньше понимаешь, что такое враг.

Карна остановилась и посмотрела на меня с таким выражением, будто я убеждал ее, что дождь — это высшее проявление справедливости. Потом достала носовой платок и медленно высморкалась, разглядывая при этом свою оторвавшуюся подошву. Внимательно изучив ее, она спросила:

— Ты голодный?

— Нет. А ты хочешь есть? — Я был сбит с толку.

— У тебя есть постель и кров над головой?

— Да...

— Тебя не бьют?

— Нет...

— Тогда тебе не понять, что такое враг.

Карна и раньше иногда раздражала меня своим практицизмом. Она могла часами молчать, а потом вдруг выкладывала свои трезвые, плоские соображения, возразить на которые было невозможно.

— Но войну-то я испытал на собственной шкуре, — мрачно заметил я.

Она помолчала и пошла дальше.

— Если тебе не хочется обсуждать этические проблемы из-за того, что ты женщина и у тебя не хватает образования, не надо. Можем и дальше молчать. Или говорить о ранах, поносах и изуродованных конечностях. — Я был оскорблен.

— Вениамин, ты когда-нибудь в чем-нибудь нуждался?

— Что ты имеешь в виду?

— Ты часто рассказываешь мне о своем доме, о занятиях в клинике... Ты говоришь о чем угодно, не потому что тебе это необходимо, а скорее из любопытства...

Я оторопел. Она вдруг напала на меня, словно я был избалованным маменькиным сынком. Разве мы с ней не вместе видели, как умирают люди?

— О чем бы я с тобой ни говорил, кончается тем, что ты нападаешь лично на меня!

— Прости!

Голос у нее был усталый. Она снова пошла. Шаги ее громко стучали по мокрым плитам тротуара и отдавались короткими ударами у меня в ушах.

— Карна, у тебя есть враги?

— Да.

— Я имею в виду не людей, которых ты недолюбливаешь или которые тебя раздражают. А настоящие враги? Которых ты могла бы, например, убить?

— Да.

— Кто?

Она не остановилась. Я схватил ее за руку. По лицам у нас бежала вода. Подол ее юбки промок насквозь. Мокрые пряди волос падали ей на лицо, зонт помогал мало. Ресницы слиплись, и с них капало на щеки.

На мгновение я потерял нить разговора. Почему-то я знал, что навсегда запомню ее такой — с мокрыми, тяжелыми от дождя ресницами.

Иногда у человека бывает чувство, будто то, что он видит, с ним уже было. Это не поддается объяснению. Я знал, что уже видел слипшиеся ресницы Карны. И что буду их видеть всегда.

— Кто? — повторил я.

— Это долгая история.

— Расскажи!

— Не теперь.

— Почему?

— Дождь. И я замерзла.

— А если бы не дождь?

— Вениамин, я устала.

Я замолчал. Ведь и правда она устала.

Начали бить церковные часы. На каждой церкви пробило по шесть ударов. Разными голосами, нестройно церкви переговаривались друг с другом. Мы шли через площадь Святой Анны — это была наша обычная дорога из клиники. Город был уже на ногах.

Когда мы подошли к Стуре Страндстреле, день смотрел на нас из всех окон, дверей и подъездов. Мы видели то чью-нибудь руку, то ногу. Заспанные лица выглядывали из-под шляп, зонтов или волос.

День и ночь смешали свои запахи. Ведра с нечистотами выливались прямо в канавы, мимо которых мы шли. И в то же время в просветах между крышами пробивались новорожденные лучи солнца.

Должно быть, именно эти лучи напомнили мне о свадьбе Дины и Андерса. Внутри каменных стен церкви начали вещать колокола. Крыша взмыла ввысь. Орган. Он не рокотал, как пишется в книгах. Он грохотал и гремел. У меня появился отец! Я сидел на первой скамье и видел, как по проходу идут Дина и Андерс. Бледные какой-то смертельной бледностью. Глаза у Дины были без зрачков. Зрачки исчезли в солнечных лучах, падавших в узкие, как шахты, окна. Листья за окном бросали тень на подходившую к алтарю пару. Они держались за руки, а тени танцевали по их лицам.

Я сидел в церкви и страстно желал, чтобы Дина, Андерс и я могли смеяться вместе.

Думаю, это желание живо во мне до сих пор.

Поэтому я взял Карну за руку и, наклонившись, подлез под ее дырявый зонт. Дырка пришлась как раз мне на лоб.

Карна взглянула на меня. Глаза у нее были серьезные и немного пустые. Наверное, мне следовало спросить, как она себя чувствует. Рада ли, несмотря ни на что, что в Дании нет больше войны? Не могу ли я чем-нибудь помочь ей? Но ведь она уже сказала, что устала.

Колокола перестали звонить. Мы молчали. Мне хотелось, чтобы первой заговорила она. Колокольный звон всегда будил во мне нелепые мысли. Мне стало интересно, что Карна думает о причастии. Меня почему-то всегда пугало, что людям дают кусочек хлеба и глоток вина из чаши. Что пастор велит им есть тело и пить кровь Христову.

От алтаря Дина и Андерс отошли с несчастными лицами. Это видели все. Им только что простились все грехи, но они выглядели так, будто их приговорили к смерти. Неужели они предчувствовали, что их ждет?

— Ты когда-нибудь причащалась перед алтарем? — спросил я у Карны.

Она в замешательстве подняла на меня глаза:

— Почему ты об этом спрашиваешь?

— Вспомнил церковь у нас дома.

— Почему?

— Я думал о грехах.

— Чьих грехах?

— Своих, — солгал я. — Ты веришь, что можно получить отпущение грехов?

— Да, но это довольно хлопотно... Ходить в церковь только из-за этого...

Она вздохнула.

— Ты права, — согласился я.

— Если бы отпущением грехов в церкви занимались женщины, они поставили бы там столы с угощением и скамьи, чтобы можно было посидеть и отдохнуть, чувствуя, как из тебя исчезает грех. А сейчас грехи отпускаются быстро и холодно. Похоже на излияние семени!

Карна уже не первый раз выражалась при мне подобным образом. Даже от Сесиль я не слышал ничего подобного.

— Но, Карна! — Я напустил на себя суровость. Потом засмеялся, почувствовав облегчение, что она дала мне повод для смеха. Но она не смеялась.

Мы подошли к ее дому. Она закрыла зонт и слегка встряхнула его. На руках сквозь светлую кожу просвечивали синие жилки. Мы вошли в большие мрачные ворота.

Задний двор благоухал всевозможными ароматами. Жареной свининой, кофе, прокисшими отбросами. Над нашими головами от окна к окну тянулись веревки с бельем. На фоне неба красовались салфетки, которыми пользуются при менструациях. Может, Карна не в духе, потому что у нее месячные?

Неожиданно тучи разорвало, и солнце окрасило салфетки красным. Второй раз за этот месяц они оказались красными.

Словно угадав мои мысли, она тихо сказала:

— Сегодня ко мне нельзя. Я должна выспаться.

Я хотел обнять ее. Но она увернулась, однако подняла ко мне лицо. Сперва я подумал, что оно мокрое от дождя, но потом понял — Карна плачет.

Мне следовало расспросить ее. Поинтересоваться, почему она несчастна. Не могу ли я помочь ей? Но я этого не сделал.

Я услышал ее шаги. Увидел спину. В своем старом пальто она

выглядела сутулой. Шлепала оторвавшаяся подошва. Карна как будто хромала.

Салфетки на веревке заколыхались от ветра. Дождь перестал.

\* \* \*

Странно думать, что, расспроси я ее тогда, все было бы иначе. Хотя вряд ли...

Карна никогда не соглашалась со мной. Мои серьезные беседы на отвлеченные темы тонули среди ее будничных дел и забот. Каждый раз, когда я пытался поднять разговор на должную высоту, выяснялось, что мы говорим на разных языках. А может, мне только казалось, что я пытался?

\* \* \*

Мокрый и усталый, я прямым ходом отправился в трактир Петера. Пока я завтракал, одежда на мне высохла.

Позже я, конечно, высчитал, что тогда она уже знала о беременности. Я не понимал, любит ли она меня. Она не говорила о своих чувствах. Да и я тоже. А может, нас с ней мучило одно и то же? Иногда трудно понять, что есть любовь, а что — одиночество.

Я так и не узнал, кто был ее врагом.

Я ни к чему не принуждал ее. Ничего не обещал ей. Почему она должна была считать меня своим врагом?

Она мне нравилась. Я жалел ее. Но на самом деле я ничего не знал ни о ней, ни о ее семье. Знал только, что она живет с бабушкой и братом в двух маленьких комнатухах. А теперь вот узнал, что у нее есть враг.

С ней всегда было легко и приятно. Она заполняла пустоту во мне. Не требовала помощи или обещания жениться. Не упрекала меня, что я навещаю ее от случая к случаю и большую часть времени провожу с друзьями. Я вообще не знал, о чем она думает.

Поглощая в то утро сыр и ветчину, я решил, что мне следует некоторое время держаться подальше от Карны. Наш разговор произвел на меня тяжелое впечатление.

Буду держаться от нее подальше, решил я. Может, именно этого она и добивается?

## ГЛАВА 12

Конечно, все это чистая случайность, но в то утро у дверей своей комнаты я обнаружил бандероль. Словно так было задумано режиссером. Я забыл о Карне.

Адрес был написан крупным неровным почерком Андерса. Прочная бумага. Бандероль была перевязана шнурком крест-накрест. Пересылку он оплатил с лихвой, чтобы у меня не возникло никаких трудностей.

Я повесил пальто на вешалку у дверей. Сбросил мокрые башмаки. Потом положил бандероль на стол у окна, сломал сургучную печать и нетерпеливо разрезал шнурок.

Внутри лежала жестяная коробка из-под табака из нашей лавки. Андерс понимал, что без надежной упаковки табак может в пути пострадать.

От этой коробки на меня повеяло домом. Я увидел Рейнснес. Один запах вызвал в памяти другой. У меня закружилась голова, и мне пришлось сесть.

Я снова был мальчиком. Неожиданно передо мной возникло лицо Стине. Ее руки складывали снятое с веревок белье, высушенное солнцем и ветром, спрыснутое ночной росой. Запах конюшни, сена, земли. Аромат кухни, где царила Олине. Сода и кислого теста. Тот особый запах ледяной каши и мокрых рукавиц, который появлялся ранней весной, когда работники заполняли водой кадки, стоявшие в сенях.

Я вдруг вспомнил, как однажды на морозе осторожно прикоснулся языком к железу, чтобы доказать, что я настоящий мужчина. А комнаты в Рейнснесе! Вазы для печенья на высоких ножках. Сигары. Сладкий запах накрахмаленных скатертей. Легчайшая пыль. Намек на нее появлялся на зимних шторах лишь к Пасхе. Коридор на втором этаже. Пахнущие лавандой стопки льняного белья, прокатанного вальком. Соломенные корзиночки Стине с розовыми лепестками и сушеными травами, стоявшие на чердаке. Сухой, надежный запах ведерок для золы, которые никогда не оставляли открытыми. Запах еще не опорожненных утром туалетных ведер. Запах людей, живших под одной крышей. Неуловимый след того, что все знали друг о друге, но о чем никогда не говорили вслух.

А Ханна! Сладкий запах ее пота и мокрых волос! Шерстяных чулок. Какой свежестью благоухала ее кожа! Я больше ни у кого не встречал такого аромата. А теперь им наслаждается кто-то на Лофотенах.

На меня вдруг навалилась тоска. По Ханне. Мне захотелось заглядить свою вину перед ней — ведь я вел себя с ней так, будто она была моей

собственностью.

Среди видений и запахов, хлынувших на меня из жестяной коробки, лежала Библия — Книга Ертрюд. Та, которая до отъезда Дины из дому лежала у нее на секретере.

Не знаю, чего я ждал. Но в первую минуту я испытал разочарование. Пока не прочел вложенное в Библию Динино письмо, я не понял, что Библию мне прислала она.

Я взял Библию в руки, открыл и ощутил исходившее от нее тепло, словно она была живым существом. В Библии я нашел письмо, вернее, два письма.

Одно было от Андерса. Я быстро проглядел его и раскрыл другое.

Уверенный, твердый почерк.

Мне так хотелось, чтобы это было письмо от Дины, что я не узнал ее почерк. Так хотелось, что у меня дрожали руки. Я все еще сомневался. Пришлось признаться, что я не смог узнать почерк собственной матери. В отчаянии я пытался вспомнить, как выглядели ее бухгалтерские книги и письменные распоряжения. Безуспешно.

Но содержание письма убедило меня, что написать его могла только Дина:

*"Дорогой Вениамин!*

*Посылаю тебе Книгу Ертрюд. Пусть она будет у тебя. Сохрани ее для потомства. Я бы очень хотела, чтобы ты приехал сюда и забрал виолончель. Ею никто не пользуется. И ей место в Рейнсесе. Но посылать ее туда слишком далеко.*

*Дина".*

В письме не содержалось никаких подробностей, только адрес, по которому я должен забрать виолончель. Подпись, как будто нарочно, была неразборчива.

От волнения и бессонной ночи я почти ничего не видел. Некоторое время я мерил шагами комнату. Потом сел и написал Дине письмо.

После вежливого холодного вступления, в котором я поблагодарил ее за бабушкину Библию, хотя и не понимал, зачем она мне, я написал следующее:

«Что же касается виолончели, я не приеду за ней. Я закончил курс с отличием и теперь работаю в ординатуре. Получив сегодня утром твое письмо, я принял решение: поеду домой и признаюсь ленсману, что это я осенью 1856 года убил из ружья русского Лео Жуковского. И приму

положенное мне наказание. Возможно, приговор будет не очень строгий, ведь я тогда был ребенком. Скажу, что был вне себя от ревности, потому что русский отнял у меня любовь матери и грозился увезти ее с собой в Россию. Мне, безусловно, поверят. Я попрошу Андерса сообщить тебе, чем все кончится. И тогда ты сможешь вместе с виолончелью вернуться домой».

Я написал ей свой адрес в Копенгагене, надел мокрое платье и вышел, чтобы отправить письмо.

Сперва мною овладело незнакомое торжество. Какое-то опьянение. Когда же я понял, что сам вынес себе приговор, оно сменилось страхом.

Сёрен Кьеркегор! Как он писал? Я помнил только смысл: когда человек обращается внутрь себя, он обретает свободу. Его уже не страшит судьба, потому что дел, связанных с внешним миром, у него нет, а свобода для него — все. Свобода для него заключается не в том, что он может поступать так или иначе, может стать или не стать королем или кайзером своего времени, нет, свобода для него — это сознание, что он обладает ею... Не считаться виновным, но быть им — вот единственное, чего он боится.

Я не был виновным. Но теперь я начал бояться людского суда. Физического лишения свободы. Унижения. Меня охватила дрожь, когда я понял, что у меня есть все основания сомневаться в том, что Дина захочет или сможет меня спасти. А если даже захочет? Что же она тогда, вернется домой? И мы вместе погибнем, осужденные людским судом?

Но дело было сделано. Письмо было написано и отправлено. Я сообщил ей о своих намерениях.

Вернувшись домой, я начал листать Библию. Некоторые страницы были загнуты. Позолота стерлась. Кое-что в тексте было подчеркнуто. Кое-где лежали закладки. Библия раскрылась передо мной на третьей главе Екклесиаста:

"Всему свое время, и время всякой вещи под небом;

Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное;

Время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить;

Время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать;

Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий;

Время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать;

Время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить;

Время любить, и время ненавидеть..."

На полях рядом с текстом было написано мягким карандашом: «Вениамину, Сыну Счастья».

Шатаясь, я дошел до кровати.

И услышал, как в моей комнате плачет мужчина.

\* \* \*

Я смотрел в узкие глаза змея. Этого змея я знал по картине, которая называлась «Грехопадение» и висела у матушки Карен. Свернувшись кольцами, змей приготовился к нападению. Его раздвоенный язык мелькал у меня перед глазами. Я почувствовал укус. У страха были ледяные зубы. Змей прокусил мне кожу и дышал в лицо. Я не смел шевельнуться. Тем временем яд начал действовать. Я был в плену и не имел возможности защищаться. Комната закружилась у меня перед глазами. Что-то упало мне на колени. Это была голова Ертрюд. Мы с ней оказались нерасторжимы. Все происходило медленно и в то же время очень быстро. Мы падали сквозь годы событий. Ее годы и мои. У нее изо рта фонтаном била слюна. Каждый фонтан заканчивался воздушным пузырем с картинкой. На этих картинках я видел Дину и себя. Мне не хотелось держать на коленях голову Ертрюд. Не хотелось видеть себя на этих картинках. Но освободиться я не мог. Пузыри с картинками прилипали ко мне. К лицу. К рукам. Я был обречен и принимать их, и видеть в них себя.

\* \* \*

Около полуночи я проснулся. Было очень темно. Контуры моей немногочисленной мебели обозначились на стенах мрачными тенями. Сквозь шторы просачивался слабый свет. Мне было трудно дышать.

Сон еще владел телом и головой, но в памяти от него осталась только отвратительная, липкая сырость.

Взгляд мой упал на стол, где стояла коробка из-под табака, которую прислал Андерс. Рядом лежала черная Библия, оставшаяся после Ертрюд.

Ертрюд умерла слишком рано, обварившись кипящей щелочью. Страшная смерть! Как будто ненастоящая. Точно это случилось не в жизни, а в страшной, жестокой сказке.

Когда нам читали лекции о лечении ожогов, я вспомнил смерть Ертрюд и задним числом испытал ужас. Так бывает, когда смотришь картины, на которых изображены сцены сражений. Или гобелены. Потертые, поблекшие нити создают картину давних времен.

Я почти ничего не знал о Ертрюд, кроме истории ее смерти. Дина никогда не рассказывала мне, как это случилось. Она тогда была

маленькая. Наверное, при всем желании она не могла бы ничего вспомнить.

Кое-что об этом я слышал от Олине. Но, по ее словам, самое страшное в этой истории было то, что произошло все накануне Рождества. Задавать вопросы ленсману не полагалось. Это я понял еще в детстве. Его следовало оберегать от приступов ярости, неприятностей, сердцебиения и спазм в желудке.

Поэтому задолго до моего рождения Ертрюд превратилась просто в женщину, которая перед Рождеством обварилась насмерть кипящей щелочью.

\* \* \*

Я встал и нетвердым шагом подошел к столу, на котором лежала Библия. Воздух был пропитан стеклянной пылью, и я дышал ею. Я по-прежнему находился будто за пределами самого себя. Был незнакомым самому себе человеком. Какой-то недодуманной до конца мыслью. Невостребованным наследством и в то же время ноющим грехом.

Я ощущал боль Ертрюд. И Динину тоску по опоре. После всех этих долгих лет боль Ертрюд и страх Дины перед заточением достигли меня.

Написав Дине, я взял их на себя. Они стали моими. Я хлопнул крышкой коробки, поднял и снова опустил шторы и долго ходил по комнате, чтобы прогнать этот неприятный сон. Лучше бы мне приснились портреты Иакова. Они не могли быть злыми. Мне хотелось снова стать маленьким и тосковать по Иакову. Мечтать о том, чтобы он вышел ко мне из черной рамы.

Но он не вышел. У него не было кожи, не было голоса. Была только вечная улыбка на красивом плоском бумажном лице.

Я слышал, как в моей комнате кто-то зовет отца. А может, это происходило не в комнате, а в моей голове. Крик распространялся по комнате вместе со скупым ночным светом. Словно это была тайна.

Я делал операцию на голове русского. От напряжения по лицу у меня тек пот. Я пилил кости, буравил отверстия, накладывал швы. Потом я забинтовал ему голову. Положил его в футляр от Дининой виолончели и отправился в путешествие по городам и весям, чтобы найти Дину и вернуть ей русского. Я вымыл его и натер ему щеки, чтобы на них появился румянец. Теперь он выглядел лучше, чем раньше. Потому что я удалил ему со щеки шрам. И это был не кошмар, а самый обычный сон.

Мне было нетрудно понять его смысл: я должен посетить Дину с приведенным в порядок русским.

Я чиркнул спичкой и зажег лампу. Меня мучила жажда. Вода в графине была несвежая. Но я все-таки напился. У воды был привкус железа. Или крови?

Снова прочитал письмо из Берлина. Некоторое время я наблюдал за собой будто со стороны. Словно хотел поставить диагноз больному, страдающему психическим расстройством.

Разочарование, вызванное письмом, было болезненной реакцией, воспалением внешних покровов. А вот страх от взятой на себя вины за убийство русского был неизлечим.

Вырвавшись из плена этих мыслей, я понял, что опоздал на дежурство в клинику.

Для руководства клиники я сочинил историю, будто заболела моя мать, которая жила в Германии совершенно одна, и купил билет до Берлина.

Не исключено, что меня грызло раскаяние из-за того героического письма, в котором я грозил взять на себя вину за убийство русского. Но не помню, чтобы я признавался себе в этом.

По-моему, мне просто хотелось увидеть Дину. Должна же она встретиться со мной, прежде чем я заявлю на себя!

Я полагал, что если мне известно местонахождение виолончели, значит, известно и местонахождение Дины.

С этими мыслями я пересек границу ненавистного мне государства Бисмарка. И познал, что, если человек не находит того, кого ищет, он может выместить это на другом. В Копенгаген я вернулся с виолончелью Дины, но не повидавшись с ней самой.

Я сидел в поезде, увозившем меня в Копенгаген, а Дина плясала между колесами, и рельсами. Час за часом она пела мне одну и ту же песню: «Ты должен ненавидеть меня, Вениамин! Ненавидеть! Ненавидеть! Изгнать из своей жизни!»

Я пытался отнестись к случившемуся разумно. Ничего другого мне не оставалось. Я говорил себе, что начитался старых философов и чересчур увлекся греческими трагедиями. Что в действительности трагедий не существует. Существуют только полководцы и трупы.

Русскому была предназначена трагическая роль в моей жизни, в результате которой Дину отправили бы на каторгу, а я остался бы в Рейнснесе как сын убийцы.

Но в действительности моя жизнь только началась с этого события. Оно было реальностью, за которую я мог ухватиться, сколько бы толстых книг ни прочитал и какие бы медицинские тайны ни постиг.

Бисмарк сказал однажды: «Сегодня я не мог спать! Я всю ночь

ненавидел!»

Я убедил себя, что ненависть так же вероломна, как и любовь. Она бледнеет и тонет в океане скучных и незначительных событий, из которых и состоит жизнь человека. В конце концов все сводится к тому, чтобы заставлять себя вставать утром с кровати. Поддерживать компромисс между душой и телом. Вспоминать редкую выпавшую на твою долю радость. Ведь важные, переломные события так же редки, как жемчужины в раковинах. Жемчужины вырастают из песчинок, которые раздражают моллюска. Случается, новая песчинка становится новой жемчужиной, но обнаружить ее трудно. Я мог утешаться следующим рассуждением: ты был единственный, кто видел, как Дина застрелила своего любовника. И что с того? Откуда ты знаешь, как сложилась бы твоя жизнь, если бы этого не случилось?

## ГЛАВА 13

Вернувшись из Берлина, я сосредоточил все внимание на своих обязанностях в клинике Фредерика. От ординатора требовалось так много, что на личную жизнь времени уже не оставалось. Обходы начинались ровно в семь тридцать пять.

К приходу профессора Саксторпа все должны были быть готовы. Помощник главного хирурга, ординаторы и студенты стройной чередой входили в отделение. Потом шли по палатам. Мы, ординаторы, под диктовку профессоров делали бесконечные записи в историях болезней. Потом следовали клинические лекции и зачеты. После десяти нам часто приходилось присутствовать в «Церкви» — так у нас называлась операционная. И наконец, мы посещали больных, которые лежали в одноместных палатах.

Я радовался хотя бы тому, что живу не при клинике. Большинство же ординаторов жили в павильоне над аптекой. Там было совсем неплохо, но я быстро уставал от людей. В дни дежурств я обедал в клинике, но обычно всегда стремился поскорее уйти к себе на Бредгаде.

Меня нервировал и раздражал даже вполне дружелюбный голос вдовы Фредериксен. Я открыл в себе и некоторые другие стороны. Однажды, например, я жестоко обошелся с одним умирающим привередой, который писклявым голосом гонял ординаторов и сиделок, как будто это были его лакеи. Мне доставило огромное наслаждение, когда он весь сжался и зашипел, точно лемминг, но он не пожаловался на меня. На другой день он был уже в морге, который находился между водолечебницей и крохотным садиком коменданта больницы. Я вспомнил о нем, когда шел мимо морга.

Общение со смертью и запах разлагающейся жизни были под стать моему душевному состоянию. Я не желал знать ничего, кроме книг и работы. Мне было важно помнить о том, что жизнь гроша ломаного не стоит.

Аксель только головой покачал, узнав, что я начал делать по утрам обтирания в маленьком помещении водолечебницы. Зимой он раз или два снимал у меня с волос сосульки.

— Ты всегда был склонен к преувеличениям, но чтобы дойти до самоистязания... — Голос у него дрогнул.

Зато я всегда был чистый!

\* \* \*

Если я отказывался принимать участие в пирушках, Аксель дразнил меня за отшельнический образ жизни. Я оправдывался тем, что плохо переношу алкоголь.

Несколько раз я ходил в Королевский парк и сидел на кашей с Анной скамье. Это было глупо. Она не приходила туда. Но однажды, сидя там ранним вечером и глядя на покрытые инеем деревья, я явственно ощутил ее присутствие. Ветер звенел замерзшими листьями, которые не успели опасть. Я увидел летящую ко мне Анну. Пусть это была лишь детская фантазия. Мне все равно было приятно.

Аксель не говорил о ней. Но случалось, он отступал от этого правила.

— В четверг я был на обеде у родителей Анны, — мог иногда сказать он, словно говорил о чем-то само собой разумеющемся.

— Угу, — мычал я. Или спрашивал:

— И вкусно тебя там накормили?

Тем временем я читал, что писал Кьеркегор о скрытой жизни любви. Мне казалось, что его выводы противоречили отчаянной тоске, звучавшей в его словах. А может, я ошибался — ведь я знал, что он отказался от любви.

\* \* \*

Женщины! У меня всегда стояли перед глазами все тайны женского тела. Женщины постоянно были со мной, и я мысленно, конечно, проделывал с ними самые невероятные вещи. Но в жизни я старался держаться от них подальше. Потому что не умел заставить их исчезнуть, когда они становились уже не нужны.

Я попытался обсудить эту тему с Акселем, и он тут же вынес свой приговор:

— Ты просто истаскавшийся кобель! Естественно, что я не остался в долгу.

— Через несколько лет, Аксель, мы с тобой перейдем в другую категорию, — с улыбкой сказал я. — Конечно, женское тело еще будет волновать нас, но тем не менее и женщины, и мечты о них уже уйдут из нашей жизни. Удачная карьера и благополучие наградят тебя брюшком. Ты научишься рационально относиться и к своему животу, и к женскому. Этому храму аппетита и спермы. Если через пятнадцать лет кто-нибудь заговорит с тобой о любви, ты начнешь излагать последние достижения медицины в этой области. Или заведешь разговор о ценах на зерно. Мне жаль бедное женское тело, которое в то время будет находиться рядом с тобой!

— Чего ты так злишься, братец? В чем смысл твоей злобы? — добродушно спросил Аксель.

— Ты никогда не замечал, что замужние женщины всегда выглядят так, будто их что-то не устраивает в сервировке стола? Или в соусе? На них больно смотреть...

— А что ты скажешь об интересе к женскому телу кандидата Грэнэльва? — прервал он меня с усмешкой.

— Мой интерес к женщинам не выходит за рамки обычного, зато мое нежелание таскать их за собой как багаж, по-видимому, встречается более редко.

— Да, и это твое нежелание проявилось уже несколько лет назад. Когда Карна приехала в Копенгаген искать работу. Правда, оно не помешало тебе время от времени посещать ее, хотя в то же время ты посматривал и на других, — сухо заметил он.

— Подруг надо выбирать из своего круга, — сказал я, чтобы закончить разговор.

Он выиграл этот поединок.

— Вот как ты заговорил! — сказал он, любивший называть себя самым испорченным пасторским сыном в Дании.

Я мог бы спросить его об Анне. Просто чтобы позлить, но он опередил меня:

— Ты по-прежнему видишься с Карной?

— Она дежурит, когда я бываю свободен, и спит, когда я дежурю. А что?

— Да так, ничего!

— Благодарю за внимание!

Я мог, конечно, сказать, что у него нет монополии на Анну. Но это ничего бы не изменило. У него была монополия на Анну.

\* \* \*

В сочельник я увидел Карну.

С того осеннего дня, когда я провожал ее из клиники домой, прошло много времени. Несколько раз я видел ее издали. Но не ходил к ней.

Операционную украсили еловыми лапами. У кафедры стояла рождественская елка с зажженными свечами. Практичность была и оставалась здесь главной заповедью даже на Рождество. Еловые лапы были воткнуты в чернилницы студентов. Таким образом чернилницы оказались полезными и в праздник.

Внизу возле перил, которыми был обнесен операционный стол,

установили старый орган. Голос у него был как у простуженного дворника. Я злился, оттого что его беспомощные звуки трогали меня и заставляли думать о Рождестве в Рейнснесе.

В толпе я увидел Карну. На волосах и на шали у нее лежал снег. Как всегда, от нее исходила почти не правдоподобная свежесть. Карна глянула в мою сторону и запела вместе со всеми. Я тоже посмотрел на нее. Большого и не требовалось. Мне до боли захотелось ее, несмотря на то что я, набожно сложив руки, пел рождественские псалмы.

Наконец служба кончилась, и я подошел к Карне. Она пополнела, и ей это шло. Она дышала здоровьем. Поэтому мне было легко улыбнуться ей. Я даже смело прикоснулся к ее руке. Рука была влажная и немного дрожала.

На бледном лице Карны играл нежный, свежий румянец. Золотистые волосы стали влажными от растаявшего снега. Она была серьезна и спокойна. Я не знал другой такой женщины, глаза которой сияли бы, даже когда она была усталой. Но таких глаз, какие были у Карны сегодня, я у нее еще не видел.

— Давненько... — тихо сказал я.

Она не ответила. Но не спускала с меня глаз. Я встревожился.

Несколько ординаторов, которые, как и я, не уехали на Рождество домой, махали мне, стоя у двери. Они звали меня пройтись с ними по кабачкам.

Мне стало не по себе. Меня беспокоили глаза Карны. Я не мог выдержать их взгляда. Кашлянув, я хотел распрощаться.

И тут Карна, словно маленькая девочка, которой хочется показать, какое у нее нарядное платье, распахнула свое потертое пальто. При этом она не спускала с меня глаз.

Но платье на Карне было старое. Она носила его уже много лет. Оно было даже красивое, однако не настолько, чтобы распахивать пальто.

И вдруг я все понял! Живот у нее округлился. И это был не только признак здоровья. В этот святой сочельник она просто показала мне, что с ней произошло.

О чем подумал тогда ординатор Вениамин Грэнэльв? Он подумал: «Значит, у Карны будет ребенок? Но какое я имею к этому отношение?»

Не исключено, что все было именно так. Секунды бежали как сумасшедшие. Я несколько раз тяжело вздохнул. Приятели снова замахали мне от двери. А я? Я вежливо поклонился Карне, глядя ей поверх бровей, пожелал счастливого Рождества и ушел.

Но ее округлившийся живот уже начал точить мой мозг.

Когда мы сидели и пили темное пиво, я думал примерно так: она бы, безусловно, предупредила меня. Просто она встречалась с кем-то другим и не могла признаться мне в этом. Поэтому и не давала знать о себе все это время. Только поэтому!

После Рождества я узнал, что Карну уволили со службы из-за этого постыдного обстоятельства. Раза два я собирался навестить ее. Несмотря ни на что, мы были старые друзья или как там это называется. Однако, к стыду своему, должен признаться, что, позволив ее животу точить мой мозг, я не предпринял никаких шагов.

\* \* \*

Но ведь я ждал, что меня вот-вот отправят на каторгу за убийство! Ни о чем другом я тогда не думал.

Иногда, правда, я задавал себе простые, но опасные вопросы:

— А что если Дина действительно умерла? Может, именно поэтому я не получил от нее письма и мне уже нет нужды брать на себя ее вину?

И неизменно одинаково отвечал самому себе:

— Дина жива! Почему она должна умереть? Просто не хочет дать знать о себе. Думает, будто может по-прежнему управлять моей жизнью, как управляла раньше жизнью всех нас. Но она ошибается!

— А чего ты добьешься, взяв на себя это убийство? — продолжал я разговор с самим собой.

— Она будет вынуждена... — Что?

— Осознать, что я существую...

— И что тебе это даст?

На этом разговор обрывался, ибо мой ответ был ответом маленького обиженного ребенка.

У меня появилась сентиментальная привычка читать Ветхий Завет, словно я был проповедником. И я написал Юхану письмо на богословскую тему. Между строк я упрекнул его, что, живя в Копенгагене в одно время с Кьеркегором, он ни словом не обмолвился мне о нем, когда бывал дома. Я вовсе не хотел припирять Юхана к стенке, просто мне пришло в голову, что Дине не понравилось бы, что я с ним переписываюсь. Но ведь переписываться с ней я не мог!

Он ответил мне дружески, но коротко. Он ездил на Рождество в Рейнснес к Андерсу. Это была настоящая благодать, несмотря на неудобства зимнего путешествия. Что же касается Кьеркегора, он с радостью ждет меня домой, где мы сможем поговорить о произведениях этого безумца. Безусловно, жаль, что он умер таким молодым.

Поблагодарив меня за то, что я подал признаки жизни, он закончил свое письмо словами: «Твой брат Юхан с любовью думает о тебе».

Живот Карны не был научным тезисом. Он продолжал точить мой мозг. Два раза я уже отправлялся к ней на Стуре Страндстреле, но по пути менял курс.

\* \* \*

Еще до утреннего обхода в клинике я заметил в Акселе нечто необычное. Он издали бросил свое пальто, и оно послушно повисло на вешалке, прибитой к стене. Что-то явно случилось.

Анна вернулась в город!

— Она теперь замечательно владеет английским! — доложил он.

— Вот как? Тогда тебе ради нее стоит пойти в дипломаты!

Радость погасла в его глазах. Он отошел, не сказав больше ни слова.

Мы получили задание работать в лаборатории и оказались в непосредственной близости друг от друга. Освещение там могло кого угодно довести до безумия. Эта лаборатория всегда наводила меня на мысль об алхимиках, которые ради того, чтобы получить золото, продавали душу дьяволу.

— Прости, я не хотел тебя обидеть, — начал я первый.

— Я устал от тебя!

— Прости!

— Я думал, ты с этим покончил.

— Я тоже так думал, — солгал я.

— Если не покончишь, быть беде!

— Я просто тебе завидую! — сказал я. — Ты так уверен в себе!

Аксель клюнул на эту приманку.

— Давай вечером куда-нибудь сходим, — дружески предложил он.

— А она придет?

— У нее сейчас много дел.

Мы продолжали получать золото в лаборатории клиники Фредерика.

Вечером мы отправились в кабачок, где пела одна певица. Аксель любил сидеть у самой сцены. Он улыбался певице, словно она пела только для него.

— Смотри, какая у нее короткая юбка, — сказал он.

— Хочешь, я попрошу ее надеть что-нибудь другое? — засмеялся я.

— В субботу следует быть добрее, — заметил он, — ведь поет она хорошо.

Вокруг нас клубился табачный дым. Певица стояла на невысокой сцене,

ее голова, плечи и грудь поднимались над его облаками, и мы видели, как шевелятся ее губы. Расстроенное пианино с бездарным пианистом было частью этого представления. Господин в пенсне и котелке, решив, что Аксель хочет отбить у него певицу, рассердился и начал громко разговаривать во время пения.

— Да заткнитесь же! — рявкнул Аксель, довольный тем, что привлек к себе внимание.

Господин не сдавался, он хотел оттеснить Акселя от края сцены. Я угостил его сигарой и дернул Акселя за рукав.

— Садись! — велел я ему.

— Это еще почему?

— Ты раздражаешь этого господина!

Аксель послушался и сел. Но он был в ударе. Особенно потому, что певица бросала на него многозначительные взгляды. Он попросил ее спеть песню о Копенгагене.

Господин в котелке был явно недоволен. Бросив взгляд на Акселя, певица сделала знак пианисту. Аксель добился своего: она пела для него:

*Есть ли город, что, как наш, веселью,  
Музыке и танцам вечно рад?  
Целых восемь вечеров в неделю  
В Тиволи кишат и стар и млад.  
В городе две дюжины театров.  
И не даром я в него влюблен:  
По певице в каждом погребочке —  
Вряд ли это знал и Вавилон.*

Потом он потребовал, чтобы она спела про любовь. Но тут уже господин в котелке привлек на помощь товарища. Тот щелкнул пальцами, подав знак крупной собаке непонятной породы, которая лежала у него под столиком. Вид собаки внушал уважение.

Аксель сдался. Он великолепно владел искусством отступить в последнюю минуту. Но настроение у него упало, и нам пришлось заказать еще пива.

## ГЛАВА 14

В голове у меня стоял стук. Я был бочкой, в которой что-то грохотало. И внутри, и снаружи. Бочка имела явный металлический привкус. Я открыл пересохший рот. Потом глаза. В комнате стоял туман. Некоторое время я выжидал, пытаюсь найти удобное положение в этой грохочущей бочке.

Потом понял, что кто-то ошупью идет по коридору. Неуверенные быстрые шаги, свистящее дыхание. Ломающийся мальчишеский голос выкрикнул мое имя. Ему ответил визгливый голос хозяйки.

Я снова открыл глаза и увидел, что лежу, прижавшись щекой к чьим-то не совсем чистым ногам. Аксель лежал на спине и тупо смотрел на стоявшего в дверях парня. Мы с Акселем лежали валетом. Он, видимо, рухнул и заснул рядом со мной.

— Я уже приходил вечером. Тебя не было дома, — проговорил парень, взмахнув рукой.

Я стал перелезать через Акселя. На это потребовалось время. Как почти все серьезные ситуации, эта была глупой.

— Скорей! Скорей! Карна рождает!

Аксель был песчаной косой, на которой я сел на мель.

— Карна рождает! — опять крикнул парень.

Я выбрался из постели. Сунул голову в ведро с водой, чтобы окончательно проснуться, и одновременно напился. Хорошо, что я мог глотать, а то бы наверняка захлебнулся.

— Бабушка велела привести тебя! У нас нет денег на доктора!

Я огляделся, пока вытирал голову. Брюки, рубашка, сюртук, чемоданчик с медицинскими принадлежностями. Должно быть, я сразу сообразил, что случилось. По-моему, я даже ничего не спросил у парня.

Когда я заходил к Карне, мы с ним иногда перебрасывались парой слов. Но как его звали, я не помнил.

Аксель ожил. Его движения напоминали движения разъяренного быка. Он, как и я, нырнул в бочку с водой. Потом затряс головой, чтобы стряхнуть воду с волос. Спешащий морж!

— Я иду с тобой! — объявил он. Я не возражал.

\* \* \*

Время приближалось к полудню. Тени милосердно прикрывали наши лица. Мы бежали всего несколько минут, но мне показалось, что прошла

целая жизнь. В глазах рябило. Кто-то вгонял гвозди мне в голову.

Мы выбежали на Стуре Страндстреле, и я думал, что сейчас услышу крики. Роженицы всегда кричат. Но в квартале Карны рыдала тишина.

Два раза я присутствовал при приеме родов. Один раз ребенок родился мертвым. Но для матери это было избавлением — она не была замужем. Считается, что надо принять роды не меньше трех раз, чтобы приобрести нужный опыт. Я цеплялся за эти слова, а сердце мое пыталось выпрыгнуть из груди.

— Она потеряла много крови, — предупредил нас парень, пока мы бежали через двор.

\* \* \*

Карна лежала, вцепившись руками в столбики изголовья. Суставы у нее были белые. Казалось, она помнит лишь то, что надо крепко держаться за собственную кровать.

Белая ночная сорочка сбилась ей под мышки. Сорочка была совершенно мокрая.

Терзаемое схватками тело дугой выгибалось над тюфяком. Бабушка на коленях стояла возле кровати. Поднявшись, она крикнула мне:

— Помогите ей! Помогите!

Я встретил налитый кровью взгляд Карны. Но она меня не видела. Словно меня тут и не было. Рот у нее был открыт. Я видел, что она хочет закричать. Но крика не получилось.

Машинально я делал то, чему меня учили. Аксель, как мог, ассистировал мне. Два жалких школяра пытались на практике применить свои знания.

Ребенок шел спинкой. Я даже не знал, живой ли он. И по-моему, вообще не думал об этом. Мне нужно было извлечь его из Карны, потому что он мог разорвать ее.

— Согрейте воды! — распорядился Аксель.

— Она уже готова! — всхлипнула бабушка.

— Беги в клинику Фредерика и попроси, чтобы оттуда прислали опытного акушера. Речь идет о жизни! О двух жизнях! — шепнул Аксель парню, который тут же со всех ног бросился в клинику. Он был весь мокрый — видно, бегал уже давно.

Схватки шли без интервалов. Крови было очень много. Я безуспешно пытался ухватить скользкий комочек. Головка! Черт подери, должна же у него где-то быть головка!

Жалкое содержимое моего докторского чемоданчика ничем не могло

помочь мне.

— Его держит пуповина, — тихо сказал Аксель.

Я непонимающе уставился на него. Что он имеет в виду?

— Это пуповина. Он ею опутан. Думаю, дело в этом. Очевидно, она обмоталась вокруг шейки. — Аксель говорил очень спокойно, но доверять его спокойствию не следовало. Он мог сорваться в любую минуту.

Я долго не решался применить силу. Аксель внушил мне, что ребенок еще жив. Несколько минут я оставался пассивным зрителем. Во мне теплилась надежда, что Аксель потеряет сознание и тогда что-нибудь произойдет.

Вот когда мне следовало сделать то небольшое, что еще было в моих силах. Сказать Карне, что я ее люблю. Мои же действия только усиливали ее страдания.

Я был ее палачом. С первого раза, как я обнял Карну, я был ее палачом. Я вымыл руки и сунул руку в Карну. Сладковатый запах крови чуть не свалил меня с ног. Но я устоял. На коленях.

Несколько раз я видел, как Фома проделывал это с коровами, которые не могли отелиться.

Карна превратилась в судорожный комок мышц и хриплого дыхания. Она сама разрывала себя на части. А я помогал ей. Чтобы скорее положить этому конец.

— Уже день, — сказала бабушка и взяла Карну за руку.

— Когда начались роды? — услышал я голос Акселя.

— Вчера утром. Она была одна... Я вернулась в обед.

Ребенка следовало повернуть. Как может ремесленник, да еще с похмелья, повернуть ребенка в утробе матери?

— Может, мне попробовать? — предложил Аксель. Я помотал головой:

— Нет! — Моя рука еще раз ощупала ребенка в чреве Карны.

Карна как будто сдалась. Она лежала неподвижно, совершенно безжизненная.

— Разбудите ее! — дико заорал я.

Я слышал, как ее хлопали по щекам, но никого не видел.

— Облейте ее водой! — простонал я.

Я слышал, как лилась вода. Почти нежно она падала на Карну. Бабушка плакала.

— Милая моя! Добрая! Хорошая! Золотая! — причитала она.

Но Карна слишком устала от этой войны, которая для нее длилась годами. Больше она не хотела воевать.

— Тужься! — просипел я.

Аксель с силой давил ей на живот. Пыхтел и снова давил.

— Ребенок застрял! Тужься, Карна! Тужься! Палач приказывал.

Наконец она как будто очнулась.

И делала все, что ей велели. Тужилась. Тяжело дышала. Глаза были широко открыты.

Об этом невозможно думать. Но я ничего не забыл. Запах борющегося тела. Испарину. Вздрыбленный живот под руками Акселя.

Наконец раздался крик. Он вырвался не изо рта, а из ее чрева и дрожал, словно тысячи острых ножей, вонзившихся в стены и потолок.

Я сложил руки чашей, как ребенок, который ловит мяч. Глаза мои были прикованы к упрямому комочку, повернувшемуся к миру спиной!

Я больше не видел Карну, только слышал тишину, похожую на отголосок далекой непогоды. Старческий взгляд остановился на мне, когда я освобождал маленькое тельце от опутавшей его пуповины. Темный, пристальный взгляд. Красный нимб с синими и белыми пятнами окружал маленькую головку.

Мягкий шлепок, с которым ребенок упал в мои руки, прозвучал как тяжелый вздох и заложил мне уши.

Потом на несколько мгновений все прекратилось. Движения в комнате замерли, словно навсегда заняли положенные им места в этой картине.

Тишина.

Наконец, повинувшись не разуму, а рефлексу, я схватил посиневшее скользкое существо за ноги и стал его шлепать, пока оно не закричало. Тогда я показал его Карне.

Но лицо ее изменилось у нас на глазах. Она не двигалась. Руки отпустили столбики изголовья. Колени бессильно глядели в потолок. Круглые, детские колени с ямочками.

С того, что раньше было ее губами, сорвался стон. Глаза были закрыты.

Неужели это Карна?

Из нее текла густая красная река. Капли падали на выскобленный деревянный пол. Река подчинялась своим законам, она текла вдоль синей пуповины, которая еще связывала Карну с ребенком. Толчок за толчком она прокладывала себе дорогу и скрывалась где-то в постели. Река из тайного мира, в котором прячутся палачи.

Аксель был занят перевязыванием пупка. Он считал, что с главным мы справились. А перевязывать пуповину он умел.

Потом всегда можно оправдать себя. Бедный Вениамин Грэнэльв! Новоиспеченный доктор! Мужчина. Он еще мальчиком видел, как умирают люди. Он вместе с Карной видел умирающих и на поле боя, и в

полевом лазарете. И все-таки он оказался неподготовленным. Никто не научил его, что, пока есть время, следует сказать: «Я негодяй, но я люблю тебя!»

Кто ж знал, что эти простые и нужные слова говорятся умирающему не для того, чтобы облегчить ему смерть. Что они говорятся для того, чтобы потом легче было умереть самому.

\* \* \*

Бабушка приняла у меня нагое дитя человеческое и во что-то завернула его. Это была девочка. Крохотное серьезное существо, которое уже заклеямило меня своим черным недоверием.

Аксель стоял, склонившись над Карной. Тихо и ровно рокотали его слова. Этаким умиротворенный рокот, утоляющий жажду. Словно кто-то наливал в стакан воду на глазах у истомившегося от жажды человека.

Я не мог отвести глаз от красной реки, текущей из Карны. От этих сильных красных толчков. В отчаянии я схватил ее руками за таз и приподнял его, надеясь остановить этот поток. И долго держал в таком положении, стараясь заставить жизнь удержаться в ее теле. Заставить Карну снова начать борьбу. Но все окутал туман, и я потерял в нем путь.

В отчаянии я искал спасения в глазах Акселя. Но он покачал головой. Не знаю почему, я вдруг обратил внимание, какая грубая у него щетина. Поры на его коже вызывали во мне отвращение. Тошнота подступила к горлу. Стены раздвинулись и снова встали на место. Я впал в ярость.

Безумный крик прорезал тишину:

— Не трогайте ее! Не трогайте! Карна! Карна!

Я почувствовал на плече чью-то руку и крепко зажмурил глаза, чтобы удержать все на расстоянии. А время шло дальше уже без Карны.

Когда я открыл глаза, Аксель, нагнувшись, распрямлял ее детские колени. Потом он прикрыл простыней иссякшую реку.

Рубашка у него на спине промокла от пота, плечи слегка вздрагивали.

Я был только зрителем, случайно проходившим мимо. Карна! Не осуждай меня! Я не хотел этого. Но жизнь обошлась с тобой слишком жестоко. Если бы моя любовь могла вернуть тебя, я не задумался бы ни на минуту. Ты слышишь, как я зову тебя? Ты не упрекнула меня. Не сказала, что мне следовало раньше о тебе позаботиться. Если б ты хоть намекнула мне, если б я знал обо всем, я бы мог ответить тебе!

Может, именно тебе следовало занять место рядом со мной? Может, именно этого я и хотел? Почему ты не заставила меня? Тогда бы у меня по крайней мере был выбор. Почему ты не прогнала меня? Чтобы я хотя бы

мог считать, что делал попытки?

Ты, наверное, думала, что я не обращал на тебя внимания? Что мог бы хоть что-нибудь сделать для тебя? Прийти раньше? Но ведь я не знал, что ты так нуждалась во мне! Я не мог взять тебя в Рейнснес. И ты понимала это. Карна! Неужели ты думаешь, что я знал, что ты ждешь ребенка, и мне это было безразлично? Откуда я мог это знать? Ведь ты ничего не сказала мне. А если б и сказала, разве я мог быть уверенным, что это мой ребенок?

Теперь на эти вопросы уже не будет ответа.

Карна!

## ГЛАВА 15

Самое интересное свойство времени, которое последовало за родами Карны, заключалось в том, что оно громоздилось где-то вне меня и не имело ни малейшего смысла. В конце концов эта громада часов и дней так выросла, что я понял: она раздавит меня, если я ничего не предприму.

Не помню, как я вернулся к себе на Бредгаде и о чем мы с Акселем говорили. Помню только, что несколько дней спустя он дал мне за что-то пощечину. Помню также, что он принес мне хлеба и бутылку вина в бумажном пакете.

— В какой день это было? — спросил я, пока он наливал вино в рюмки.

— Что именно?

— Когда мы с тобой были на Стуре Страндстредде? Аксель нагнулся посмотреть, не пролил ли он вино.

— Двадцать третьего апреля, — сказал он наконец.

— Ясно. — Я старался не смотреть на него. Он промолчал.

— День святого Георга, — пробормотал я. Аксель пропустил это мимо ушей. Через некоторое время он сказал:

— Я сообщил в клинику, что у тебя сильная простуда. Но в понедельник утром ты должен быть на месте. Ровно в половине восьмого. Обход больных. Операции с десяти до одиннадцати, как обычно.

Я кивнул. До его ухода мы выпили всю бутылку. У него хватало своих забот. Например, с Анной.

\* \* \*

В тот день, когда хозяйка явилась ко мне и потребовала денег за квартиру, я понял, что еще не все кончено. У жизни еще были какие-то виды на меня. Хозяйка была безжалостна. Она думала, что я болен, гремел ее голос. Но теперь ей ясно, что я не заплатил за квартиру, потому что пропил все деньги. Кроме того, она заявила, что у меня в комнате вонь. Что я не выношу нечистоты. Что я должен съехать с квартиры.

Я отдал ей несколько купюр. Она сунула нос во все углы и направилась к двери, сделав мне недвусмысленное предупреждение.

— У вас есть дети, сударыня? — вежливо спросил я, словно видел ее впервые в жизни.

Мой вопрос поразил ее до глубины души. Это было не похоже на нее. По ее изумлению я понял, что мне ничего не угрожает. Это придало мне смелости.

— Вы когда-нибудь рожали?

— Я не понимаю...

— Я тоже, — дружелюбно сказал я.

— Негодник! Вы бы лучше вынесли свои нечистоты, а не болтали всякую чепуху! Вы просто свинья, кандидат Грэнэльв! — рассердилась она.

— Да. И еще палач! — сказал я, чувствуя, что мне приятно произнести это вслух.

Она с ужасом посмотрела на меня, буркнула что-то о душевнобольных и удалилась, громко хлопнув дверью.

Я невольно улыбнулся. Для людей так же естественно смеяться, как и плакать, подумал я. Лицо мое превратилось в камень, который бросили в пропасть.

Поскольку я уже встал и было еще светло, я вспомнил, что надо побриться. Я вышел во двор с полным туалетным ведром и пустым ведром для воды. Вылил нечистоты, за которые меня бранила хозяйка. Конечно, она была права. От ведра ужасно воняло. Женщины часто бывают правы. Но не следует говорить им об этом. Зачем? Это и так всем известно.

Пока я стоял у колонки, набирая воду в цинковое ведро, я почувствовал во рту привкус металла, как в то утро, когда нас с Акселем разбудил брат Карны. Что он тогда кричал?

— Скорей! Скорей! Карна рождает! Металлический привкус усиливался по мере того, как ведро наполнялось. Вода бежала сильной струей. Я закрыл кран. Однако это не помогло. Я все равно слышал, как она льется.

Лишь когда я вернулся к себе в комнату, запер дверь и громко сказал себе: «А сейчас мы побреемся!» — я перестал ее слышать. Помогло слово «мы».

Я набрал полные легкие воздуха. Вдыхал и выдыхал, словно никогда раньше не дышал. Подошел к окну. Отворил его. Сделал упражнение для дыхания. Потом начал бриться и, после того как порезался в третий раз, понял, что у меня что-то с глазами. Я просто не различал, где у меня кожа, а где щетина. Из зеркала на меня холодно смотрел доктор. Потом он поставил диагноз: нервная перегрузка, повлиявшая на работу органов чувств. Результат: нарушение зрения. Любопытно!

— Но ведь я несколько дней пролежал! Я должен был отдохнуть! — презрительно возразил я.

— Нарушение зрения — следствие того, что ты испытал раньше. Оно носит временный характер. — Доктор был оскорблен.

— И что же мне пока делать? Ходить небритым? Или с порезанным

подбородком?

— Зрение постепенно восстановится. Особенно после того, как ты совершишь некий поступок, необходимость которого ты еще не осознал, — сказал доктор.

Я сразу почувствовал себя лучше.

\* \* \*

Я знал, что меня встретят не как героя. Но не ждал, что буду встречен как враг.

Мне открыл брат Карны. Он молча и угрюмо посмотрел на меня. Из комнаты слышался какой-то странный звук. Словно кто-то ломал сухую веточку. Детский плач.

— Я подумал, что мог бы... — начал я, не зная, что сказать.

Вышла бабушка. Она смерила меня взглядом.

— Похороны состоялись вчера, — коротко сказала она.

Вверх по стене бежал смелый муравей. Он старался преодолеть щель между наличником двери и деревянной панелью. Муравей? В городе? Чем же он питается?

— Ваш друг был на похоронах! И принес цветы! — с упреком сказала бабушка.

— Там муравей! — пробормотал я.

Вытянув шею, парень заглянул в дверь. Открыв рот, он смотрел то на меня, то на деловитого муравья. Бабушка прищурившись поглядела на меня из-под кустистых бровей.

— Не плюй в колодец, пригодится водицы напиться, — сказала она и втянула меня в комнату.

Наверное, мы с ней о чем-то разговаривали. Но я почти ничего не помню. Кажется, она спросила, кого зовут Вениамином — меня или моего друга.

— Меня. Его зовут Аксель.

— Значит, это вы отец малышки. — Бабушка была огорчена.

Не помню, ответил ли я что-нибудь. Помню только, что в это время за занавеской заплакал ребенок. Это был какой-то задушенный плач. Я даже подумал, не задохнется ли он. Впрочем, это было бы, пожалуй, к лучшему. Ведь Карны уже не было.

— Я надеялась, что отец ребенка не вы, — откровенно призналась бабушка.

Я кивнул.

— Он лучше вас. Порядочный. Из хорошей семьи. Пришел с цветами.

И плакал. У могилы он плакал.

Я снова кивнул.

Бабушка опустила глаза и вздохнула, и я вдруг увидел, что у нее точно такой же нос, как у Карны. Небольшой, прямой, с красивыми маленькими ноздрями. Их хотелось даже потрогать.

Я поднял было руку.

— Девочка умрет от голода... — сказала бабушка. Я по-прежнему смотрел на ее ноздри.

— Я вынуждена отдать ребенка. Мне не под силу растить его. Я старая. Парня тоже нужно кормить и одевать. Ему самому столько еще не заработать. Теперь, когда Карны больше нет...

Она прикрыла глаза рукой.

Ребенок перестал плакать. Значит, он задохнулся, подумал я. Ему в рот попала тряпка или одеяло. Лицо у него посинело. Глаза и рот сейчас широко открыты. Крохотные кулачки сжаты. Доктору случалось видеть мертворожденных младенцев.

— Вы не знаете, куда можно отнести бедняжку? — спросила бабушка.

Я отрицательно покачал головой.

Она снова закрыла лицо руками. Всклипнула.

— Зря они замуровали окно, что было рядом с входом в клинику Фредерика. Там принимали несчастных детей, которые никому не нужны.

Я слышал об этом «шкафе». Так называлось одно из окон возле каменного крыльца. Теперь его замуровали. В прежние времена туда можно было положить нежеланного ребенка, позвонить в колокольчик и убежать. На колокольчике было написано: «Спасение несчастных детей».

— Можно я сяду? — спросил я, садясь на один из стоявших у стола стульев.

Бабушка села напротив меня. Высморкалась в тряпочку, которую достала из рукава. Кожа на руках у нее была белая и дряблая. Она сложилась складками, когда бабушка положила руки на стол и обмотала тряпочкой два пальца. Это почему-то тронуло меня.

— Я не смог привести кого-нибудь из клиники, — сухо сказал брат Карны и ушел. Мне было бы лучше, если б он остался. Отчаяние старухи душило меня.

— Вы, верно, не признаете ребенка своим? — спросила бабушка через некоторое время.

Кажется, я не смог ей ответить.

— Я другого и не ждала, — с горечью сказала она. — Мужчины в таком не признаются. Тем более если мать умерла. Отцы не выстраиваются

в очередь за ребенком. Это ясно.

— Что я могу для вас сделать? — вежливо спросил доктор.

Она подняла голову и поглядела на меня. Я весь сжался от ее откровенного презрения.

— У вас есть деньги? — спросила она.

— Немного.

— Надо расплатиться за похороны. Этого расхода было не избежать...

Бедная Карна!..

— Сколько мы должны? Бабушка покорно ответила.

— Пусть пришлют счет.

— Они сделают это и без моей просьбы.

— Я понимаю. Но попросите их прислать счет на имя кандидата Вениамина Грэнэльва, живущего у вдовы Фредериксен на Бредгаде.

Сверток на кровати снова заплакал. Значит, не задохнулся.

— Что вы делаете, когда она плачет? — спросил я. Бабушка вздохнула, высморкалась еще раз и поспешила к занавеске, за которой стояла кровать Карны.

— Даю ей сладкую воду и разбавленное молоко. Но ее желудок этого не принимает.

Она подошла с ребенком к столу и положила его мне на руки. Девочка пошевелилась. Тепло от нее поползло по моим рукам до самой шеи.

— Надо найти кого-нибудь, кто бы ее взял, — сказала бабушка, стоя у плиты. Она что-то разогревала в кастрюльке. — Я не ходила стирать и убирать с тех пор, как Карна... Нам больше не дают в долг ни хлеба, ни молока. Мы должны уже за две недели.

— Я достану немного денег, — пообещал я, глядя на маленькое сердитое личико, которое выглядывало из свертка.

Черный серпик волос приклеился к потному лобику. Сверток извивался. Девочка делала гримасы и плакала. Она раскрывала рот, как скворчонок. Сперва казалось, что она хочет только глотнуть воздуха. Потом сморщенное личико начинало дрожать и раздавался сердитый крик.

— У нее что-нибудь болит? — спросил я.

— Да нет, — ответила бабушка. — Девочка хорошая и здоровенькая. Она просто не принимает этой пищи. Такая пища не годится для новорожденного. Если бы я знала какую-нибудь женщину, которая могла бы покормить ее грудью хоть две недели...

Бабушка заплакала.

— Может, я найду кого-нибудь в клинике, — пообещал я, мне хотелось утешить ее. — Я узнаю.

\* \* \*

Теперь моей жизнью командовал доктор. Он заставлял меня униженно молить о грудном молоке для свертка, который лежал у бабушки на кровати Карны. Я бегал по акушерам в клинике Фредерика и в городской больнице. Просил и умолял. Собирал подаяние по капле. Рассказывал душераздирающую историю о бабушке, ребенке и скончавшейся от родов матери. Наконец все сиделки и акушерки знали мою историю уже наизусть, и мне было достаточно только протянуть им бутылку. Каждый день бабушка спрашивала, не нашел ли я кого-нибудь, кто захотел бы взять здоровенькую девочку. И я со стыдом отвечал ей, что еще не нашел.

За это время мы с Акселем виделись только во время дежурств в клинике. Но однажды, вернувшись домой, я нашел его спящим на моей кровати.

Я решил, что впредь, уходя, буду запираеть дверь.

— Что ты здесь делаешь? — спросил я.

— Сплю, — ответил он и враждебно поглядел на меня. Я снял сюртук и подошел к столу, что стоял у окна.

Аксель следил за мной. Потом потянулся и начал искать под кроватью свои башмаки. Но нашел только один. Он так и сидел с башмаком в руке. Лица его я не видел.

— Чего тебе надо? — спросил я.

— Почему ты меня избегаешь?

— Я не избегаю.

— А почему я не вижу тебя в наших обычных кабачках? Почему тебя никогда нет дома? Почему ты сам больше не приходишь ко мне? Тебя мучают угрызения совести? Мы были вместе, когда случилось это несчастье... Я не виноват...

— Замолчи!

— И не собираюсь! Нам надо поговорить!

— О чем тут говорить? Ведь ее больше нет...

— Я и не собирался говорить о Карне. Прости, я не знал, что она так много для тебя значила. Ты слишком хорошо это скрывал!

Не знаю, что меня разозлило: то ли его слова, то ли тон, каким они были сказаны, — но я бросился на него. Он схватил меня за жилетку и держал в воздухе, пока я не успокоился. Правда, жилетка не выдержала этого испытания. Она лишилась своей шелковой спинки и затейливой пряжки. Почувствовав под ногами пол, я снял жилетку и начал ее разглядывать.

Аксель стоял посреди комнаты, опустив руки.

— Не советую дразнить меня, — сказал он.

— Что у тебя за манеры!..

— Это я у тебя научился.

— Неужели?

— У тебя дома есть пиво? — спросил он.

— Нет. К этому часу оно все равно стало бы слишком теплым.

— Идем куда-нибудь, выпьем по кружечке?

— Нет. Я хочу спать.

— Ты проспал самое меньшее две недели.

— Ошибаешься, — равнодушно ответил я и лег на кровать, еще хранившую отпечаток его тела.

Он вздохнул и сел к письменному столу, почти повернувшись ко мне спиной.

Воцарилось молчание. Я закрыл глаза и надеялся, что он уйдет. Вдруг он произнес в пространство, словно говорил сам с собой:

— Анна мне отказала.

Сквозь опущенные веки я видел, что тени в углу за кроватью стали синими. Мимо окна проехала телега. Копыта стучали по мостовой. Дина! Дина скакала на Вороном по береговым камням. Тот же стук. У меня в ушах отдельные удары сливались в единый гул. Тело мое лежало на кровати. А сам я, точно орех, перекатывался в голове Акселя. Там я снова услышал его слова. Они висели в воздухе. И, трепеща, ждали, чтобы я принял их.

— А что ей надо? — неожиданно для себя спросил я.

— Я не интересовался... Но это и так ясно.

— Что тебе ясно?

— Она сказала мне, что вы... Что ты... Что она спала с тобой!

Я приподнял голову с подушки и постарался дышать спокойно.

— Анна?.. Она так сказала?.. — Я заикался, но не мог ни подтвердить, ни опровергнуть ее слова.

Это невероятно! Женщины не говорят о таких вещах. Этого не сказала бы даже Сесиль. А уж Анна... Нет! Не может быть!

— Вот черт! — пробормотал я.

Он обернулся и посмотрел на меня. Словно на собачье дерьмо где-нибудь на рынке.

— Сколько ты переберешь женщин, прежде чем угомонишься? — сказал он, шумно выдыхая воздух через ноздри. — Я даже не подозревал, что ты настолько лжив и подл! Что ты такой негодяй!

— Нет! — Я продолжал размышлять над словами Анны. Я ничего не понимал. Неожиданно у меня вырвалось:

— Почему она это сказала?

— Потому что она честнее, чем ты! Наступила мертвая тишина. Потом он взорвался:

— Смотри, чтобы она не умерла от родов до того, как вы обвенчаетесь. Это было бы уже слишком! Чертов норвежский кобель!

Я слушал его лежа. Конечно, я понимал его. Аксель! Милый, милый Аксель!

— Это не правда! — выдохнул я.

— Может, это и преувеличение, но не очень сильное, — процедил он сквозь зубы.

— Я говорю про Анну. Это не правда. Я не спал с ней. Никогда. Я...

Он смерил меня ледяным взглядом:

— Пытаешься выкрутиться? Хочешь представить Анну лгуньей, чтобы сохранить дружбу со мной? Тебе нужны все — и я, и Анна. Ты хуже, чем я думал. Мне следовало бы размазать тебя по стене в этой несчастной...

— Поверь мне! Я говорю правду!

Он подошел к кровати с таким видом, что я невольно приподнялся. И снова смерил меня взглядом. От макушки до пяток. Посмотрел в глаза. «Сейчас он меня прикончит, — подумал я. — И хорошо! Скорей бы конец».

— Как думаешь, чего она добивалась, преподнеся мне эту гнусную ложь? — прохрипел он, низко нагнувшись над кроватью.

Я понимал, что мое дело плохо. Надо мной навис отлично оснащенный фрегат. Мощные гики... Правда, паруса плохо зарифлены и в любую минуту могут отхлестать меня по лицу.

— Не знаю.

Он меня не ударил. Нет. Но не спускал с меня глаз.

— Черт бы тебя побрал! — сказал он наконец. Уже спокойно.

Я с облегчением сел и пошарил на ночном столике в поисках трубки и табака.

— Ты мне веришь? — живо спросил я. Слишком живо.

— Верю? Я верю, что Вениамин Грэнэльв просто мерзавец! И ты столько лет был моим другом! Ну а если б она и солгала? Значит, у нее есть на то причины! Неужели ты этого не понимаешь? Зачем же ты выдал ее мне? Почему как мужчина не взял все на себя? Струсил?

Он вырвал у меня из рук табак и трубку, вернулся на свой стул, потом долго набивал трубку и раскуривал ее.

— Ты прав.

Аксель закатил глаза, скрывшись за облаком дыма.

— Но я хотел этого, — признался я. — Я очень хотел обладать Анной!

— В таком случае у нас есть хоть что-то общее, — сухо сказал он без тени улыбки.

В ту минуту я понял, почему так люблю Акселя. Я думал об этом все время, пока он произносил свои циничные слова. Вряд ли я понял их смысл. Но он как будто оправдал меня. Все стало просто, и теперь с этим легко было покончить. Наконец Аксель смиловился надо мной.

— Как ты собираешься поступить с Анной? — спросил он.

— Ты прекрасно знаешь, что я ей тоже не нужен.

— А если понадобится?

Я вздохнул и пожал плечами:

— Возьму с собой в Рейнснес.

На губах у Акселя заиграла злая усмешка.

— Вот это да! Ты делаешь успехи! Я хочу присутствовать, когда ты ей это предложишь. Мне доставит удовольствие лицезреть твой первый мужской поступок.

Я счел, что мне не следует отвечать на его слова.

— А если она согласится поехать с тобой в твою ледяную пустыню? — спросил он.

Я почувствовал, что Аксель готовит мне ловушку.

— Этого не случится, — заверил я его.

— Почему же? Зачем же она лжет и наговаривает на себя то, что может пагубно отразиться на ее репутации? И все это ради тебя!

— Я не отвечаю за то, что она говорит!

Он кивнул. И продолжал кивать некоторое время.

— Подумать только, Вениамин Грэнэльв понял наконец, как проста любовь. Он не откажется от любви, но и не приложит ни малейших усилий, чтобы добиться ее! Он не отвечает за то, что говорит Анна! И не задумывается, почему она так говорит! Он! Который мечтал переспать с невестой своего друга! Вот твоё евангелие любви и дружбы! Поздравляю!

Он встал и собрался уходить. Я не успел опомниться, как он был уже у двери.

— Ты уходишь?

— А я и не приходил, — буркнул он.

— Мы больше не друзья?

— Во всяком случае, сегодня. — Голос его звучал устало.

— Ты не скажешь ей... что я выдал ее? — попросил я. Аксель

посмотрел на меня с жалостью.

— Нет! — коротко бросил он.

\* \* \*

Теперь настал его черед избегать меня. Даже в клинике. Я неукоснительно соблюдал распорядок хирургического отделения профессора Саксторпа. Моя жизнь подчинялась его строгим правилам и запаху карболки.

Ежедневно мое мужество подвергалось серьезному испытанию — вопреки обычаям и приличию я ходил в акушерское отделение и вымаливал молока для ребенка на Стуре Страндстреле. Молоко я относил к бабушкиной двери. Несколько раз я слышал, как за дверью плакала девочка.

В мае у нас с Акселем начался шестинедельный курс по акушерству, но мы так и не помирились.

От Дины по-прежнему не было ни слуху ни духу.

Я нарочно изводил себя мыслями, что сейчас Аксель и Анна гуляют у озера или пошли в Тиволи. Эти мысли вызывали усталость. Мне хотелось заснуть и не просыпаться.

У себя на Бредгаде я аккуратно выносил ведро с нечистотами, словно это было делом моей жизни. Я даже постарался выяснить свое материальное положение. Мне было ясно, что я должен просить, чтобы мне продлили срок ординатуры до моего отъезда домой. Домой? Значит, я полагал, что смогу избежать судебного процесса?

В свое оправдание хочу сказать, что не собирался писать Андерсу или посылать ему телеграмму с просьбой прислать немного денег для бабушки Карны.

Постепенно я восстановил в памяти наш последний разговор с Акселем. Вспомнил его обвинения. Попытался вспомнить и нашу последнюю встречу с Анной. Но все это как будто больше не имело ко мне отношения.

Я вытащил сочинения Кьеркегора. Не потому, что хотел снова перечитать их, а просто чтобы спастись от самого себя.

«Страх и трепет»: «...лишь тот, кто обнажает меч, получает Исаака. Тот, кто не станет трудиться, не получит хлеба, но будет обманут так же, как боги обманули Орфея, показав ему мираж вместо возлюбленной; обманули потому, что он был чувствителен, а не храбр, потому, что он был кифаредом, а не настоящим мужчиной... таким, который, желая работать, кормит собственного отца».

Эти постулаты помогали мне сдерживать свои чувства.

## ГЛАВА 16

Однажды вечером я пошел в пивную, потому что не мог больше оставаться на Бредгаде один на один с кандидатом Вениамином Грэнэльвом и вдовой Фредериксен.

Увидев Аксея, я понял, как сильно мне его не хватало. Он сидел один. В углу. Под керосиновой лампой.

Я подошел к его столику. Нерешительно выждал некоторое время. Он вяло кивнул, и я сел.

— Пришел поклониться старым святыням?

— Хотел посмотреть, начала ли расти борода у новых желторотых в Регенсене, — ответил я.

Он мрачно кивнул.

— С бородой все не так просто, нет! — сказал он, помолчав.

— Я угощаю!

Нам принесли пива, но он по-прежнему не подавал признаков жизни.

— У тебя был трудный день? — спросил я.

— Я чуть не умер от смеха, — ответил он.

— Даже так?

— Да!

Я отпил немного и огляделся по сторонам. Решил, что мне нужно снять пальто. Снял и снова сел рядом с ним. Он все не поднимал головы.

— Аксель, послушай! — взмолился я.

— Не кричи! — крикнул он так, что официантка с подносом вздрогнула.

— Кого ты хочешь убить? Меня? Или кого-нибудь другого?

— Я не убиваю людей, — отрезал он.

— Тогда в чем дело?

— А это вопрос!

Я вдруг сообразил, что он имеет в виду. Мы сидели, глядя в разные стороны, словно были незнакомы друг с другом.

— Я был на похоронах, — неожиданно сказал он. — О Господи!

Я насторожился:

— Да?

— Она думала, что это я... мне пришлось, черт подери, втолковать ей, что отец ребенка не я, а ты...

— Благодарю за заботу! А почему ты заговорил об этом сейчас? Чтобы помучить меня?

— Да, да, угадал, только успокойся! — громыхнул он. Я был невозмутим, но старался не встречаться с ним глазами. Он снова принялся за свое:

— Ты ее видел?

— Кого?

— Девочку.

— Да.

— Похожа она на тебя?

— Прекрати! — взмолился я.

Через некоторое время я не выдержал:

— Угощаю водкой!

— Какой ты щедрый сегодня! — презрительно бросил он.

— Какой уж есть.

— Ты виделся с Анной? — равнодушно спросил он, когда нам принесли водку.

— Нет. А ты?

— Виделся. — Он кинул на меня злобный взгляд.

— Я скоро уезжаю домой, — неожиданно сообщил я.

— Еще бы! Здесь у тебя земля горит под ногами! Это было уже слишком. Я отодвинул рюмку и встал.

Надел пальто. Его глаза следили за мной.

— Пойду! — Я кивнул на прощание.

Он как будто не заметил моего эффектного жеста.

— А где твоя мать? Все еще за границей? Она поправилась? — спросил он, словно мы все еще сидели за столиком друг против друга.

— Она и не была больна.

— Но ведь ты ездил в Берлин из-за ее болезни?

— Я с ней не встречался, — уклончиво ответил я.

— Вот как?

— Да.

— Но ведь ты привез ее виолончель?.. Я думал, что из-за болезни она больше не может играть. Если не ошибаюсь, она раньше играла?

— Да, какое-то время. Брала уроки.

— Я так и понял. А теперь, значит, перестала?

— Да.

— Она тоже собирается вернуться домой?

— Нет.

— Да сядь же ты в конце концов! Чего ты злишься? Это я должен злиться, а не ты! — заорал он.

Я пожал плечами и сел на кончик стула.

— Странные у вас там женщины, на Северном полюсе! Ты не находишь? — Он даже улыбнулся.

Я промолчал.

— Она хорошо играет? Виртуоз?

— Не думаю.

— А как она сама считает?

— Никак.

— Ты не спрашивал?

— Я же тебе сказал, что я ее не видел! Нельзя ничего спросить у женщины, которую последний раз видел еще в детстве!

— Ты хочешь сказать, что твоя мать когда-то просто уехала из дому?

— Что-то в этом роде.

— О Создатель! И давно? Сколько тебе тогда было?

— Не помню... Кажется, четырнадцать...

— Вот черт!.. — пробормотал он и подергал себя за бороду. — А я-то считал, что знаю тебя! Оказывается, мне многое еще неизвестно...

Я молчал, но мне был ясен его намек.

— Я не знал, что она уехала так давно. А из-за чего? Чтобы учиться играть на виолончели? Или была какая-нибудь другая причина? — спросил он.

— Поехала учиться играть на виолончели. Насколько мне известно, — солгал я.

Мы помолчали. Аксель обхватил рукой рюмку. Я посмотрел на свои руки. Ни он, ни я не занимались физическим трудом. Мои руки для этого не годились. По сравнению с руками Акселя они выглядели слабыми и хрупкими. Я унаследовал от Дины ее длинные пальцы. Впрочем, кто знает? У Иакова пальцы тоже могли быть длинные. У Акселя же кулаки были как кувалды. словно кто-то подсунул пастору сына кузнеца.

— Ты хочешь сказать, что не нашел ее? И далее не знаешь, где она сейчас?

— Примерно так.

— А ты искал? Или смирился?

— Перестань! Неужели ты думаешь, что я просто так прокатился в Берлин?

— Ты отсутствовал недолго.

— Ее нет в Берлине!

Он настойчиво дергал себя за бороду.

— А если сейчас съездить туда? — Его голос был похож на шепот,

влетевший ночью в открытое окно.

— Зачем?

— Узнаешь, хочет ли она тебя видеть. Как она живет.

— Я пытался. Впрочем, меня больше не интересует, как она живет!

Он пристально посмотрел на меня, потом зажмурился, и лицо его скривилось.

— Меня не проведешь! С тех пор как она уехала, не прошло ни одного дня, чтобы ты не думал о ней!

— Ха!..

— Я не прав?

— Почему же, иногда думал...

— Мы едем!

— Мы?

— Да! Тебе нужен спутник. А мне надо вырваться отсюда, посмотреть мир! Неужели только женщины могут разезжать, где им вздумается, а мы должны работать в поте лица своего? — Он усмехнулся.

— У меня нет денег на такое путешествие.

Он вздохнул и задумался, вытянув губы трубочкой.

— Это я постараюсь уладить.

— Нет, я не могу влезать в долги.

Я объяснил ему, что брать займы — последнее дело. Он не сводил с меня глаз, потом стукнул кулаком по столу:

— Ты просто трус! Боишься найти свою мать! Боишься, что она прогонит тебя!

Зал вдруг закачался у меня перед глазами. Аксель превратился в какие-то зловонные останки. Мне следовало уйти отсюда, пока не поздно.

Я встал, ноги плохо держали меня, но Аксель вдруг протянул руку и посадил меня обратно на стул.

— Я поеду с тобой в Берлин! — решительно заявил он.

— Что заставило тебя принять такое решение? — Я обратил внимание, что он закурил одну из гаванских сигар профессора.

— Это имеет для тебя значение?

— Да. Я должен знать, какие у тебя намерения. Хочешь ли ты таким образом отомстить Анне или считаешь, что должен поддержать меня.

— Ни то и ни другое. Мной движет эгоистическое желание попутешествовать, — ответил он.

Я протянул руку. По старой привычке он отдал мне сигару. Я затянулся два раза и вернул ему.

— Пошли, — сказал я и осушил рюмку.

Аксель был на удивление покладист. Мы пошли по направлению к его дому. Он жил в Валькендорфе.

— У меня нет денег на поездку в Берлин, как бы мне этого ни хотелось, — сказал я.

— А ты не можешь где-нибудь достать?

— Нет. То есть я мог бы попросить у Андерса, но не знаю, как обстоят у него дела. На это требуется время.

— Я могу занять для тебя, — предложил он.

— У кого?

— У своей матери. — Он засмеялся.

— Не сказав ей, на что берешь? Он пожал плечами:

— Она подумает, что я залез в долги.

— Почему тебе этого так хочется?

— Я уже объяснил тебе.

— Ты хочешь отвлечь меня от Анны! Но ведь я все равно скоро уеду!

Он остановился и схватил меня за руку:

— Дело не только в этом. Ты просто глуп, если не понимаешь этого. Я Анне больше не нужен. Во всяком случае, сейчас. Если женщина может уехать, значит, я тоже могу!

— Понятно, понятно!

Через несколько шагов он снова остановился и снова схватил меня за руку. Смех его не предвещал добра.

— Сегодня вечером я был там. У Анны. — Он смеялся.

— Там было так весело?

— Не особенно, — признался он. — Хочешь знать почему?

— Да...

— Анна не вышла к обеду. Она, видите ли, заболела и не могла присутствовать за столом. Уверяю тебя, Вениамин, я не предлагал поставить ей диагноз. Все и так ясно. Но я воспитанный человек и утешал родителей как мог. Вениамин Грэнэльв летал над нами, как крылатый дух над водой.

— Мне очень жаль.

— Ликуй! Тебе все дозволено!

— Ты еще молод, не надо так ожесточаться, — поддел я его.

Но он даже не стал платить мне той же монетой. Мы уже прошли мимо Валькендорфа.

— Мы с Анной больше не увидимся! — сказал я.

— И не думай! Увидитесь! — со злостью возразил он. — И каждая встреча будет постепенно исцелять тебя. Наедине с ней ты будешь меня

расхваливать. А когда мы будем все вместе, можешь надо мной смеяться. Ты мой друг и будешь моим шафером. А я, со своей стороны, раздобуду денег и найду твою мать. Не сомневайся.

Мы стояли в промежутке между двумя уличными фонарями. Я видел только его руку с зажженной сигарой.

— И это ты называешь дружбой? — спросил я.

— Да, черт бы тебя побрал!

— Не слишком ли ты быстро решил, что меня можно купить?

— Ты прав, считаю я быстро. Но я тебя не покупаю. Ты мне необходим.

— Ты уверен, что Анне нужен именно такой муж, как ты?

— Да. Я уже объяснял тебе. Все решила наша первая встреча. Анне тогда было шесть. Мне — восемь. Мы уже тогда знали, что будем вместе. Это так красиво. И никто не сможет нам помешать...

— Ты никогда не говорил о... о любви между вами. Я думал, что это чисто практический подход к делу.

— Значит, если бы я сказал хоть слово о любви, ты бы не стал пытаться отбить у меня Анну? Ты это имеешь в виду?

Что я мог ответить ему?

— Не стал бы? — повторил он и выпустил густую струю дыма. Превосходство было на его стороне.

— Не знаю. — Я сдался.

Он шел набычившись, молча. Потом у него вырвалось:

— Вот это признание!

\* \* \*

Небо затянулось тучами, и на нас упали первые капли дождя. Мы проходили мимо каменного рыцаря на Конгенс-Нюторв. Деревья шумели от ветра, волосы Акселя растрепались. Припозднившийся чистильщик сапог уныло тащил свою тележку. Две одинокие вспышки осветили небо.

— Смотри! — воскликнул Аксель. — В Тиволи фейерверк!

— Да. — Я засунул руки в карманы.

Мы смотрели друг на друга. На мостовой пузырились капли дождя.

— Надо где-то укрыться! — решил Аксель. — Где здесь ближайший кабачок?

— Аксель, у нас завтра утром операция!

— Как это на тебя похоже! Сперва ты слишком поздно приходишь, чтобы повидаться со мной. А когда мы уже встретились, оказывается, ты слишком устал. И это притом, что мы еще даже не начали веселиться! Когда мы едем?

Он наслаждался своим превосходством.

Бредя под дождем, мы, безусловно, являли собой странное зрелище. Сиамские близнецы — головы разные, но во всем остальном они зависят друг от друга.

Первый попавшийся нам кабачок оказался унылым заведением на Нью Адельсгаде. Там нам удалось преодолеть свои разногласия и начать строить планы на будущее. Они касались Дины.

Водка обожгла мне желудок и напомнила о том, что неплохо было бы и поесть. Но Аксель был сыт после обеда у профессора, а есть одному мне не хотелось. К тому же он уверил меня, что в таких заведениях не подают ничего, кроме колбасок с мышьяком.

Но я хотя бы согрелся. На вешалке сохли и коптились в дыму мокрые пальто. Из-за табачного дыма и грубых голосов здесь казалось многолюдно. Наши огорчения испарились, и постепенно нами овладела необузданная радость. После нескольких рюмок мы опьянели. Перед каждой рюмкой Аксель произносил небольшой тост. По его словам получалось, что он у матери любимчик. И безусловно, устроит мне заем. Как только наша ординатура закончится, мы едем в Берлин!

Я попросил его перестать повторять одно и то же, чтобы я не счел его слова пьяной болтовней. Тогда он начал подробно рассказывать, как мать любит его. И не только за неотразимую внешность, но главным образом — за тонкую душу, которая, по ее мнению, частица ее собственной души.

Я преодолел усталость и голод. И чувствовал себя Иудой, сидящим у ног Иисуса и слушающим, как Иисус собирается спасти нас обоих благодаря своим связям с высшими силами. Для Акселя высшей силой была его мать.

Убедив меня, что ему ничего не стоит склонить мать на нашу сторону, он начал расспрашивать меня о Дине. — Я должен узнать ее при встрече, даже если тебя не будет рядом! — сказал он.

Я задумался. Мне нечего было поведать ему такого, что свидетельствовало бы об исключительной материнской любви, подобной той, что выпала на его долю. Поэтому я избрал другой путь. Мой рассказ захватил меня самого. Я с восторгом слушал собственные излияния. Я описывал не мать, а женщину. Дину, о которой мечтал столько лет. Которая заставляла людей меняться, стоило ей войти в комнату. Особенно мужчин.

Рассказал о пробсте, который почти всегда приезжал в Рейнснес без жены. О Нильсе, который повесился от несчастной любви. Об Андерсе, которого она бросила. О русском, который застрелился у нас на глазах,

потому что она его отвергла.

Я понимал, что кое в чем преступаю границы дозволенного, но верил всему, что говорил. У Акселя загорелись глаза. За соседними столиками шелестели чужие голоса. Мне было жарко. Я был счастлив, что мы с Акселем снова друзья. Все это заставляло меня приправлять и приукрашивать свой рассказ.

Несколько раз я мысленно увидел Дину, идущую через двор, — замкнутое лицо, между бровями морщинка. Но я отмахнулся от этого воспоминания. Я посадил ее на Вороного, и она понеслась галопом. Я заставил ее играть Моцарта так, что даже паутина зазвенела у нас над головами. И Аксель вздыхал. Я заставил ее зажечь на Рождество свечи, нагнувшись над канделябром так низко, что у нее вспыхнули волосы. Или лететь на карбасе в открытом море, будто за ней гнался сам черт.

Меня не огорчало, что она оставалась равнодушной к чарам юного Вениамина. Зато я расписывал, как она ездила без седла, бросив на спину лошади только овчину. Как стояла на носу, когда мы спускали шхуну на воду. Или встречала вернувшихся с Лофотенов рыбаков. А также о том, как мы с ней шли на карбасе вдвоем в открытом море, когда ездили покупать новую лошадь.

Аксель не проронил ни одного ироничного замечания. Он заразился моим опьянением. По-моему, в тот вечер мы оба были влюблены, но не в Анну, а в Дину!

Один раз Аксель спросил:

— Ты говоришь о своей матери или о женщине, которую мечтаешь найти?

— Мы вместе найдем ее!

— Может, мне нужна именно такая женщина? — проговорил он.

Я осушил рюмку и надменно усмехнулся:

— Уж она точно не дала бы нам денег взаймы!

Он стукнул кулаком по столу. Мы громко чокнулись.

— Приезжай в Рейнснес, когда она вернется домой! — гостеприимно пригласил я.

— С Анной?

— С Анной! — Я не колебался ни секунды. Покачиваясь, мы вышли на улицу. Дождь перестал.

Но воздух был очень влажный. Мы блуждали в брюхе кита. Зловоние и аромат смешались друг с другом.

Газовые фонари нежно смотрели на нас. Улицы были почти пусты. В чреве кита раздавались таинственные звуки. Сиамские близнецы. Общие

руки и ноги, ступавшие нетвердо и забрызганные грязью.

— Куда подевался этот чертов чистильщик? Мне надо почистить башмаки! — кричал Аксель отвесным стенам домов.

— Тише, а то кто-нибудь явится и заберет нас! — предупредил я его.

— Заберет? — прогнусавил Аксель, остановившись у сточной канавы. Блаженная улыбка расплзлась по его лицу. Потом он прошептал так громко, что его было слышно даже на другой стороне улицы:

— Сейчас мы с тобой разобьем окно у Мадам в переулке Педера Мадсена!

Я мигом протрезвел. Вонь сточной канавы ударила меня по голове как дубинка. Час золотых историй кончился. Меня охватило отвращение. Я давился от тошноты и боролся с головокружением.

— Сейчас мне не до этого, — с трудом проговорил я. Мы с Акселем расстались, но до меня еще долго доносился его свист. Я шел, держась за стены домов, а в голове у меня пело: «Приеду в Рейнснес с Анной!.. С Анной!.. С Анной!..»

## ГЛАВА 17

Через два дня, когда я вернулся домой из клиники, у меня на столе лежало письмо. Я решил, что это от Акселя. Но оно было от Анны. От «воздушного создания» из сочинений Кьеркегора. Она не может прийти ко мне в мою меблированную комнату, но хочет встретиться со мной сегодня в кафе «A Porta» возле Конгене-Нюторв в шесть часов пополудни. Если я решу, что мне эта встреча не нужна, я могу не приходить.

Нельзя сказать, чтобы место встречи привело меня в восторг. Это кафе облюбовали для себя снобы, туда ходили, чтобы покрасоваться и обратить на себя внимание. Но и это было уже кое-что. Анна не боялась, что ее увидят там вместе со мной. Она не только солгала Акселю о наших якобы интимных отношениях, но сделала это с каким-то явным умыслом.

Перечитывая письмо, я вдруг подумал, что не видел Анну уже целую вечность.

Было только четыре часа, а у меня от волнения уже вспотели руки. Нужно прилично одеться! Спасительная соломинка! Я расфрантился как петух. Начистил башмаки. К пяти я был совершенно готов.

Постучавшись к хозяйке, я предложил что-нибудь сделать для нее, за чем-нибудь сходить например. Или выполнить какое-нибудь другое поручение.

Она широко открыла от удивления глаза и улыбнулась мне почти дружелюбно:

— Вы неподходяще одеты для выполнения поручений. Желаю вам хорошо повеселиться!

У меня мелькнула мысль, что она прочитала письмо, прежде чем отдала мне. Оно не было запечатано. То ли из-за того, что она, возможно, сунула свой нос в мое письмо, то ли из-за ее высокомерного тона я разозлился.

— Ведро вымыто! — мрачно сообщил я ей.

— Господи, спаси и помилуй! — воскликнула она. — Женщина, которая принесла письмо, сказала, что она пришла от профессора... Простите, я забыла его фамилию...

Она улыбалась блаженной улыбкой, как будто у нас с ней была общая тайна.

— Это непоправимо! — как можно ироничнее сказал я.

— Не надо дерзить, господин кандидат. Все эти годы я, можно сказать, заменяла вам вашу матушку. И вообще вы скоро уедете и...

Воспользовавшись заминкой, я попрощался и ушел.

Я пришел первый и занял столик у окна, чтобы видеть, как Анна идет по улице. Она показалась мне чужой. Наверное, из-за лондонских туалетов. Лица ее я не разглядел. Окно было слишком пыльное.

Анна внимательно оглядела кафе. Я встал, чтобы привлечь ее внимание. Все плыло как в тумане. Я только угадывал светлые одежды, внутри которых скрывалась Анна. Они были изысканно красивы. Не перегружены кружевами, оборками и булавками, как того требовала мода. Может, поэтому Анна выглядела старше своих лет.

Она подошла ближе, и мне показалось, что она сейчас заплачет. Я перевел взгляд на ангелов на потолке у нее над головой. Но это не помогло. Пальмы в кадках, стулья и столики кружились у меня перед глазами. Я протянул к ней руку. Но рука Анны не могла служить мне опорой, я почти не ощущал ее. Это только усилило ее замешательство. Мне чудилось, будто я лежу в траве, закрыв глаза, и кто-то щекочет меня травинкой по шее.

Бесполезно было говорить себе, что Карна умерла. Что она этого не видит.

Я ничего не спросил про Акселя. Хотя понимал, что она ждет этого. Я просто не мог выговорить ни слова. У меня перехватило горло. Все должно было быть не так. Конечно, Анна была тут ни при чем. Аксель прав. Обвинить ее было решительно не в чем!

Наверное, она попросила меня прийти сюда, чтобы сообщить что-то важное. Мне не хотелось гадать. Но это делало меня виноватым перед Акселем. Да и перед Анной тоже.

Она села на предложенный мною стул. Поля шляпы, похожей на чепец, затеняли ее лицо. Но я чувствовал на себе ее взгляд. Пристальный и немного детский. А может, испуганный?

Пока я смотрел, как ее грудь волнуется при дыхании, доктор констатировал, что она выглядит усталой и немного поблекшей.

Мы все еще молчали. Подошел официант и спросил, что мы хотели бы заказать.

— Мне только сок, — сказала Анна и медленно сняла перчатки.

Я заказал два стакана сока, и официант ушел.

— Ты видел, как я шла? — Она кивнула на окно.

— Да. — Мы помолчали.

— Мне хотелось встретиться с тобой наедине. Это, конечно...

— Тебе хотелось поговорить о вас с Акселем, но без его ведома? — вырвалось у меня.

— Нет. Впрочем, да! — упрямо сказала она, словно только что

сообразила, что именно этого и хотела.

— Я к твоим услугам.

— Дело в том... Я должна кое в чем признаться тебе. И кое в чем тебя упрекнуть.

— Начни с упреков. — Сердце во мне замерло. А еще мгновение назад оно стучало так, что я не слышал шума проезжавших мимо карет.

— Ты выдал мои планы Акселю. Я доверилась тебе. А ты выдал меня.

— Но ведь это было очень давно?

— Ты сказал ему, что я хочу уехать в Лондон.

— А он не должен был знать об этом?

— Должен. Но узнать он должен был от меня. Это уязвило его.

— Тогда, наверное, тебе не следовало говорить мне об этом?

— Конечно, — согласилась она.

— Я думал, что ты свободна.

— Почему мужчины так наивны? Скажи, когда женщины были свободны? Папа — единственный человек из всех, кого я знаю, борется за то, чтобы женщинам было разрешено изучать медицину!

— Мне очень жаль! — Жаль?

— Не профессора, а то, что я выдал тебя Акселю. — Я пригубил сок.

— Но я тебе отомстила.

— Каким образом?

— Сказала Акселю, что уехала в Лондон, потому что позволила его лучшему другу соблазнить себя!

Она говорила очень быстро. Но я все понял. Ведь я уже знал это. Однако мое удивление было искреннее. Я был поражен, что она сама рассказала мне об этом.

Наклонившись над столиком, Анна жадно пила сок. Шляпа съехала немного набок. Сверху на ней была пришита пуговица. Это выглядело глупо. Особенно теперь, когда шляпа съехала на одно ухо. Анна выпрямилась, над верхней губой у нее краснела полоска сока. Мне захотелось провести по ней пальцем.

— Почему ты это сделала?

— Во-первых, чтобы отомстить тебе. А во-вторых, хотела, чтобы Аксель от меня отказался.

— А почему ты сообщаем мне об этом?

— Потому что тебе полезно это знать.

— Не лучше ли прямо сказать Акселю, что ты его не любишь?

— Нет, потому что это не соответствует истине.

— Замечательно! Ты не хочешь выходить за него замуж, но любишь

его. Получается так?

— Да. Все, кто знает Аксея, любят его. Ты разве не любишь?

— Это другое дело.

Она перебирала что-то, что лежало у нее на коленях. Кажется, это были перчатки.

— Что ты думаешь обо мне? — спросила она едва слышно.

Что я думаю о ней? Как, интересно, я мог бы объяснить, что я думаю о ней?

— По-моему, ты не... Не для меня. И было бы лучше, если б...

— Если б ты уехал, а я вышла замуж за Аксея?

Ее ресницы отбрасывали на щеки длинные тени. Выпуклый лоб. Гордый нос. Впадинка на верхней губе. Я весь налился тяжестью. От страсти. От желания обладать ею. Услышать от нее совсем не то, что она сказала сейчас. Чтобы она в съехавшей набок шляпке, обхватив меня обнаженными руками и ногами, шептала мне безумные слова.

Я хотел предложить ей уйти в другое место, где было бы поменьше народу. Но не осмелился, а потом было уже поздно.

Анна положила на столик обнаженные руки ладонями вверх, словно ждала, что в них что-то положат. И сказала тихо, не спуская с меня глаз:

— Эта Карна, которая умерла от родов, много для тебя значила?

Какие глаза! Да видел ли я их когда-нибудь раньше? Незащищенные. Правое веко чуть-чуть дрожало. А зрачки... Темные, пронзительные.

За спиной у Анны стояла пальма. Узорчатая тень от ее листьев падала Анне на щеку и на плечи. словно кто-то расцарапал ей щеку когтями, оставив этот черный шрам.

Я не поднимал глаз от столика.

— Не знаю, — прошептал я, и томительное желание пристыженно покинуло меня.

— Ты встречался с ней в то же время, что и со мной?

— Нет.

— Ты лжешь и сам это знаешь.

Мы смотрели друг на друга, но не смогли стать врагами. Я взял свою салфетку и нагнулся к Анне через столик. Послюнив салфетку, я осторожно вытер красную дугу, оставшуюся у нее на губе от сока.

Анна крепко зажмурила глаза и не двигалась. Потом откинулась на спинку стула и снова уставилась на меня.

— Ты встречаешься с одной женщиной, любишь другую и вместе с тем находишь странным, что я люблю Аксея, но не хочу навсегда связать с ним жизнь и войти в его семью?

— Как раз в этом нет ничего странного.

За окном с криками прошла веселая компания. Я воспользовался поводом, чтобы оторвать глаза от Анны и выглянуть в окно. Но это длилось недолго. Деваться мне было некуда.

Анна пила сок. И снова у нее над губой появилась красная полоска. Я хотел улыбнуться, но не смог.

— Помнишь, мы сидели в парке и ты сказал, что любишь меня? — очень быстро спросила она.

Я кивнул.

— И после этого ты пошел прямо к ней?

— Нет.

— Почему «нет»?

— Анна! — взмолился я.

— Разве мужчины не всегда одной женщине говорят, что любят ее, а идут к другой?

— Я не могу отвечать за всех мужчин...

— Ответь за себя.

Кровь бросилась мне в лицо. Мне захотелось ударить ее. Навалиться на нее всей тяжестью и остановить слова. Держать ее, пока она не затихнет.

— Наши... наши отношения такие неопределенные, — проговорил я.

— Объясни, что ты имеешь в виду!

— Это не так просто.

— А ты попробуйся.

Мне следовало знать, что на нее можно положиться. И рассказать ей все. Даже то, что самому было непонятно. Но я не смел подвергнуть себя такому риску. Не смел? Значит, у меня было что терять?

— Во-первых, Аксель... — начал я.

— Аксель — это мое дело.

— Он мой друг.

Анна наблюдала за мной из-под приспущенных век. Почему у нее такой игривый вид? Слишком игривый для профессорской дочки. Боже мой, ведь она флиртует со мной! Она молчала. Мы по-прежнему смотрели друг другу в глаза. Мне даже показалось, что она не слышала моих последних слов.

Вдруг она прошептала:

— Помнишь Пера Гюнта? Великую Кривую? Помнишь, какой крюк пришлось сделать Перу?

Я глотнул воздуха.

— Прекрасно помню. Но что ты хочешь этим сказать?

— Ты говоришь одно, а делаешь другое. И хочешь при этом, чтобы все

было хорошо. Боишься оказаться замешанным...

— Это ложь!

Я начал подумывать, как мне сбежать отсюда. Сбежать от Анны. От ее слов. Я с тоской поглядывал на дверь, когда кто-нибудь открывал ее и выходил на улицу.

— Значит, все, что ты говорил мне о своих чувствах, было пустой болтовней...

— Нет! — прервал я ее.

— Чего же ты хочешь, объясни.

— Хочу, чтобы тебе было хорошо. Тебе и Акселю..

Анна беззвучно, одними губами, повторила мои слова. Глаза ее медленно налились слезами. Она начала протаскивать перчатки через сжатую руку. Один раз, другой, третий... Одним и тем же нервным движением. Я продолжал считать. Шестой. Седьмой. Я еще мальчиком любил считать, когда боялся, что мне что-то угрожает. Это был своеобразный ритуал. Я считал все подряд. Чтобы остановиться на заранее определенной цифре и почувствовать себя в безопасности. Я всегда точно знал цифру, которая поможет мне спастись.

Когда Анна досчитала до своей цифры и перестала протаскивать перчатки через сжатую ладонь, я сказал:

— Жизнь — это совсем не то, что о ней написано в книгах.

— Ты так думаешь?

Что еще она могла бы сказать?

— А Карна? А ее ребенок? Ведь он жив, правда?

Ей все известно! Я должен был понять это, как только она появилась в дверях! Аксель все рассказал ей. Или она сама догадалась, когда он поведал ей о Карне и ее ребенке. Ну что ж, пусть так! Хуже уже ничего быть не могло.

— Да, ребенок жив, — подтвердил я.

— И ты хотел скрыть это от меня? Твоим словам грош цена!

Это было уже некрасиво. Любовь не должна быть такой! Не должна превращаться в отвратительный допрос в кафе!

— Я не хотел досаждать тебе этим...

— Досаждать?

Анна покачивалась на стуле, взад-вперед, взад-вперед. Меня вдруг охватило сильнейшее отвращение к самому себе И к ней тоже. Хорошо бы сейчас заснуть и больше не просыпаться!

— Презрение причиняет боль... — услышал я ее голос откуда-то сверху и понял, что она идет к двери.

Наконец-то я мог что-то сделать. Побежать за ней. Официант решительно остановил меня. Я не сразу понял, что он хочет получить с меня за два стакана сока. Наконец я растерянно вытащил из кармана деньги.

Когда я выбежал на улицу, Анна стояла, держась за фонарный столб. Я обнял ее, не заботясь о том, что это может разгневать публику на Конгенс-Ньюторв.

— Анна, ты сможешь когда-нибудь простить меня? — прошептал я.

— Ты не виноват, что ты такой, какой есть. Мне нечего прощать тебе, — просто сказала она и сбросила мои руки.

Мне следовало удивиться, почему она не плачет. Она должна была плакать!

Мы пошли наугад по Эстергаде.

— Не знаю, как мне все объяснить тебе, чтобы ты поняла.

Она не смотрела на меня и шла дальше.

— Я-то понимаю. Это ты запутался. Я... Я... А ты так и не понял...

— Чего не понял? Что ты хотела со мной встретиться?

— И этого тоже.

— Ты очень смелая, Анна. Я понимаю, почему Аксель так хочет получить тебя.

Она остановилась и посмотрела мне в глаза. Потом ударила меня по лицу. Прохожие с удивлением глядели на нас.

Я не отрывал глаз от ее шляпки. Анна случайно задела ее. Шляпка съехала ей на затылок, а потом повисла на лентах у нее за плечами.

— А ты, чего ты хочешь? — крикнула Анна. Но она все еще не плакала.

Я провел рукой по лицу. Что мне еще оставалось? Моя ошибка была непоправима. Теперь меня могло спасти только время.

Наверное, мне следовало найти слова, которые помогли бы ей извинить меня. Ведь Карпы уже не было в живых...

Анна не двигалась, пока я помогал ей поправить шляпу. Щека у меня горела. Но Анна стала мне ближе.

Больше я ничего уже не мог испортить, поэтому, когда мы пошли дальше, я осмелел и взял ее под руку. Ощутил ладонью ткань на ее рукаве.

Он, как и я, не запирает дверь своей комнаты, когда уходит из дому.

Я вошел и улегся на кровать. Прямо в башмаках, чтобы доставить себе хоть это удовольствие. Закурил одну из его сигар. Потом заснул, проснулся, но Аксеся так и не было.

Услышав, что по коридору кто-то идет, я высунул голову в дверь и спросил, не знает ли кто-нибудь, где Аксель. Мне ответили, что он на два

дня уехал домой.

Комната постепенно заполнилась темнотой. Я снова решительно лег и закурил еще одну сигару. Через некоторое время я сообразил, что Аксель поехал домой добывать деньги на наше путешествие. Значит, он отнесся к этому серьезно!

Походка у Анны легкая и бесшумная. Я и не заметил, как дверь отворилась и Анна, тяжело дыша, возникла на пороге. Анна!

Увидев меня, она остановилась. Спрятала руки за спину. словно придерживала дверь, оказавшись лицом к лицу с неизвестным врагом.

— Ты? Здесь? — вырвалось у нее. — Да.

Мне следовало понять, что я лежал на постели Акселя и мечтал об Анне. Но я этого не понял. Она мне помешала.

— Что ты здесь делаешь? — спросила Анна. Ее слова медленно упали между вздохом и выдохом.

— Ждал Акселя. Но мне сказали, что он на несколько дней уехал домой. А ты?

— Пришла к нему.

— И часто ты здесь бываешь? — с напускным равнодушием спросил я.

— Случается.

— А твои родители знают об этом?

— Почему тебя это интересует?

Взгляд у нее был словно подернут пленкой. Хрупкая синева плавала между стен. Я встал с кровати. Более неподходящего места трудно было придумать. Погасил сигару. Маленькая комната Акселя превратилась в раковину, и мы с Анной были внутри этой раковины! Близко-близко. Одни! И никто нас не видел.

Большая волна, поднимаясь из глубины, подхватила меня. Качнувшись, я подошел к Анне. Уперся обеими руками в дверь и всем телом пригвоздил к ней Анну. Прижимая ее к двери, я нашел ее губы, но руками к ней не прикасался.

Потом я запер дверь. Да, верно, дверь запер я.

— Нет, — сказала она, когда я обнял ее и снова поцеловал. — Нет!

Она сказала «нет», но не сопротивлялась. Я уже давно знал, что «нет» не всегда означает «нет». И даже не подозревал, что я такой сильный. А может, подозревал и упивался своей силой? Здесь, в комнате Акселя. На его кровати. На его грубошерстном полосатом покрывале, испачканном сапожной ваксой и сигарами.

Какая-то сила перенесла меня на цветущий луг. Я наслаждался его ароматом. Господи, как в тот день благоухала комната Акселя! Анна! Ее

кожа! Ткань ее костюма. Волосы. Стены были скрыты под коричневой тусклой землей. Потолок ничего не весил для того, кто был так силен. Анна была легкая как пушинка!

Если я и помнил, что она пришла сюда, чтобы без разрешения родителей встретиться с Акселем, это не имело значения. Потому что пришла она ко мне!

Нет, это был не влажный ночной сон, из тех, после которых я просыпался ослабевший от удовлетворения, но в котором не участвовало тело и руки. Зачем нам в этом мире даны эти проклятые руки?

О, эти руки! Им предстояло совершить столько добрых дел. Прикоснуться сразу ко всем местам. Задыхаясь, я старался обежать сразу все сады Анны. Я перепрыгивал через изгороди и калитки. Срывал цветы со всех клумб.

— Нет! — сказала она.

Но ведь это была только музыка? Конечно только музыка! Голос. Слова не имели значения, потому что в Анне звучала музыка.

— Нет! — снова сказала она.

Но ее «нет» не достигло моих пределов.

Неожиданно она надавила пальцем мне на глаз. Все почернело. Она плакала.

Мне следовало постараться, чтобы все было красиво. Не спешить. Вложить в это больше любви. Но все получилось иначе. Ведь я не предполагал, что во мне скопилось столько нетерпеливой силы.

Одежда Анны сбилась и была в беспорядке. Изящный костюм. Белье. Но ее аромат был одуряюще сладок! Моя рука проникла к ней под жакет, под блузку, и я заметил, что Анна перестала плакать. Пальцы коснулись теплой кожи. Я как будто держал птенца гаги, из тех, которых опекала Стине.

Но мне было страшно, что Анна сейчас встанет. Нет, она лежала не двигаясь, словно в оцепенении. Я приоткрыл один глаз — глаза Анны были закрыты.

Мои руки снова зашевелились. Очень медленно. Я ждал, что она начнет от них защищаться. Но она крепко обхватила мою шею и зарылась пальцами в мои волосы. Это было изумительно, несмотря ни на что.

Я такого не ожидал. В этом жесте было прощение. Между нами возникли руки Карны. Только на миг. Слабые и бессильные, они уже ничего не могли изменить.

Я должен был снова поцеловать Анну, даже если бы она рассердилась. Открыв на секунду глаза, я увидел устремленный на меня диковатый

взгляд, робкий, сердитый, испуганный, блаженный. Все сразу. Я прижался к ней лицом, чтобы не видеть крови Карны. Судорожно глотал воздух и двигался к цели. Дикое желание причиняло мне боль. Но я терпел. Мои руки гладили ее кожу, но я терпел.

Шляпа Анны упала на пол. Я сделал движение, чтобы поднять ее. Но Анна оттолкнула шляпу ногой. Гребень выпал у нее из прически, и волосы рассыпались по подушке.

А потом у меня захватило дыхание, потому что Анна расстегнула на блузке все пуговицы, рванула шнуровку и крючки на нижнем белье и обнажила грудь! Два круглых больших янтаря на темном береговом песке.

И это был не мираж! Я мог спокойно любоваться ее грудью, и она никуда не убегала. По-моему, я ни у кого не видел таких золотистых грудей с маленькими темными сосками.

Почему человек сам портит себе святое мгновение? Почему я, лежа с Анной, сравнивал ее с другими? Создатель Всемогуший, как человек может все запутать! Нежные, круглые груди Карны с большими сосками. Неужели я думал о них, прикасаясь к груди Анны?

А она? Догадалась ли, что я сравниваю ее с другими? Ведь все то делалось по необходимости. Да и делается ли это вообще по любви?

Страсть? Анна? Была ли это любовь?

Я не задавал вопросов. Страсть была жеребцом. И его нельзя было сдерживать. Он преодолевал препятствия и перепрыгивал через валы. Это была гибель. Мои руки и тело делали все, чтобы утолить желание.

Анне требовалось больше смелости, чем мне. Анна! Умная профессорская дочка. Я гладил ее лицо и волосы. Ласкал обнаженную кожу. Меня волновал переход от тонкой ткани к теплой коже. Оборки. Завязки. Пуговицы. Нежные и упругие ягодички. Я словно гладил плюш на старой кушетке в курительной комнате в Рейнснесе. Мне так хотелось увидеть Анну обнаженной всю целиком!

Сперва я лишь представлял себе, что я уже почти в ней, не смея двинуться дальше. А вдруг она только притворяется, что хочет меня? Чтобы в последнее мгновение снова низвергнуть в ад?

Но перед лицом катастрофы человек волей-неволей принимает какое-нибудь решение.

Терять мне было нечего. Однако в решительную минуту она вдруг отпрянула от меня. Ее диковатые глаза хотели мне что-то сказать, но я не мог заставить себя встретиться ее взгляд. Я плыл по черному бездонному морю.

В ее глазах была мольба. Я замер. Мной завладела одна мысль. Как я не

понял, что я первый! Не Аксель? И никто другой?

Страсть, стучавшая в ушах и сотрясавшая все тело, вдруг утихла. От смущения? Или от нежности? Может, я только теперь сообразил, что делаю? И что у меня никогда не было женщины, для которой это было бы впервые?

Об этом следовало спросить раньше, теперь уже не было времени. И как вообще спрашивают об этом?

Наши глаза погрузились друг в друга, ее шелковистые ноги обхватили мои бедра. Я услышал собственный стон, и комната исчезла. В голове мелькнуло, что Анна готова вытерпеть боль. Она не издала ни звука. Мне оставалось только продолжать движение. Его-то я хорошо знал!

Но я не смог. Желание покинуло меня, когда я был уже в ней. Когда имел все и от меня требовалось только одно. Я почувствовал на спине под рубашкой ее руку. В конце концов мы оба затихли. Лежа подо мной, она кончиками пальцев гладила мое лицо.

Мы не смотрели друг на друга. Постепенно я начал различать предметы. Мебель. Стены. Подумал, что надо оправить ее юбки.

— Вениамин! — проговорила Анна.

Я не знал, что за этим последует. Нашел ошупью ее руку. Чтобы загладить вину, я начал все заново: пуговицы, крючки, шнуровка.

— Вениамин! — повторила она.

Я ждал, но говорить не мог. Обнявшись, мы сидели на кровати Акселя. Анна оглядела себя и застенчиво запахла на груди блузку.

Мне в нос ударил острый запах моего тела. И прекрасный запах Анны. Чужой мужчина в кровати Акселя. Рядом с Анной. Господи, что я наделал! У меня сдавило горло.

Кто-то, насвистывая, прошел мимо окна.

Потом поднялся по лестнице и зашаркал по длинному коридору. Мы замерли от ужаса, подумав одно и то же: Аксель вернулся! Мы убили Акселя!

А когда шаги затихли, она убила меня:

— Теперь можешь отправляться к своим официанткам! Теперь я такая же, как они!

Мне следовало быть готовым к чему-либо подобному.

— Анна, Анна... — взмолился я и притянул ее к себе. Но я все понимал. О моем преступлении на всех стенах было начертано красными буквами. Я разорвал на части представление Анны о самой себе! Чем она стала? Почему мужчина всегда разрывает женщину на части? Но я не жалел о содеянном, хотя никогда в жизни не совершал более подлого

поступка. В комнате Аксея, на его кровати, в то время как он уехал добывать деньги, чтобы найти Дину!

Не знаю, как получилось, но я вдруг произнес слова, всплывшие в моей памяти. Голос с трудом повиновался мне:

— О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской... Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Со мною с Ливана, невеста! со мною иди с Ливана! [\[13\]](#)

Ее руки упали на колени, и в каждом голубом глазе зажглось для меня по маленькой свечечке.

Когда я прошептал последние слова, Анна тихо всхлипнула и погладила меня по лицу. Потом застегнула блузку до самого верха. Пока она подбирала волосы и прятала их под шляпу, я увидел, что кожа у нее на затылке тоже золотистая и что губы у нее дрожат. Не знаю, была ли она несчастна. Мне бы следовало спросить об этом, но тогда пришлось бы вытерпеть и то, что она может заплакать. Я предпочел думать, что и она была одинока в страшном желании хоть на мгновение испытать запретное. Только на мгновение! Что тело подчиняется своему желанию. И оно сильнее измен и несчастий. Сильнее того, что мы чувствуем друг к другу.

Мне следовало сказать ей об этом, но я не мог. Ведь я сидел на кровати Аксея, и от этого у меня во рту был привкус крови. Наверное, оттого я и произнес те великие слова о любви. Или мной руководило что-то другое?

Анна могла бы сказать: «На этот раз, Вениамин, ты не отвертись». Но она этого не сказала. Мы помогли друг другу одеться. Мы цеплялись за заботу друг о друге. Хотели загладить свою вину нежностью, иначе бы мы не выдержали.

— Теперь мы хотя бы знаем, кто мы! — сказала Анна, собираясь уходить.

Струя воздуха, ворвавшаяся в открытую дверь, подхватила один локон и забросила его на поля шляпы. В это безумное мгновение я повторил:

— Со мною с Ливана, невеста! со мною иди с Ливана!

Но Анна уже ушла. Я понял, что так ничего и не сказал.

## ГЛАВА 19

После случившегося в Валькендорфе прошло три дня, но Аксель все еще не показывался. В клинике он, конечно, как-то объяснил свое отсутствие, потому что его никто не искал, хотя экзамен был уже на носу. Я не смел даже спросить о нем.

Я убедил себя, что Анна непременно во всем признается Акселю. Он явится на Бредгаде и размажет меня по стене. Это только вопрос времени.

Мне было ясно, что, навещая бабушку Карны, я просто искупаю свои грехи. Я опять обещал ей, что достану денег. Мы с братом Карны оба обеспечивали ребенка молоком. То есть я брал молоко в родильном отделении, а он относил его домой.

\* \* \*

Аксель появился в последний день нашей работы в клинике. Он был невозмутим. Увидев его, я сразу понял, что Анна ничего не сказала ему. После церемонии с речами и фальшивыми звуками органа он подошел и ударил меня по плечу:

— Я раздобыл денег!

Не знаю, как положено вести себя таким людям, как я. Для меня это было внове. Другой на моем месте извинился бы и ушел, но я остался с ним в саду под деревьями. Аксель был беспредельно счастлив и рассказывал о своей матери, о ее доброте. Он чувствовал себя победителем!

Не всегда следует говорить все как есть. Жизнь не однажды убеждала меня в этом.

Я не смог заставить себя пойти со всеми, чтобы отметить окончание ординатуры. Не смог из-за Акселя. Сослался на то, что плохо себя чувствую. Друзья пригрозили, что придут за мной на Бредгаде, если я не явлюсь, и отправились в Валькендорф или Регенсен. Их пение еще долго рассекало воздух, хотя их самих уже не было видно.

Мне оставалось только проклинать себя за то, что родился трусом и идиотом. Или болтаться по улицам. Я трижды подходил к двери Анны, но ни разу не позвонил. Следя за тем, как удлиняются тени, я говорил себе: «Теперь можешь ехать в Нурланд и объявить там, что ты застрелил любовника своей матери! В Копенгагене тебе больше нечего делать. Все кончено. Можно, правда, несколько дней просидеть в кабачках, пить датское пиво и думать, что жизнь не удалась. Но тогда придется отказаться

от обедов. Потому что бабушка Карны должна получить все деньги, какие у тебя есть».

Раньше, предаваясь безумным мечтам, я утешал себя тем, что деньги для поездки в Берлин можно сэкономить на чистке платья и покупке новых башмаков. Теперь же ехать с Акселем в Берлин было невозможно.

Раскаленный город пах пылью. За Эстергаде начиналась Амагерторв. От людей и животных как будто исходил пар. Тени стали короче. Все, кто мог, искали спасения в тени высоких домов. К фонарному столбу была привязана холеная вороная лошадь, она лениво ела из мешка сено, а кучер дремал под поднятым верхом пролетки.

Я вспомнил, как мы проходили здесь с Анной, и мне показалось, что она только что вышла от портного. Но это была другая женщина. Несколько раз она мне чудилась, и я со всех ног бросался к ней. И всегда это была не она. Случалось, я убегал, не убедившись в своей ошибке. Таким образом Анна хоть мгновение была со мной.

Мимо прогрохотал водовоз, поливавший улицу; он окатил водой ватагу мальчишек, которые были рады возможности охладиться.

Торговки сидели за своими дощатыми прилавками, заваленными овощами и цветами. Кое у кого были зонты от солнца. Другие прикрывали лица платками. От сточных канав шло зловоние. Люди зажимали платками носы, переходя по мосткам через самые грязные места.

Омнибус тронулся с места. Несколько мужчин в цилиндрах сидели на империале, словно припаянные к горячему воздуху. В них не замечалось никаких признаков жизни. Над крышами домов бежали облака. Внизу в омнибусе сидели женщины. Неподвижные, точно восковые.

Я шел и по старой привычке смотрел на женщин, торгующих рыбой. Может быть, меня привлекал туда запах рыбы. А может, мне просто не хотелось встречаться ни с кем из знакомых.

Путь от Бредгаде до Конгенс-Нюторв был достаточно долгий, чтобы проветрить голову. Но только не сегодня. На углу Стуре Страндстреле мне пришлось пробиваться сквозь обрывки нечистой совести. Следует ли мне зайти к бабушке Карны? Или...

Победил я.

Возле Хейбру мне встретила молоденькая служанка, в корзинке у нее блестела рыба. Раздражающий запах дешевых духов смешался со свежим запахом пота и рыбы. Она шла, расстегнув жакет. Под тонкой блузкой колыхались груди. Два перезрелых плода. Должно быть, я, сам того не замечая, слишком долго смотрел на нее, потому что она опустила глаза и быстро пошла прочь. Я невольно оглянулся ей вслед. Меня охватило

одинокчество.

Я брел мимо рыбных прилавков и слушал крики торговков, которые, повязав головы платками и широко расставив ноги, стояли под своими зонтами. Я ловил их откровенные взгляды и видел, как их загорелые лица расплывались в улыбке. Отпустив очередного покупателя, они грубыми передниками вытирали с лица рыбью чешую.

Я шел по небольшим улочкам. Мимо открытых окон, в которых были видны пухлые локти и застывшие дешевые улыбки. Полдень уже миновал, и в тени переулков было прохладно.

«Теперь можешь отправляться к своим официанткам! Теперь я такая же, как они!» — вспомнил я. Эти слова пели под подошвами моих башмаков, я опускал глаза и спешил дальше.

По дороге домой я обратил внимание на дату на газете, и мне почему-то захотелось вспомнить, что говорилось про этот день в старинном календаре матушки Карен.

Потом я забыл об этом и вспомнил снова уже дома, в своей комнате, где на столе лежало принесенное хозяйкой письмо от Андерса. Вскрывая его, я таки вспомнил, что говорилось в календаре матушки Карен: «17 июня. Месса Бутульва. Землю, что отдыхала в том году, следует вспахать, ибо все корни свободны, их легко выдернуть, чтобы они сгнили».

В комнате было душно. Из кухни долетал запах жареного лука. Меня мучил не голод, а тошнота, хотя я и не ел весь день. Я повесил сюртук на вешалку возле двери и вышел с письмом во двор.

Андерс прислал не только письмо, он прислал также крупную сумму денег, хотя я не просил его об этом. Теперь они обрадуют бабушку Карны и позволят мне поехать домой первым классом.

Письмо начиналось с рассказа обо всех обитателях Рейнснеса. Стине, Фома, дети. Ханна, которая весной овдовела и потому вернулась домой вместе со своим сыном.

Мне трудно было представить Ханну вдовой с сыном. Я мысленно увидел ее. Стройная, темноволосая, с твердым взглядом и упрямым выражением лица. Но она тут же исчезла. Я не смог удержать ее.

Слишком долго я не вспоминал о ней.

Больше всего Андерс писал об удачном лове сельди. Судам из Рейнснеса повезло в этом году. Спрос был такой, какого никто и не помнил. Колебания конъюнктуры и спекуляции разорили многих судовладельцев, но не его, писал Андерс своим твердым угловатым почерком.

В письмах Андерс никогда не употреблял слова «заем». Он называл это

«необходимыми средствами». Теперь дела у него пошли на лад.

Я представил себе, как Андерс сидит в конторе при лавке с рюмкой рома. Старая рюмка на витой ножке со сколами по краю.

Он с восторгом писал о новом телеграфе на Сандсёйе. Теперь у них тоже есть телеграф. Это настоящее чудо. Можно даже сказать — колдовство. Благодаря телеграфу мир стал маленьким. Андерс требовал, чтобы я не пожалел денег на телеграмму и сообщил домой о своем приезде. Ему будет так приятно получить мою телеграмму! Если у меня туго с деньгами, он оплатит телеграмму при получении. Дело не в деньгах. Сельдь на Севере — это благодать Божья. Возле Бьяркёйя ее было довольно много, а неподалеку от Мелангена так и просто видимо-невидимо. Но все-таки за ней надо идти в море, сама она на берег не приходит.

Андерс деловито сообщал, что приобрел в Страндстедете помещение и нанял людей, чтобы солить сельдь там. Он считал это стоящим делом. Если, конечно, не терять голову. Люди рады посредничеству, и торговать теперь стало легче. Всех охватило поветрие страховать от пожаров, люди думают, что это прибавит им уважения. Рейнснес он тоже застраховал. А вообще-то и люди, и скот, слава Богу, здоровы.

Письма Андерса были словно из другого мира. Когда я читал их, у меня всегда появлялось чувство, будто я забыл что-то очень важное.

\* \* \*

День на день не приходится.

Этот, например, начался вовсе не с торжественной церемонии в клинике по случаю окончания ординатуры. И не тогда, когда Аксель исчез за углом дома. И не с мыслью о старинном календаре матушки Карен. И не с письма Андерса.

Он, как ни странно, начался уже после полудня. За заборчиком из штакетника, который защищал водяную колонку от кошек и бачков с мусором, развесистая ива вкупе с самой колонкой образовывала блаженный оазис. Из трубы колонки всегда струилась вода, словно там был тайный источник, бьющий из недр земли.

Три дома, окружавшие двор, являлись своеобразным каркасом для всевозможных пристроек. Они нависали над двором, давая людям жилье. Лестницы, наружные галерейки и эркеры дарили прохладу в жаркие дни. Чулки и юбки весело реяли в воздухе и бросали тень на красную кирпичную стену. Ящики с цветами пытались создать впечатление идиллии. Окна были открыты, и звуки, доносившиеся из дома, сливались в

какофонию, имя которой было — Жизнь.

Скамья была сработана на совесть. И тем не менее мне казалось, будто я качаюсь вместе с ней. Тени, шелест листьев над головой. Четыре облака, плывущие в вышине. Все мелькало перед глазами и давило на веки.

Иногда громко скрипела калитка. С того места, где я сидел, ее не было видно. Но через мгновение после каждого скрипа над оградой показывалась верхняя часть головы. Если человек был достаточно высок или носил шляпу.

Несколько раз я задремывал, и мне казалось, что я вижу Анну. Светлая шляпа с мягкими полями. Позолоченная солнцем и без того смуглая кожа. Видение тут же исчезало, словно по векам скользнула тень от листьев. И я снова оставался наедине с теплым ветром.

Я в третий раз перечитывал письмо Андерса, когда в калитку кто-то вошел. Легкие шаги. И тут же из окна первого этажа послышался высокий голос вдовы Фредериксен:

— Да-да, господин Грэнэльв дома! Он сидит на скамье возле водяной колонки!

Анна! Конечно, это Анна! Моя тоска заставила ее прийти ко мне!

Я крепко закрыл глаза и притворился, что сплю. Зашуршали юбки, в этом не было никакого сомнения. На меня упала тень, но я продолжал ничего не замечать. Это была игра. Она вознесла меня на небеса. Выросла из тайников моей души. Стала деревом, ветви которого уперлись в облака, а корни — мне в пах.

По тишине я понял, что пришедшая женщина стоит и разглядывает меня. Но глаза не открыл. Пусть она прикоснется ко мне, прежде чем я подам признаки жизни. Пусть подойдет еще ближе. Даже без моего зова. Она должна подойти близко-близко, как в Валькендорфе. И на этот раз ей нужен именно я!

## ГЛАВА 20

— Вениамин!

Чей это голос? Откуда я его знаю? Волна. Медленная волна. Голос благоухал. Он был до безумия светлый. Причинял боль. Мне показалось, что кто-то ломом пытается приподнять мне веки. Что-то твердое без конца било в виски.

Я вдруг сделался маленьким и сидел верхом на вороной лошади, которую под уздцы вели по полю. Женщина в желтом костюме и бежевой широкополой шляпе стояла рядом, она звала:

— Вениамин!

Я бессознательно поднялся со скамьи. Решил, что пойду к себе и немного посплю. Жара и духота сделались невыносимыми. Письмо Андерса было влажным от пота. Когда я разжал пальцы, оно приклеилось к моей ладони.

Что-то странное было в этом лице. Мне пришлось сказать себе, что, как только я пойду, оно исчезнет, потому что, будь это действительность, я знал бы, что мне делать. У меня все было продумано заранее. Еще с детства. Все, что я скажу и что она мне ответит.

Опять этот голос! Откуда в копенгагенском дворике морской ветер? Или это обычная тоска? Тоска произнесла:

— Вениамин?.. Ты не узнал меня?

Тогда маятник стал раскачиваться. Сперва медленно. Потом все быстрее и быстрее. Мне пришлось ухватиться за него, чтобы остановить. Но это не помогло. Я повис на нем и стал раскачиваться вместе с ним.

Да, я раскачивался из стороны в сторону. Где-то в мировом пространстве. Наконец я не выдержал этого безумного движения и был вынужден сесть. Однако деревянная скамья не спасла меня от него, и я предпочел снова встать.

Холодная, влажная рука на лбу. Бегущая рядом вода. Почему никто никогда не починит этот кран? Почему все такое ненадежное? Почему я не пошел и не лег, пока еще было время?

Аромат усилился. Я невольно поднял руку, чтобы защититься от него. Прогнать. Он вернулся к ней на грудь. Жакет был расстегнут. Теплая кожа под тонкой тканью. Ее лицо! Так близко! Неужели можно к нему прикоснуться?

Не справившись с собой, я произнес только одно слово:

— Мама!

Я повторял его снова и снова. Годы исчезли. Все вернулось на круги своя. Как было до русского. Я растворился в собственном теле. Прижался к ней. И плакал.

Она крепко держала меня. Не помню, что произошло и что я говорил. Помню только, что она крепко держала меня. И ее светлые глаза смотрели мне в лицо. Спокойно. Немного задумчиво, словно силы у нее были уже на исходе. Недоверчиво, как будто она думала: «А ведь это он!»

Она меня видела!

До сих пор она еще ничего не сказала мне. Только: «Вениамин!..» и «Ты не узнал меня?»

Тем не менее мы вместе вошли в дом, точно годами договаривались, что спрячемся от всех. Поднялись по лестнице в запахе жареного лука.

В комнате я еще некоторое время бессильно опирался на спинку кровати, не отрывая от нее глаз. Подошел, шатаясь, к раскрытому окну, потом — обратно. И все не отрывал от нее глаз.

Она сняла жакет и шляпу. Села на кровать. И у нее вырвалось что-то похожее на вздох.

Кто-то бросал в стену мячом. Я считал удары. Двадцать один. Потом все стихло. Наступила мертвая тишина.

Можно было представить себе, будто это и есть блаженный покой смерти. Но в эту смерть вторглась вдова Фредериксен — она хочет предложить матери молодого господина Грэнэльва чаю со льдом или минеральной воды.

Дина поблагодарила и спросила, можно ли подать нам это в комнату. Нам надо о многом поговорить. Если не затруднит...

Нет, это несколько не затруднит вдову Фредериксен.

— Ваш сын столько работал и занимался в последнее время, что это отразилось на его здоровье. Он не похож сам на себя. — Вдова Фредериксен давала понять, что внимательно наблюдала за мной. Словно я был главной персоной в доме.

Минеральную воду подали в самых красивых бокалах, какие только нашлись у вдовы в буфете.

В комнате раздался голос Дины. Коснулся, как ветер, моих ушей. Простые, будничные слова. Ничего не значащие вопросы. Правда ли, что я был болен? Нет ли поблизости подходящего кафе, где мы могли бы поесть?

Поесть?

Где-то во мне текла спокойная полноводная река, и по ней все плыло. Все, что говорила Дина.

Какие светлые у нее глаза! Неужели они всегда были такие

прозрачные? Как я мог их ненавидеть? Как мог когда-то считать ее виноватой? В чем?

Мне пришлось схватить ее руки, чтобы искупить все. Но под взглядом ее прозрачных глаз река сама вынесла на поверхность слова:

— Ты должна увидеть дочь Карны!

Дина улыбнулась. И все стало просто! Просто! Пока она не спросила:

— Дочь Карны?

По-моему, только тогда я понял, что это действительно Дина.

\* \* \*

Она сидела и выжидательно смотрела на меня. Бог и Дина, оба смотрели на меня. Меня вдруг затрясло.

Наконец я сказал себе, что это ничего не значит. Абсолютно ничего. И река потекла дальше, унося слова Дины. Они поднимались со дна маленькими пузырями. От старых, лежавших на дне бревен, которые медленно превращались в ил. От рыбешек, прятанных под берегом. Я даже видел, как они поблескивают в воде.

Вдруг Дина встала и подошла к двери. Я бросился за ней. Крепко схватил за руку и потянул к себе:

— Нет! Не уходи! На этот раз ты не сбежишь от меня!

В голосе у меня прозвучала угроза. Я строго смотрел на Дину, пока она старалась освободить свою руку. Но глаза у нее были спокойные. Подозрительно спокойные.

— Я не сбегу, Вениамин! Мне надо только выйти во двор.

— Нет! Нет! Останься!

Она закрыла глаза, но тут же открыла и посмотрела на меня почти нежно.

— Хорошо. Пойдем вместе. Я отпустил ее руку.

— А потом пойдем куда-нибудь и поедим. — Она надела шляпу.

Я встал между нею и дверью. Она подошла к футляру с виолончелью и положила на него руку. Ничего не сказала, только показала, что видит ее.

— Ну? — сказала она. — Ты не наденешь сюртук? Чтобы у тебя был приличный вид?

Я повиновался.

Перед уходом глаза Дины несколько раз обежали комнату.

— Значит, здесь вы и жили, и ты, и Юхан?

— Да.

— Тебе здесь нравится?

— Я здесь живу.

В дверях она спросила:

— Ты теперь всегда говоришь по-датски? — Значит, заметила!

— Да.

— И со мной тоже?

— И с тобой тоже.

Я не мог видеть ее лица — она шла впереди меня. Но не показалось, что она улыбается. Зря я ей так ответил. Надо было самому посмеяться над этим. Сказать, что это вошло в привычку. Да что угодно.

Кафе у канала. Дина вслух читала мне меню, вывешенное у входа, точно я был слепой. Я же тем временем изучал ее кожу. Мочки ушей с жемчужинками. Линию губ. Грудь. Талию, обтянутую длинным жакетом. Она была старше и стройнее, чем я ее помнил. Глубокая складка между бровями. Кажется, раньше она была глубже? Странно. Может, теперь ее мысли смягчились? Меня охватила детская ревность. Поэтому я перевел взгляд на ее виски. Просесть.

За столиком в кафе я уже почти обрел равновесие. Придумал даже особый прием — смотрел на ее ноздри. Таким образом я как будто оставался в стороне. Когда Дина немного поворачивала голову, я видел ее профиль. Высокие скулы. Верхняя губа у нее была почти прямая. Я не мог вспомнить, замечал ли я это раньше. Но впадинка над губой была глубокая. Словно чей-то твердый палец, желая исправить прямоту губы, сделал эту впадинку такой четкой и глубокой. Уголки губ приподнимались так, как я помнил. Или мне только казалось, что помнил, потому что знал об этом?

Неужели я когда-то боялся ее? Я не знал, что сказать. Все упреки и обвинения, приходившие мне в голову за эти годы, куда-то исчезли. Куда вообще подевались все слова? Почему я не смотрю ей в глаза и не говорю то, что думаю?

Дина ела то же, что и я. Ветчину, сыр, черный хлеб. И пила крепкое пиво. Мы долго молчали. Между каждым глотком я пожирал ее глазами. Она была сдержанна. Раза два прикоснулась к моей руке.

— Не ешь так быстро! — строго сказала она.

Я замер — она мне приказывает! — и невольно улыбнулся. И продолжал есть уже медленно. Несмотря на это, я закончил еду намного раньше, чем она.

— Ты должна познакомиться с моим другом Акселем! — вдруг выпалил я, точно мальчик, который наконец придумал, чем можно занять взрослого.

— А что в нем особенного?

— Особенного? У него есть привычка закусывать водку сырыми

яйцами... Этому он научился, конечно, не дома. Он из пасторской семьи.

Я замолчал и покраснел, поняв, как это глупо. Я не видел свою мать с детства, и первое, что я сообщаю ей, — как Аксель закусывает водку.

Глаза Дины смеялись. Я осмелел. После сытной еды и кружки крепкого пива я не таясь разглядывал ее. Мне даже захотелось ее разозлить. Сбить с нее эту невозмутимость. Вывести из себя. Теперь бы я сумел удержать ее, даже если б она рассердилась настолько, что захотела уйти.

— Сегодня я получил письмо от Андерса! Столько событий в один день! Хочешь прочесть его?

Она отрицательно покачала головой. Я сделал вид, что не заметил этого, и вынул письмо из кармана сюртука.

— Я сам прочту его тебе!

— Нет! — властно сказала Дина.

— Почему «нет»?

Словно защищаясь, она отгородилась от меня рукой.

— Ты просто трусишь! — процедил я сквозь зубы. Только я произнес эту дерзость, как понял, что говорю уже не по-датски. Это разозлило меня еще больше.

— Пусть так, — медленно сказала Дина, даже не обратив внимания на то, что я перешел на норвежский.

— Ты не читала писем, которые мы тебе посылали?

— Я их все получила, Вениамин. Но тогда мне нужно было быть одной. Всеу свое время.

— Ты так считаешь? Она подперла подбородок руками. Уголки губ у нее улыбались, но глаза были серьезные.

— Спрячь это письмо. Оно адресовано тебе, а не мне, — сказала она.

Я начал читать письмо вслух.

Думал, что она встанет и уйдет и тогда я смогу устроить ей сцену. Но Дина не двигалась и только смотрела на меня.

Я пытался придать своему голосу необходимые интонации и в то же время не спускал с нее глаз. Это было не просто. Некоторое время слова кружились между нами как мухи, не нужные ни ей, ни мне. Я понял, что она была права. Потому что Андерс не присутствовал в этих словах. Он был только инструментом в моей борьбе с ней.

Я сложил письмо и продолжал складывать, пока в моих пальцах не оказался маленький комоч бумаги.

— Расскажи лучше о себе, — попросила Дина. — То, что, по твоему мнению, мне нужно знать.

— Зачем?

— Затем, что я здесь и хочу тебя слушать!

Как странно! Этот язык! Как давно я не слышал его! Я растрогался, и это разозлило меня. Дина говорила так, будто только что приехала из Рейнснеса. Сегодня. И никогда никуда не уезжала.

— Я закончил ординатуру. Теперь я врач. И у меня есть чемоданчик с полным докторским набором.

— Но это же великолепно, Вениамин! Я никогда не думала, что ты станешь доктором...

— А что в этом плохого?

— Ничего. Это замечательно! Но я думала, ты предпочтешь читать романы и всякое такое...

Она действительно это сказала, действительно похвалила меня! Но что-то меня насторожило. Это следовало сказать по-другому. Какого черта она приплела сюда романы?

Я стоял на прибережных скалах и видел, как Дина бежит вверх по аллее. К русскому. В его объятия. Я стоял в воде и тянул лодку, чтобы вытащить ее на берег.

Один. Вот она добежала до русского. Лодка была слишком тяжелая.

Меня затошнило. Ветчина, сыр и темное пиво рвались наружу.

— Больше тебе нечего сказать мне? Ты получила мое письмо, в котором я пишу, что заявлю на себя?

— Получила.

— Теперь ты знаешь все!

— Нет, Вениамин! Всего не знает никто. Но я узнала достаточно, чтобы приехать сюда. Надеюсь, ты еще ничего никуда не заявил?

О чем она говорит: о погоде?

— Черт тебя побери, Дина, о чем ты говоришь: о погоде?

— Нет.

Она медленно вытерла губы кончиками пальцев и откинулась на спинку стула. Глаза ее спрятались в тени.

— Ты ни в чем не виноват, Вениамин. И ты это знаешь!

— Не виноват?.. А кто же тогда виноват?

— Ты решил покарать Вениамина за то, что Дина не позволила отправить себя на каторгу?..

В этот час в кафе было почти пусто. Но все равно она говорила слишком громко. Следовало заставить ее говорить потише. Нас могли услышать.

— Ты меня бросила... — прошептал я.

Уголки губ снова улыбнулись. Точно ли это была улыбка? Но если не

улыбка, то что же? Дочка Карны впервые подала голос, когда я держал ее на руках. У нее были те же уголки губ!

Дина наклонилась над столом и крепко обхватила мои запястья, даже слишком крепко:

— Да, Вениамин, я тебя бросила. Иначе ты и не можешь к этому относиться!

Наконец-то она призналась в этом! Она сидела передо мной. Держала меня за руки...

Я все еще стоял с ее картонкой для шляп. Я все еще сидел на дереве и в ярости звал ее, когда она плыла на лодке к пароходу.

— Почему ты прислала мне только старую черную Библию? Чтобы я подумал, будто ты умерла?

Она ответила не сразу. Мы с ней были заточены в этом кафе с закопченным потолком и стенами. В снопе лучей, которые проникали сюда через плохо вымытое окно, можно было различить замок Христиан-борг.

— Понимаешь, я думала... Ничего другого я не могла для тебя сделать. Мне хотелось, чтобы ты обрел наконец покой, — неуверенно проговорила она.

Я не смог произнести презрительных слов, которые вертелись у меня на языке: «Как мило с твоей стороны, прислать мне Библию!» или «Ты могла бы прислать Библию и Андерсу. Он тоже ее заслужил!»

Ничего этого я не сказал. Я разглядывал свои руки.

— Ты знаешь, что я был в Берлине?

— Да. Ты ведь забрал виолончель.

— Почему ты не захотела со мной встретиться?

— Я не знала, что ты приехал. Я была в Париже.

— Не верю!

Мы некоторое время смотрели друг на друга. Потом она сказала:

— Это понятно.

Все заполнила пустота. Абсолютная пустота.

— Я когда-нибудь лгала тебе, Вениамин?

— Не знаю. Но кое о чем ты, конечно, умалчивала!

— О том, что собираюсь уехать? Я говорила!

— Не помню.

— Я понимаю. Это было слишком трудно.

Она крутила в пальцах нитку, которая вылезла у нее из рукава, и не спускала с меня глаз.

— А почему ты приехала теперь?

— Я должна была заставить тебя понять...

— Что понять?..

— Что ты не должен брать на себя чужую вину.

— О чем ты говоришь?

Она не спешила. Но потом произнесла очень тихо и внятно:

— Ты ни в чем не виноват, Вениамин. Однажды осенью Дина Грэнэльв застрелила из ружья Лео Жуковского, а Вениамин Грэнэльв стоял на камне и все видел. С тех пор он лишился матери.

Ее лицо заледенело. Глаза — две полыньи.

Она сказала это! Здесь, в кафе. Но ведь это ничего не меняло.

— Тебе этого достаточно, Вениамин? Можно ли ответить на такой вопрос? Наступила мертвая тишина. Официант расставлял на полках стопки тарелок. Я видел звуки, но не слышал их.

— Спасибо тебе, что ты не сдался и заставил меня приехать сюда!

Она это сказала! Я сам слышал!

И снова текла река. И все плыло. И Дина тоже. Не очень молодая женщина плыла по реке среди своих слов. Она еще пыталась сохранять невозмутимость, хотя и знала, что это безнадежно.

Мы остались в кафе одни. Официант, в белом грубом переднике, кружил возле нашего столика, давая понять, что нам пора уходить. Я испугался, как бы он все не испортил, заговорив с нами, и начал рыться в карманах.

Дина опередила меня и достала из сумочки деньги.

Я смотрел на картину, висевшую на стене. Парусник в черной раме. И думал, что, когда все кончится, когда река унесет в море и нас, и наши слова, я все равно буду видеть перед собой эту шхуну из кафе у канала.

На улице Дина схватила меня за руку и весело сказала:

— А ты вырос! И даже очень!

— Зато ты стала меньше! — дерзко парировал я. Это помогло. Мы шли и осторожно улыбались друг другу. Солнце садилось. Шлоттсхольмен, церковные колокольни и самые высокие крыши купались в его последних лучах. Красный кирпич оно превращало в червонное золото. Между домами одна за другой возникали тончайшие перегородки из света, тени и пыли.

— А в Рейнснесе в это время года солнце вообще не заходит, — сказала Дина.

— Да.

— Неплохо бы сейчас глотнуть морского ветра и увидеть полуночное солнце, — легко продолжала она. Слишком легко.

Я-то понимал, о чем она говорит.

Дина остановила проезжавшего мимо извозчика.

— Мне надо заехать на вокзал за моим багажом и найти себе ночлег.

Теперь она была такая же, как в прежние дни. Деловая, немногословная, энергичная.

— Поедем куда-нибудь к морю. Ты знаешь тут какое-нибудь подходящее место?

— Все зависит от того, что тебе нужно и сколько ты сможешь заплатить.

— Мне нужно, чтобы пахло мылом и морем. Чтобы были чистые полотенца и две кровати.

— Две?

— Конечно! Ты уже слишком большой, чтобы спать с мамой!

— А у нас хватит денег, чтобы поехать за город? — спросил я, тут же загоревшись этой мыслью.

Дина уже торговалась с извозчиком. Сперва мы заберем ее багаж, потом заедем на Бредгаде за моими вещами. Вскоре все было решено — и место, и цена. Извозчик знал как раз то, что нам нужно. У него есть брат, который сдает рыбацкий домик севернее Клампенборга.

— Но туда можно поехать и поездом, — заметил я. Дина обернулась ко мне. Наконец она стала такой, какой я ее помнил, — Диной из Рейнснеса.

— Так порядочные коммерсанты не поступают. Сперва ты заставил продавца сказать, где находится товар, а потом хочешь лишить его причитающейся ему прибыли. К тому же я не желаю тереться коленями о чужие ноги и слушать претензии какой-нибудь матроны, которой нужно место для ее пожитков и собачонки. Поездом я уже сыта по горло, по крайней мере на какое-то время.

\* \* \*

Когда мы приехали на Бредгаде, я один поднялся наверх. Вдова Фредериксен, с блестящим от пота носом, выбежала в коридор — она так жалеет, так жалеет, ей хотелось пригласить на обед мою мать и меня... Но, к несчастью, заболела ее сестра, и ей пришлось поехать в Роскильде, чтобы проведать ее. Эта поездка — сущий кошмар и...

Она продолжала говорить, хотя я пытался втолковать ей, что мы поели и теперь на несколько дней уезжаем за город.

Тогда она обрушилась на меня с предупреждениями о ключах, пожаре и ведре с нечистотами.

Я быстро собрал в матросский мешок необходимые мне вещи и две книги, а она все стояла в дверях и говорила, говорила... Случайно мой

взгляд упал на виолончель. Я схватил ее и бросился к двери.

— Ключи! — потребовала вдова Фредериксен и вдруг помянула черта, что позволяла себе крайне редко.

Я остановился в изумлении:

— Что-нибудь случилось?

— Нет-нет! Ничего страшного. Просто тот молодой человек, с которым вы постоянно встречаетесь, заходил сюда и интересовался вами.

— Аксель? Высокий? С густыми белокурыми волосами?

— Да-да, Аксель. Он просил передать, что зайдет еще раз. Сегодня вечером.

Сперва я думал, что он ничего не знает про нас с Анной. Но теперь мне пришло в голову, что именно знает, потому и приходил. Я остановился с виолончелью в одной руке и матросским мешком в другой.

— Как он выглядел?

— Как обычно... Хорошо одет и...

— Нет, я имею в виду, не был ли он чем-нибудь взволнован или что-нибудь в этом роде?

— Я ничего такого не заметила, — удивленно ответила вдова Фредериксен.

На Аксея похоже не показывать своего настроения, подумал я. Теперь мне остается только найти убежище под землей. Или броситься в море.

Я начал спускаться по лестнице.

— Ключи! — услышал я за спиной ее крик.

— Да-да! Счастливо оставаться! — крикнул я ей.

— Что передать вашему приятелю, если он придет еще раз?

Я остановился и попытался собраться с мыслями.

— Передайте, что я вместе с матерью уехал в Клампенборг! Скажите ему, что приехала моя мать!

Что может быть лучше правды? Едва ли Аксель захочет навестить нас в Клампенборге и свести счеты со мной, зная, что я там с Диной.

\* \* \*

Дина ничего не сказала, увидев, что я принес виолончель.

Мы выехали из города, дорога шла вдоль берега.

— Было бы неплохо поселиться здесь навсегда. Море... Ну, ты и сам понимаешь... — сказала Дина.

— В Копенгагене?

— В Дании. Хорошая страна. Язык. Тут все как будто ближе...

Я с ней согласился.

Спина извозчика потемнела от пота. Он тихо напевал. Я заметил, как он поднял кнут и тень заплясала над головой лошади. Однако он ее не ударил.

Мы ехали под высокими деревьями. Тени превратили их в сказочных зеленых животных. Небо принадлежало им.

Мне о многом хотелось расспросить Дину, но я не знал, с чего начать.

— Когда ты заговорила по-немецки? Я имею в виду, заговорила так, чтобы тебя понимали?

Она задумалась:

— Однажды я проснулась и поняла, что мне приснился сон на немецком. С тех пор все изменилось... К тому же был один человек, с которым я могла разговаривать. Понимаешь, у меня никогда не было никого, с кем бы я могла говорить обо всем... Открывать свои мысли. Даже по-норвежски...

Этими словами она смела с доски все мои пешки. Я не мог пошевелиться.

— Дело не только в языке. Дело в том, что люди редко встречают того, кто им подходит. И потому им, конечно, трудно разговаривать друг с другом. Я думаю, Вениамин, что только сегодня мы с тобой встретились по-настоящему.

Она разглядывала свои руки.

— Я так боялась этой встречи! Но все получилось замечательно. Хотя ты и говорил по-датски. Правда, недолго, если учесть, сколько лет ты здесь прожил. Я как будто вернулась домой со всеми своими мыслями, мой мальчик.

Она так и сказала! Она произнесла эти слова, сидя рядом со мной! И я это не выдумал! Мне захотелось встать в пролетке во весь рост и громко смеяться. Вместо этого я спросил:

— Дина, ты видела когда-нибудь такие высокие деревья?

— Конечно! Но все деревья прекрасны...

Пока мы ехали под деревьями, по ее лицу пробегали синие тени.

Неожиданно я оказался под дождем рядом с Карной. Я шел с ней и вспоминал венчание Дины и Андерса в каменной церкви. Тень от листьев падала Дине на лицо. Времени не существовало. Все переплелось друг с другом: Дина в подвенечном платье. Карна под дождем с намокшими волосами и слипшимися ресницами. Дина в пролетке рядом со мной.

Я знал, что никогда этого не забуду. И никогда не узнаю, почему эти два образа оказались так чудесно связаны друг с другом. Почему я вспомнил их вместе?

— Ты любила Андерса? — неожиданно спросил я. Она помолчала.

— Я и сейчас люблю его. Но знаешь... между нами столько всего встало.

— Русский? Она кивнула:

— И ты тоже, Вениамин. Андерс был твой. Он принадлежал тебе.

— Мы могли бы разделить его.

— Ты так думаешь?

— Ты из-за меня вышла за него замуж?

— Почему ты спросил об этом?

— Потому что ты здесь и я могу наконец задать тебе этот вопрос.

Она немного подумала:

— Нет. Из-за себя. Но можно сказать и так: я вышла за него, потому что знала, что он будет тебе хорошим отцом. И еще из-за Рейнснеса...

— Ну а потом, когда уехала, ты думала когда-нибудь, каково ему?

Пролетка качнулась. Мы проехали по валявшейся на дороге ветке. Извозчик сбавил ход и привстал, чтобы успокоить лошадь.

Крепко держась за пролетку, Дина повернулась ко мне:

— Я понимаю, Вениамин, что ты должен был встать на сторону Андерса против меня. Иначе и быть не могло.

Что я мог ей сказать? Через некоторое время она заговорила снова:

— Но я думала о том, каково ему пришлось, Вениамин. Каждый день. Каждый Божий день я думала о том, каково пришлось вам обоим.

## ГЛАВА 21

Дом, который мы сняли, стоял у самой воды и был, по сути, старым лодочным сараем. В нем была всего одна комната с самой необходимой мебелью. Две прибитые к стенам кровати с клетчатыми пологам. Стол, стулья, очаг. Воду мы брали из бочки, которая наполнялась раз в день. Хозяин держал трактир, его сын на тележке привозил нам еду.

Час бежал за часом. Иногда время вообще останавливалось. Море дружелюбно наблюдало за нами, пока мы заново знакомились друг с другом, страстно, как прибой, бьющий о скалы в Рейнснесе. Мощные валы налетали, чтобы потом отхлынуть обратно. Далеко-далеко. Каждый в свою глубину.

В первую ночь мы с Диной выпивали как старые добрые друзья. Дина громко смеялась. У нее был такой странный смех. Я вдруг сообразил, что не помню ее смеха. В Рейнснесе она почти не смеялась. Я сказал ей об этом.

— Да, там было не до смеха.

— Ты была там несчастна?

Она поглядела на меня. Поправила скатерть, наполнила рюмки.

— Несчастлива? Нет... Я бы не сказала. Но там было столько забот. Обо всем нужно было помнить. Ты был еще маленький... Мы с тобой не могли смеяться над одним и тем же. Наверное, поэтому...

— И еще русский?

— Да, и русский тоже.

— Тебе неприятно, что я спрашиваю тебя об этом?

— Лучше, чтобы это было уже позади.

— Почему?

— У тебя ко мне много претензий, Вениамин. Я понимаю, почему ты спрашиваешь. Другое дело, смогу ли я на все ответить тебе...

— Ну а теперь ты поедешь со мной в Рейнснес?

— Нет.

— Почему?

— Моя жизнь с ним больше не связана.

— А если я заявлю, что убил русского, и тебе ничто не будет угрожать? Тогда поедешь?

— Нет! И тебе незачем заявлять на себя! Ты прекрасно знаешь, что придумал это, чтобы заставить меня вернуться. Неужели ты не понимаешь, что это глупая жертва?

Она подлила в рюмки еще вина, хотя они и так были почти полные.

— Значит, Андерс оставшуюся жизнь должен прожить в одиночестве? — Мне удалось не произнести слова «жертва».

Дина бесшумно поставила бутылку на стол.

— Не надо решать за другого! Я знаю, как это трудно! — Ей удалось не произнести имени Андерса.

Потом Дина перевела разговор на неопасные темы. Интересовалась студенческой жизнью. Я рассказывал и пил вино. Рассказал об Акселе. Иногда Дина задавала вопросы, но больше слушала. И улыбалась.

У меня на душе стало спокойно. Мне захотелось рассказать ей про Анну. Но я так и не назвал ее имени. Пока не назвал.

Уже среди ночи я вдруг крикнул Дине, хотя мы с ней сидели друг против друга:

— Сыграй, Дина! Пожалуйста, сыграй!

Она покачала головой, но продолжала улыбаться. По-моему, ей не меньше, чем мне, нравилась наша игра.

\* \* \*

Следующий день мы посвятили знакомству с местностью. К тому же нам обоим хотелось прогнать из души тревогу. Я ждал, что Дина откроет мне свои мысли. Но, очевидно, дневной свет запер на замок все двери. Когда Дина вечером, уже после заката, откупорила бутылку вина, я снова кивнул на угол, где стояла виолончель:

— Почему ты захотела, чтобы я забрал в Берлине твою виолончель?

Она села и наполнила наши рюмки. Потом поднесла свою к губам.

— Мне нужен был предлог, чтобы встретиться тебя, — неожиданно сказала она.

— А ты не могла приехать ко мне сама? Так, как теперь?

— Я пропустила нужный момент.

— А виолончель?

— Мне хотелось, чтобы ты забрал ее в Рейнснес. Я уже давно не играю.

— Почему? Ведь ты уехала, чтобы учиться играть? Она бросила на меня быстрый взгляд:

— Мне хотелось так думать. Но со временем я поняла, что ошиблась. Что мне следует смотреть и слушать.

— И ты не играла с тех пор, как уехала?

— Нет, первое время играла. Нашла учителя. Это тот человек, у которого ты забрал виолончель. Он помог мне избавиться от некоторых ошибок. Все шло хорошо. Но потом что-то изменилось... Они исчезли...

Все сразу...

Я в недоумении смотрел на нее:

— Кто исчез?

— Ертруд. Иаков. Лео. Это был конец. Они не захотели остаться со мной. — Глаза у нее сделались беззащитными. — Ты меня понимаешь, Вениамин? Понимаешь?

— Нет! Покойники не смеют мешать живым!

— Наши покойники — это мы, — просто сказала Дина.

— Не смей даже думать так! — вырвалось у меня, я рассердился.

— Но иначе я не могу этого объяснить. Если покойники нас покидают... Значит, мы виноваты, значит, должны искупить свою вину. Поэтому я и перестала играть.

В доме вдруг стало очень холодно. У меня сдавило горло. Дина пристально смотрела на меня. Но я думал уже о другом. Неожиданно я вспомнил, что в детстве слышал кое-что не предназначавшееся для моих ушей. О Динином безумии. О ее ночных бдениях в беседке, где она служила литургию ветру.

— Ты шутишь... — глупо сказал я.

Дина сидела наклонив голову, как будто дремала. Потом заговорила, словно читала по книге. Слова снежинками падали мне на лицо. Едва ощутимо прикасались к коже, к глазам, потом таяли и испарялись. Легкие, хрупкие. Удержать их было невозможно.

— Я всегда просыпалась от крика Ертруд. Этот крик прочно вошел в мою голову. Он пожирал мои мысли. Ертруд не могла обрести покой и без конца продолжала умирать. Она была как несчастная овца со вспоротым брюхом, из которого вывалились все внутренности. Я верила, что это она бросила мне с небес пуговку. Скорее это была не пуговка, а маленькая ракушка, которую я нашла на берегу среди камней. Непередаваемого небесного цвета. Ертруд была одиноким орлом, что кружил над крышами домов. Она следила за мной. Но по ночам она кричала. Как будто дарила мне свой крик. Что мне было с ним делать? Избавиться от него я не могла. Он жил во мне. Ленсман велел снести старую прачечную. Может, дело в том, что я лишилась места, куда могла бы пойти и где могла избавиться от этого крика? Прачечную столкнули в воду, и на ее месте выросли кусты. словно ничего и не было. Потом приехала Дагни, и они выгнали Ертруд из дому. Ее портреты, на которых она была еще целая, просто взяли и выбросили. Тогда мы с ней уехали в Рейнснес, к Иакову. А что нам еще оставалось? Господину Лорку пришлось уехать в Копенгаген. Вот чего я никогда не прощу себе! Не прощу, что позволила им отнять у меня Лорка.

Мне следовало поджечь дом, пырнуть ленсмана ножом, чтобы он понял. Музыка, Вениамин... Понимаешь, Лорк жил в музыке. Так что по-своему он все-таки не расстался со мной. Все дело было в музыке...

Дина замолчала. Снаружи дышало море. Мы слышали его глубокие ритмичные вздохи.

— Ты никогда не говорила об этом раньше.

— По-моему, я перестала говорить в тот день, когда они вытащили меня из прачечной и бросили в снег. В тот день, когда я обварила Ертрюд. Когда же слова вернулись ко мне, говорить было уже не о чем. Люди не замечали меня. Все погибло.

— Но ведь то был несчастный случай! Ты не виновата!

— Как ни назови, а это было!

Я вздрогнул: она до сих пор мучится! До сих пор носит это в себе!

Мне следовало спросить у Дины, не достаточно ли было одной Ертрюд. Почему она убила еще и русского?

— Сколько тебе было лет?

— Пять.

— Как же ты можешь считать, что это твоя вина? Ты была маленькая!

— Вина не имеет отношения к возрасту.

— Но ведь ты была ребенком!

— Мы все дети.

— Тебе нужно было с кем-нибудь поговорить... Дина издала короткий смешок. Мне он не понравился.

— Это бы ничего не изменило, ведь несчастье уже случилось.

— Неужели не нашлось ни одного человека? — Нет.

Значит, это началось задолго до того, как она зачала меня! А я-то думал, что все началось, когда между нами в вереск упал русский. Что она мучилась днем и ночью. Теперь же, слушая ее рассказ, мне казалось, что наша с ней общая жизнь началась в тот день, когда она стояла в сугробе и слушала, как кричит Ертрюд. Наверное, уже тогда можно было понять... Я же не замечал ничего, пока не упал русский.

А тогда уже ничего нельзя было поправить.

Вселенная вокруг нас затихла.

Обитатели Рейнснеса выстроились на столе между нами. Превратились в шахматные фигуры — эту партию Дина разыгрывала то сама с собой, то со мной. Кем же был русский? Упавшей ладьей?

Дина всегда хорошо играла в шахматы. Я помнил, как ловко она защищала от меня свои фигуры.

Она говорила о себе как о постороннем человеке.

— Тебе, должно быть, всегда очень не хватало Ертрюд? — спросил я.  
Она задумчиво и долго смотрела на меня:

— Ты спросил об этом потому, что тебе не хватало меня?

Теперь была моя очередь выиграть время. Сейчас она, несомненно, играла против меня.

— Возможно, — признался я. Она кивнула:

— Я всегда носила Ертрюд в себе. У нее не было никого, кроме меня.

— А кто есть у тебя?

— Не задавай глупых вопросов!

Дина отступила. Я почувствовал себя отвергнутым. Почему она не дает мне то, что я готов принять от нее? Ведь именно это я и стараюсь внушить ей!

— Ты не умерла! Ты сбежала! — вырвалось у меня.

— Да, можно сказать и так. Но у меня не было выбора.

— Ты испугалась суда?

— Суда? — повторила Дина в пространство, словно впервые услышала это слово. — Я знаю одно, Вениамин: есть вещи, изменить которые невозможно. Но все равно спасибо тебе! Спасибо за письмо, за то, что ты хотел принять мою вину на себя. И еще за то, что заставил меня позволить себе встретиться с тобой.

— Ты считаешь, что этого достаточно, Дина? Достаточно одной благодарности?

— Во всяком случае, очень важно оставить кого-то после себя, кто понимал бы, почему все получилось так, а не иначе. Может, ты лучше поймешь меня... когда у тебя самого будут дети.

Кто-то больно нажал мне на глаз. Дина поставила мне мат. А ведь я еще ничего не сказал ей о ребенке Карны! О моем ребенке! Пока не сказал. Однако все мои поры вдруг закрылись. Мне хотелось замкнуться в себе. И все-таки ее рассказ прояснил кое-что между нами. Я был вынужден согласиться, что Вениамину Грэнэльву было бы несколько не легче, если б его мать угодила на каторгу. Ни тогда. Ни теперь. Но у меня не повернулся язык сказать ей об этом.

— Почему ты нам не писала? Мы хотя бы знали, как ты живешь.

— Чтобы никто не приехал и не забрал меня домой. Ты ведь тоже не пишешь домой. Боишься, что тебя туда позовут?

Значит, она все-таки обратила внимание на упрек Андерса, что я не пишу!

— Может, нам обоим следует позволить, чтобы нас забрали домой? — предположил я.

— И кому от этого будет лучше?

— Андерсу, например.

— Ты хочешь всем угодить, Вениамин, — только и сказала она.

Наконец Дина встала, пошла и открыла дверь. День уже обозначился светлой полоской на востоке. Вскоре Дина закрыла дверь, обернулась ко мне и помахала рукой, словно стояла на перроне и поезд должен был вот-вот отойти.

А потом направилась к своей кровати.

\* \* \*

Не знаю, долго ли я спал, но меня разбудила Дина. — Ты кричал во сне! — Она наклонилась надо мной.

— Карна! — проговорил я спросонья и медленно сел. — Карна! Она умерла!

Динино лицо и волосы. Утро. Луч света, проникавший в маленькое оконце. Дина откинула мое одеяло и, сев рядом со мной, засунула ноги ко мне в постель. Мы прижались друг к другу.

— Она умерла при родах! — сказал я и прибавил уже шепотом:

— Она умерла. Все, к кому мы прикасаемся, умирают. Верно?

Я еще не успел произнести эти слова, как понял, что так оно и есть.

— А ребенок? — услышал я Динин голос.

— Он у ее бабушки, но она не может оставить его у себя, ей его не вырастить.

Я сидел, опустив голову на руки, и ждал, что она скажет: «Ну так забери его в Рейнснес!»

Но Дина этого не сказала. Она встала и подошла к окну. Пошарив, нашла спички и зажгла огарок свечи. Это заняло много времени. Очертания ее фигуры были хорошо видны сквозь белую ночную сорочку. Я невольно вспомнил прежние годы. И все показалось мне бессмысленным.

По-прежнему молча Дина вернулась, неся свечу и не отрывая от нее глаз. Поставила ее возле кровати и снова забралась ко мне под одеяло. Пламя свечи слегка вздрагивало. Его было почти не видно. Ведь уже наступил день.

Чего я ждал от Дины? Нравоучений? Отповеди? Помощи?

— Почему ты молчишь? — спросил я наконец.

— Иногда в таких случаях лучше сперва зажечь свет.

Я потер лицо. Кожу стянуло. Мне бы никогда не пришло в голову так сказать!

— Я не хотел этого! Не знал...

Я чувствовал себя бродячим псом, который рыщет по дворам в поисках отбросов, воды и самки.

— Я в этом не сомневаюсь, — сказала Дина.

— Ты мне веришь? — Я всхлипнул. — Да.

Сразу стало теплее. И надежнее.

— Расскажи мне о Карне! — попросила она. Я покачал головой.

Выждав какое-то время, она дружески толкнула меня в бок.

Это была уже вторая наша партия. Первую она выиграла так, что я даже не заметил. Она снова расставила фигуры.

— Расскажи мне о Карне! — повторила она.

— Мы встретились в полевом лазарете во время осады Дюббеля. Она была сильная, ловкая... Все парни были влюблены в нее. Но они...

— А ты?

— Не знаю! Господи, прости меня! Как раз этого я и не знаю!

— Но ведь ребенок твой?

— Не знаю!

— Чей же он еще может быть? Одну мою пешку она уже съела.

— Тебе не все известно.

— Я понимаю, иначе и быть не может.

Я немного отодвинулся. Дина сидела слишком близко. Она встала, пошла и открыла дверь, словно я попросил ее об этом. Море переливалось серебром. Морские птицы над ним повелевали светом и воздухом.

— Вениамин, я тебя слушаю. — Дина стояла ко мне спиной.

Тогда я привел сюда Карну. В одной руке она несла сверток, в другой — рваный зонт. Наконец-то она пришла. И Дина приняла ее. Сверток развернули и осмотрели. «Ребенок твой», — изрекла Дина. Это испугало меня. Показалось невыносимым. Но чувство стыда, как ни странно, немного уменьшилось.

Тем временем выкатилось солнце. Большой белый щит, вокруг которого плескалось море. Свет поглотил нас. Сделал бесплотными. Лишил лиц и кожи. Мы прислонились друг к другу. Сдались. Наши слова и тела как будто слились друг с другом, когда я выплеснул в комнату жизнь Карны. Потом все стихло.

Вот тогда-то Дина решительно пересекла комнату, открыла футляр с виолончелью, внимательно осмотрела ее и вынула из футляра.

Ветер шуршал метлой, стоявшей у двери.

Неповторимым волнообразным движением Дина села на стул, поставила виолончель между коленями, склонилась к ней и взяла смычок.

Она долго и тщательно настраивала инструмент. Это было странное зрелище. Виолончель и Дина плакали вместе. Дина дарила слезы, виолончель — звук.

Я вдруг вспомнил вычитанные где-то слова: «Чудеса существуют все время. Но только для того, кто готов их принять».

Старинные псалмы Петтера Дасса. Моцарт. Рождественские гимны. Веселые танцевальные мелодии. Один раз Дина прервала игру и негромко чертыхнулась по-немецки.

— Бах! — объявила она потом, как будто что-то объясняла.

Мелодия звучала неровно, словно спотыкалась. Но Дина начинала снова и снова. Всклипывая, точно запертое в клетку животное.

Я искупался в соленой воде и оделся за стеной нашего домика. И все время слышал голос виолончели. Успокоившись и согревшись, я вернулся в дом и начал жарить свинину. Нарезал ее тонкими ломтиками и уложил на сковородке. Чад вытягивало в открытую дверь.

Дина играла, следя за мной глазами. Она была босая, в одной сорочке.

Потом мы молча поели, и она снова стала играть. По-прежнему не одеваясь.

После полудня мне пришлось перевязать ей тряпкой пальцы на левой руке. Кожи на них практически не осталось.

— Мне следовало захватить с собой мой чемоданчик. Мазь...

Она улыбнулась:

— И так зарастет!

Словно это был пароль. А может, испугавшись, что Дина снова предпочтет мне виолончель, я сказал без всякого вступления:

— Есть другая женщина.

— Другая?

— Да. Ее зовут Анна.

— Вот как? — Дина посмотрела на свою повязку.

Конечно, я поступил глупо. Но ничего не поделаешь. Рано или поздно это все равно всплыло бы наружу.

— Понимаешь... Понимаешь... Черт, это все так запутано!

Я попытался засмеяться. Сейчас смех не повредил бы.

— И теперь эта Анна не желает тебя знать, потому что ты стал отцом? — мягко спросила Дина, словно разговаривала с ребенком, стащившим кусочек сахара.

— Анна обручена с Акселем!

— Кто этот Аксель?

— Мой единственный друг. Тот, который ест сырые яйца... Я говорил

тебе про него...

Я ждал, что она засмеется. Это было бы уместно. Но Дина не засмеялась. Она сказала:

— Я вижу, ты не терял времени даром!

Мне хотелось провалиться сквозь землю, скрыться где-нибудь в темноте.

— Анна? И что же она собой представляет?

Я попался на крючок и подробно рассказал об обеде у профессора и о том, что Анна ездила в Лондон. Дина кивнула и тут же поставила мне второй мат:

— Выходит, это прекрасная партия! Я сам был виноват.

— Не в этом дело! — воскликнул я. — Господи, Дина...

— Легко любить того, кому много дано. Это я понимаю, — сухо сказала она.

— Дина!

— А что на это скажет Аксель?

— Нетрудно себе представить. Скорей всего он...

Я был не в силах вдаваться в подробности. Да они Дину и не интересовали. Мне не следовало ничего говорить ей. Не следовало впадать в сентиментальность только по той причине, что моя мать вернулась ко мне. Я умолчал о том, что произошло в комнате Акселя. И о том, что Аксель раздобыл денег, чтобы помочь мне поехать в Берлин.

Но вскоре я не выдержал охватившего меня одиночества и прямо спросил:

— Что ты об этом думаешь?

Дина поправила повязки на пальцах. Одну за другой. Сплела пальцы, словно речь шла о жизни и смерти.

— Это как раз то, что не украшает ни одного мужчину, — честно сказала она.

Во всяком случае, это был открытый ход.

— А что говорит Анна? — спросила она немного погодя.

— Не знаю.

— Поинтересуйся. Не исключено, что из вас двоих она хочет получить именно тебя.

— Но что мне делать? Не могу же я застрелить Акселя!

Только встретившись с ней глазами, я понял смысл своих слов.

— Конечно. Но Анна может застрелить Акселя ради тебя, — сказала она.

— Или меня...

— Или тебя, — согласилась Дина.

Она пошевелилась, и ее колени коснулись моих. Я выпрямился, чтобы избежать этого прикосновения.

— Анна так важна для тебя?

— Иногда мне так кажется... Но и Аксель тоже... Дина кивнула:

— Самое плохое в этой истории то, что ты сам не знаешь, чего хочешь. А Карна... Ее ты будешь нести в себе всю жизнь.

Еще один мат. Но никакого совета она мне так и не дала.

Дни и ночи переплелись друг с другом. Потом я вспоминал уже только обрывки разговоров, образы, звуки. Все переплелось, перемешалось, наложилось друг на друга и показывало друг друга с новой стороны.

Во время прогулок по берегу Дина принохивалась и вздыхала. Иногда она наклонялась и что-нибудь поднимала с земли. Ракушку, щепку, сухой стебелек. Осколок бутылки. Мы почти не говорили. Я думал о Карне.

Когда нам хотелось есть, мы шли к хозяину в его трактир и ели там, беседуя о том, что нас окружало. Однажды я спросил:

— На что ты жила?

Дина продолжала есть. Когда она заговорила, казалось, она обращается к самой себе:

— Все устроилось как-то само собой. Я ведь хорошо считаю. Это меня спасло. Многим нужны люди, которые умеют наводить порядок в цифрах. С такими людьми они чувствуют себя в безопасности.

Она рассказала кое-что о своей жизни. О доме, в котором жила. Об окнах со свинцовыми переплетами в рамах и цветными стеклами, которые сделала у себя в эркере. Такие же, как на веранде в бывшем Доме Дины в Рейнснесе, где потом жили Фома и Стине, подумал я.

О человеке, которому принадлежал этот дом. Они иногда встречались. Он покупал земельные участки, проектировал дома, делал расчеты. Строил. Не только в Германии. Это был очень деловой человек. У него были заказы и во Франции. Она много лет вела его бухгалтерию, часть жалованья она получала в акциях. Они понимали друг друга. Знали, что их не ждут никакие неожиданности. Вместе путешествовали.

— Это с ним ты была в Париже? — спросил я. Она улыбнулась:

— Да. Значит, ты все-таки веришь, что я была в Париже?

— Конечно!

— Вот и хорошо! Мы на верном пути. Некоторое время мы ели молча.

Потом я спросил:

— Тебе хорошо живется?

— Что ты имеешь в виду?

— Ты не нуждаешься?

— Нет, я не нуждаюсь!

Когда мы вернулись в свой лодочный сарай, я задал ей новый вопрос:

— А если бы не было Андерса, ты вышла бы замуж за того человека, который строит дома?

— Нет! — решительно ответила Дина. — Мне хватает берлинской толпы. Там можно не думать, одобряют ли тебя пробст и Господь Бог. Там ты с Богом один на один.

Она выражала свои мысли очень точно. Но я рано обрадовался. Она вдруг спросила:

— А ты женился бы на Карне, если б она не умерла? Ох эти проклятые неожиданные ходы!

Я отрицательно покачал головой. Это все расставило по местам.

\* \* \*

Пошел дождь. Большие тяжелые капли стучали по соломенной крыше, ползли по стеклам.

Дина начала рассказывать об арендаторе в Хелле, у которого жила в детстве. Я слышал об этом и раньше, но думал, что она прожила у него всего несколько дней. Так же как О лине не допускала разговоров о том, что я родился в летнем хлеве, в Рейнснесе никогда не говорили о жизни Дины у арендатора в Хелле. Даже Фома не говорил, хотя это был его родной дом.

— А каким образом Фома оказался в Рейнснесе? — спросил я.

— Фома приехал в Рейнснес, потому что я послала за ним, — просто ответила Дина.

Мне показалось, что сейчас она начнет рассказывать о Фоме. Но она не стала.

Зато постоянно возвращалась к господину Лорку. Ей хотелось бы найти его могилу. Ведь он умер в Копенгагене.

— Он многому научил меня, — сказала она.

— Давай поищем его могилу, если ты удержишься в Копенгагене?

Она улыбнулась и толкнула меня в бок:

— Ох и хитер же ты, Вениамин!

Густой морской туман скрыл весь мир. Осмотрев перед завтраком кончики своих пальцев, Дина начала играть. Иногда она громко смеялась и даже делала гримасы. Иногда что-то мурлыкала или пела старые псалмы Петтера Дасса. Я же все время лежал на кровати, погруженный в самого себя.

Вдруг в середине одного псалма Дина прервала игру и отложила смычок в сторону.

— Хватит! — сказала она. Я не отозвался.

— Хочешь есть? — спросила она.

— Да.

— Тогда давай поедим.

— Где? Здесь?

— Нет. В трактире.

После еды мы пошли вдоль берега. Соленая вода и пена лизали нам ноги, мы шли босиком. Вернулось солнце. Дина подобрала юбки и обвязала их шалью вокруг талии. Но они все-таки намокли и били ее по щиколоткам.

— Слушай, я придумала или ты действительно говорил мне, что присутствовал при родах Карны? — спросила она, стоя ко мне спиной.

— Да, присутствовал...

— Когда родилась девочка?..

— Да, я сам и принял ее.

— Не мужское это дело, — пробормотала Дина.

Не прозвучали ли у нее в голосе презрительные нотки? Нет. Скорее удивление.

— Да, не часто случается, что мужчина... — начал я.

— Не скажи! Андерс, например, справился с этим. И Фома тоже справился бы. — Она засмеялась. — Между прочим, Фома сидел под дверью хлева, когда я тебя рожала. И если б Олине вовремя не поспела, он бы сам...

Я замер и с любопытством поглядел на нее:

— А мой отец? Иаков справился бы?

Она обернулась ко мне и сразу стала серьезной.

— Нет! — коротко бросила она.

— Почему? Ведь он ходил на охоту... Его не мог испугать вид крови...

— Роды не имеют ничего общего с охотой. И при чем тут кровь?

— Я имел в виду, что на охоте он должен был привыкнуть к виду крови.

— Иаков не боялся крови. И он ходил на охоту. Но он никогда не справился бы с родами. В этом смысле ты не похож на него. Впрочем, иначе и быть не может, ведь ты не сын Иакова!

Тишина сделалась непроницаемой. Но ее заглушили крики морских птиц. Волны покинули свою стихию. Они поднялись против меня. Превратились в руки, которые сдавили мне горло. Вдали шел пароход.

Дневной свет был острый как бритва. Я закрыл глаза. ТЫ НЕ СЫН ИАКОВА!

\* \* \*

Я не слышал, что еще говорила Дина. Долго не слышал. Но видел ее лицо. Рот. Шевелящиеся губы. Глаза. Неужели это Дина, которая объясняет мне что-то, чего я не в силах понять? Зачем она это говорит?

Тогда Дина выпустила на шахматную доску Фому. Сколько лет она удерживала в тени эту фигуру! Теперь он двигался на нас, неся жерди с полей Рейнснеса через море и через полосу тумана. Мне пришлось понять его взгляды. И простить ему то, что он ни разу не выдал себя.

Карна и ребенок остановили меня. Не позволили взять на себя роль судьи. Мое бешенство испарилось, его сменила усталость, она парализовала меня. Я превратился в старца. Поздно. Мне было уже поздно обзаводиться отцом.

Не знаю, сколько прошло времени. Оно двигалось независимо от меня.

— Почему ты только теперь рассказала мне об этом? Почему? — спросил я.

— Потому что поняла, что пришло время.

Один-единственный раз я был в той маленькой усадьбе, где родился Фома. Там было много людей и животных. Их запах проникал даже в дом. Запах пота и парного молока. Дыма, поднимавшегося из открытого очага. Я слабо помнил худого, жилистого человека с сутулой спиной, седыми волосами и усами.

И рыжеволосую, полную, невысокую женщину с добрыми глазами и проворными движениями. Вдруг она оказалась здесь. В моем теле. В моем кровообращении! Половину своего наследства я получил от них. Вениамин Грэнэльв был незаконнорожденным сыном, он носил чужую фамилию и получил не положенное ему наследство.

Все годы Дина хранила свою тайну. Она обманула нас всех. Ее можно было ненавидеть и осуждать, но от этого ничего не изменилось бы.

Я не мог заставить себя поднять на нее глаза. Она была не лучше любой шлюхи...

«Теперь можешь отправляться к своим официанткам! Теперь я такая же, как они!» Анна появилась на шахматной доске и объявила королю шах.

Неужели это никогда не кончится? Потом пришла Карна со своим свертком и рваным зонтом. Она молча склонилась над постелью Акселя и наблюдала за тем, как Анна сделала королю шах.

Я молчал, пока самообладание не вернулось ко мне. Меня вдруг

поразила одна мысль.

— Но... но, значит, и матушка Карен мне не...

— Да, Вениамин.

— Но ведь мы с ней родные! Вы все говорили, что она моя бабушка! Я не хочу... — по-детски запричитал я.

— Конечно, вы родные, матушка Карен — твоя бабушка. И изменить этого не может никто, — сказала Дина.

\* \* \*

Вот тогда на меня накатило бешенство. Оно вываляло меня в смоле, перьях и вонючих тресковых внутренностях. Оно рвало меня, царапало и посыпало солью все мои раны и царапины. И не имело ничего общего с моими смятенными мыслями, в которых я покоился, словно в растворе. Меня душил какой-то камень. Я не мог избавиться от него. Он был слишком твердый, слишком большой, чтобы пройти через горло. Он раздробил бы мне все зубы и вырвал язык из гортани. Если бы я мог заплакать, завывать! Но я не мог. Вместо этого я быстро-быстро перебирал в памяти всех своих родственников. И я, никогда особенно не желавший иметь отцом мертвого Иакова, был в ярости, оттого что Дина лишила меня матушки Карен и несколькими словами превратила во внука крестьянина, арендовавшего усадьбу у ленсмана Холма.

— Кому это известно? — прошептал я чужим голосом.

— Никому.

Но я уловил едва заметное колебание. А может, она просто так дышала? Но что-то я уловил.

— Никому? — сердито повторил я.

— Фома, наверное, кое о чем догадывается. Но в церковных книгах черным по белому записано, что твой отец Иаков Грэнэльв.

— Фома знает, что я его сын?

— Уверенности в этом у него нет.

Высокая незнакомая женщина с юбкой, приподнятой над мокрыми щиколотками, с темными волосами, тронутыми на висках сединой, обеими руками крепко сжимала ручку зонтика. С зонтика свисала маленькая шелковая кисточка. Она била женщину по лицу. Ее глаза открыто смотрели на меня. Они блестели.

— Мужчины никогда не могут до конца быть уверены в подобных вещах. Ведь ты и сам недавно так думал?

\* \* \*

Морские птицы успокоились. Берег был пуст. В мире не осталось никого, кроме нас. Над нашими головами висел тяжелый воздух, словно мироздание вошло в сферу земного притяжения, чтобы придавить нас.

Мы долго бродили. Иногда обменивались пустыми словами, в которых не было ни прощения, ни выхода, ни утешения.

Я и не хотел никаких утешений. Маленький мальчик из Рейнснеса тащил по полям жерди, не зная, что рядом с ним идет его отец! Черт бы побрал всех женщин!

Наконец я устало спросил:

— Как это у тебя могло получиться? Почему именно Фома?

— А как у тебя могло получиться? Почему именно Карна?

— Дина, тогда была война! — серьезно ответил я, сбитый с толку.

Она выглянула из-под зонтика и смотрела на меня невинными глазами.

— Ты сам все объяснил, Вениамин! Тогда была война!

— Иаков был уже мертв, когда ты зачала меня? — спросил я, сознавая всю бестактность моего вопроса.

— Для всех да, но не для меня, — ответила Дина.

— Стало быть, ты его обманула?

— Да, я его обманула.

— Ты обманула его до того, как он умер? С Фомой?

— Нет, Вениамин! Все было в свое время. Сперва он обманул меня.

Она села на валявшийся толстый ствол. Ветер растрепал собранные в узел волосы и играл ими. У меня мелькнула новая мысль.

— Значит, Юхан мне не брат? — Нет.

— Значит, это он вместе с Андерсом должен был получить в наследство Рейнснес?

— Нет! — почти сердито ответила Дина. — Никто не может изменить того, что записано в церковных книгах.

— Ты в этом уверена?

— Рейнснес должен принадлежать тому, кто его заслужил. Одно время это была я. Теперь — Андерс. Если бы Юхан был нужным Рейнснесу человеком, он бы уже давным-давно там жил.

— Но он пастор. И тогда в Рейнснесе жила ты.

— Я должна была служить Рейнснесу.

— Мне тоже придется служить ему? Ты это хочешь внушить мне?

— По-моему, я выражаюсь достаточно понятно.

Я хотел спросить: кто в таком случае должен теперь получить Рейнснес? Но до меня вдруг дошло, что это ее уже не касалось. Это касалось только меня. Я сказал:

— Юхан еще может предъявить свои права на Рейнснес.

— Он побоится. — Кого?

— Бога. Иакова. В конце концов, меня!

— Почему?

— Он знает, что всегда хотел получить меня. Но вообразил, будто Бог не даст ему на это согласия.

— Дина! Неужели и Юхан?

Глаза Дины превратились в смеющиеся щелки, когда она увидела мое лицо.

— Да, да. Это было в молодости! — Она засмеялась. — Он был намного старше меня. Я пришла в дом в качестве его мачехи. Нам обоим было не очень-то легко. Я помню, он обещал писать мне из Копенгагена... Самое страшное не страх, куда страшнее не понимать, что должен сделать именно то, чего боишься! Нет, мы с ним квиты!

\* \* \*

В ту ночь ко мне пришли все мои отцы. Иаков, Фома и Андерс. Я не знал, что мне с ними делать. Все они хотели, чтобы я замолвил за них словечко перед Диной. Но о чем именно, я не понял.

Когда я проснулся, у меня было такое чувство, будто я не спал несколько недель. Я принес дров, хлеба и молока. Сварил кофе. Дина нарезала черный хлеб. Мы уселись перед очагом.

Она закуталась в большую шаль. Глаза у нее были еще сонные. Она словно сливалась с морем, что плескалось за дверью. Сперва мы молчали. Я сидел и думал, стоит ли рассказать ей мой сон. Вдруг она сказала:

— В конце концов, Вениамин, остается только идти дальше! Не всегда бывает так, что человек идет дальше с тем, с кем хотел бы. Но люди всюду люди. Надо только уметь их видеть. Я встретила в Париже одну женщину. Помню, я еще подумала: вот была бы подходящая подруга для Вениамина, если б ее так не испортила война. Как будто у тебя было право получить неиспорченную...

— Когда это было? — воскликнул я.

— Когда туда пришел Бисмарк. Но я уехала из Парижа. Я не могла думать на нескольких языках. А Париж был неподходящим местом для того, кто думает по-немецки. — Дина жестко рассмеялась. — Я многое повидала, Вениамин. Самое страшное не ад. Человек хуже ада!

— Расскажи о Париже! Она покачала головой:

— Каждый, кто так или иначе находится в заточении, пребывает в аду. Одни заточены в своей болезни. В своем теле. Ты, конечно, видел таких.

Но, по-моему, самое страшное заточение — это заточение в собственных мыслях.

Меня охватило беспокойство. Она наблюдала за мной.

— Ты боишься, Вениамин? И давно? Чего же ты боишься? Суда?

— Я? По-моему, суда могла бы бояться ты?

— Я и боялась. Но не очень. Пока не получила твоего письма, в котором ты грозился взять вину на себя.

— Ты не сможешь остановить меня, если я захочу это сделать!

— Смогу, Вениамин! Но не советую заставлять меня прибегнуть к моему средству.

Она смотрела мне прямо в глаза. Без угрозы. Просто устало.

— Неужели ты не раскаиваешься, Дина? Никогда и ни в чем?

— Ты думаешь, что после всех этих лет я стала бы донимать тебя рассказом о своем раскаянии?

— Но ты раскаиваешься?

Где-то плескалась вода, ударяясь о камни.

В ее глазах не было враждебности. Они ничего не скрывали. Как ничего не скрывали глаза Карны и моего ребенка.

— Раскаяние — это для людей, которые считают, будто раскаяться легко.

— И ты никогда не нуждалась... в прощении?

— Кто обладает такой силой, чтобы простить Дину? Что я мог ответить на это? Сказать: Бог, и только.

— Это была любовь? Ты убила из-за любви? — Я с трудом выдавил из себя эти слова.

— Любовь...

Она произнесла слово «любовь», точно попробовала его на вкус. Точно услышала в первый раз.

— Что, Дина?

— Расскажи мне о любви, Вениамин! У меня перехватило дыхание.

— Я ничего не знаю о ней, — сказал я наконец.

## ГЛАВА 22

На седьмой день Дина насвистывала, когда одевалась.

Она объявила, что солнце давно встало и мы должны отправиться в парк Дюрехавен. Под сень деревьев, к оленям.

— Жизнь — это не только морской туман! — весело сказала она.

Мы пошли в трактир к нашему хозяину и позавтракали во дворе за неструганым столом. С моей стороны на столешнице были вырезаны два сердца и две буквы — "В" и "Д". Я показал на них и улыбнулся. Дина склонила голову набок и засмеялась.

— В именах есть что-то загадочное, — задумчиво сказала она и вдруг спросила:

— Между прочим, а как зовут твою дочь?

Я не был готов к такому вопросу и ответил правду: я не знаю. Никогда об этом не думал.

— По-моему, об этом стоит подумать. Человек не может жить без имени.

Я промолчал. Дина стала читать в газете о праздновании Иванова дня. Мы кончили завтракать.

— Может, ты все-таки решишь это, Вениамин? — спросила она.

— Что именно? — Я сделал вид, будто уже забыл о нашем разговоре.

— Как ты назовешь своего ребенка?

— А ты пойдешь со мной туда?

Я вдруг понял, что все время думал об этом. Хотел спросить и услышать ее ответ.

— Это зависит от одной вещи.

— От какой?

— Дашь ли ты этому ребенку свою фамилию.

— А если нет?

— Тогда мне нечего там делать.

— Ты думаешь...

— Думать надо не мне, — оборвала меня Дина и приготовилась идти.

\* \* \*

Копенгагенцы приехали в Клампенборг праздновать Иванов день на пароходе и на поезде. Парк пестрел и колыхался от летних платьев, широкополых шляп и зонтов. Мужчины пыхтели в сюртуках, и шляпы прилипали у них к головам. Повсюду звучали веселые голоса и духовая

музыка. Торговец леденцами ходил с корзиной на животе и громко предлагал свой товар. И он сам, и его леденцы медленно таяли от жары. Солнце палило нещадно. Громыхали кареты состоятельных горожан, от лошадей валил пар. Всех донимала пыль. От нее резало глаза.

Мимо нас проскакал модно одетый всадник со шпорами и с хлыстом. Я заметил взгляд, брошенный им на Дину. На ней было светло-зеленое платье и легкая развевающаяся накидка. Охваченный детской ревностью, я злобно подумал, что ему, конечно, не по карману иметь собственную лошадь. Он просто хотел покрасоваться в костюме для верховой езды.

По площади шла молодая пара. Женщина катила детскую коляску. Дурацкое трехколесное сооружение. Если бы у коляски не было верха, ее можно было бы принять за черный гроб на колесах, сужающийся к одному концу, с наброшенным сверху покрывалом и без каких-либо признаков жизни.

Дина показала мне на вывеску «Кабачок на Белльвю».

— Нет! Только не туда! — раздраженно сказал я. — Идем в другое место!

Она промолчала. Но я заметил, как она на меня глянула.

Вскоре мы уже ехали на извозчике по Страндвейен. Кучер предложил нам баварского пива, которое держал у себя под сиденьем. Дина невозмутимо пила пиво, тому, как она это делала, мог бы позавидовать любой каменщик. Потом она закурила сигару и откинулась на спинку сиденья. Затянувшись несколько раз, она передала сигару мне. Она так откровенно наслаждалась поездкой, что у меня не было нужды поддерживать разговор.

Когда мы уже сошли с извозчика и пошли по парку, Дина вдруг заговорила о рябиновой аллее в Рейнснесе и о березах в саду. Нам стало даже весело оттого, что мы оба так любим деревья.

Кругом все двигалось, смеялось и казалось призрачным. Я подумал, что когда-нибудь в будущем буду говорить: «Это было в Иванов день, когда мы с Диной гуляли по Дюрехавену в Клампенборге».

Этот день носит имя Иоанна Крестителя. Почему-то я думал о Фоме и об Иоанне. О них обоих. Я даже видел их перед собой. Это был сон наяву. Кто-то все время являлся мне из тени деревьев. Один раз я мог бы поклясться, что это существо не менее реальное, чем мы с Диной.

Могучие дубы уже давно полностью раскрыли свои толстые кожанные листья. Креститель наклонился возле изгороди. У него было лицо Фомы. Зима прошла, и он подбирал принесенное ему подаяние. Серьезный, молчаливый. В плаще из верблюжьей шерсти, подпоясанном ремешком.

Нашел ли он сегодня своих кузнечиков? Или сегодня был день дикого меда? Что он думал о нашем языческом праздновании Иванова дня? Он, ставший символом очищения и облагораживания каждого человека, что он думал о нас с Диной? Видел ли, как мы отмечаем праздник пивом и сигарами, несмотря на то что все так перепуталось и ребенок еще не получил имени? Видел ли, как перемешалось хорошее и плохое? И в людях, и в природе? Видел ли он нас уже тогда, когда впервые крестил людей водой и обращал их в свою веру? Видел ли он Дину, не верящую в раскаяние? Видел ли зеленеющий клевер? Цветущую бузину и розы? Чувствовал ли их аромат? Понимал ли, что еще не пришло время собирать плоды? Знал ли, что он мой отец? Догадывался ли, что мне нужно время? Что эта зима была чертовски трудной?

\* \* \*

— Дина, ты понимаешь, что мне нужно время? Она сидела, закрыв глаза и прислонясь спиной к стволу дерева. И ответила мне, не открывая глаз:

— Время — это не то, что человеку нужно. Это то, что он иногда получает.

Я обратился за утешением к Крестителю. Дина меня не утешила.

— Мне не хватает лошади, — сказала она через минуту.

— Мы можем выйти на дорогу и взять извозчика, — предложил я.

— Нет, мне нужна просто лошадь, — вздохнула она.

— Ты знаешь датское предание о том, как черт с ведьмой решили в ночь на Иванов день устроить праздник и отправились на помеле на Блоксберг. С тех пор люди кладут перед дверью веточку рябины, чтобы оградить себя от пролетающей мимо нечисти.

— Что-то они нынче припозднились, уже темнеет, — засмеялась Дина.

— Если человек хочет увидеть, как они летят на помеле на Геклу, Блоксберг или куда-то в Норвегию, он должен в полночь спрятаться на перекрестке под бороной, повернутой зубьями к небу. Тогда, возможно, он увидит кое-кого из своих знакомых, несущихся на помеле и считающих, что они стали невидимками. Можно, например, увидеть ведьму... и весьма удивиться, узнав в ней свою знакомую.

Дина сдвинула шляпу на затылок и повернула ко мне голову. Ее фигура сливалась с зеленью, а покачивающиеся ветви деревьев осыпали золотыми монетами то лицо, то плечи.

Я подошел и прикоснулся к ней, чтобы убедиться, что она настоящая.

— Ты думаешь, ведьмы злые? — спросила она.

— Почему тебя это интересует?

— Мне показалось, что ты так считаешь.

Я мог бы загладить неловкость, наклонившись к ней и сказав что-нибудь приятное. Но от нее исходил незнакомый, дорогой запах. Чей? Человека, который проектировал и строил дома? Кто подарил ей эти дорогие духи? Почему я не спросил у нее об этом?

Вдруг она прижалась щекой к моей груди и сказала:

— Не считай меня злой!

Я опустился перед ней на колени и обнял ее.

— Я так и не считаю, — прошептал я.

Небеса потемнели. Между стволами сверкали последние стеклянные колонны солнечных лучей. Зелень приобрела коричневатый и призрачно-синий оттенок. Я больше не сопротивлялся. И меня понесло туда, где все было явью и сном. Просто было.

\* \* \*

Мы нашли павильон, где можно было поесть.

Праздник уже начался. Люди шли компаниями. Семьями. Молодежь держалась друг друга. Студенты обнимали своих подружек. В корзинах звенели бутылки.

Невозможно всегда знать, почему ты что-то сказал или сделал. Я заговорил о сочинениях Кьеркегора. О жертве Авраама и о том, что я об этом думаю. Дина не перебивала меня. Не знаю, понимала ли она, о чем я говорил, но иногда она кивала. Один раз даже улыбнулась, словно про себя. Я как раз упрекал Авраама за то, что он предал Исаака, не сказав ему, что собирается принести его в жертву.

— Жертвы бессмысленны, — вдруг перебила меня Дина. — Люди не умеют жертвовать, не надеясь получить за это вознаграждение. Авраам надеялся получить расположение Господа. Он не хуже и не лучше других. Просто он хотел принести более серьезную жертву, чтобы Господь обратил на него внимание.

— Дина, все не так просто! Ведь речь идет о вере! Она поглядела на меня и еще раз улыбнулась.

— Ты много читаешь! — сказала она.

— Ты слышала что-нибудь о Кьеркегоре?

— Возможно. Но, должно быть, забыла. А вот рассказ из Библии я хорошо помню.

Наверное, мне все-таки следовало поделиться с ней своими мыслями. Чтобы когда-нибудь потом, когда все будет уже в прошлом, я мог

говорить: «Мы с матерью ели луковый суп в Дюрехавене и беседовали о Кьеркегоре и Аврааме, который хотел принести в жертву своего сына».

Я пытался точно вспомнить слова Кьеркегора. Но помнил только то, что он писал о парадоксе веры. И я произнес, глядя поверх ее головы:

— Вера — какой ужасный парадокс! Он способен превратить убийство в священное и богоугодное дело. И он же возвращает Аврааму Исаака! Никакая мысль не в силах предвидеть его; он и возможен лишь потому, что вера начинается там, где кончается мысль.

Пока я произносил эту тираду, Дина сидела, закрыв глаза и опустив руки на колени.

— Я не получила его обратно, — сказала она, не открывая глаз. — Может, я недостаточно верила? Или мысль о тебе, Вениамин, оказалась настолько сильной, что вера отступила... Мысль о том, что принести в жертву следовало тебя...

— Убийство? Что такое убийство? — спросил я. — Разве война не убийство? Принесение жертвы не убийство? Что такое убийство? — И слово «убийство» сразу все объяснило ей.

— Это зависит от того, кто судит. Все, что сделала я, обернулось приговором тебе. А должно было быть иначе.

Нас окружала притихшая вдруг природа.

\* \* \*

После захода солнца мы пошли к источнику Кирстен-Пильс. Древнему источнику богов. Там должен был состояться базар, речи, песни и танцы. Предание гласило, что стакан воды из этого источника врачует душу и тело.

На холме молодежь готовилась зажечь костер.

— Они жгут костры, чтобы прогнать прочь ведьму, — сказала Дина.

Я пожалел, что произнес тогда слово «ведьма», но изменить это было уже невозможно.

Когда мы подошли поближе, я узнал несколько студентов из Регенсена с их подругами. Они прикрепляли к шесту банку со смолой. Под громкие крики запалили огонь, и пламя начало лизать поставленные вертикально бревна с привязанной к ним соломой. Издали один за другим им отвечали другие костры.

Я уже думал о том, что встречу здесь знакомых. Наверное, во мне еще был жив ребенок, потому что мне даже хотелось этого. Несмотря на вопросы, которые мне могли задать.

Стайка девушек, взявшись за руки, с песней закружилась в хороводе. Я

узнал стихи Эленшлегера:

*В Иванову ночь мы выходим  
И бродим, как сны наяву,  
Мы медленно в поисках бродим —  
Иванову ищем траву.  
Стоит она, ростом мала,  
Зато так свежа и мила,  
Зато так светла и чиста  
Простая ее красота.  
Посадим ее у забора,  
Где место свободно от гряд,  
И станет нам ведомо скоро,  
Что в будущем дни нам сулят.  
Коль здесь приживется она,  
То будет нам радость дана,  
Умрет через несколько дней —  
Мы тоже умрем вместе с ней.  
И весело будущим летом  
Уже не появимся тут.  
Без нас с неизменным приветом  
В лугах все цветы расцветут.  
Под сенью печальных крестов  
Уснем мы навеки без снов  
В холодных могилах, увы,  
По знаменью вещей травы.  
В Иванову ночь мы выходим  
В луга, как велит нам молва,  
Мы по лугу в поисках бродим:  
Нужна нам вещунья-травя.  
Стоит она, ростом мала,  
Зато так свежа и мила,  
Зато так светла и чиста  
Простая ее красота.*

По обе стороны дороги пестрели разноцветные палатки торговцев, словно споря с природой, меланхолией и песней. Несколько пьяных затеяли драку с жестянщиком. Вскоре жестянщик сдался и покатил дальше свою тележку с дребезжащими железками и колокольчиками. Тележка

оглушительно грохотала.

В одной палатке босоногая девушка продавала глиняные кувшины, кружки и миски. Звонким голосом она кричала, что воду из источника лучше всего набирать именно в ее кувшины.

Покупателей явно больше привлекали ее босые ноги и свежее личико, чем возможность получить животворную воду из источника. Вокруг ее палатки толпились мужчины. Я тоже подошел.

Потом я принес воды, и мы с Диной омыли в ней руки. После чего я с силой швырнул кружку на камни, и она со звоном разбилась.

Торговля у девушки шла бойко. Не отставала и палатка, в которой покупали дешевые подарки для тех, кто остался дома, или для подружек, найденных на этот вечер.

На вымощенной площадке начались танцы. Вокруг на траве расположилась публика с корзинами, набитыми всякой снедью. Некоторые церемонно расстелили белые скатерти и пледы, чтобы не сидеть на траве. Другие плюхались там, где стояли. Студенты и девушки из приличных семей сидели, тесно прижавшись друг к другу, вокруг своих корзин, бутылок и рюмок.

Я сказал Дине, что хотел бы купить бутылку вина, но в это время кто-то поднялся с травы и направился к нам. Я больше не слышал ни смеха, ни голосов.

Передо мной в тумане парила Анна! Заметив, что я не один, Анна остановилась.

Меня спасла темнота, хотя я понимал, что нельзя заставлять Анну ждать на тропинке. Поэтому я потянул Дину за руку и сказал:

— Дина — это Анна. Анна — это моя мать, Дина.

Если Дина и удивилась, то не подала виду.

Я машинально перешел на датский. Дина не позволила себе удивиться и этому.

Они протянули друг другу руки.

— Анна? Так, значит, вы и есть Вениаминова Анна? Никогда не думал, что такая сцена возможна! Все сделалось окончательно не правдоподобным, когда с помоста до нас долетел голос Аксея. Он заканчивал свою речь по поводу Иванова дня:

— В эту светлую летнюю ночь, когда силы природы достигли своего расцвета, мы должны вознести хвалу двум неукротимым стихиям, которые все очищают, не дают стареть, дарят вечную молодость и рождают новую жизнь. Это огонь и вода! Огонь и вода!

Не только я слушал Аксея. Дина превратилась в наострившего уши

зверя. Крупную светловолосую голову Акселя освещало пламя факелов. Он был неистовым фавном, явившимся из ночной темени леса. Не смущаясь тем, что Аксель принадлежал мне, она завладела им. Я это видел по ней и не хотел понимать, что это уже случилось.

Аплодисменты и крики «браво!», которыми приветствовали речь Акселя, неслись по дороге навстречу Дине и Анне.

А я? Я был букашкой. Букашкой из комнаты Акселя в Валькендорфе. Букашкой на теле Анны. Или на перьях, украшавших шляпу Дины.

Последние дни выпали из действительности. Я мог протянуть руку, но схватил бы лишь пустой воздух. Дина исчезла. Как будто ее и не было.

Кто-то пробежал мимо с пылающим факелом. Он осветил нас. Золотистый сноп упал на лицо Анны.

— Вениамин не говорил, что ждет в гости свою мать, — сказала Анна.

— А я его не предупредила о своем приезде, — объяснила ей Дина.

Должно быть, я онемел, наблюдая за ними, пока высокая фигура Акселя спускалась с помоста и двигалась к нам. Его тень представлялась мне столь же привлекательной, как судебный процесс.

Я знал, что это мгновение навсегда сплавится с моей жизнью. В старости, если я доживу до нее, отдельные слова Дины, Анны и Акселя станут необходимыми камешками мозаики: «Теперь мы знаем, кто мы... Так, значит, вы и есть Вениаминова Анна?.. Огонь и вода...»

А потом все понеслось со страшной быстротой.

Аксель взял Дину за обе руки и с шутливой почтительностью согнулся перед ней в поклоне. Словно с пафосом исполнял роль рыцаря.

Вначале я мог думать только о том, рассказала ли ему Анна про нас. Если да, он вел опасную игру, ожидая подходящего случая, чтобы сделать из меня отбивную.

Когда мы с ним шли следом за Анной и Диной, он шепнул мне:

— Подумать только, она все-таки приехала! Молчи! Молчи! Я преклоняюсь перед твоей матерью! Я провожу ее до Берлина!

Я так и не понял, знает ли он про нас с Анной. Мне даже показалось, что они с Анной договорились отомстить мне, разоблачив меня в присутствии Дины.

Все было испорчено. Дина превратилась в обычную женщину, которая явилась, чтобы выступить на процессе свидетельницей Акселя. Она оказалась в центре внимания.

## ГЛАВА 23

Вечер превратился в кошмарный маскарад. Песни и споры сменяли друг друга.

Дина беседовала с моими датскими друзьями о низости Бисмарка! Рассказывала о депрессии и безумствах, царивших в Париже до того, как Наполеон III был взят в плен.

Со мной она не хотела говорить об этом. Потом продекламировала сатирические стишки о прусских полководцах. По-немецки. Мы сидели вокруг корзин и бутылок.

Енс закончил курс вместе с Акселем и со мной. Он был скорее другом Акселя, чем моим, и жил в Валькендорфе. Окружающего он не замечал и был вечно погружен в размышления. Но в спорах, если ему не удавалось уклониться от них, ему не было равных.

Клаус Клаусен происходил из купеческой семьи. Веселый, беспечный, он считался лучшим баритоном университета. Мне показалось, что в этот вечер он был кавалером Софии.

Анна почти все время молчала. Не помню, как это получилось, но она сидела между Софией и мной. Было похоже, что она играет роль возлюбленной Акселя, которой он пренебрег. Или мне так показалось? Иногда она наклонялась к Софии и что-то шептала ей, но слов я не разбираю.

Факел освещал ее правую щиколотку. Я подумал, что ей следовало бы поправить юбку. Но она не поправила. Напротив. Один раз, когда она наклонилась к Софии, задравшаяся юбка обнажила всю голень.

Такого лица у Акселя я еще не видел — чаша, полная меда. Он хотел произвести впечатление на Дину.

Между светлым созданием по имени Янна и Клаусом сидел высокий темноволосый студент-юрист с живыми глазами. Его звали Отто. Его великолепным усам все завидовали. Отто был из тех, кто больше развлекался, чем штудировал науки. Наивность и некоторая неотесанность Отто часто создавали впечатление, что карьеры ему не сделать.

От сатирических стишков Дины Отто впал в экстаз. Он умолял Дину еще раз продекламировать стихотворение о Бисмарке, который по ночам предавался ненависти, потому что был плохим любовником.

Дина, улыбаясь, заметила, что хорошего понемногу. Тогда Отто начал рассказывать о скандальной связи между Георгом Брандесом и Каролиной Давид, которая была намного старше Брандеса. Эта тема привлекла к Отто

всеобщее внимание, хотя все знали эту историю: Каролина Давид развелась с мужем, оставила детей и появилась на защите Брандесом докторской диссертации на тему «Французская эстетика в наши дни». Получалось, будто все это она проделала однажды, когда все сладко спали после обеда.

Сжали Анну. Она была такая нежная! Я не мог скрыть от нее свое желание, и она не отстранилась от меня.

Снова и снова я произносил ее имя. Больше мне ничего не приходило в голову.

Нас окружали люди, прикрывшиеся веселыми масками. Они шумели. Смеялись. Хихикали. Флиртовали. Воздух был полон тревожащих ароматов. Костер швырял искры и дым в тусклое небо. Музыка связывала людей. Они, как змеи, оплетали друг друга, принимали друг к другу и тут же отстранялись.

Мысленно я уже овладел Анной. Она поняла это и остановилась. Мне даже не было стыдно. Она принадлежала мне! Анна, с открытым смуглым лицом!

— Повтори те слова, которые ты сказал мне в Валькендорфе! — прошептала она.

Я не сразу понял ее, потому что ощущал только страсть, отодвинувшую в сторону все остальное. У этой страсти была лишь одна цель: мне хотелось увести Анну в лес подальше от всех. Хотелось укрыться в ее глубине. Сейчас же, сию минуту!

— Повтори те красивые слова, что ты говорил мне! — всхлипнула Анна.

В ее голосе звучала мольба. А вокруг, как змеи, извивались тела.

\* \* \*

Случайно мой взгляд упал на танцующих Аксея и Дину. Эта ночь положительно принадлежала ведьмам и демонам. Она была горячая, как ад. И зеленая. Слишком зеленая.

Динины волосы распустились и выбились из-под шляпы. Юбки развевались. Рука Аксея лежала на ее талии. Она откинула голову и смеялась!

Воспоминания бились об меня, как волны. Я уже видел это. Но когда? Сколько жизней назад? В жизни русского? Или в моей?

Чувства оказались сильнее меня. Это был страшный удар. Пусть я и сам не всегда поступал лучшим образом, это ничего не меняло. Меня охватила ненависть. Я ненавижу всех и вся. Дину. Аксея. Они мне мешали. Были

незаменимы, но мешали.

— Повтори те красивые слова, которые ты сказал мне в Валькендррфе! — снова попросила Анна.

Ее рука связывала меня с землей. Мой мозг был дуплистым стволом. Я не мог вспомнить ни слова из Соломоновой «Песни Песней». А она ждала от меня именно их. Неужели я ничего не скажу ей? Она смотрела на меня. Но я только крепче прижимал ее к себе.

Тогда она отвернулась. Словно ей, а не мне следовало стыдиться за мое неуправляемое желание.

Я попытался увлечь ее за собой. Но не к нашим друзьям, не к этой глупой студенческой компании с ее песнями, рюмками, пустотой.

— Давай пройдемся, — задыхаясь, проговорил я. — Нет.

Мне следовало сказать ей те слова. Но вместо этого я взял ее под руку и повел через толпу.

Не знаю, откуда взялось во мне это холодное бешенство.

— И много еще кавалеров записано в твоей бальной карточке? Кроме Акселя и меня?

Анна остановилась в удивлении:

— Ты слишком много себе позволяешь!

— Мне вообще не следовало приходить сюда!

— Мне тоже!

— Пойдем туда... за деревья... там есть тропинка!

— Не говори глупостей! — сказала она и потянула меня за собой, то и дело оглядываясь через плечо.

На кого она смотрела? На Дину и Акселя? Я вдруг увидел себя парящим над костром среди искр и хлопьев копоти. Разочарованный. Пристыженный.

— Прости! — неожиданно сказал я.

Мы остановились, пропустив веселую компанию, которая прошла мимо, громко стуча деревянными башмаками. Потом пошли снова. Анна оглянулась:

— Твоя мать такая красивая!

— Да. — Я весь сжался.

— По-моему, она очень нравится Акселю. — Анна еще раз оглянулась на танцующих.

— Да.

Мы уже почти дошли до наших друзей.

— А почему ты не спрашиваешь, нравится ли она мне? — поинтересовалась Анна.

— Она тебе нравится?

— Да. Но ты все испортил.

— Чем же?

— Своей злостью. Ты как будто не рад, что она кому-то нравится. Ты вечно всем недоволен.

Что я мог на это ответить?

Мы сели под фонарями вместе со всеми, и я попытался задобрить Анну, накинув ей на плечи шаль. Но она сбросила ее нетерпеливым движением. Лица ее я не видел.

Прошла целая вечность, прежде чем к нам вернулись Аксель и Дина. Между ними царило полное взаимопонимание. Они улыбались друг другу.

— Мы с Анной уже обо всем договорились! — неожиданно для себя торжественно изрек я.

Конечно, это было безумие. Но у нас с Акселем были свои игры. Мы дружили уже давно. Иванова ночь — подходящее время для выражения дружеских чувств. Я его проучу!

— Мы с Анной договорились, — повторил я, уже немного остыв, — что вы с ней в августе приедете ко мне в Рейнснес!

Дина сидела, опираясь на руку Акселя. Ее юбки, словно лепестки цветка, лежали вокруг ног. Я не смотрел на Анну.

— Это будет сказочное свадебное путешествие! — прошептала хорошенькая Янна.

— Кто за кого выходит замуж и кто на ком женится? Я не понимаю! — иронически воскликнул Клаус.

Аксель пренебрег оскорблением и повернулся ко мне:

— Прекрасно! Но ты должен уговорить Дину Грэнэльв тоже поехать с нами!

В его спокойном голосе слышалась какая-то едва уловимая нотка. Неужели мы с ним наконец поняли друг друга?

— Я отправлюсь вперед и наведу в доме порядок, — сказал я как можно спокойнее.

— Нет, нет, предоставь это другим! Мы хотим, чтобы ты поехал вместе с нами. Правда, Анна?

Но Анна не ответила. Она встала и через мгновение скрылась за стволами деревьев. Тишина после ее ухода закупорила мои поры. Мучившее меня желание обернулось побитой собачонкой.

Динины юбки зашуршали. Она тоже встала и сказала тихо, но внятно:

— Уже поздно! Спасибо всем за приятный вечер! Потом наклонилась к Акселю и что-то шепнула ему.

Он тут же вскочил. Я заставил себя улыбнуться. Дина положила руку мне на плечо:

— Ступай за Анной, Вениамин. Я надеюсь, ты позаботишься, чтобы она благополучно добралась до дому?

Я в растерянности встал. Но они с Акселем уже ушли. Я забыл, как Дина умеет добиваться своего.

Все смешалось. Не знаю, кто что подумал. Анна убежала. Что заставило ее убежать? Янна и София начали собирать в корзины рюмки и остатки еды. София горько молчала. Янна нервно щебетала. Остальные пытались держаться как ни в чем не бывало. Отто даже пошутил, что этой ночью правят ведьмы.

Мне показалось, что у меня начинается лихорадка. Нетвердым шагом я отправился искать Анну. Через полчаса я сдался и вернулся на прежнее место. Ее там не было.

София сидела одна со своей корзинкой. Остальные ушли искать извозчика. Она бранила всех мужчин, но в первую очередь Акселя и меня. Аксель клялся и божился, что доставит их с Анной домой еще до полуночи! А ведь двенадцать пробило уже давно! Аксель и Анна разбежались в разные стороны, и теперь она одна должна все расхлебывать.

Я взял корзину и другой рукой схватил ее за руку. Она погрозила мне зонтиком и заплакала.

Я позволил ей бранить меня.

Мы нашли Анну у источника. Окаменелая фигура в светлых одеждах. Современный призрак. Она не плакала, но смотрела на нас как на врагов.

София умоляла ее поехать домой. Я тоже.

— Я сейчас найду извозчика! — сказал я, прикидывая в уме, хватит ли у меня денег.

Анна покачала головой, ее губы шевельнулись, словно она хотела в меня плюнуть. Всем телом я ощутил стыд, однако голова лихорадочно работала.

— Пожалуйста, оставь нас на минуту одних! — шепотом попросил я Софию.

Она отошла в сторону, но ей все равно было слышно каждое наше слово.

— Ты не должна сердиться на меня за то, что говорит и делает Аксель, — сказал я как можно спокойнее.

Она молчала, притопывая ногой.

— Мне жаль, что я так сказал... О том, будто мы с тобой договорились

о вашей поездке в Рейнснес.

— Ты просто чудовище! — процедила она сквозь зубы.

— Понимаешь, я...

— У тебя нет ни стыда, ни совести! Я больше не желаю тебя видеть! Ни тебя, ни его! Хочешь, я скажу, кто вы? Вы паразиты! Вы питаетесь тем, что компрометируете женщин. Вы сжираете нас целиком, а потроха выбрасываете в сточную канаву! Для вас нет ничего святого, и вы ни к чему не относитесь серьезно! Но Бог покарает вас обоих!

— Анна! Прости меня! Умоляю! Идем, я отвезу вас домой. И больше ты никогда меня не увидишь.

— Да-да! Поедемте наконец домой! — взмолилась София, выходя из кустов.

Если бы я хоть немного соображал, я бы, конечно, посмеялся над этой дурацкой сценой. Сценой в духе Акселя? Может, он так мстил мне за свой проигрыш? Или это сцена в моем духе? Потому что проиграл я?

\* \* \*

Извозчичья пролетка катила в ночи под темными деревьями. Иногда до меня доносился шум моря. Там, в темноте, волны лизали пену. Но небо было полно звезд.

Я мог представить себе, что Дина летит сейчас с Акселем на Блоксберг. Взяла Акселя и полетела на Блоксберг!

Мне пришлось ехать на облучке рядом с извозчиком. Зачем мне понадобилась эта несчастная ложь!

Я обернулся к Анне. Сквозь шум колес и копыт, не обращая внимания на то, что меня могли слышать София и извозчик, я крикнул:

— На кого ты сердишься? На меня или на Акселя? Пожалуйста, Анна, объясни: в чем дело?

Это было невыносимо. Она больше никогда не будет со мной разговаривать, думал я. Выйдет из пролетки и скроется в доме на Стуре Конгенсгаде. Исчезнет! Я сидел, до-прежнему повернувшись лицом к заднему сиденью.

— Я тебе объясню, в чем дело, — прозвучал в темноте голос Анны. — Я тебе все объясню, хотя теперь это уже ничего не изменит! Ты трус и не посмел признаться себе в том, что любишь меня. Вы бросили на меня жребий, и каждый выигрывал в свою очередь! Это некрасиво! Видит Бог, это некрасиво! Отправляйся к себе подобным! И никогда больше не попадайся мне на глаза! Мне стыдно своего чувства к тебе!

— Анна, опомнись, как ты себя ведешь! — всхлипнула София.

Мне хотелось спрыгнуть с козел и прижать Анну к груди. Хотелось убедить ее, что она ошибается. Что все будет хорошо. Что я буду любить ее до самой смерти, только бы она верила мне. Но я не сказал ничего, потому что она была права.

Мы приехали на Стуре Конгенсгаде. В гостиной грозно светились окна.

— Они еще не спят! — испугалась София.

— Я поднимусь с вами и объясню, почему мы так задержались, — предложил я.

— Нет, хватит уже! — отрезала Анна.

Я промолчал. Отдал извозчику все, что у меня было. Он рассердился, увидев сумму, но я быстро взял корзину и вошел в парадное. Мы поднялись на второй этаж.

Профессор ходил по гостиной в стеганом халате. Сначала он метал гром и молнии, однако постепенно смягчился. Я, как мог, объяснил ему, что Аксель не смог приехать. Что мы задержались, потому что не сразу нашли извозчика. Когда он принял мои извинения, не поинтересовавшись, что именно помешало Акселю приехать самому, я попросил разрешения поговорить с ним наедине.

— Поздновато для разговоров, — сказал он, но все-таки зажег лампу и махнул дочерям, чтобы они шли спать.

София скользнула мимо с подобием улыбки на губах. Но Анна запротестовала:

— Что он может сказать тебе такого, чего мне нельзя было бы слышать?

— Анна! — коротко бросил профессор и показал на дверь.

Не глядя на меня, она прошла мимо, обдав нас теплым ароматом.

Профессор подошел к горке, достал две рюмки и налил вина. Я закашлялся и долго не мог унять кашель.

— Ну? — спросил профессор. — Выкладывайте, что случилось?

Я снова закашлялся. Потом проглотил каплю вина и отставил рюмку.

— Мы с Акселем соперники. Мы оба любим Анну. Это ставит ее в трудное положение. Мы с ним дружим с тех пор, как начали учиться в университете. Это еще больше все запутывает. Неожиданно ко мне приехала мать. Я не виделся с ней много лет. Ее приезд тоже внес свою лепту. Однако это не извиняет того, что сегодня вечером я позволил себе непростительную глупость. И Анна рассердилась.

— Какую глупость?

— Я был невежлив по отношению к Анне.

Он посмотрел на меня, словно собирался поставить мне диагноз, но не

был уверен в своей правоте.

— Однако вы все-таки привезли дам домой...

— Да, конечно. Иначе и быть не могло.

— А Аксель?

Что мне было сказать ему? Что Аксель поехал с моей матерью в пустой лодочный сарай?

— Анна на него рассердилась.

— За что?

— Вернее, она рассердилась на меня...

Он набил трубку и раскурил ее. Когда он затягивался, щеки у него глубоко западали.

— Скажите, новоиспеченный доктор, у вас серьезные намерения? Я вас правильно понимаю? Раз вы пришли сюда...

Вот оно! Я должен был предвидеть, что дело примет именно такой оборот.

— Что толку, это ничего не изменит! — сказал я.

— Странная точка зрения.

Если бы я сказал ему, что соблазнил его дочь в постели Акселя, он просто вышвырнул бы меня из дома. Или сказал бы, что теперь мы с Анной вынуждены пожениться. Если бы я поведал ему о моем ребенке, он, возможно, проявил бы немного больше понимания, но все равно вышвырнул бы меня из дома.

Я проявил бы смелость, сказав то или другое. Но я не сказал ничего.

Тем не менее наш разговор растянулся на несколько рюмок. Профессор наблюдал за мной. Я был грешен. Но профессор не был ни пастором, ни хирургом. Возмущенных слов я от него не услышал.

Занимался день, и в темноте комнаты начала проступать красная плюшевая мебель. Я различил потертые места на сиденьях. На подлокотниках вольтеровского кресла, что стояло в углу, были жирные пятна. Небольшая уютная интеллигентная гостиная. Совсем не мещанская, какой она показалась мне в первый раз.

— Как вы намерены поступить, господин Грэнэльв? — спросил он. Словно ему требовалось узнать еще кое-какие подробности, прежде чем сможет сообщить мне о моей болезни.

— Я бы хотел, господин профессор, чтобы близкий Анне человек...

— Замолвил за вас словечко?

— Нет, нет! Это невозможно!

— Значит, в этом мы не расходимся. Так что же?

— Что вы мне посоветуете, господин профессор?

— Поезжайте домой в Норвегию. Дайте Анне возможность все забыть. Самое лучшее, если она выйдет замуж за Акселя. Я так полагаю. У женщин бывают свои причуды. А Анна к тому же очень волевая женщина. Она уже проплакала полгода в Лондоне. Но если у вас серьезные намерения, поговорите с Акселем! Какая-то глупая история! Вы оба взрослые мужчины, готовые начать самостоятельную жизнь, заняться врачебной практикой, — прибавил он и подавил зевок.

— Господин профессор, вы верите в любовь?

Я встретился с ним глазами. В них мелькнуло что-то похожее на улыбку. Почти дружелюбную. Вертя в пальцах рюмку, он ответил:

— Любовь... Как вам сказать... Я полагаю, что у вас имеется свое определение любви... Я мало вас знаю. То, что вы пришли сюда, чтобы поговорить со мной, свидетельствует в вашу пользу, хотя время для этого вы выбрали не совсем удачно... И все-таки я не знаю, любовь ли заставила вас так поступить. Я не знаю, есть ли у вас какие-то долги. Не знаю, сможете ли вы содержать жену. Не знаю, понравится ли Анне в вашем темном полушарии, где полгода стоит зима. Однако... я не стану ее отговаривать, если она сама решит выйти за вас замуж. А вот ее мать непременно станет. Но Анна упряма... необыкновенно упряма. Это может оказаться для вас роковым. Вот все, что я пока могу сказать вам о любви.

Он с улыбкой осушил рюмку.

— А теперь неплохо бы немного поспать. За одну ночь мир все равно не спасти, — прибавил он и протянул мне руку.

В дверях появилась Анна. Ее лицо, обычно золотистого цвета, было серое и измученное. Глаза горели.

— Анна! Ты еще не легла? — воскликнул профессор.

— Я слышала все, о чем вы говорили!

— Вот как? Подслушивала под дверь? Ну и что скажешь?

— Вы решали мое будущее, словно я какая-то вещь!

— Так-так! — проговорил профессор.

— Я не собираюсь ехать в Нурланд. Ни в гости, ни тем более чтобы выйти там замуж. Ваши мужские интриги слишком мелки для меня! Слишком неинтересны!

Слышите? Но я не собираюсь также войти в пасторскую семью Акселя. Я намерена снова поехать в Лондон и найти там что-нибудь получше!

Ведьма, летающая в Иванову ночь! Она была не похожа сама на себя. Ее изящное, всегда безукоризненное платье было измято. Волосы растрепаны. Из-под юбки виднелись голые ноги. Кружева у шеи и на рукавах обвисли, словно она ходила под дождем. Она сжала кулаки,

спрятав в них большие пальцы, и, как щит, держала их перед собой. Грудь ее напоминала с трудом работающие мехи.

По-моему, она никогда не была так прекрасна.

— Даю вам десять минут, молодой человек, попробуйте до чего-нибудь договориться, — сказал профессор. — Потом я вернусь и выпущу вас из дома. — Он вышел из комнаты.

— Может, ты все-таки поехала бы со мной, Анна? — спросил я еще до того, как он закрыл за собой дверь.

Она смерила меня взглядом. Судорожно вздохнула.

— Ты не будешь писать мне, когда я уеду?

— Ничего не знаю. Я устала от вас обоих. Вы мне надоели! Щенки!

Я попытался взять ее руки. Но она отпрянула от меня, загородившись ладонями:

— Я никогда не прощу тебе того, как ты поступил с Карной и при этом ничего не сказал мне про нее!

Я слышал, что она борется со слезами.

Мне показалось, что красный плюш сполз с мебели и застрял у меня в горле. Несмотря на удушье, я чувствовал только смертельную усталость. А это было уже неплохо. Может, я испытывал даже облегчение от того, что она не плакала, а бранила меня. Что не цеплялась за меня с рыданием: «Возьми меня с собой!»

Поэтому, когда в комнату вошел профессор, я почтительно пожал ей руку.

Я догадался, что он все понял превратно.

— Я сразу заметил, куда ветер дует, — сказал он, выпуская меня из дома. — С первого раза, когда вы пришли к нам. Я всегда надеялся, что Анна и Аксель будут вместе. Так было бы лучше всего. Правильнее... Но Анна такая... Вам с ней будет нелегко, молодой человек. Гордости у нее хватит на вас обоих. Так что проявлять собственную гордость вам бесполезно...

У меня не было оснований возражать ему.

## ГЛАВА 24

Не знаю, что происходило в лодочном сарае, потому что сразу отправился к себе на Бредгаде. И, несмотря ни на что, даже заснул. Аксель и Анна? Анна и я? Аксель и Дина? Анна и я?

Что мне оставалось делать? Я устал, как только может устать человек от того, что он сам себе устроил.

Прошло три дня и три ночи. Я раздобыл два больших ящика, чтобы уложить в них свои книги и немногочисленные пожитки. Они стояли в углу у двери. Темные, солидные. Я сидел на кровати с трубкой, церковные часы только что пробили три раза. И тут я услышал, что где-то в доме Дина разговаривает с вдовой Фредериксен.

Потом она появилась в дверях. Олицетворение силы. Яркие краски. Мягкие движения. Ее аромат заполнил комнату. Тяжелый и в то же время легкий. Солоноватый и пряный. Запах конюшни давно выветрился в Берлине.

Я не ждал, что она придет, чтобы облегчить мне жизнь.

Дни в лодочном сарае ушли в прошлое. Да и были ли они когда-нибудь? Может, я все только выдумал, потому что сам в этом нуждался?

— Я привезла тебе твой мешок и виолончель. Попроси извозчика принести их в дом, — сказала Дина.

Я кивнул.

— Как у тебя дела? — с безразличным видом спросила она.

— Что именно ты имеешь в виду? — Я нарочно говорил по-датски.

— Анну.

— Ничего хорошего.

— Но ты нашел ее и отвез домой?

— Да, конечно. А ты? Отвезла Аксея домой?

Она стояла у кровати. Но вдруг повернулась на каблуках, словно осматривала окружавшую ее изгородь. Я зашел на ее территорию.

Дина была такая же, как всегда. Но я-то изменился. Я уже не был тем мальчиком, которому она могла твердо положить руку на затылок, когда его охватывало разочарование или ярость. Я был кандидатом медицины. Вениамин Грэнэльв больше не подчинялся ее воле.

— Нет, напротив. — Она снова повернулась ко мне. Волны кругами расходились от ее прозрачных, как стекло, глаз. Наконец они достигли меня. Я молчал. Но глаз не опустил. В наступившей тишине я думал о том, что сейчас во мне догорает ее образ. Именно в это мгновение. И что бы там

ни случилось, мне придется это выдержать.

Я видел Динин профиль. Резко очерченные черты лица. Им противоречила мягкая впадинка между подбородком и нижней губой. Пока лицо Дины еще не сложилось и не нашло свою форму, неведомый скульптор с любовью продавил эту впадинку. Складки вокруг рта и между бровями делали лицо более добрым, чем я его помнил. Но что я, собственно, помнил? Видел ли я раньше ее как следует?

— Тебе удалось поговорить с Анной? Я отрицательно покачал головой:

— Мы ехали вместе с Софией. На извозчике. Анна все время бранила меня.

— У нее были для этого основания?

— Думаю, да.

— О чем ты хотел поговорить с ней?

— Я тогда солгал... Потому она и убежала от нас. Будто мы с ней договорились, что они с Акселем приедут ко мне в Рейнснес. Сам не знаю почему...

— Но ведь она бранила тебя не только за это?

— Конечно.

Дина помолчала, наблюдая за мной.

— Я оказался под рукой. А Аксея не было... Не совсем типично для жениха.

Мне хотелось немного наказать ее. Она пожала плечами:

— Да, с этим трудно не согласиться. Но ведь это дало тебе возможность лишний раз побыть с Анной. Или я ошибаюсь?

— Это не торг!

Дина внимательно изучала меня. От башмаков и до макушки.

— Для Анны, конечно, нет. Но для тебя? Или для Аксея?

— Не такие уж мы низкие!

— Но и не совсем паиньки! Вы с Акселем стоите друг друга! Да и Анна не больно отстала от вас. Что-то подсказывает мне, что она расположена к торгу почище любого из вас.

— Дина! Не оговаривай Анну!

— И не думаю, я только хочу показать ее тебе в истинном свете. Подумай, не оговариваешь ли ты ее сам. Лишь тот, кто знает человека, может оправдать его... — Дина вдруг оглядела комнату и переменяла тему разговора, словно та была уже исчерпана:

— Ящички? Ты упаковываешь вещи?

— Да.

— Уезжаешь?

— Да, скоро. А ты?

Она не ответила. Прошлась по комнате, а потом села к столу у окна. Она сидела спиной к свету, и ее лицо казалось темным.

— Как я понимаю, ты просил Анну поехать с тобой в Рейнснес?

— Просил.

— И что она тебе ответила?

— Ничего. Вообще не ответила.

— Но и не отказалась?

— Нет...

— Она тебе очень нравится? Я кивнул.

— Что тебя смущает, Вениамин? Вопрос чести? Аксель?

— Нет. Я думал... одно время...

— Боишься, что ей там не понравится? Что она сбежит оттуда? Что все покажется ей слишком убогим? Ты ведь сам тоже так считаешь? Правда? Оттягивал отъезд...

Я заставил себя посмотреть Дине в глаза, но отвечать ей мне не хотелось. Тем не менее я процедил сквозь зубы:

— Кто бы говорил...

— Ты прав, — перебила она меня и полистала книгу, лежавшую в ящике сверху. — Боишься, что Анна бросит тебя?

Я не ответил.

— Боишься, что Анна бросит тебя? — повторила она.

— Да! — сердито буркнул я.

— Не знаю, зачем я тебе это говорю... Я сама еще плохо во всем разобралась... Но есть две непреложные вещи. Первая — это смерть. И вторая — страх, что нас бросят. Так или иначе, но бросят.

Самый большой порок человеческого ума в том, подумал я, что он слепо полагается на глаза. Поэтому мы видим только внешнюю сторону мира. Мы так привыкли полагаться на глаза, что забываем о других сторонах мира. Я почти ничего не знал о внутренней жизни Дины. Но все-таки сказал:

— Кому ж это приятно!

— Что ты имеешь в виду?

— Чтобы не оказаться брошенной, ты предпочла бросить сама.

— Да, в твоих глазах это выглядит именно так.

— И как, выбор оказался верным?

— Выбрать способен только тот, кто делает выбор, не боясь ошибиться.

— А остальные?

— Остальные вообще ничего не выбирают. И все, что они получают,

принадлежит не им.

Я разбежался и прыгнул:

— Поэтому ты так обошлась с Лео?

Я слышал, что она пытается что-то сказать. Ждал, пока она справится с собой. Не торопил.

— Я и была... брошенной, — медленно проговорила она.

— И потом убедилась, что выбор был неверный? — спросил я, помолчав.

Дина не ответила. Она встала и начала ходить по комнате, дергая себя за пальцы. Суставы громко хрустели. Прислонившись лбом к стене, она крикнула:

— Убедилась! Убедилась!

Потом скользнула по стене вниз, села на пол и обхватила руками колени.

Мне бы следовало подойти к ней, сесть рядом, но она была так далеко от меня.

— Иди сюда, Вениамин! — шепотом позвала она. — Иди сюда!

Наконец Дина позвала меня!

Она обняла меня и долго не отпускала.

— Аксель? — спросил я.

— Он-то обойдется! — Она слабо улыбнулась.

— Ты отняла его у Анны!

Она поглядела на меня, словно прикидывала, насколько хватит моего терпения. Потом коротко бросила:

— Да!

— Ты это сделала ради меня?

— Нет! Ради себя!

Мы все еще сидели на полу. У меня заболела спина.

— Сегодня вечером я уезжаю в Берлин, — сказала Дина.

Я кивнул. Какая-то птичка пыталась сесть на раму. Тень от ее хвостика чертила над головой Дины беспокойный узор. Птичка почти неслышно царапала планку окна. Дина повернула голову на звук. Я затаил дыхание. Один раз я все это уже пережил.

Птичка улетела, и Дина повернулась ко мне:

— Но сперва нам предстоит одно дело... Я хочу, чтобы мы пошли туда вместе... К твоей дочке.

\* \* \*

Мы отправились на Стуре Страндстреле. Вошли в ветхие ворота,

которые душераздирающе скрипели даже при самом легком прикосновении. Двор выглядел не более привлекательным, чем обычно. Он окружал нас, как кулисы. Воронье гнездо, которое люди, не имевшие крыши над головой, сумели немного увеличить и расширить, используя всю свою смекалку. Дом вырос в высоту и в ширину. Выглядело это строение так, будто оно могло упасть от одного нашего дыхания. Сложная система лестниц с перилами и без, площадки, выступы и галерейки приникали друг к другу в своеобразном симбиозе, необходимом для их жизни. Это был какой-то карточный домик. Он рухнул бы, потревожь кто-нибудь хоть одну его частицу.

Над двором между галереями были крест-накрест натянуты бельевые веревки, являвшие миру старые, застиранные простыни и интимные предметы туалета, слегка прикрытые нижними юбками и наволочками. Свет играл на неровных оконных стеклах и раскрашивал звуки во все цвета радуги. Чужая частная жизнь обрушилась на нас из открытых окон. Свет старался выгодно скомпоновать краски и тени, чтобы хоть немного облагородить эту унылую бедность. Мы видели мир словно через осколок цветного стекла.

Большая облезлая кошка терлась о Динины ноги. Я смутился, как будто все здесь принадлежало мне. Как будто я был в ответе за эту грязь и убожество. В углу двора стояли корзины, коробки и ящики, полные мусора и помоев, которые давно пора было вывезти.

А ведь когда-то в этом дворе я испытывал тяжелое, мучительное желание!

Карна! Перед квартирой в подвале, где по косяку двери ползали муравьи, бабушка Карны, пытаясь украсить свое жилище, повесила ящик с цветущей красной геранью. Он висел на двух кривых крючках под единственным бабушкиным окном.

Я постучал, всем сердцем желая поскорее отсюда уйти. Я уже жалел, что уступил Дине и привел ее сюда. Мы стояли у кровати Карны и смотрели на маленькое беспомощное существо. Дина протянула руку к сжатому кулачку, торчавшему из лохмотьев. Бабушка Карны торопливо рассказывала свою горькую повесть.

Я чувствовал себя лежащим на эшафоте. Над моей головой был занесен топор.

— Сколько ей? — спросила Дина, глядя на бабушку.

— Ровно два месяца, — ответил я.

Они обе повернулись ко мне. Пусть смотрят сколько хотят. Что-что, а даты я помню хорошо.

Я мог предположить, что Дина потеряет рассудок, как потеряла его сегодня, когда мы с ней сидели на полу. Я мог даже предположить, что она возьмет девочку на руки и объявит, что забирает ее с собой, чтобы дать ей дом. Таким образом она принесла бы жертву, которая освободила бы нас обоих. Жизнь за жизнь. Ребенок за Лео. Я знал, что женщины способны на такие поступки.

Но ничего этого она не сделала.

Девочка проснулась и стала хватать ручкой воздух, пока не поймала палец, который я протянул ей. Словно животное, которое видит исключительно в темноте и которым при свете дня руководит только инстинкт. Девочка крепко держала мой палец и смотрела на меня широко открытыми глазами.

Я уже давно не видел ее, но теперь увидел: один глаз у нее был голубой, другой — карий!

\* \* \*

Ко мне шел Фома. Он прошел через поля Рейнснеса. С трудом перелез через бабушкину герань и ввалился в окно, принеся с собой на дощатый пол вьевшуюся в сапоги грязь. На плече он держал жерди для сушки сена. Он таскал их всю жизнь. Голова Фомы была опущена. Фома с отчаянием пытался взглянуть на меня из-под вьющихся рыжих волос. Виски у него были слегка припудрены сединой. Он хотел что-то показать мне, но у него не получалось. Жерди раскачивались и чуть не падали всякий раз, когда он распрямлялся, чтобы поднять ко мне лицо. Он был живой. И это было опасно. Пот и земля. Он не смотрел на Дину. Хотел мне что-то сказать и не мог.

Мне было лет шесть или семь. Я шел по тропинке позади Фомы. Тропинка вела к летнему хлеву. Сладко пахло зрелой черникой. Около летнего хлева ягоды всегда были особенно крупные. Наверное, оттого, что скотина унавозила тут почву. Синие ягоды висели на ветках над тропинкой, венчали собой кочки, блестящие от росы и дождя. В тени они были более крупные и матовые. Бог избрал именно их и одел в бархат. Я на ходу нанизывал черничины на стебелек. От их запаха на душе становилось спокойно, он прогонял тревогу. Мне не хотелось даже радоваться. Я наслаждался этим покоем. Спина Фомы отбрасывала тень, в которую я мог спрятаться. Между его ногами мелькал свет. Фома следовал строгому ритму движения. Раз-два, раз-два. Он всегда был устремлен в новый день.

День был полон запахов, он был черникой, что росла вдоль тропинок, по которым гоняли скотину. Он приходил с моря, когда я ходил босиком

по воде у прибрежных камней и соленый ветер щекотал мне ноздри. День замирал и останавливался, когда я забирался на галерею сеновала, где ко мне снизу поднимался аромат плотно уложенного сена.

Я стоял у кровати Карны и думал: что я, Вениамин Грэнэльв, делаю здесь, на Стуре Страндстреле?

Этот нехитрый вопрос завладел моим мозгом, а запах грудного ребенка тем временем стал еще явственней.

Я был эпицентром. И жизнь моя вдруг стала простой и понятной.

Бабушка Карны встретила Дину по-королевски. Она даже налила портвейн в маленькие рюмки со сколами по краям.

Наверное, у нее затеплилась надежда на то, что Дина заберет несчастного ребенка. На щеках у бабушки пылали красные пятна, когда она рассказывала, как она выкармливала свою правнучку, с первого дня оставшуюся без матери. Она говорила о себе так, словно уже умерла от старости. Вплетала в свой рассказ подробности, свидетельствующие о жестокости мира к тем, у кого нет ни здоровья, ни средств, чтобы заботиться о своих близких.

— Теперь-то она уже хорошо переносит разбавленное молоко! — уверяла бабушка Дину. — Смотрите, какая она здоровенькая! — И опять:

— Она так быстро растет... ей нужна одежда... Ума не приложу, что с ней делать... Добрые люди не растут на деревьях... Сейчас у нее, у бедняжки, вылезли все волосики, а когда она родилась, они были черные и все в колечках, совсем как у ангелочка... Они так украшали ее головку... Сударыня сама увидит... До сих пор не могу поверить... Бедная Карна... До сих пор не верю...

— Она похожа на Карну? — спросила Дина.

Бабушка быстро подошла к комоду и взяла фотографию Карны. Карна улыбалась из-под стекла. Это создавало неверное впечатление. Карна редко улыбалась.

— Как будут звать девочку? — спросила Дина, пристально глядя на фотографию.

Воздух вдруг сделался тяжелым и плотным, мне показалось, что я не выдержу этой тяжести. Но я выдержал.

Дина не позволила считать себя спасительницей. Холодная дистанция, как оболочка, окружала ее со всех сторон. Она была полна сочувствия и вместе с тем оставалась как бы вдали. Мои мечты о матери, которая вдруг раскаялась и стремится к искуплению, рассыпались в прах. Нет, она была женщиной, которая случайно наклонилась над кроватью Карны, подняла малютку и спокойно положила ее мне на руки.

— Девочка обделалась, — сказала бабушка Карны таким тоном, словно это произошло только потому, что я взял ребенка на руки.

Тогда я засмеялся. Я стоял с обделавшимся ребенком на руках и не знал, что мне с ним делать. Но я смеялся. Потому что уже принял решение. Это было безумие! И вероятно, первый выбор, который принадлежал мне.

Мы вернулись на Бредгаде и уже собирались ехать на вокзал. Дина держала в руках свой саквояж, я взял ее чемодан. Свободной рукой я схватил футляр с виолончелью:

— Ты должна взять ее с собой! Дина поглядела на футляр:

— Нет!

— Ты должна! Я беру с собой маленькую Карну и Книгу Ертрюд, а ты — виолончель. И мы квиты!

Извозчик, который должен был отвезти нас на вокзал, захохотал во дворе. Дина неохотно взяла виолончель.

— Хорошо. Благослови тебя Бог, Вениамин! Мы с тобой квиты! — быстро проговорила она и повернулась ко мне спиной.

\* \* \*

Все было таким хрупким, нереальным. Дина сидела, поставив футляр с виолончелью между коленями, и смотрела на крыши домов. Я почему-то вспомнил, как однажды в Рейнснес пришла олениха с олененком. В ту зиму было особенно много снега. Олениха шла по кромке леса, выискивая мох. Робкая, настороженная. Готовая в любую минуту обратиться в бегство.

Я помог Дине сойти с извозчика, и мы вошли под своды вокзала. Конструкции, несущие крышу, казались футляром. Через светлевший вдаль полукруг приходили и уходили поезда. С вокзала они как будто отправлялись прямо в полное опасностей небо.

Голоса, гудки паровозов, грохот провозимых мимо ящиков. Бессмысленный шум чужого мира. Когда просвистел свисток и поезд медленно тронулся с места, Дина крикнула, стараясь схватить мои руки через открытое окно:

— Благослови тебя Бог, Вениамин! И она исчезла.

Я видел ее. Она сидела под высоким серым мостом и играла на виолончели, а мир вокруг распался на части. Она подняла голову и обратилась ко мне:

— Ты можешь судить меня, Вениамин. Будь строг, если хочешь. Все уже решено. Любовь — это горе. Она научила меня всему, что я знаю. Музыка...

— А люди, Дина? Я, например...

— Я несу тебя в себе.

Она наклонилась вперед, и лицо ее скрылось. Легкие, плавные движения. Округлые плечи. Пальцы и запястья казались продолжением струн. Из виолончели лились звуки.

— Горе будет твоей виолончелью. Играй! Тебе придется узнать, кто ты!

Небеса посветлели. Мост окрасился в красный цвет. Я закрыл глаза. Меня охватила усталость.

— Концерт для виолончели Гайдна, Вениамин. С большим или маленьким оркестром, но я должна доиграть его до конца. Это моя жизнь!

Теперь она была рядом со мной. Тихо шуршали ее широкие рукава. Когда она водила смычком, рукав то поднимался, то скользил вниз. Рука то обнажалась, то скрывалась под тканью.

Виолончель владела объятиями Дины. Поэтому я уцепился за ее колени, прижался щекой к ткани платья и чувствовал, как музыка через ее тело и колени переливается в меня. Теперь музыка принадлежала мне.

Я думал, Дина сейчас скажет, что я уже слишком большой, чтобы цепляться за мамины колени. Но она, поглощенная своим, ничего не сказала. Склонившись к виолончели, она слушала свою собственную мелодию.

В это время вступил оркестр. Я и не подозревал, что он здесь присутствует. В моей голове. У меня лопнули барабанные перепонки. Из ушей текла кровь и в такт музыке капала на нас обоих. Боль принесла исцеление.

Потом все стихло.

И я отпустил Дину.

## ЭПИЛОГ

*Когда ты ехал домой с горы Мория, тебе не нужно было никаких похвал, которые утешили бы тебя в твоей потере; ибо ты обрел все и сохранил Исаака. Разве это не так?*

*Иоханнес де Силенцио. Страх и трепет*

Я стоял под высокими сводами вокзала и смотрел вслед поезду. Небо вдали казалось свинцовым полукругом, поглотившим и Дину, и огнедышащего змея, исполненного первобытных сил, который, извиваясь, уползал из моей несчастной жизни.

Когда я наконец оглянулся по сторонам, сзади в двух шагах от меня стоял Аксель. У него было лицо безумца.

— Что с тобой? — спросил я.

— Она не захотела, чтобы я пришел на вокзал.

— Почему?

— Она хотела попрощаться с тобой без посторонних.

Я промолчал. Пошел по направлению к выходу. Он шел за мной. Мне стало жалко его. Или себя. Я-то понимал, что может крыться за словами: «Она не захотела, чтобы я пришел на вокзал».

Немного спустя, когда мы сидели в погребке на Вестергаде, Аксель сказал, даже не обращаясь ко мне:

— Ну вот и конец... игре.

— Да.

— Я тоже уезжаю.

— Домой?

— В Берлин!

— Нет! — решительно заявил я.

— Поеду!

— Ты не должен этого делать! — Я не сдавался.

— Посмотрим!

— Это может стоить тебе...

— На те деньги, что я занял, я один смогу прожить в Берлине в два раза дольше, чем с тобой. Но я найду себе какую-нибудь работу.

Я протянул к нему руку:

— Нет, нет, ты не должен!.. Я имел в виду не деньги! Он засмеялся мне

в лицо.

Как отговорить его от этой поездки?

— Дина — опасная женщина! — глупо сказал я.

— Это я понимаю! — Он был влюблен.

— Она не сможет смириться с тем, что ты когда-нибудь бросишь ее.

— По-моему, это ты не можешь смириться с тем, что тебя бросили.

— Возможно. Но опасна она, а не я.

Как мне было убедить его? Удержать от поездки в Берлин? Спасти от того, чтобы он не оказался сломанным ногтем? Наверное, следовало сказать: «Она застрелит любого, кто пришел лишь поучиться и поиграть»?

— Дина иначе относится к добру и злу, Аксель, чем вы в вашей пасторской семье... Неужели ты не понимаешь?

— Если б она относилась к этому так же, как мы, я не обратил бы на нее внимания! — радостно воскликнул он.

Я сделал глубокий вдох. Мне требовалось воздуха на целый ураган.

— Он был крупнее тебя, старше и умнее! — выдохнул я.

— Кто он?

— Русский.

— Какой русский?

— Человек, которого она застрелила! Он не понял, что Дина не смирилась с тем, что ее бросили!

Все, дело сделано! Я вырыл для нее волчью яму. В душе Акселя. Некоторое время эта яма будет не видна из-под густой зеленой листвы. А потом Дине будет уже не спастись. В один прекрасный день, когда месяц будет плыть над чужими крышами Берлина, она упадет в нее. И, падая, поймет, что яму эту вырыл я.

Передо мной сидел высокий, сильный человек. Глаза его были широко открыты, кончик языка скользил по губам. Он долго облизывался, потом сдержанно произнес:

— Ты все это выдумал, Вениамин, чтобы я не приближался к ней!

Я заметил, что он не смог сказать: «К твоей матери», он сказал: «К ней». «Я бы тоже так сделал», — подумал я.

— Напротив. С тех пор как мне стукнуло одиннадцать, я всячески изощрялся, чтобы никому не сказать об этом.

По его лицу я видел, что он пытается осознать мои слова. Наконец у него вырвалось:

— Будь что будет! Я еду к ней!

— В тот раз было много крови. Не меньше, чем при родах Карны. У него была прострелена голова. Он лежал в вереске. Я стоял и смотрел на

него. Был ясный осенний день. Солнце...

— Перестань!

— Ты прав, — согласился я. Мы помолчали.

— Понимаешь, я знал ее всю жизнь. Не только эти несколько дней... Понимаешь? — сказал он спокойно. В этом светловолосом человеке была какая-то непонятная покорность. — Значит, она?.. И это кому-нибудь известно?

— Только тебе и мне. Он не шевелился.

— Ты не должен был говорить мне об этом! — сказал он наконец.

— Наверное, ты прав.

— Я не могу позволить, чтобы она исчезла из моей жизни! Не надо меня запугивать! Слышишь? — Покорности в нем уже почти не осталось.

— Я хотел объяснить...

Он откинул голову с львиной гривой и хлебнул пену, оставшуюся на дне кружки.

— Не ездь в Берлин! — попросил я.

— Не будь ребенком!

— Ты знаешь ее всего несколько дней!

— Я всю жизнь ждал именно ее!

— Это ты ребенок, а не я! Неужели ты не понимаешь? — Я не сдавался.

— В таком случае это мое дело! — отрезал он.

— Откажись от нее!

— Ни за что!

— Это безумие!

— Значит, я должен испытать это безумие! Не мешай мне! — Он наклонился ко мне. — Избавь меня от своей морали и от своих правил! Слышишь? Ты не имеешь права даже говорить об этом!

— А как же Анна?

— Вот именно! Я написал ей письмо и пожелал быть счастливой, куда бы она ни поехала.

— Как трогательно с твоей стороны! — насмешливо заметил я.

— Ты так считаешь? — тоже насмешливо спросил он.

Мы были похожи на портовых грузчиков после изнурительного рабочего дня. Наши руки бессильно лежали на столе.

— Я должен сказать тебе одну вещь. Потом делай со мной что хочешь, но я все равно скажу!

— Я готов тебя выслушать. — Он попытался улыбнуться своей прежней улыбкой, но она на меня не подействовала.

— Речь идет об Анне...

— Я все знаю, — перебил он меня.

— Что ты знаешь?

— То, что произошло в моей комнате. В Валькендорфе.

— Она тебе рассказала?

— Нет, в этом не было необходимости. Я нашел свои недокуренные сигары и ее гребень для волос.

Мы помолчали.

— Но ты даже виду не подал, когда мы были в Дюрехавене?! — удивился я.

— Ты так думаешь?

— Черт тебя побери!

— И как тебе это понравилось? — спросил он. Лицо у меня горело.

— Как тебе Анна? — Он не сдавался.

— Не собираюсь говорить с тобой на эту тему, — сипло проговорил я.

— Понятно! Официант! Еще по одной!

Я решил сам ни о чем с ним не заговаривать.

— Ты берешь с собой Анну? — спросил он, усы у него были в пене.

— Нет! Я беру ребенка!

От удивления он открыл рот, на лбу у него появились морщины. Потом он пробормотал, словно про себя:

— Как же так? Ребенок... Что ты будешь делать с ребенком?

— Пожалуйста, Аксель, откажись... Пожалуйста, — молил я его.

В трактир с шумом ввалилась компания грузчиков. Они были при деньгах, и им море было по колено. Я решил больше не отговаривать Акселя.

— Ну что ж. Мне будет не доставать тебя, — сентиментально сказал я. Мой голос был полон ржавчины и запекшейся крови. Ведь он столько лет пролежал в земле на полях сражений под Дюббелем. Теперь я извлек его на свет. Ничего героического в нем не звучало.

Аксель кивнул. За последние сутки его лицо стало как будто крупнее.

— Помню, как первый раз увидел тебя... Ты с аппетитом поглощал сырые яйца.

Я провел рукой по лицу. Оно было влажное. Тончайшая сеть прожилок, отходы, оставленные кровообращением. Пульс студенческих дней. Песни под деревьями во дворе Регенсен. Наши грешные ночи. Мадам в переулке Педера Мадсена. Мое предательство на его же кровати. Теперь он рассчитался со мной. Мы были квиты.

Мне не хотелось думать о том, чего мы не смогли дать друг другу... Поэтому я сказал:

— Веселое было время!

— Да, играм конец, — пробормотал он и прибавил, помолчав:

— А ты на нее похож. Только не такой красивый.

Я услышал, как под моим кулаком хрястнул нос Аксея. Он моргнул и ответил мне тем же.

Мои ладони сразу наполнились кровью. Мне было даже приятно. Мы улыбнулись друг другу. Я знал, что всю жизнь буду помнить удар его каменного кулака.

\* \* \*

15 августа в старинном календаре матушки Карен было написано: «Сегодня соки деревьев уходят обратно в корни».

Андерс стоял в конторе при лавке и думал, что лето оказалось на диво благодатным. Восточный ветер. Солнце. Он только что вернулся из Бергена, но частица его еще летала где-то между морем и небом.

Его жилетка была расстегнута, ворот рубахи тоже.

В открытую дверь поспешно вошла Ханна. Она уже давно стала в лавке незаменимой. Она сунула Андерсу в руки телеграмму.

— Только что получили с посылным! — проговорила она и тут же исчезла.

Андерс встал со стула, держа перед собой сложенную телеграмму. Он прищурился. Потом сломал печать и попытался читать. Снова прищурился. Буквы плясали у него перед глазами. Он то подносил телеграмму к глазам, то отодвигал на расстояние вытянутой руки. Потом сдался и взял «стекляшки», как он называл очки. После этого он с благоговением прочитал телеграмму: «Вышли в Берген какую-нибудь женщину. Мне и моей маленькой дочке, оставшейся без матери, нужна помощь. Придем в Берген седьмого сентября, если на то будет милость Божья и позволит погода. Остановимся где обычно. Всего доброго! Вениамин».

Андерс осторожно снова опустился на стул. Чтобы выиграть время, он немного отодвинулся от старой конторки. Разложил все по местам. Спрятал очки в футляр. Положил ногу на ногу. И вдруг громко, по-мальчишески, рассмеялся, выдвинув вперед подбородок. Потом встал и вышел в лавку. Там, широко расставив ноги, он прочитал телеграмму вслух.

Приказчик с цинковым совком в руке замер в белом облаке над ящиком с мукой. Ханна застыла с большими портновскими ножницами. Она собиралась отмерить пять метров полотна для одной женщины с островов. Ножницы упали сквозь сноп вечернего солнца.

Наконец Андерс крикнул голосом, которым привык отдавать команды, когда спускали невод для сельди. Весело, спокойно и сосредоточенно:

— Прости, Господи, мою грешную душу, но что за счастье пришло к нам с этим телеграфом! Где мы найдем женщину, которая с первым же пароходом отправится в Берген?

\* \* \*

Карна! Может, когда-нибудь я расскажу тебе о матушке Карен. Как меня преследовал ее запах. И об ее увеличительном стекле. Я до сих пор храню его. Пусть она мне вовсе не бабушка, лишь бы мне было позволено нести ее в себе. Я уже упаковал ящики с книгами. Они поедут с нами в Рейнснес.

Странно, что я знаю так мало. Мне почти ничего не известно о любви. Понимаешь? Это мой большой недостаток. Может, ты поняла это, как только родилась?

Я забираю тебя с собой. Несу в себе. Ты веришь, что это возможно? Что это не просто проклятая жертва? Понимаешь, что я поступаю так, чтобы спасти себя самого?

Ты веришь, что всему свое время?

Как можно было все так быстро забыть? Что мы за люди, если все забываем? Лазареты. Тела. Поля сражений. Мы перевязывали обрубки. Видели, как они кровоточат. Неужели это не оставило во мне никакого следа? Не приблизило хоть на волосок к любви? Если нет, зачем все это было? Ты видела когда-нибудь человеческий череп, набитый газетой?

Карна, я не забуду, как ты родилась. А может, уже забыл и это? Потому что это было так страшно? И так красиво. Красная река, которую вызвало твое появление на свет, заставила меня забыть о тебе. Я был так напуган! Ты понимаешь меня? Горе тоже заставило меня забыть о тебе. Я должен был справиться с ним в одиночку. Как думаешь, сумею ли я теперь, что бы ни случилось, всегда помнить о тебе? Тогда когда-нибудь я расскажу тебе, какие волосы были у твоей матери. Что у нее были рваные башмаки и рваный зонт.

Не знаю, смогу ли я когда-нибудь рассказать о своем предательстве. Боюсь, у меня не хватит на это мужества. Ведь я сдался раньше, чем начал. Тебе, наверное, трудно будет понять, что человек может оказаться таким трусом. И все-таки я знаю, что я не злой человек. Слышишь? Но люди так легко все забывают.

Поэтому я ничего не знаю о любви. Я ощутил ее. Она отметила мои следы железом и кровью. Я знаю и все-таки забываю об этом.

Мне не хотелось брать на себя заботу о тебе. Я уже столько раз забывал о твоём существовании! То из-за горя. То из-за радости. Забывал, ибо меня мучила мысль, что я убил твою мать. Я несу тебя в себе.

Ты крепко держишься за мой палец.

И ещё не спрашиваешь меня, кто я.

Как думаешь, не забуду ли я все до того дня, когда ты задашь мне этот вопрос?

# Примечания

## 1

Псевдоним, под которым датский философ Сёрен Кьеркегор (1813-1855) выпустил в 1843 г. свой трактат «Страх и трепет». — Здесь и далее прим, перев.

## 2

Сумасшедший (нем.).

## 3

Коллегии Регенсен и Валькендорф — два общежития, в которых предоставлялись комнаты студентам университета в Копенгагене.

## 4

Ленсман — государственный чиновник, наделенный в рамках своей округи полномочиями по поддержанию правопорядка, сбору налогов и т. п.

## 5

Артиум — норвежский экзамен на аттестат зрелости, позволяющий поступить в любое высшее учебное заведение.

## 6

Бисмерпунд — старинная норвежская мера веса, равная приблизительно 6 кг.

## 7

Лефсе — мягкие лепешки с картошкой, которые хорошо хранятся.

## 8

Хюльдра — персонаж норвежского фольклора. Хюльдра выглядит как

женщина, она очень красива, но имеет коровий хвост, который прячет от людей, коварна и опасна.

## **9**

Конунг — у скандинавских народов в Средние века военный вождь, а с образованием государств — король.

## **10**

Здесь и далее стихи в переводе Ю. Вронского.

## **11**

Николай Фредерик Северин Грундтвиг (1783 — 1872) — датский писатель, реформатор Церкви и школы.

## **12**

Георг Брандес (1842 — 1927) — датский литературный критик, оказал большое влияние на всю скандинавскую и европейскую литературу.

## **13**

Песнь Песней Соломона, 4:1, 7, 8.